

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (464)

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Навроцкий. «Ёж» *и др. стихи* *3*
Владимир Шапко. Синдром веселья Плуготаренко. *Роман* *14*
Ольга Баженова. Малые ветки. *Стихи* *131*
Станислава Могилёва. «вот лодка /не переставая/...» *и др. стихи* *135*
Андрей Клепаков. Опекун. *Повесть* *142*
Ольга Аникина. Женщина по улице идёт. *Стихи* *217*
Олег Хафизов. Вышка в Монтебеле. *Рассказ* *221*
Сергей Сдобнов. Три источника сердца. *Стихи* *226*
Ирина Машинская. Из стихов двенадцатого года *230*
Андрей Резцов. Короткие истории *234*
Рафаэль Мовсесян. «мир начинается с описания...» *и др. стихи* *238*
Андрей Фамицкий. «как ярко вспыхивает спичка...» *и др. стихи* *240*

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Владимир Коркунов. Сюжетные метаходы в «Капсуле времени» Марии Малиновской *243*

РЕТРОСПЕКТИВА

Анна Голубкова. Василий Розанов как первый русский блогер *248*

БИБЛИОМАН

Наталия Черных. Жест отстранения

Геннадий Каневский. Сеанс (избранные стихотворения); Александр Петрушкин. Лазарет: стихотворения замкнутого пространства; Дана Курская. Ничего личного. Стихотворения *252*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Денис Липатов. Литературная мифология Тольятти

Антология независимой литературы Тольятти (1990–2014) *255*

Андрей Пермяков. Виток

Игорь Бобырев. Все знают, что во время войны в мою квартиру попал снаряд *257*

АРХИВ

Последыши эстетства и их космополитические уши. *Протокол одного собрания*
Подготовка текста, вступительная статья, примечания Алексея Голицына *260*

© «Волга», 2016

Владимир НАВРОЦКИЙ

Ёж

Ночное Арбеково, натриевые фонари, бликующая вода.
это место называется Запрудный,
но оно расположено с _этой_
(где пишется текст)
стороны пруда.

За прудом оно, только если смотреть с трассы М5.
(что за манера так вот проездом на фуре чужие места называть).

Видели цифры, тыща четыреста с чем-то,
на железной двери гаража,
видели ближе к Проспекту в кустах живого
паникующего ежа,

видели шестнадцатиэтажку с контрфорсами и бастионами.
О, это ночная Пенза, детка, с ее атмосферой, а также законами.

Напоследок легким усилием воли и вы-
водом точки, где собирается текст, вовне головы

поймал ощущение, что Арбеково тянется далеко-далеко,
и продолжается лето,
и что там, через двадцать минут
тропинок под рыжим фонарным светом,

за тополями, девятиэтажками, садиками, гаражами
беседка, в которой нас ждут друзья воображаемые,

Тусовка, в которой можно «гражданку» попеть,
а можно молчать, улыбаться.

Им всем примерно по двадцать,
и нам кстати тоже примерно по двадцать.

Волшебство продержалось минуты две, улетело за трассу,
его уже не вернешь.
Ну что ж, и за это спасибо. Спасибо, пруд у шестой,
дозорная башня,
напыщенный ёж.

Форум

Нужно найти ещё не угасший форум, лучше всего региональный,
и с конкретной темой: про рыбалку на окуня

Владимир Навроцкий родился в 1979 году в Якутии. Окончил Пензенский государственный университет. Публиковался в альманахе «Вавилон», в журналах «Воздух», «Знамя», «Волга». Работает удаленным программистом. Живёт в Пензе.

или машину УАЗ-патриот.
Оставлять полезные сообщения
с километровым смешным тирлайном,
проникнуться духом сообщества,
ходить на встречи четырежды в год,

Заработать лычки второго помощника модератора
(по нечетным субботам, с 3 до 5 утра),
Постепенно сворачивать своё
присутствие в большом интернете,
свернуть присутствие в большом интернете.
Постепенно сворачивать своё
присутствие в материальном мире,
свернуть присутствие в материальном мире.
Только Форум, только хардкор.
Оставайтесь, а нам пора.

Превратить себя в питоновый скрипт,
прикрученный к Форуму, вечно живому, бурлящему.
С другими скриптами резвиться, завязываться узлами
в искрящих прикосновениях, взаимоскольжении.
Обсуждать, возможно ли приварить окуня
к торцу коленвала в несуществующем УАЗе.

Жить вечно, весёлым питончиком
в комочке прочих питончиков
в металлическом ящике.
Возносить BBCode-молитвы
о непрекращенье подачи
трафика и напряженья
в забытый админом бигтауэр
в кладовой регионального оператора электронной связи.

Инвижен пауэр борд, ветер северный,
уважаемый All, доброго времени суток,
всем здрасьте.

И если это не счастье,
то какая разница вообще,
что такое счастье.

Инстаграм

Это я на границе моря, это ты сидишь на трубе
Я на сцене; ты под крылом; за рулём; в незнакомой стране.
посмотрите – пищит инстаграм – посмотрите на них,
они полноценные люди.

Только как у тебя получается делать вид, что это кино о тебе
Да и как у меня получается жить, как будто кино обо мне
Ведь на самом деле оно документальное, о пингвинах,
Нас даже в титрах не будет

Ёлка

В самых лучших
моих пятнадцати снах –
предметы и расположения, и нет людей.
В четырёх самых лучших
из лучших пятнадцати снов
нет людей, но люди вот-вот придут.
Я хочу рассказать о ёлке,
об ожиданьи гостей.
И о том, как в венгерской лаковой стенке
фужеры и их отражения
гостей заснеженных ждут.

Что такое в огромном салатнике синем
искрится недоразмешанное?
Это снег, холодец, брусника, лимон,
сны, шампанское, хвоя.
Гости сидят за столом, смеются,
но остаются заснеженными.
Надоест и уйдешь, уснёшь,
Но во внутреннем сне
снова ёлка стенка
хвоя брусника снег
и стучатся в стекло
те же самые трое.

Аттестат

Выйдешь во двор, насквозь пробиваемый солнцем закатным, заполненный
солнечной пылью
где пропадал? да как-то одно за другое, в школу ушел, в институт,
Вот аттестат, трудовая книжка, вот свидетельство о разрождении, подпись печать

Ясно, пошли к беседке, молчат улыбаются не забыли
старшие здесь давно, наши по одному появляются, скоро и младшие подойдут
В этом дворе никто никогда не будет один (август закат улыбаться молчать)

Навигатор

Виктор долго-предолго едет, сознательно
не заглядывая в навигатор,
На развилках из двух дорог выбирая ту,
что шибче богата
Ямами, разнотравьем, латунной гайкой,
впрессованной в землю.
Едет Виталий, едет,
«Серебряному дождю» внемлет,

Думает: слишком огромен мир, он прекрасен и яростен,
он не помещается ни в моем мозгу,
ни в антирадаре, ни в регистраторе, ни в телефоне,
Вот я стою пред тобою, Родина,

что я еще могу,
Русский рабочий, сантехник Афоня,

Ладно, пусть не сантехник Афоня, пусть
андеррайтер Григорий.
И не стою, а сижу. Даже еду прям по тебе
в невыплаченном «хёнде-солярисе»
Я же тебе обещал не покинуть в радости, как вчера,
и, как сегодня, в горе.
Так что, если захочешь, то забирай меня, ешь меня,
пользуйся, радуйся

Но Родина Никанора, похоже, есть и не собирается.
Норы ему не показывает, не посылает белого зайца,
Берёзками только качает, плачет грибным дождём.
«Ладно», – себе говорит Георгий, садится в машину,

включает «Эхо Москвы», –
«Подождём».

Тут камера улетает вверх: «Солярис» стоит на поляне,
Плывущей и растворяющейся в мыслящем океане.
Плывущей и растворяющейся в мыслящем океане.
Плывущей и растворяющейся в мыслящем океане

Жесть

Неужели из мира с концами ушло искусство
Гравировки по жести: сраженья, заводы, сады;
Хлеборобы и девы, в глазах у которых пусто,
но в ногах, но в грудях – мегатонны мясной красоты;

Сталевар увлечённо тычет в огонь кочергой;
Аспирант глядит в перфоленту с неясной тоской.

Иногда я прикидываю, как это –
жить в рабочем поселке,
Оформиться художником-оформителем
в местном клубе,
Из фольги и картона хендкрафтить
цепь на фанерном дубе
И плакаты к индийским фильмам,
И фонари для ёлки, –

То есть быть, получается, светочем
и богемой (какая уж есть).
Умеренно выпивать.
Кернить послушную жесть.

При этом, заметь, никакой за это награды:
Ты принёс к алтарю Культуры половину себя
(Субпродукты, рёбрышки, шейку),
А Культуре это не надо.

Пусть Культуре не надо –
но в жестяных городах,

жирных пастбищах,
строгих лабораториях,
тучных стадах
Перезрела уже благодарность
к создателю этих мест –
И они собирают Совет октябрьской ночью
Из доярок и астрономов,
моряков, чабанов и рабочих,
и художнику посылают
красну девицу, хлопкоробицу,
победительницу состязанья невест.

В полуночной столовой с неспящим художником
гостья, она же посланница,
из настенного украшения выламывается,
вырывается.

Желает железная женщина
художника сжать в объятьях,
Стягивает через голову
жестяное тугое платье,

Но при этом, естественно, веером
разлетаются клёпки,
И четыре из них застывают
в его черепной коробке.

И когда обитатели стенки
разглядели в столовской мгле,
Что создатель лежит убитый,

То случился торжественный траур
по всей жестяной земле,
и в небе, и на орбитах!

И колосья вплетались в бедовую голову,
волосы стали проволокой,
И колёса броневика скользили,
и гроб металлический волоком
Подтащили к обрыву, где шли пароходы,
крича человеческим голосом.
И нельзя было разобрать, где ленты,
где гроб, где венки, где волосы.

А потом над артистом играл отбой
самый правильный пионер.

А потом карьерные самосвалы
Тело свезли в карьер.

Главное в детском саду

Главное в детском саду – не кубики, не посуда,
Не тихий час, не хромированная кровать,

Главное – ощущение, что тебя вот-вот заберут отсюда,
А если начать обживаться, могут и не забрать.

Айва

Это сказка о Ярославе, 30 лет и 3 года ожидавшем чуда,
о Елизавете с музыкальным центром AIWA
и постером «we're all stars now in the dope show».

Сначала они, Ярослав и Лиза, смотрят на нас оттуда,
из сказки. Глядят и жалуются, что всё выходит коряво,
что Ярослав Лизавету всё ещё не нашёл.

Какое-то неприличное количество лет AIWA стоит на комоде.
А после Лайза помещает в коробку и далее в отчий гараж кассеты,
потому что кассеты теперь – элемент молодежной моды,
а Лиза – вообще не про это.

Как можно было такое количество времени
угробить на разные звуки.
Тем более, вся эта музыка есть вконтакте,
в свежекупленном ноутбуке,

Кстати, какой-то Ярик прислал сообщение, надо писать ответ.
Такая вот сказка с хорошим концом, и довольно простая.
Жаль, что всё получилось позже на 10 или 15 лет,
но они наверстают, правда?
– Обязательно наверстаем!

Не уходи из песочницы

Не уходи из песочницы, Тань, сандаликами наш дом
не растопчи песочный; я щас, супа поем, вернусь.
И не вернулся, конечно. А Таня, как мне сказали потом,
дом растоптала, окончила втуз, уехала в Беларусь.

(Надо найти неправильный знак «место для разворота».
Ждите, я говорю. Вернуться – моя забота.)

Ира, с работы моей письмо, нужно десять минут.
Не засыпайте, приду, прочту
сказку, убавлю свет.
Десять минут превратятся в ночь, Настя с женой уснут.
Тысячу триста раз – без меня.
Я всё пишу ответ.

(Могут и без меня прожить
самые близкие люди.
Сказку-то я придумал.
Кто её слушать будет.)

Знак разворота – багровый фон – выполнен не по госту.
так я и видел во сне. Нашёл.
Все остальное просто.

(Всем оставаться на тех местах,
где говорил, что буду
скоро – и убежал, исчез,
выкрался отовсюду.)
Времедвижению сев поперек, прямо в пальто на глину,
я возвращаюсь. На этот раз
я никого не кину.

Грамоты

Это стихотворение выполняет функцию охраны границ
Слова выстраиваются цепью, охватывающей квадрат:
пост ГАИ, диспетчерская, Рахманинова, пруд

Почетные грамоты свежевыпущенных учениц
слишком глянцевые и влажные, и скучные, и плохо горят
а что с ними делать ещё, не оставлять же их тут.

в ларьке продаётся яга урожая две тыщи восьмого.
даже фрагментами в три-четыре торжественных слова
грамоты – не горят.

что ещё сообщить?
две тыщи восьмой, пруд у диспетчерской: я и пишу оттуда.
В некотором смысле я со своими призраками вечно тут буду.
пусть это будет такой мой маленький тайный ад.

Люди, едущие в плацкартных вагонах

Люди, едущие в плацкартных вагонах на нижних полках,
Ничего специально не делали, чтобы так научиться храпеть.
Просто ехали долго, ехали долго (реально долго)
Да еще и в другую сторону, чтобы точно уже
все свое пропустить, ничего не успеть.

Так и мы ведь туда же:
верхние полки туда же едут.
Так и нам посчастливится, говорю,
отлёжанные разминая бока.
Чтоб три месяца быть где не хочется,
прячу в паспорт билеты.
Говорят, я уже храплю,
Правда, неубедительно как-то пока.

Контейнеровоз

Падая внутрь полураспиленного контейнеровоза,
Успел подумать – зачем они вырезали
именно этот кусок железа?
Чего не могли начать
разделывать судно с носа?
Какая им, в принципе, разница,
откуда резать.

Когда уже дно, наконец,
сколько можно падать?
увидел, что ржавое темное
брюхо вокруг исчезло.
Проносятся стенки колодца,
и корни из стенок лезут.
Цветные сплетаются корни,
насколько хватает взгляда.

Прошло десять лет, и корни
сплелись в неоновый город.
А город рассыпался на
автобазы, заводы, заборы,
Еще политех, пролетевший
буквально в двух сантиметрах.
И поле полыни
под теплым неровным ветром.

И даже сейчас, дорогие коллеги,
на середине доклада,
простите, смотрите, линолеум рвется,
линолеум липнет к стенам колодца –
я продолжаю падать.

У Кинг Кримсона

надо в жизни своей навести хоть какой-то порядок,
сколотить вполстены стойку со всем классическим прогом
или как вариант: с небольшим угрюмым отрядом
выходить под луной на кремнистую автодорогу.

что-то надо решать, ну что-то решать ведь надо.
мне тридцатник, в активе поюзанный ноут и брюхо;
значит, выйдем толпой – федеральная автострада,
в середине с волыной я и моя маруха.

И четыре фуры в четыре стороны света!
и обратный меня не заметивший чёрный икарус!
Ой! Поволжье, не плачь над раздавленной песней этой.
у Кинг Кримсона знаешь их сколько ещё осталось.

Прорубоно

Каждый, игравший в шутеры
на излёте прошедшего века,
Когда ещё аппаратное ускорение видео
не было толком открыто,
Испытывает трепет при виде
позднесоветских монументальных сооружений –
Крупно квадратно нарезанных
бурых ломтей гранита.

На этих участках поверхности как подойдёшь –
посмотреть ли на лучших людей района,

Разглядеть ли на барельефе
противоестественную связь
кряжистых металлургов
с пытливым учёным –

Так только и ждёшь, что кто-нибудь рядом
захрипит «ПРОРУБОНО»
И ну за тобою бежать в белом фартуке,
с мастерком полированным
и резцом точёным.

Кафель

Представим себе жизнь вымышленных существ
(и жалко, жалко мне их, невыносимо жалко)!
Двумерных существ, обитающих
на кафельных стенах, в клетках.

Такая зверушка тусуется, чего-то двумерное ест
(жалко, жалко зверушку. Невыносимо жалко)!
Дискретно по плиткам прыгает,
на плитках рисует метки.

В минуты досуга себе представляет выдуманных существ
(И жалко ей этих существ, не опишешь даже, как жалко)
Вообще одномерных, живущих
на стыках кафельных плит.

Бывает, что двое из них собой образуют крест
(и точку пересечения им, наверно, чудовищно жалко)!
– мне страшно подумать, кто нас-то жалеет,
у кого по нам сердце болит.

Классификация колдунов

Если встанешь поближе к скамейке, на счётах прикинешь четырежды пять,
получается тридцать; сегодня получше, вчера было тридцать семь.
Так оно постепенно, лет десять-пятнадцать, будет ещё спадать,
но уже никогда не спадёт совсем.

Почему это так, расскажите мне, дети? Разгадка очень проста:
на скамейке вчера отдыхал старик с глазами как у кота.

Вот деревья узлами, стрелами ветви, лезвиями листы.
Под деревьями люди кругами уложены, пятками от стволов.
Их ладони – где линии жизни были – гладки, белы, пусты.
На одежде у них обычная кровь.

Эти мёртвые так тяжелы, что гроб не поднять и вдесятером.
Запишите: так делают люди, одетые в чёрное с серебром.

Или вот: почему в наших радиоточках парады бывшей страны,
А в других городах лишь трансляции криков мёртвых с других планет?
Ничего не осталось, ребята, законы физики отменены.
Топология рухнула месяц назад. Математики больше нет.

Так что мы начинаем науку заново, с самых её основ.
Пишем: первый урок, день стали. Классификация колдунов.

Середина 80-х

середина восьмидесятых, группа третьего эшелона.
Не осталось ни текстов, ни записей. только мутные мятые снимки:
идиотские стрижки, нелепые шмотки, гитары-этерны.
интересно, где теперь все эти люди.

кто их помнит по именам или песню, хоть пару строчек?
на единственной плёнке с их сейшена в городе Химки
оператор потом записал фестиваль в Сан-Ремо
(на девятой скорости, с телека;
зато в настоящий «Штудер»)

только в городе Видное старый усталый тусовщик,
только в городе Электросталь многодетная групи Эмма
просыпаются в полночь от тихих прозрачных риффов
с ощущеньем что им девятнадцать
и что всё ещё будет

Читали плакат про использование противогаза

Читали плакат про использование противогаза,
Потом про потоп две тыщи тридцатого года,
Потом про ангелов Апокалипсиса методичку,
Трудно их сразу запомнить, особенно области применения и имена.

Потом перерыв, покурить выходим из класса –
А там одуванчики, солнце, ржавые пароходы!
В красную полубочку летят окурки и спички
И как-то не верится, что завтра с богом война.

Китеж

Раз в четырнадцать месяцев над Байкалом
всплывает Китеж-тринадцать
и выходят сотрудники Китежа
любоваться на камень Черского –
потоптаться по палубе верхней,
закурить и зубами клацать,
прикрывать сигарету от ветра,
сегодня особенно мерзкого.

Понедельник начнётся в субботу,
не кончится никогда.
Баргузин, как положено, вал шевелит
и бежит, натурально, за ворот.
Лаборанты докуривают.
Бычки

принимает на шкурку вода.
И, задраив люки, уходит под воду
призрачный наногород.

(стоит ли голос впустую надсаживать с дымкой надев очки
стоит ли тексты читать нараспев, упёршись в косяк плечом
то что неинтересно этой
в маленьком чёрном платье
девочке,
не интересно совсем никому
ни тут, ни где-то ещё.)

Травяная пыль на газонокосилках – она какая на ощупь?
Также интересуюсь, какая она на вкус.
Может, попробуешь, мне расскажешь, в общих чертах, попроще?
сам я газонокосилок, видишь, немножко боюсь.

(Зал полупуст и холоден, гулок, уныл, огромен;
маловменяемый дядька на звуке, недорогое пиво.
Трудно сказать, осталось ли здесь
что-нибудь важное, кроме
маленькой стыдной тайны для дружного коллектива.)

Строителей! – вот я кого пожалел
сегодня почти до слёз.
Смотри, их привозят в фургончике в степь,
метель и следы кругом.
Теперь выпускают наружу – в ночь, в пустоту, в мороз.
Строители бойко затеяли ставить новый просторный фургон.

Ритмично стучат молоточками, греют ладони у примуса,
Сверкают сваркой, а только не знают – не жить им в новом фургоне.
Как только отделку сделают, чуть только роиться примутся –
Прораб их в коробку старую
горчичным дымом загонит.

(камедиклаб, где победа твоя?
КВН, где твоё жало?
зал полупуст и холоден
девочка убежала)

Владимир ШАПКО

СИНДРОМ ВЕСЕЛЬЯ ПЛУГОТАРЕНКО

Роман

Глава первая

1.

Город просыпался. Невидимое солнце гонялось за летучими тенями над крышами домов. Внизу, в тёмных дворах, уже заходились и причитали иномарки. Промчался, простучал по рельсам первый пустой трамвай. После ночной тахикардии приходили в себя светофоры на перекрёстках.

С семи инвалид сидел у окна в квартире на первом этаже. Ждал, когда появится женщина. Уже умытый, с длинными жилистыми руками на подлокотниках коляски.

В плаще, поясом схваченная будто сноп, она выходила из-за угла и шла по противоположной стороне улицы. Ловко управляясь с фотоаппаратом «Зенит», Плуготаренко успевал снять её несколько раз вместе с пролетающими машинами.

На проявленных снимках всё так и получалось: женщина словно стремилась догнать размазанные машины. Полные ноги её – то одна, то другая – тоже превращались в мазки, но плывущее отрешённое лицо всегда отображалось чётко. Это были фотографии движения, снятые им с очень короткой выдержкой. Так снимают тайно шпионов. Выхватывают их нелепые позы. То одну, то другую – поднятые ноги. И кажется потом, что шпионы или просто пляшут на месте, или всё время бьют по мячу ботинком. Хотя шпионом был он сам, и снимать надо было его самого вместе с инвалидной коляской – пригнувшегося, с поспешностью и усердием осьминога толкающего колёса к ванной, чтобы поскорей проявить плёнку.

Позавтракав с матерью и дождавшись, когда она уйдёт на работу, Плуготаренко сделал ещё несколько снимков. Опять для эффекта размазанного динамичного движения он устанавливал очень короткую выдержку. Он размазывал то передний план перед идущим объектом съёмки, то задний. А когда объект находился в фокусе, новой выдержкой делал размытыми пролетающие машины.

Он работал как фокусник. С тротуара выдернул идущего старика. Который вдруг глянул на него дремучим глазом. Точно пальцем погрозил. Потом девчушку лет десяти. Пробежавшую, несмотря на апрельскую утреннюю свежесть, в одном платьишке.

Крупный кобель протянул. Кучерявый. С вислым пузом, как баран. Успел и его снять несколько раз.

Проявленные и сохнущие в ванной фотографии казались какой-то висящей смирившейся плацентой. Увеличенное лицо девчонки было осыпано веснушками, точно чёрной гречкой. А хитрые блестящие глаза бегущего кобеля засели в кучерях, будто в тучном муравейнике.

За столом в комнате он раскладывал по конвертам готовые снимки. Один конверт – плотный, из-под фотобумаги – лежал на столе отдельно. Он вынимал из него и подолгу рассматривал последние фотографии женщины. Натальи Фёдоровны Ивашовой.

Фотографий было много. Но ни на одной из них она не улыбалась. Она всегда проходила мимо окна с фотографом хмурая, отчуждённая. Или вдруг – с лицом плаксивым, страдающим. Словно увидала смерть на дороге и точно так же сегодня погибнет.

Раз в месяц, когда она приносила ему пособие, он крутился с коляской вокруг стола, как при игре инвалидов в баскетбол. Кидал и кидал, что называется, словесные мячи. Она всегда молчала. Она си-

---

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга». Автор книг «Деревенский городок» (М.: Советский писатель, 1991), «Муравейник Russia» (Za-Za-Verlag, 2012), «Лаковый "икарус"» (СПб.: Лимбус Пресс, 2015). Живет и работает в Усть-Каменогорске.

дела со стаканом чая напряжённо, для устойчивости выставив полную ногу вперёд. Как будто опасалась, что стул под ней треснет. На буром лице её проступал пот.

Специальную сумочку с деньгами она прятала в хозяйственный пакет. Вставала из-за стола. Приняв в ужавшуюся ладонь железный рубль, говорила: «До свидания, Юрий Иванович». И, пятясь, выходила за дверь. А он тяжело дышал, точно только что свершил половой акт с ней.

Он дико смотрел в телевизор, где какой-то экзотический петушок ходил и встряхивал пышным хохолком перед серой равнодушной самочкой.

2.

Приходила на обед мать. Жёсткие волосы что матери, что сына напоминали непролазный осенний бурьян. Если сказать другими словами – две пригнувшиеся лохматые кубанки хлебали щи за столом.

Мать поглядывала на сына. Спросила про редакцию. Сын ответил, что сейчас поест и поедет туда.

– Помочь в подъезде?

– Зачем? Пандус теперь. Справляюсь.

– «Пандус». «Справляюсь». Да если бы Коля Проков не надавил в военкомате – так и корячились бы в подъезде до сих пор!

В военкомате Коля Проков «надавил» полгода назад. Пандус сделали – уже месяц как. Однако мать не уставала напоминать сыну об этом каждый день.

– Почему не ездишь к ним? В Общество? Ведь всего там можно добиться. Глядишь, и машинёшку бы тебе там выбили. Вон Громышев. Такой же, как и ты, а давно уже трещит на своей по улицам, в кабинке почти не видать, но едет. Едет! Да жена ещё рядом подпрыгивает. Чем ты хуже его? Он-то хоть ходит. На протезах.

Сын хотел сказать, что в Обществе о нём и так уже хорошо позаботились. Тот же пандус в подъезде. Вон, вторую коляску – для улицы, на рычажном ходу – почти даром получил. Что у многих ребят-инвалидов и этого до сих пор нет. Но зная, что мать всё равно будет гнуть своё – промолчал.

После полудня Юрий Плуготаренко гнал солнечную россыпь спиц новой коляски в редакцию газеты «Наш город». К редактору Уставщикову Герману Ивановичу. Рычаги работали, как весёлые гимнасты. Солнце баловалось в вышине. До самой последней ветки прорисованные, кружились в светло-зелёной кашке высокие апрельские тополя.

– Пацаны, закиньте-ка меня наверх!

Человек пять пионеров подхватили коляску с инвалидом и занесли на крыльцо.

– Молодцы, красные следопыты!

В тёмноватом длинном коридоре уворачивался от выскакивающих отовсюду сотрудников газеты. Виновато тормозил, уступал дорогу.

Потом в большой комнате несколько человек склонились над фотографиями. Серьёзный Уставщиков Герман Иванович мял губы. Юрий Плуготаренко выкладывал и выкладывал на стол новые снимки. Жулев, фотограф газеты, заглядывал со всех сторон. С фотоаппаратом своим, будто с болтающейся килой. Удивлённый, повернулся к автору:

– Ну ты, Плуг, даёшь!

Отошёл даже в сторону. Делая большими глаза. В которых, казалось, продолжало мерцать увиденное: некрасивая женщина с солоделым равнодушным лицом; она же, совершенно неузнаваемая, идущая по тротуару с пропадающими, увидевшими казнь глазами; задумавшийся старик, строгий глаз которого торчал, как палец; бегущая смеющаяся девчушка в байковом платьишке, будто целый детсад. И всё это сделал – Юрка Плуг. Бывший соклассник. Зачем дал ему книгу Морли? По фотографированию движения? Ведь он уже снимает «с проводкой», даёт динамику движения, размазывает и задний и передний планы. Куда он дойдёт, если и дальше будет так же здорово снимать своим простым «Зенитом». Мне-то куда тогда? С моим ФЭДом-Микрон автоматом?

Юрий выложил на стол последнюю фотографию. На ней был снят малец лет трёх-четырёх. В глухой зимней шапке, охлёстнутой резинкой, в большой душегрейке, в зимних ботах, но почему-то в одних только легких бумажных колготках, из которых пробился наружу крохотный детский писюн.

Это была фотография маленького Кольки Мякишева. Соседа Плуготаренко по площадке. Зашедшего однажды зимой после прогулки к фотографу в гости.

Все дико хохотали. Даже сдержанный Герман Иванович. Который мгновенно придумал название снимку:

– «Главное, чтобы на улице уши не мёрзли. А на остальное – наплевать!» Ха-ха-ха!

Плуготаренко гнал под ликующим солнцем домой. Апрельские высокие тополя всё так же кружились. Всё так же лезли в небо.

3.

Вечером два бурьяна опять сидели в большой комнате за столом. Ели творог. Потом пили чай. Мать спросила про редакцию. Что сказал Уставщиков?

– В Москву пошлют, мама. Предложат на выставку в сентябре. Двадцать шесть снимков отобрали, – ответил сын и, перекинув себя со стула в коляску – домашнюю, небольшую, – порулил к себе.

Лежал на диване, смотрел на потолок. Вместе с другими взяли три фотографии Собачьей Мамы.

Прошлым летом в первый раз успел снять её необычную летнюю шляпу с искусственными цветами, шляпу из девятнадцатого века, проплывшую под самым окном. На другой фотографии, сделанной через день, она уже шла по противоположной стороне улицы в сопровождении кодлы собак. С рюшами на груди и рукавах платья, в своей шляпе с цветами – как большая цветущая клумба.

Тогда впереди всех, указуя дорогу, бежал собачонок по кличке Людвиг. В ранге словно бы зачуханного немецкого аристократишки. Остальные тузики, бобики и черныши были русского сословия.

У гастронома кодла останавливалась, и Собачья Мама длинным указательным пальцем наставляла Людвига. (На кнопку затвора успел нажать три раза.) Людвиг слушал, грустил, воротил лохматую мордочку в сторону. С сумкой под продукты Мама уходила за дверь. Кодла терпеливо ждала. Минут через десять начинала выть. Людвиг солировал, задавал тон. Мама – выходила. Все собачата радостно кидались, подпрыгивали прямо к её лицу. И снова успокоенными флажками тряслись за Мамой по тротуару. А собачонок Людвиг Ван Бетховен, понятное дело, трясся впереди. И Плуготаренко проводкой только снимал и снимал.

Пытался представить, что испытывают соседи, когда ей по какому-нибудь делу нужно было уйти из дому одной. Какие концерты тогда звучали из-за двери её квартиры. Под руководством ответственного за тишину Людвига.

Один раз встретил её на улице как раз без собак. С улыбкой остановил коляску с намерением заговорить. Но брови её разом сдвинулись, напряглись: не подъезжай! не спрашивай! В морду дам! Странная. Какая-то напрочь отгороженная. Ехал, долго не мог успокоиться.

Мать, разглядывая фотографии женщин, снятых сыном, каким-то шестым чувством сразу определяла, где у него только художественное пристрастие, а где нечто другое. Так произошло и с Собачьей Мамой.

– Ты что – с ума сошёл? Она же больная! Шизофреничка!

– Кто тебе это сказал?

– Да она же получает деньги в сберкассе на площади. Мне Баннова оттуда сказала. Получает вторую группу. По шизофрении. Не держится ни на одной работе!

Месяца через два Дама с Собачками исчезла. Придя как-то домой на обед, Вера Николаевна Плуготаренко не без злорадства поведала сыну:

– Знаешь, где живет теперь твоя собачница? Не поверишь! На Холмах! Поменяла однокомнатную в центре на хибару-развалюху. И всё из-за собак своих. Соседи выжили. Через суд. Мне Баннова сегодня сказала.

В этот же день Юрий взобрался на Холмы – район на окраине Города. Всё так и оказалось, как донесла матери Баннова: Собачья Мама развешивала простыни в пустом покатом дворе с кособокой хибаркой. Без шляпы своей с цветами, в чёрной вислой юбке поверх белой нижней рубашки без рукавов, с костлявыми сырыми руками. Кодла перебегала за ней как привязанная. Лишь Людвиг караулил таз с бельём на крыльце.

Как сталкиваемая кем-то, коляска с Плуготаренкой рывками спускалась по единственной крутой улице Холмов. Плуготаренке было грустно.

4.

Вторая вычисленная матерью *женщина сына* была Наталья Ивашова с почты, приносящая Юрию пособие. Только увидев её фотографию на столе, Вера Николаева в сердцах воскликнула:

– Ты лучше никого не нашёл? Она же разведёнка. Детей не может иметь. Мне Баннова сказала. (Ох уж эта Баннова!)

Однако сын на этот раз не поддался. Через два дня поил пришедшую с деньгами Ивашову чаем, выписывая на коляске кренделя перед ней. Говорил и говорил без остановки. О чём? Да о чём угодно! Он не мог остановить коляску. Он доказывал и себе, и женщине, что абсолютно здоров. Как павлин, как петух он распускал перья. Растерянная мать не узнавала сына. Он вёл себя так же, как когда-то в госпитале Ташкента. Куда она в 82-м приезжала, чтобы забрать его домой.

Невеста тоже молчала. Вытиралась платком. Часто отпивала чай. Словно чтобы он поскорее закончился. Ни на кого не смотрела, но остро видела всё. Сын и мать были точными копиями друг друга. Оба с поджатыми грачиными лицами, с круглыми головами, прямо на которые грачи вдруг накидали свои жёсткие грачиные гнёзда.

Как посторонняя, мать что-то сказала. Притом басом. Внезапно взялась чихать. Тоже по-мужски. Как с печки падать: ир-рах! ир-рах! ир-рах!

Наталья вздрагивала. Наталья удивлялась самой себе, почему она каждый раз, когда приносит пособие, остаётся здесь и пьёт чай. Почему выслушивает словесные фейерверки раскатывающего инвалида. Да ещё теперь под приступы его чихающей матери.

– Спасибо. Мне пора.

Пятясь к двери, только покосилась на кинувшегося с рублём инвалида. Прикрыла дверь квартиры.

Шла по Лермонтова, не воспринимая встречных, не слыша проносящихся машин. Всё виделись худые ноги инвалида. В ядовито-чёрных блестящих трениках и белых култастых кроссовках. Стоящих абсолютно недвижно на ступеньке коляски, никак не соотносящихся с мощным живым торсом мужчины, с размахивающими жилистыми его руками.

Когда она увидела первые свои фотографии, особенно одну, где полные ноги её в чулках заголились до пристёгнутых резинок – нахмурилась, покраснела.

– Зачем вы это сделали?

Он тут же порвал фотографию. «Извините. Был ветер». И больше ничего не показывал.

Через месяц как-то забылось это всё, и в очередной раз, чтобы прервать его лихорадочные речи и раскатывания по комнате, она сама спросила, как давно он занимается фотографией и почему.

Он перекинул себя к столу, налил ей снова из заварника и чайника, пододвинул печенье. Только после этого серьёзно сказал: «На фотографиях останавливается время, Наталья Фёдоровна. Фотограф может остановить его. Впрочем, как и живописец. Даже в кино время не остановишь. Хотя оно там вроде бы и законсервировано. Уложено в коробки. Наверное, поэтому. После Афганистана начал этим заниматься». И он стал сгребать со стола раскиданные снимки.

Наталья шла и думала о словах инвалида. Свернула, наконец, к шестиэтажному дому. На втором этаже позвонила в одну из трёх квартир.

Расписавшись, старуха по фамилии Семибратова цепко пересчитывала деньги. Казалось, даже глаза её были напитаны едким запахом стариковского корвалола. Как и вся тёмная, заваленная старушечьим тряпьём и хламом квартира. За столом Ивашова запирала дыхание. Уходя, мягко остановила цепкую ручонку с десятиком.

От старичка двумя этажами выше повanивало кисло. Как из винной бутылки. Однако на прощание он сказал: «Я ищу прачку. Хорошо бы платил». Глаза его вдруг заиграли. Как у развратного мальчишки. «А, девушка?» Девушка тридцати пяти лет молча пошла к двери.

В соседнем доме тяжёлый отёкший старик был ещё одним получателем пенсии на дому. Жена вывезла его в коляске в высокую сталинскую комнату будто в царские палаты. Персональный пенсионер. Неповоротливый, медлительный, как водолаз. (В смысле – в скафандре. Перед спуском в воду.) Долго налаживал очки. Никак не мог понять, где расписаться. Жена, похожая на краснощёкую курицу с ощипанной шеей, ткнула пальцем: «Вот здесь! Соберись!» «Собрался». Начал ворочать шариковой ручкой. И уехал куда-то вниз, зацепив своей подписью две чужих. Наталья тихо сказала, чтобы он написал доверенность на кого-то дееспособного. «Да где он напишет? Как?!» Муж почему-то запротестовал. Забубукал что-то. Жена молча покатила его из комнаты.

Ивашова опять шла по улице. Помимо воли видела увозимого возмущённого пенсионера с налившимся кровью плешивым затылком.

5.

На почте высокий ящик для писем с открытыми ячейками напоминал голубятню. Ивашова быстро раскидывала по ячейкам письма, сортируя их по названиям улиц на конвертах. Это была не её ра-

бота, но, быстро раздав пенсии, она явилась в Отделение раньше двенадцати, раньше отпущенного ей времени, и Вахрушева тут же нарядила сортировать. А потом и исходящие письма бить штемпелями и раскидывать по другим ячейкам. По разным городам. Уже в ящик у окна. Вахрушева ходила по Отделению, поглядывала на склонённые головы подчинённых, на мелькающие их руки. Лоб у Вахрушевой был как рахит: очень выпуклый и белый. Производственная почтовая эта практика, разработанная ею, повторялась из года в год почти ежедневно, все в Отделении могли заменять всех. Поэтому Наталья мало обращала внимания на гордый лобешник, автоматически била штемпелем. Как и Плуготаренко недавно, поглядывала на зелёненькую апрельскую кашку только-только начавших распускаться тополей. Но, в отличие от фотографа, смотрела с тоской. Сквозь решётку окна. Как заключённая.

К слову сказать, даже гражданского мужа своего, Семёна Семёновича, когда того сдуру заносило на почту, Вахрушева сразу нагружала работой – сортировать письма или оформлять в первом окне подписку. Семён Семёнович имел лишь косвенное отношение к почтовому отделению № 4: он ездил в поездах начальником почтового вагона, постоянно бывал в поездках, в Город приезжал, чтобы отдохнуть, набраться сил, но Вахрушева и его не жалела. У Семёна Семёновича была совершено голая, без единого волоска, беззащитная голова. Портретист Сатказин из парка смог бы, наверное, всего несколькими штрихами нарисовать его. Вместо носа – вытянутая книзу обувная ложка, вместо бровей – две вздёрнутые печальные скобки, вместо глаз – чёрные две точки. Бедный, бедный Семён Семёнович, вздыхала Наталья с остальными работницами почты.

Вечером, сняв платье, Наталья смотрела на себя в зеркале прихожей. Ноги в коричневых чулках походили на два окорока на верёвках. Подвешенных в гастрономе. Ещё и обиделась из-за таких ножищ на инвалида. Уродина!

Однако Плуготаренко гонял перед ней на коляске всегда. Она ему явно нравилась. Однажды он удивил её: «Когда актёры в театре играют великих русских поэтов (Пушкина, например, Есенина) – мне всегда становится стыдно. И за них, и за себя. Сам не знаю почему. Не могу смотреть на сцену. Закрываю глаза. А они ничего не подозревают даже. Стараются на сцене, изображают поэтов... С прозаиками на сцене всё же легче. Можно смотреть. А вот с поэтами... Вы любите театр, Наталья Фёдоровна?»

За пятнадцать лет жизни в Городе Наталья была в театре всего два раза. Да и то с обязательными культпоходами. Организованными неугомонной Вахрушевой. Которая в антрактах, как клушка выводок, водила за собой подчинённых – холостячек и разведёнок – по фойе драмтеатра, рассказывая о висящих на стенах актёрах и актрисах. В буфет, откуда всё время слышался призывный звон бокалов и смех, никого не пускала. Плоскостопная Послыхалина пошлёпала было туда, как покалеченная балерина, но Вахрушева тут же догнала её, привела обратно и вставила в единый ряд: не отрывайся от коллектива!

От пенсии до пенсии Наталья бы и помнить не помнила об афганце Плуготаренко с его рассуждениями, но почти каждый день ходила по Лермонтова, мимо его дома, и инвалид с фотоаппаратом торчал в окне всегда. Ноги Натальи становились чугунными, чужими. Она не узнавала себя, свою походку. Иногда чуть ли не бегом спешила мимо окна. Как киноактриса, не замечающая камеры. Однако инвалид успевал-таки сделать несколько снимков. И можно было только представить потом, какой она на них получалась.

После ванной Наталья опять смотрела на себя в зеркале прихожей. Поворачивалась в профиль. Схваченный банным полотенцем зад походил на свисшую торбу. И что во мне такой вот жирной он нашёл?

Вспомнилась ещё одна сентенция раскатывающего инвалида, услышанная через месяц: «Счастье человека, Наталья Фёдоровна, в том, что он не видит себя со стороны. Другие видят его, а он себя – нет. Понимаете? Это всё равно как в туалете не слышать своей вони». И он раскатывал дальше и смеялся, прямо-таки счастливый от своего открытия.

Он вот как раз и не видит себя со стороны. А если видишь? Видишь себя в зеркале? Как сейчас? Видишь такую тушу и страдаешь?

Вахрушева прошлым летом погнала всех на стадион. Словно бы сдавать ГТО. Вспомнила вдруг советские времена. Наталья на ста метрах упала. Снесла кожу на левой ноге. Уходила к раздевалке, сильно хромая, полоща порванной до колена штаниной. (Случись там в тот день фотограф в коляске – уж точно бы сфотографировал её.)

В телевизоре над раскрытой могилой английского кладбища висела тесная стая чёрных зонтов. Как будто организованно скорбели под дождём летучие мыши. Наталья смотрела, после плотного

ужина расслабленная, с бурым лицом. Султан на вымытой голове был как у турка. Изредка отпивала из стакана чай.

Потом был ведущий передачи «Человек и закон». Серьёзнейший зануда. После слова «смотрим!» – всё время расписывался в какой-то бумажонке на столе. Наталья отпивала, смотрела. Фотограф с Лермонтова тоже бы заснял эту домашнюю картину: отдыхающая у телевизора умиротворённая толстуха.

Даже не помыв посуду, Наталья рухнула на диван, сбросила на пол книжку «Ювенильное море». Выключила свет.

Во сне увидела бухгалтера Колотилина. Первого своего мужа. Фёдор Степанович гонялся за ней по Новоявленке, бил по заду большим дрыном. Кричал: «Гадина! Гадина! Сука!» По всей деревенской улице стояли платоновские мужики с обложки книги «Ювенильное море». Ничего не делали, чтобы защитить Наталью. Исхудалые, молчаливые. С длинными, как лопаты, руками.

Колотилин Фёдор Степанович был старше Натальи на двадцать лет. Женившись на ней, очень серьёзно воспитывал. Для себя. Для своей размеренной, спокойной, осмысленной жизни. И в Правлении, где под его началом она стучала на счётах, и дома – в просторном коттедже, построенном специально для него совхозом. За полгода, что прожил с ней, он ко многому её приучил.

Супружеская кровать в спальне коттеджа была, наверное, выше эшафота. Наталья забиралась на неё тяжело. Неповоротливой толстой куклой. Фёдор же Степанович всегда запрыгивал. Этаким лихим наездником. Однако вместо того, чтобы обнимать жену, сразу же разворачивал центральную газету. Такую же газету давал и Наталье. Оба долго читали. Всегда были в курсе текущей жизни Страны. Потом свет выключали. С блестящими глазами лежали полностью удовлетворённые. Словно подвешенные на канцелярские какие-то дыбы. Засыпали.

Всё поломал вернувшийся из армии в тельняшке и берете ВДВ Лёнька Троеглазов. В коттедже он кинул Фёдора Степановича приёмом в спальню. Затем увёл рыдающую неверную невесту к себе, в мазанку на окраине деревни. Однако мать его, тощая Троеглазиха, стала гнобить Наталью сразу. Всё припоминала измену сыну, ела поедом. Да и Лёнька после ВДВ стал диким, непредсказуемым. Скрипел зубами, ходил по деревне, бил о голову кирпич, потом злыдарил дембельную песню под гитару.

Мать Натальи умерла три года назад. В родном доме брат развёл уже большую семью. И, пожив в мазанке с Троеглазихой и её сыном только месяц, Наталья сбежала в Город. К Тане Зуевой. Верной подруге. Три года уже живущей и работающей там.

6.

В мае, в солнечный день, опять увидела фотографа-инвалида. Теперь уже на Тургенева, когда шла на обед домой. Он гнал навстречу. И вроде бы не видел её. Но, подлетев, тут же завернул и начал выписывать по своему обыкновению вокруг неё круги.

Он выскакивал с разных сторон. Он смеялся, он хвастался, что Уставщиков Герман Иванович уже отослал снимки в Москву, что самые лучшие снимки в подборке – это снимки её, Натальи!

Она шла и словно налетала на коляску. Она не могла смотреть на пригнувшуюся голову и спину инвалида, на его руки, дёргающие и дёргающие рычаги. Встречные люди замедляли шаги. Она опускала голову. А он и не думал останавливаться. Как невероятный какой-то, собранный из железа и плоти плясун, наяривал и наяривал рычагами.

Вдруг остановился и крикнул:

– Наталья Фёдоровна, смотрите!

В руках его появился фотоаппарат, и он начал снимать шевелящийся от ветерка кипенно-белый сиреневый куст. На противоположной стороне улицы. Который, словно вельможа с оттопыренными мизинчиками, проверял и проверял свои белые кружева и оборочки.

Он снимал его и так и этак.

– Извините, что задержал, – катил потом он рядом и смеялся, сунув фотоаппарат в сумку.

Наталья думала, что он не знает, где она живёт. Но у дома на углу он остановился точно. Даже возле её подъезда.

Помявшись, она пригласила его попить чаю.

Петушистость сразу слетела с него:

– Мне не подняться на четвёртый этаж, Наталья Фёдоровна. Извините. До свидания.

Он покатил назад. Не поднимал головы. Не видел даже белый куст, который только что снимал.

В Обществе афганцев человек семь инвалидов шумели вокруг стола Николая Прокова, председателя. Двое безногих сидели в колясках, остальные махались руками со стульев. Только что вышел новый Указ об афганцах. Было о чем покричать инвалидам. Проков утихомиривал. Проков водил над головами чёрной протезной рукой:

– Тихо, ребята, тихо! Тихо, я сказал!

Увидел въехавшего в комнату Юру Плуга. Все тоже повернули головы. Сразу замолчали.

Плуг отслужил в Афгане в автомобильных войсках. Считался ветераном неполноценным, что ли. В боях и зачистках не участвовал, под пули не шёл. Просто возил в Кабул для контингента боеприпасы и тушёнку. Конечно, духи, случалось, жгли и грузы. И погибали ребята. Но этот-то съехал с КамАЗом в пропасть. Где-то на перевале. Переломался весь. Вроде бы в гололёд это случилось. Никогда ведь об этом не расскажет. На сходки афганцев не ходит, песню про батяню-комбата не поёт. Зато медаль получил и льготы все имеет. Да ещё Проков почему-то благоволит ему. Этому Плугу. Вон, уже телефон накручивает. Прямо-таки друг к нему сердечный приехал!

Полноценные хмурились. Косились на Плуготаренку. Мало, видите ли, ему пособия от государства. На механическом работал – как надомника сократили. На картонажку теперь лезет. Чтобы коробки клеить. Чтобы к пособию опять получать.

Проков уже писал что-то. Нос его походил на песчаную дюну. Откуда-нибудь из Прибалтики. Или, если проще, – на сглаженный шлем.

– Вот, Юра, – протянул записку. – Поезжай, оформляйся. Всё будут привозить так же, домой. Пару тысчонок в месяц будешь заколачивать. Ну, давай, друг! Вере Николаевне большой привет!

Веру Николаевну Проков очень уважал. Познакомился он с ней ещё в далёком 82-м году в ташкентском окружном госпитале № 340, куда она приезжала забрать домой сына-инвалида и куда его, Прокова, месяцем ранее с гангреной руки эвакуировали самолётом из госпиталя Кабула. Прокову оттяпали в ташкентском госпитале левую руку почти по плечо, сутки он был в реанимации, ещё дня три пролежал в палате и начал вставать.

Забинтованный по плечо, как обрубленный на один бок, в столовой оказался за одним столом с каким-то колясочником. Познакомились. Оказалось, что они земляки. Оба из Города. Плуготаренко уже был старожилом в госпитале. За полгода ему собрали таз и обе сломанные ноги, сделали две сложнейших, но бесполезных операции на позвоночнике. Он прошёл реабилитацию, получил коляску и ждал мать, чтобы та увезла его домой.

Парни, хотя и были не одного ранга (один лейтенант, другой – рядовой), да и лежали в разных палатах, стали видеться каждый день. Ели за одним столом, курили на воздухе, таскались по больничному парку. Плуготаренко ехал, Проков шёл. Разговаривали.

Проков, постоянно мрачный, винил себя, что руку потерял по глупости. Пуля прошила её навылет, даже не задела кость. Нужно было обеззаразить рану мочой, а не лежать с замотанной чёрт знает чем рукой на сорокаградусной жаре в горной пыли несколько часов под пулями и минами духов. Тем более поражал его какой-то неиссякаемый оптимизм нового друга. Всего перекалеченного колясочника Плуготаренко. Уверявшего всех и, походило, больше себя самого, что он, Плуготаренко, родился в рубашке. И это говорил весь переломанный инвалид, который никогда не будет ходить!

Как рассказал потом сам Юра, на перевале в утренний гололёд КамАЗ внезапно повело с узкой дороги. И большегрузная машина полетела с горы вниз. Не успевшие выскочить, не взятые на ремни два шофёра кувыркались в кабине, почти сразу потеряв сознание. Обоих вынесло через лобовое стекло на камни. Сверху их увидели возле белой, рвущейся в лощине речки. Как оказалось, один был жив.

Хлопались лопасти вертолёта, корпус трясло, как амбар. От боли Плуготаренко всё время терял и вновь выхватывал сознание. Однако почему-то удивлялся, как пацан – в таком трясущемся амбаре он летел первый раз в жизни.

Через полгода приехавшая в Ташкент Плуготаренко-мать, в больничном парке увидев сына в коляске, бросилась, обняла ноги его и зарыдала. Но сын почему-то старался освободиться от неё, отталкивал и не переставая смеялся. Смеялся как дурачок:

– Мама! Ха-ха-ха! Что это ещё такое! Ну-ка прекрати! Ха-ха-ха!

Какой-то забинтованный парень без руки поднимал её с колен, а сын всё раскатывал вокруг и смеялся. И было непонятно матери, над чем он смеётся. Сын смеялся словно бы над солнцем. Которое строило рожи в высоком азиатском тополе. Мать перестала плакать.

На другой день перед отъездом поговорила с врачами. Печальный узбек с лицом, будто чёрный сапог, сказал: «Посттравматический синдром. Бывает и в таком виде. В весёлом. Радуется, что остался живым. Должно пройти».

Но у сына ничего не проходило. Ликующий, он мчался вдоль состава по перрону к воинскому третьему вагону. Мать и Проков еле поспевали за ним.

Пока Вера Николаевна управлялась с вещами и подавала билеты, сын опять раскатывал и раскатывал вокруг. Смеялся, вскидывал лицо, жмурился от солнца. Два дембеля вынули его из коляски и занесли в вагон. Но и в купе, посаженный на нижнюю полку, он, казалось, продолжал раскатывать. Размахивал руками, смеялся, со всеми знакомился.

И только когда Проков сложил и занёс коляску, когда замкнул его руку своей прощальным замком – глаза обезноженного инвалида заполнились слезами:

– Спасибо, друже, – прошептал он. – За всё спасибо. До встречи дома.

Глава вторая

1.

Вечерами мать и сын собирали и склеивали из нарубленных на шаблонах заготовок картонные коробки. Заготовки привёз на дом рабочий с картонажки. Он же показал, что и как делать. Сын довольно быстро освоил фальцовку. То есть перегибал по линиям и складывал заготовку в форму коробки. Мать клеем мазала торцы. Склеенную коробку откладывала в сторону. Поглядывала на пригнувшегося сына. Плуготаренко-отец звал его Юриком. Даже Юричиком. Прямо с роддома, с пелёнок. Так и пошло.

В шестидесятых да и в начале семидесятых жили в «голубятне» на Комсомольской – четырёхэтажном доме, набитом коммунальщиками. Приехавший с Дальнего Востока офицер Плуготаренко, которого комиссовали по здоровью, хотя и имел самоварное галифе вместимостью на пару кубов, добиться отдельной квартиры не смог.

Комнатёнка на третьем этаже, украшенная им для родившегося сынишки (Юричика), походила на рождественскую коробку-игрушку. С развешенными гирляндочками, пластмассовыми попугайчиками, мишутками и ёлочными шариками. Даже висящие всюду пелёнки и ползунки хорошо вписывались в эту праздничную комнатку-игрушку. Которая раскрывалась словно бы с музыкальным звоном. И откуда Офицер как-то снизу, как для снимка, выглядывал с толстеньким Юричиком.

Сохранилась фотография того времени, на которой стоящий Плуготаренко держит на руках годовалого сына. Галифе Офицера обвисло, провалилось, словно ему тяжело держать сына. С Дальнего Востока он тогда приехал без контейнера. Вообще безо всего. Зато в чёртовых этих галифе. Сейчас и сын его такой же. Чтобы телефон на дом требовать – нет, только коробки выпрашивает.

Вера Николаевна мазала торцы, вздыхала. Попросила сына увеличить какую-нибудь фотографию отца. Пусть будет ещё одна на стене. В добавление к трём уже висящим.

После ужина Юрий раскрыл на чистом столе семейный альбом. Безымянные фотографы снимали отца в период с 61-го по 71-й год – ровно десять лет его жизни на гражданке. Больше всего сохранилось фотографий с любимым Юричиком, где Офицер всегда был почему-то с ним щека к щеке, как будто вёл его под музыку танго. Однако были фотографии и с его работ.

А успел он поработать за эти годы только в трёх местах: военруком в мужской школе-семилетке, директором городского парка и даже директором бани на Холмах. Вот он во дворе школы-семилетки, видимо, на большой перемене, точно смеющийся чабан, пытается сгуртовать в какой-то порядок мечущихся, не дающихся ему малолеток из третьего или четвёртого класса. На другой – уже в городском парке – серьёзно указует двум плотникам, которые хмурыми топорами вытюкивают новую после Сталина хрущёвскую карусель. И, наконец, на крыльце бани на Холмах он стоит со своими банщицами, удерживающими банные веники. Точно с четырьмя русскими гейшами с опахалами. По две о каждую его руку.

И везде, на всех фотографиях – он в чертовском своём галифе, свисающем подобно знамёнам анархиста.

Любил человек носить галифе, любил. Чего уж тут. Носил до самого последнего своего дня. До нелепой трагичной своей гибели.

Это случилось в мае 71-го. С тремя мороженными в руках он шёл через дорогу к жене и сыну. Его ударил, переехал грузовик. Кинувшийся с противоположной стороны десятилетний Юрик увидел в

пыли под грузовиком маленькие сапоги и жутко плоское галифе отца. Разом сдувшееся, словно это из него, из галифе, вытолкнули под грузовик всю дорожную поднятую пыль.

Бегал, стенал шофёр. Вера Плуготаренко прижимала голову сына, не давала смотреть. Сама скулила, как собака...

Фотограф почувствовал на своём плече мягкую руку. Ну, как, Юра, – выбрал?

Сын разложил перед матерью три фотографии.

– Вот эта подойдёт, – сразу ткнула пальцем Вера Николаевна.

На снимке Офицер, совсем молодой, стоял в другом галифе. Наверняка парадном. Хорошо поддутом снизу. На кителе Офицера, как на выпуклой кирасе, был привинчен Гвардейский знак и висели три медали. Фотография была помечена 7-м ноября 50-го года. И дальше – гор. Владивосток. И пояснение: «Это я сразу после парада».

В ванной свет из фотоувеличителя стекал. Так течёт очищенное зерно из элеваторного сепаратора.

Юрий подложил под свет снимок отца.

Ночью, во сне, к Вере Николаевне вдруг пришёл на работу погибший муж. Она вздрогнула, разом покрылась потом.

Он стоял прямо перед её канцелярским столом в неузнаваемом, уставшем галифе и был, как Бог, весь в слезах.

– Вера, почему наш Юричик клеит коробки? Почему он в коляске, без ног? Как ты допустила такое? Вера, ответь!

Вера Николаевна поперхнулась.

– Иван, дорогой, ты видишь, я занята. Я готовлю бумаги для архива, а ты входишь в кабинет без стука. Ты сильно напугал меня, Иван Гаврилович. Выйди, пожалуйста, и постучи, чтобы я смогла успокоиться.

– Нет, Вера Николаевна. Почему наш Юричик попал в автороту башкирского города Бирска, а оттуда в Афганистан? Как такое могло произойти? Вера, ответь!

Он перегнулся через стол и посмотрел ей прямо в глаза. Жёлтыми, неземными глазами. «Почему, Вера?»

Плуготаренко чувствовала, что сейчас у неё разорвётся сердце.

Не дождавшись ответа, умерший муж отвернулся. Оступаясь, пошёл. Понёс из кабинета уставшее своё галифе.

Вера Николаевна проснулась. Села в кровати, унимая сердце. Потом лежала, таращилась на уползающий от света машин потолок. Вспоминала...

2.

Младший офицер связи, он почти каждый год приезжал к матери в отпуск из разных концов страны.

В первый день, в ожидании гостей, он всё время рулил своё галифе по коммунальному коридору на кухню и обратно. Таскал еду, которую готовила мать.

В одной из квартир, у раскрытой двери, вроде бы совсем безразлично, всегда сидела с книгой в руках школьница Вера Веденеева, будущая его жена. Офицер в галифе и белой нижней рубашке, даже с тарелками и кастрюльками, ей очень нравился. Она уже тогда была в него влюблена.

На другой год он приехал с молодой женой. Потом приезжал уже один. Развёлся. Пробегая с кастрюльками на кухню, он, конечно, видел, как читающая девчонка постепенно превращается в тощую, но грудастую деваху с острым носом. Он был свидетелем этого превращения.

В 59-м году Офицер приехал к заболевшей матери только на три дня. Уже совершеннолетняя Вера Веденеева, сама не помня как, оказалась у него за столом среди галдящих гостей. Больная мать сидела во главе стола вконец исхудавшей паучихой. Только пошевеливала на скатерти вытянутыми тощими руками. Уже ничего не могла ни контролировать, ни предотвратить. И когда гости разошлись, Вера Веденеева оказалась за занавеской на кровати в объятиях быстрого, страстно просопевшего ей в ухо Офицера.

Девятнадцатилетняя, она запомнила только боль, резанувшую её внизу, и больше ничего.

На другой день Вера была выходная, в больницу, где она работала санитаркой, ей не надо было, и они гуляли по зимнему белому Городу. Вера Веденеева очень гордилась, что ведёт под руку статного офицера в белом полушубке, в белой шапке, в сапогах и галифе. Две закутанные в шали кумушки долго оборачивались, спотыкались: «Самоварами своими, подлец, девчонку взял. Втрескалась по уши, бедная».

Вера даже специально провела Офицера по Белинского мимо трёхэтажного корпуса больницы, наблюдая, как по окнам мечутся суматошные халаты подруг-санитарок.

Побывали в кино на дневном сеансе. Потом в гостях у его знакомых.

Поздно вечером вернулись в «голубятню», в коммунальный свой дом. Поднялись на свой третий этаж.

Вера отказалась идти в комнату с его больной, но не глухой матерью. Тогда Офицер в коммунальном коридоре выключил свет, вскинул её на руки и распял прямо на стене. Как лягушку.

Он оказался очень сильным. Он удерживал её на стене и работал очень долго. Вере было неудобно на стене, больно круто вывернутым ногам. Она невольно думала, почему все дома, где продается и покупается любовь, называют домами терпимости. Вера была читающей девушкой. Дома у неё как раз лежала начатая книга Эмиля Золя.

В темноте свезли со стены чей-то велосипед. Велосипед грохнулся и, на удивление, поехал. Офицер пытался поймать его и унять. Воспользовавшись этим, она шмыгнула в свою комнату и закрыла на ключ дверь. Сразу увидела вытянутое лицо матери за столом. «Ну-ка повернись! В чём это ты?» Вся спина у Веры была в извёстке.

Вера толкала измазанную шубку в одежду на вешалке, бурчала что-то, отворачивалась.

На третий день он уже уезжал, и Вера, отпросившись из больницы на полчаса, смогла проститься с ним только на вокзале. Он курил у вагона, поглядывал на часы. Казалось, мало обращал внимания на востроносую девчонку рядом с собой, которая в лохматой шубке смахивала на тонконогого чижика-пыжика.

«Ну, увидимся!» – сказал он, мазнул губами по её щеке, запрыгнул на подножку и сразу исчез за внутренней дверью вагона. Она шла, долго махала уползающему со станции поезду.

Месяца через полтора Веру Веденееву начало тошнить. И в больнице, и в коммуналке. На виду всего дома она постоянно выбегала к уборной у забора. Неизвестно, что написала сыну умирающая мать, но Вера вскоре получила от Офицера письмо, в котором он называл её «дорогой», «любимой» и жаждал новых встреч.

Женщин младший офицер связи Иван Гаврилович Плуготаренко никогда не чурался. За годы службы в разных гарнизонах страны были в его победах как весёлые *морзистки*, подвижные, точно гольяны, так и задастые серьёзные штабные *бодистки*. И Вера Веденеева была бы наверняка забыта, если бы не забеременела от него.

К тому же Веденеевы похоронили его мать, когда он лежал в армейском госпитале города Чита с больными почками. И этого Офицер тоже не забыл – как только его списали из армии, сразу приехал в Город. Вера встретила его на вокзале. Была она уже с коричневыми пятнами на лице и с острым гордым животиком.

3.

Вера Николаевна торопилась, опаздывала на работу. Быстро носила завтрак на стол.

Сын в коляске сидел среди склеенных коробок. Походил на бездомного в картонном разгромленном своём жилище. Где-нибудь в американском Бронксе или Гарлеме.

Присев, Вера Николаевна наскоро нашлёпала ножом масло на хлеб. Стала запивать бутерброд чаем. Сын с жёлтыми следами в углах рта от яичницы почему-то вяло возил её в сковородке. Подвинула ему бумажные салфетки: вытри рот. Из головы не шёл ночной сон.

– Юра, зачем нам эти коробки? Ведь хватает пока. Ты пособие получаешь, я зарплату. Не то всегда просишь у Коли Прокова. Сколько я тебе про телефон говорю? Ведь имеешь право. По закону.

На улице почти сразу увидела Прокова. Лёгок на помине! Хотела было перейти дорогу, догнать и поговорить о телефоне. Но Николай Проков шёл и натурально отбивался от какой-то маленькой женщины. Подступающей и подступающей к нему с разных сторон.

Вера Николаевна приостановилась. Это была Хрусталёва. Точно. Галька Хрусталёва. Маленькая говёшка. Всё такая же хайластая. С длинным, как продёрнутый стояк, горлом. Значит, уже отсидела, вернулась.

Не в силах побороть женского своего любопытства, Вера Николаевна почти на цыпочках пошла по тротуару, поглядывая через дорогу на ругающуюся бабёнку. Даже забыла, что опаздывает на работу.

Хрусталёва что-то требовала у Прокова. Уже наскакивала бойцовым петушком, чуть ли не царапала ему лицо. В Обществе афганцев-инвалидов она появилась ниоткуда. В 91-м году. Она не имела никакого отношения ни к парням-афганцам, ни к афганской войне. Она просто бегала по Городу и

втюхивала всякие гербалаи разом тупеющим пенсионерам и пенсионеркам. Однажды забежала к инвалидам на Белинского. Попала на общее собрание. Напористая, с трибуны она сразу объявила, что брат её тоже был афганцем, героем-афганцем, геройски погиб под Кандагаром. Никто слыхом не слыхивал о герое-афганце Хрусталёве из Города. Но все почему-то прониклись и загрустили. Освободили даже место ей в первом ряду, согнав с него простого ветерана без правой руки.

Через неделю она уже занималась в Обществе всеми финансами. Лихо крутила калькулятор, лихо щёлкала на печатной машинке. Почти сразу переспала со всеми рабочими членами Актива. И сам Проков в её цепкие ручки попался, и его заместитель Громышев, и одноногий Кобрин. И даже слепой Никитников. Всех жалела и ублажала Галька Мать Тереза. Её явно тянуло к обнажённым стесняющимся культям инвалидов-афганцев. И к верхним, и к нижним. Прокова она всегда просила отцепить черную кожаную руку. Породнившиеся активисты явно смущались друг друга. Когда приходилось сидеть за одними столом, опускали глаза. Все четверо были женаты, имели детей.

Вера Николаевна застала однажды её даже у себя дома. Но целые, хотя и недвижные ноги сына-инвалида, стоящие на приступке коляски, по всему было видно, Хрусталёву не впечатлили. Только похлопала инвалида по щеке и ушла. Вере Николаевне стало даже обидно – будто её сын не сдал экзамена, не дотянул до аттестата.

Через полгода Хрусталёва исчезла. Со всеми деньгами Общества. В раскрытом сейфике Прокова осталась валяться гроздочка ключей да записка: «Я буду скучать». А ниже написанного – большое пиковое сердце. Пронзённое к тому же не одной, а целыми пятью стрелами.

Её поймали где-то в Сибири, но судили в Городе. На суде были и каменные лица обманутых жён, и стиснутые зубы беспомощных активистов. Галька орала, не жалела никого. Пыталась утащить за собой Прокова и Громышева. Но не смогла – адвокаты отбили.

И вот она вернулась. Да-а, что ждёт теперь весь рабочий Актив? Куда они побегут? Кто в какую сторону?

С улыбкой Вера Николаевна открыла высокую дубовую дверь горсовета.

На столе уже лежало несколько папок с документами. Сегодня подкинула бухгалтерия. В небольшой комнатке горсовета Вера Николаевна уже три года сидела «на архиве». Кабинетом комнатку назвать, наверное, было нельзя, но всё же на двери, снаружи, как у всех, отблескивала стеклянная табличка с крупными буквами – «АРХИВ».

Синекуру эту помог получить Вере Николаевне Зимин Михаил Андреевич. Начальник транспортного отдела горсовета. Верный друг погибшего мужа. Друг ещё со времён «голубятни» на Комсомольской. Где Плуготаренки и Зимины прожили рядом не один год.

Голубятней дом горожане прозвали не зря – четырёхэтажный кирпичный коробок действительно походил на голубятню, стоящую в большом дворе на отшибе. Единственный, как подкоп, вход в коробок напоминал оживлённую фабричную проходную. Вечернюю или утреннюю. Днём возле «голубятни» было пусто. Даже дети всего большого двора – вездесущие – возле неё не задерживались, только промелькивали.

В коммунальном коридоре третьего этажа Офицер в галифе направлял своего Юричика на велосипедике, избегая столкновений с ларями, ванночками и тазами, стоящими вдоль стен и висящими на них. С другого конца коридора таким же макаром вёл велосипедик со своей дочкой Миша Зимин. Юлечка и Юричик встречались на середине коридора и останавливались. Юричик сердито осаживал педали, будто буксовал. Юлечка тоже осаживала, но с улыбочками, как мяукающая кошка. Отцы разводили их и направляли в разные концы коридора. Чтобы они могли там развернуться и вновь встретиться на середине коридора. Чтобы осаживать, покачивать себя на месте. У обоих сиденья велосипедиков были красивыми, как турецкие фески – с кисточками.

Под тепло светящим абажуром у Плуготаренков вечерами после ужина играли в лото. Две супружеские пары. Не очень молодой уже Плуготаренко тряс мешочек с бочатами под столом. Словно в непомерном своём галифе. По сравнению с ним, молодой ещё Миша Зимин служил в армии уже в конце пятидесятых, однако от химического ожога там же в армии имел липкую, как яичница, щеку и постоянную вкусную папиросу в углу рта. Спокойно выкладывал на своих карточках «квартиры». От неиссякаемых его баек, от анекдотов – за столом покатывались. Офицер, хотя и повидал немало, так свободно, как Миша, рассказывать не мог, поэтому только смеялся. Изнемогал от смеха. И почему-то стоя. Словно чтобы не мешать свисать своему галифе. Две совсем молодые женщины сгибались. Боялись только одного – от смеха лопнуть.

На расстеленном одеяле дети играли на полу. На взрослых внимания не обращали. Юлечка по очереди пеленала двух целлулоидных куколок, Юричик сердито возил один и тот же поломанный мотоцикл. С плоским пригнувшимся мотоциклистом.

4.

– Ну, как ты тут?

Прикрывая за собой дверь, в Архив входил Михаил Андреевич Зимин.

Поздоровался, коснувшись губами щеки Веры.

Сидел у стола, постукивал пальцами по оргстеклу. Спросил «про Юричика». Как он там? Фотографирует? Как его успехи?

Зимин считал себя в некотором роде крёстным Юрия как фотографа. На день рождения года три назад Михаил Андреевич подарил имениннику фотоаппарат «Зенит». Первый фотоаппарат в жизни Юрия. Высмотрел в универмаге и купил по какому-то наитию. Никак не предполагая, во что это выльется у того.

Вера Николаевна будто не услышала вопросов. Вера Николаевна рассказала про коробки.

Зимин не понял.

– Ну склеиваем теперь коробки, понимаешь? Картонажный цех теперь у нас в квартире.

Женщина смотрела на смеющегося, махающего рукой мужчину. Грузного, с поредевшими, как ковыль, волосами, но всё с той же весёлой яичницей на щеке.

– Зачем нам это, Миша? Хоть ты ему скажи.

Мужчина перестал смеяться. Вытирал платком глаза. Посматривал на женщину. Перед ним сидела пятидесятипятилетняя старая дятла. С острым носом и совершенно диким коком на голове.

– Радуйся, Вера, что не поддаётся он, не ломается. Сколько таких, как он, уже спились да повесились.

Посидел и добавил:

– Мне жаль, Вера, что не сошлись они тогда, в 82-м. Он и наша Юлька. Честное слово, жаль.

Поднялся и пошёл к двери.

– Эко вспомнил! Столько лет прошло!

Вера Николаевна нахмурилась.

5.

В 82-м году, когда привезла сына из госпиталя в Город, на перроне увидела всех Зиминых. Мать и дочь шли вровень с останавливающимся вагоном, поигрывали ручками окну, где мелькали сумасшедшие длинные руки чёрта. То есть Юричика. Однако когда сильный Михаил вынес смеющегося инвалида как подарок, губы матери и дочери сделались одинаковыми, как у рыб – скорбными скобками. В глазах обеих возникал один и тот же вопрос: почему он всё время смеётся? Он что – с курорта приехал?

В служебном автобусе Михаил показывал афганцу пролетающие новые дома. Чтобы как-то приглушить неостанавливающийся смех инвалида, как-то оправдать его, сам хохотал. От своих же поспешно рассказываемых анекдотов.

Мать и дочь сидели впереди. С двух сторон удерживали Веру Плуготаренко. Как онемевшие две плакальщицы с чёрно-белой фотографии. Оглушённые встречей, они забыли даже все подбадривающие слова, какие надобно говорить в подобных случаях.

Вера Николаевна часто вспоминала потом ту встречу на вокзале. Не забыть было испуганных глаз подруги и её дочери. Как поворачивались они за инвалидом, когда тот начал гонять вокруг них на коляске. Как непроизвольно прижимали к бёдрам руки, зажимались, точно инвалид стремился задрать им обеим платья...

Чтобы отвлечься от воспоминаний, Вера Николаевна начала собирать на столе все папки. Понесла их обратно в бухгалтерию. Снова притащили в Архив без подписей комиссии!

В обед опять увидела сына за работой. Прижимая линейку, сын старательно загибал картонные заготовки. Неожиданно для себя сказала. Почти словами Зимина:

– Зря ты не сошелся после Афганистана с Юлей.

Сняла тесные туфли и прямо в чулках, разминая ступни, пошла на кухню.

– Это для чего же? – прикатил на кухню сын.

– Внуки бы у меня теперь были. Вот для чего.

Вера Николаевна пустила в кастрюлю воду для пельменей. Поставила кастрюлю на газ.

С надсадой сын начал доказывать матери:

– Мы же с Юлькой знали друг о дружке всё, мама! Мы же танцевали вместе с детства! Как в балете балетная пара! Где мальчишка и девчонка даже не видят друг в друге противоположного пола. А вы все хотели, чтобы она пожалела меня после Афгана. Что бы из этого вышло?

– Да она же приезжала к тебе в Бирск, писала потом письма!

– Ну и что?

Молча ели куцые, как обкусанные, покупные пельмени. Забывая макать их в порошковую сметану.

Юлька приезжала к нему в Бирск, как оказалось, за три дня до отправки автороты в Афганистан. Капитану Лиходееву он зачем-то доложил тогда, что к нему, рядовому Плуготаренко, приехала не просто девушка, а невеста. Чтобы солидней выглядело это. Однако когда вышел на минуту за КП, сразу спросил у неё: «Ты зачем явилась сюда?» Увидев, что за ним наблюдают улыбающиеся рожицы в пилотках, тут же профессионально зажал невесту. Как на съёмке, как киноактёр. Поцелуй длился всю отпущенную ему минуту. «Раз! Два! Три! Четыре! Пять! – считали на КП. – Давай, Плуг, ещё! Ещё!» (Странно, успела удивиться тогда Зимина Юлия: непонятным образом школьное прозвище Юрки – «Плуг» – перетащилось за ним и сюда, в армию.)

На второй день, получив увольнение, водил Юльку по городку. В парке к ним прибился Генка, напарник по экипажу, тоже болтающийся в увольнении.

– Гена, – представился он Юльке и пожал ей ручку. От родителей ему одновременно достались и фамилия и прозвище. Поэтому добавил: – Лапа.

Так. Понятно. Гена Лапа и Юра Плуг. Два друга теперь. В одном экипаже.

С бутылками портвейна и едой отправились в небольшую гостиничку, где уже ночевала Юлька.

В комнатке на втором этаже выпивали, закусывали. Невеста спрашивала про Афганистан. Парни были добродушны: ерунда, не отправят нас, слишком далеко мы от границы.

От выпитого, от разговора все трое немного отупели. Деликатный Лапа всё порывался уйти, чтобы оставить жениха и невесту наедине. Плуг всякий раз хватал того за рукав, сразу наливал в стакан.

Наконец Лапе всё же удалось уйти. И они вдруг начали раздеваться. Словно не могли уже остановить раскрученного ими самими дурацкого какого-то маховика. Какой-то балаганной карусели, на которую нужно теперь непременно запрыгнуть.

Потом лежали на полу, на одеяле, укрощали дыхание.

Молчком быстро одевались. Точно опаздывали.

В этот же день он проводил её на автовокзал, посадил на автобус до Уфы, до железной дороги. У неё начинались занятия в мединституте в Москве. Куда она как раз перед поездкой к нему успешно поступила.

А на следующее утро автороту подняли по тревоге. Через полчаса колонна из зелёных грузовиков уже поползла от низины у реки в гору, чтобы выехать на Уфимский тракт.

На грузовой станции «Уфа» погрузились на открытые платформы, и зелёные грузовики с солдатиками при них отправились, как оказалось, к афганской границе.

Юлька была на станции. Шла и махала двум парням в выгоревших гимнастёрках, уплывающим со своим грузовиком, схваченном на платформе проволочными растяжками. У парней от мужества и задавливаемых слёз сводило скулы.

6.

Отвернувшись к раковине, мать мыла посуду.

– Сегодня видела ещё одну твою невесту – Хрусталёву. Отсидела. Вернулась, стервозка. – Вдруг начала смеяться: – Баннова уже плещет по Городу, что весь ваш Актив разбежался. Галька гоняет. Ни один на работу не ходит. Даже сам Проков у кого-то на даче прячется. У себя дома все ставни закрыл – боится, что Галька стёкла повыбьет. Хих-хих-хих! И смех, и грех! И где вы теперь будете прятаться от неё? Хих-хих-хих!

Сын покраснел. Разом вспомнил всё. Методично мотающуюся головёнку у себя в паху. Себя самого – размахивающего руками, закидывающего голову, пропадающего.

Нормально у него в первый раз не получилось. Она лихо запрыгнула к нему на коляску, мгновенно соорудила из себя, инвалида и коляски совершенно новую функциональную камасутру. Она ёрзала по вялому его достоинству и, казалось, от этого ловила ещё больший кайф. Не ухватись Плуготаренко за стол – они бы точно опрокинулась назад.

А уж потом, после небольшой передышки, и замоталась крашеная головёнка. Замоталась, как чёрненький прах.

Мать пришла уже позже и ничего вроде бы не заметила.

Была Хрусталёва ещё несколько раз. Плуготаренко попривык к ней, у него стало получаться. Готовясь к её приходу, прибирался в квартире. Сделал даже удачную, на его взгляд, чёрно-белую фотографию. На ней Галя, обнажённой, сидела в его коляске. Свет от окна падал так, что почти вся она скрылась в тени. Слегка высвечена была только правая грудь её. Грудь красивая. Прямо-таки грудь Мадонны, уже высвобожденная младенцу. Хотел даже преподнести фотографию ей. Но когда она смылась с деньгами инвалидов, снимок порвал. «Мадонна хренова!»

Проков после своего позора на суде пришёл с поллитрой. Уже хорошо поддатым. На кухне стукал стаканом в стакан друга, заглатывал водку, жаловался, что жена Валентина грозится теперь разводом. Сын Женька тоже смотрит волчонком. Что делать, Юра? Покачивался, мучился, удерживал чёрную протезную руку, словно больную судьбину.

Плуготаренко утешал, поддакивал. Но когда Проков, кляня себя за то, что поддался когда-то Хрусталёвой, начал доносить подробности своих свиданий с ней, Юрий сразу увёл глаза. Почувствовал себя каким-то двойным агентом. Внедрённым агентом. Не разоблаченным ещё, но всё равно двуличным. Подлым.

Пришла с работы мать, и пьяный Проков продолжил было опять про роковую ошибку свою с Хрусталёвой, через слово трындя «Вера Николаевна! Вера Николаевна! Послушайте!» Но та прервала его:

– Да она даже к Юре подкатывалась! Коля! К Юре! Да я пришла, помешала, не дала ей.

Проков вскочил, затряс руку друга:

– Спасибо, Юра. Спасибо!

И под внимательным взглядом матери Юрий, встряхиваемый Проковым, опять увёл глаза в сторону: «Да ладно, чего уж, бывает». Дескать, устоял он тогда, не поддался.

Мать хмурилась, чувствовала что-то, поджимала и без того поджатый птичий рот.

После встреч с Хрусталёвой Юрий понял – он сможет жить с женщиной. Как мужчина. Однако мать, по всему было видно, сильно сомневалась, что парализованный сын годится для таких дел. Больше ехидничала. Всё время проходилась даже по фотографиям, снятым сыном. И Собачьей Мамы, и особенно фотографиям Ивашовой. Не раз специально торчала дома, когда Наталья приносила пособие. Хотела защитить его от неё как-то. Или, на худой конец, хотя бы отвлечь.

Верила она только в одну невесту для сына, которая сможет помочь ему. В Юлию Зимину. И то потому, что та стала врачом. Мать надеялась: есть какие-то средства, и Юлька поможет, вылечит. И всё будет хорошо: у них дети будут, а у неё внуки.

Когда вместе смотрели какой-нибудь фильм по телевизору, где в сладких его местах герой классически загибал невесту в поцелуе или оказывался с ней в постели – она непроизвольно поворачивалась к сыну, по-видимому, терзаясь – сможет он так или нет. И ответа не находила.

Перед уходом в свой горсовет она опять завела о телефоне. Чтобы ехал к Прокову, просил, требовал, добивался.

– Ну сколько можно воду в ступе толочь, мама? Не надоело?

Нет, Вере Николаевне не надоело. Она хотела, чтобы положенные льготы сын получил сполна. Хотела телефон, машину. Хотя бы такую, как у Громышева. Машинёшку. С ручным управлением. Чтобы сын свободно гонял по Городу, трещал, завивал за собой дым. Ну и она иногда рядом с ним.

Ушла, наконец. Плуготаренко сам стал одеваться. Чтобы поехать не в Общество, куда гнала мать, а к Сатказину и Адамову. В парк.

В дверь позвонили. Зоя Мякишева. Дворничиха. За руку с сыном Колькой. Всё таким же. С большой головой. В пожизненных своих колготках. Правда, сегодня без писюна наружу. Дырку заштопали.

– Юрий Иванович, выручайте! Не с кем оставить Кольку. Часа на четыре. Пусть побудет с вами. А?

Слишком много Колек вообще-то. Кобрин Колька. Проков Колька. Этот вот тоже Колька. Притом Колька-путешественник. Недавно еле нашли его на Холмах. Присев, разглядывал, как мину морскую, вымя у чьей-то дойной козы.

Плуготаренко отъехал: заходи! Бродяга пяти лет радостно забежал.

Минут через десять уже гнали по Лермонтова в парк. Колька сидел на коленях у инвалида, дёргал с ним рычаги, трещал, брызгался слюнями.

В парке гигантский неустойчивый человек из латекса, нагнетаемый воздухом, ломал свои ноги и руки на глазах у публики. Колька побаивался неустойчивого человека. Колька ходил вокруг недвижной карусели, как вокруг поникшей цыганской пляски. Не узнавая её. Плуготаренко неподалёку разговаривал с Адамовым и Сатказиным.

Зарегистрированная фирма «АДАМОВ И САТКАЗИН. ФОТОГРАФИЯ И ЖИВОПИСЬ» прописалась в парке давно. Длинный тощий Сатказин споро рисовал карандашом портреты самодовольных горожан и кокетливых горожанок, выхватывая их прямо из идущего потока и усаживая на брезентовый стульчик. Широкозадый, с маленькой головкой Адамов ходил по кустам вроде сутулого контрабаса, на который навесили фотоаппарат. Он пристраивал к кустам небольшие группки туристов, чтобы снять их художественно.

Прошлым летом на своей территории они неожиданно увидели инвалида с фотоаппаратом. Гоняющего на коляске и снимающего всё подряд. Людей, природу вокруг. Они подбежали к нему с гневными кулаками. Но, как быстро выяснили, инвалид оказался неопасным: снимал для себя, для забавы.

Сегодня инвалид показывал коллегам свою беду – заедающий в фотоаппарате затвор. Сатказин и Адамов тут же склонились над поломкой. И отвёрточка откуда-то взялась. И даже лупа.

Минут через пять, приняв от них камеру, Плуготаренко два раза проверочно сфотографировал парковый иссохший фонтан. «Окончательно проигравшаяся рулетка, – подмигнул умельцам, – а?»

Деньги за работу протянул им с благодарностью. «Да ты что, Юра!» – возмутились те.

Тогда пожал им руки, возле киоска напоил Кольку фантой и погнал с ним домой.

Уже на Лермонтова неожиданно увидел Ивашову. Наталью Фёдоровну! Тут же догнал.

Смеялся, как всегда беспрерывно говорил.

Однако Наталья мало понимала его. Наталья во все глаза смотрела на Кольку в его руках, забыв даже поздороваться. Смотрела, как на его сына. Как на какого-то маленького кенгурёнка, который выглядывает из материнской сумки. Который сердито брызжется сейчас слюнями, не выключает «мотор», недовольный, что из-за неё прервалось движение их автомобиля.

– Завтра 23-е, Наталья Фёдоровна! – прощаясь, напомнил радостный инвалид. – Жду вас!

И коляска покатила дальше. Инвалид и мальчишка опять заработали руками слаженно. Как какой-то двойной тянитолкай!

7.

В квартире Семибратовой всё так же едко пахло корвалолом. Старуха цепко пересчитывала деньги. Вдруг остановилась, прерывисто вдохнула и повалилась на пол. Вперёд лицом, взмахнув рукой с деньгами.

Ивашова – неудавшаяся студентка медучилища – в испуге отшатнулась. Тут же кинулась, стала поднимать. Тощая старуха оказалась просто неподъёмной. Будто куча железа. Кое-как завалила её на диван. «Спасибо, милая, спасибо, – уже шептала Семибратова. – Нитроглицерин там. В буфете». Наталья начала быстро перебирать целую аптеку пузырьков и таблеток на столешнице буфета, роняя их на пол. Нашла, наконец, крохотный пузырёк. Таблетку кинула в раскрывшийся рот – испуганно. Будто в серый кошель. Старуха загнала таблетку под язык.

Точно листья после порыва ветра, везде валялись разлетевшиеся деньги. Наталья принялась ползать, собирать. Старуха, казалось, не смотрела на неё, лежала лицом вверх. Однако спросила: «Сколько там насчитала, дочка?» Наталья сказала, вложила деньги старухе в руку. Та сразу прижала их к бедру.

Потом от соседей вызывала скорую, ждала её. Примчался на машине испуганный сын. За ним сразу скорая. Старухе сделали два укола, и она забылась. «Гипертонический криз», – сказал тяжёлый фельдшер в белом, больше смахивающий на мясника с рынка. Все, кроме сына, пошли из корвалольной квартиры. Старуха осталась лежать с раскрытым, торопливо дышащим ртом.

Наталья сидела на скамейке возле дома, приходила в себя. Неудавшаяся медичка, она недолго проучилась в училище. Её привела туда и заставила поступить Таня Зуева, подруга, сама уже закончившая его.

В анатомичке Наталья два раза упала в обморок. Там же, в приёмной анатомички, её однажды после занятий попытался изнасиловать преподаватель Малышев. Он удерживал её на единственном анатомическом столе приёмной, как не дающуюся, всю в слезах белугу, и приговаривал: «Ну же, ну же, Ивашова, не брыкайся! не плачь, дело житейское! ну же!» Когда ему показалось, что девушка укрощена и можно приступать, толстуха вдруг взбрыкнула так, что он отлетел к двери, упал там и сломал руку. Об этом Наталья не рассказала никому. Даже Тане. Чтобы не видеть каждый день трусящую мордочку Малышева, его загипсованную руку, сама забрала в учебной части документы. Тане же сказала, что не может делать уколы. На практике. Что не её это. Впрочем, так оно и было. Руки её тряслись. Старушечьи серенькие попки казались убитыми черепахами – она боялась обломать о них иглу. В общем, ушла.

Время подходило к шести. Наталья успела выдать деньги и медлительному персональному пенсионеру в сталинской квартире, и старичку на четвёртом этаже, опять предложившему ей стать его прачкой. Ровно в шесть принесла сумочку с остатками денег и ведомостью, сдала всё в кассу под расписку. Вахрушева хмурилась, чем-то недовольная. Врубила звонок только в семь.

Дома после скромного ужина – стакана кефира и печенья (хватит обжираться) – Наталья привычно включила телевизор.

Шла передача о загнивающем Западе, об акулах империализма. Постоянный ведущий, невысокий, в очках, несмотря на то что беспрерывно говорил, стоять на месте не мог. В брючках в обтяжечку, всё время переминался с ноги на ногу. Вроде сексуального таракана, готовящегося к случке. Иллюстрацией к его словам сразу же был дан сюжет о спорте и развлечениях на Западе. Две команды инвалидов-колясочников выезжали одновременно на площадку Дворца спорта, чтобы начать гандбольный матч. С идущими рядом тренерами двигались вроде псов на поводках на выставке собак. Ушастый, как гоблин, духовой оркестр гремел. Девки слаженно, дружно прыгали с бумажными букетами на руках. Болельщики неистовствали. Наталья с интересом ждала. Но когда начался как с цепи сорвавшийся хаос на площадке, когда начали носиться, сшибаться, падать коляски – кинулась, выключила телевизор. Как придавила всё. Словно чтобы Плуготаренко-инвалид не увидел.

Под светом торшера пыталась осилить «Ювенильное море». Медленно, по два, по три раза перечитывала некоторые предложения. Некрикливая, словно бы даже стесняющаяся самоё себя графомания автора поражала. Но и завораживала, держала за уши...

Девчонкой Наталья очень любила уроки литературы в Новоявленской школе-десятилетке. Не блистала она там ни в математике, ни в физике, ни в химии, ни даже на уроках физкультуры во дворе. Зато уж уроки литературы и русского языка – были её. И у Галины Семёновны в младших классах, и у Лидии Павловны потом в старших получала только пятёрки.

В книге «Детство» Максима Горького мальчик Алёша постоянно читает книжки. Получает тумаки, его дерут за волосы, но он читает.

Так было и у Наташки Ивашовой. Она читала запоем. Нужно вечером орущую корову доить – Наташка читает. Её гонят картошку окучивать в поле, она, не дойдя до поля, читает в лесопосадке.

Домашние чисто по-сельски считали такое чтение блажью, капризом. В деревне с огородом, с коровой, свиньями да птицей не больно-то почитаешь. В домашнюю страду, заставая её с книгой, кричали на неё, только что не гоняли по двору и в доме. Брат Вовка однажды надел ей на голову пустое ведро. Будто рыцарю Дон Кихоту, про которого она как раз читала. И сыграл на ведре костяшками пальцев марш. То-то потеха всем была!

Чтение Наташки не смог победить даже появившийся в доме первый телевизор. Вечерами все прилежно пялились в него, а Наташки, склонённой над книгой, в комнате словно бы и нет. Все покатывались над Папановым-Мироновым-Никулиным. Наташка со склонённой головой – над каким-то Бендером, как будто тот прятался в книжке и строил ей оттуда козьи морды.

Единственным человеком, понимающим её – была Танька Зуева, закадычная подружка. Её всегда поражало, как легко и даже артистично Наташка читает вслух. Проговаривая каждое слово, буковку. Смотрела на подругу как на волшебницу, на чародейку. Вот уж правда – как по писаному! Сама Танька так не могла, она любила больше слушать.

В приёмной комиссии пединститута в Городе удивились: толстая абитуриентка из Новоявленки сочинение написала на отлично, а по русскому устно получила тройку. «Как же так получилось, девушка?» – спросил у неё председатель комиссии, похожий на длинношеего гусака с бабочкой и в очках. Абитуриентка, из-за полноты казавшаяся старше своих семнадцати лет, задрав голову, пошла к двери. С ягодицами независимыми, как мячи.

...Наталья отложила «Ювенильное море», легла, выключила свет.

Среди ночи ударили звонки междугородней. Наталья вскочила, бросилась в прихожую, схватила трубку.

– Да-да! Слушаю!

Звонила Таня Зуева. Из Африки. Из Аддис-Абебы. Наталья кричала вдогонку своим трассирующим, не затихающим словам. Выслушивала такие же, эхом прилетающие ответы Тани. Снова кричала. Потом, возбуждённая разговором, долго не могла заснуть.

Когда пришлось бежать от Лёньки Троеглазова, мужа вроде бы второго, в Городе её приютила Таня. Взяла к себе вот в эту квартиру. Помогла устроиться на работу на мебельный комбинат, где

подрабатывала в то время процедурной сестрой в кабинете лечения мебельщиков-алкоголиков. Там же Наталья вскоре получила место в общежитии. Её подселили в комнату к трём хмурым женщинам. Недовольным её подселением.

Зуева ругала подругу за глупое решение перейти в общагу. Но помогла дотащить ей один из двух неподъёмных чемоданов. (В чемоданах у читающей подруги были книги. Художественная литература. Для одежды читающей подруге хватило одного заплечного рюкзака. Благо пальто и куртку тащить отдельно не надо. На читательнице они. Зима.)

Первый взнос за свою квартиру Наталья накопила к 90-му году. И уже подходящий кооператив подобрала. Тоже не без совета и помощи Тани. Но вскоре пришла беда – младореформаторы с горящими глазами рубль обрушили. Как и миллионы сограждан, Наталья потеряла всё. Ни о какой своей квартире в наступившие лихие времена и мечтать даже теперь было нечего. Наталья два года плавала под парусами и флагами городских барахолок. Простым матросом. Сама челночить боялась, ни разу никуда не съездила, своих точек не имела, а всё больше была на подхвате. Чаще у Тани Зуевой, которая в то время уже бросила работу в больнице и заделалась бойкой торговкой. Давали работу на базарах и бывшие товарки по комбинату, который благополучно умер уже в 91-м году.

Когда литые парни в куртках-косухах железными прутьями погнали всех оставшихся жильцов из комбинатовского общежития – Таня и тут подставила плечо, взяла обратно к себе в двухкомнатную.

Ну а потом был Алексей Сергеевич Круглов, неожиданный выигрышный билет Тани.

Первоклассный хирург, работавший когда-то с Таней, через неделю после приезда в отпуск расписался с ней и сразу после свадьбы увёз с собой в Африку. Работать по контракту. В качестве хирургической сестры при первоклассном хирурге. Ну и жены теперь, конечно. Наталью, оставленную стеречь квартиру и платить за неё, теперь можно было принять даже за хозяйку.

Глава третья

1.

Придя с пособием к инвалиду в первый раз, Наталья сразу увидела книги в застеклённом шкафу. Пёстрое множество книг. И отдельные тома, и монолитные ряды подписных изданий. Чёрт побери-и! Какое богатство!

Однако как только инвалид примчался из кухни с чайником и заварником – от шкафа сразу отошла.

Всякий раз потом подмывало спросить, кто хозяин этого богатства, кто собирал эти книги: он сам или его мать? Или оба они книгочеи? Но раскатывающий инвалид, как всегда, подавлял её собой, не давал рта раскрыть.

Несмотря на неудержимые фейерверки, речь его была связной и довольно грамотной. Хотя и попадался в ней разного рода сор, чаще слова-паразиты: «короче», «как бы», «типа», «так сказать». Но всё это наверняка тащилось ещё из школы, из детства его. Поэтому определить, читает ли он сейчас – не могла.

Всё чаще он заводил разговор о местном драмтеатре. (Неужели бывает там на спектаклях? Но как? В коляске?) Сама она мимо театра как-то прошла. К сожалению. В юности в драмкружок в клубе не взяли – бесталанна. В Городе дважды сходила в театр в кучу с товарками и Вахрушевой. Тексты же пьес, попадающиеся в журналах, всегда казались голыми, обеднёнными, из-за постоянных ремарок хромающими, на костылях. Поэтому Наталья и их редко до конца дочитывала.

23-го утром она опять увидела в знакомом окне наставленный на неё фотоаппарат. Хотела пройти дальше, к дому со стариками-пенсионерами, но неожиданно повернулась и пошла прямо на окно с фотографом. Пошла как на амбразуру. (Плуготаренко непроизвольно пятился, однако быстро щелкал кнопкой затвора.)

– Почему вы снимаете меня, Юрий Иванович? – глядя в пол, спросила она его после того, как пособие было выдано, подпись получена, чай в стакан ей налит.

– Вы мне нравитесь, Наталья Фёдоровна, – неожиданно тихо ответил инвалид, остановив коляску.

– Не нужно больше этого делать. Ничего из этого не получится.

Наталья пошла к двери. Приостановилась:

– Деньги вам будет приносить другой человек.

Вышла.

Плуготаренко остался сидеть, опустив голову, с руками вроде ботвы.

Наталья шла по улице, сволочила себя. Готова была себя убить.

Останавливалась и словно спрашивала у пустоты перед собой: зачем обидела человека? Почему? Ведь хотела спросить его о книгах. Поговорить о них. И вот – пожалуйста – выдала бедняге. Сволочь баба! Сволочь!

Решительно повернула назад. Вошла в подъезд. Чуть поколебавшись, надавала кнопку звонка.

– Юрий Иванович, ради Бога, простите меня! Сама не знаю, что на меня нашло. Простите! – Повернулась, сошла с трёх ступенек. И Плуготаренко успел увидеть крупные женские ноги, на миг высветившиеся в открытой двери подъезда.

Почти сразу там появились другие ноги. Ноги матери. Похожие на две чёрные клюки.

– Была, что ли, уже? Получил? – запыхалась даже, бедная.

Ели на кухне. Как эхо от увиденной фотографии, перед глазами Юрия всё время возникало женское тело в свете подъезда, колыхнувшееся в просвеченном платье, что тебе крупная рыбина с хвостом.

Мать была переполнена своим.

– Знаешь, кто приехал?

Сын не знал.

– Юлечка!

Во как – «Юлечка». Несостоявшаяся невестка. Однако новость. Значит, теперь потащат на встречу.

А мать уже говорила, что ему нужно надеть для вечера. Уже вынимала из шкафа его новый костюм, чтобы срочно подгладить.

2.

На ярко освещённой веранде дачи Зиминых Плуготаренко сидел в коляске, повязанный большой белой салфеткой, до пояса закрывшей его новый костюм. Ему подавали сначала тарелочки с закусками, потом жаркое. Рюмка с водкой стояла на тумбочке рядом. Он брал её, когда к нему тянулись чокаться.

За столом тётя Галя и дядя Маша сидели красными, пылающими. В растерянности смотрели, как после лихих рюмок дочь по-мужски наморщивалась и выцеливала вилкой сопливый рыжик или кусочек селёдки. Освоив водку, закусив, продолжала вяло рассказывать провинциалам о своей жизни в Москве. Она работала уже старшим научным сотрудником. В этом году от обесцвеченных волос лицо её было каким-то выцветшим, не обременённым большими мыслями. Два года назад после юга она походила на негритянку из самодеятельности. С лицом в зольных пятнах. Загар не шёл ей. При поцелуе Плуготаренко опасался измазаться об неё.

Тогда она явилась к папе с мамой после развода. Наедине она сказала другу детства: «Он путался с моей подругой. Он называл её – Медовая дынька. Представляешь?» – «Как ты узнала? – смеялся Плуготаренко. – Подслушала, что ли?» – «Она сама мне сказала. А я у него, наверное, проходила в ранге Арбузной корки. Мерзавец». Плуготаренко хохотал.

Сегодня, наевшись и напившись, она спокойно закурила. Будто одна за столом. Ужин закончен. Стряхивала пепел в блюдце, думала уже о чём-то своём.

Перед сном вдвоём гуляли в тёмной алее вдоль дач. Ночные тополя стояли согбенно, будто монахи.

– Слушай, Юрка, только честно – ты сейчас можешь? Сохранилось у тебя всё?

Плуготаренко остановил коляску, захохотал, поражаясь вульгарности москвички.

– Ты что стала такой бесстыжей, Юлька?

– Значит, можешь... – подвела черту Юлька. – А то тётя Вера, бедная, всё пытается у меня узнать об этом. Так что не разочаровывай её. Женись.

Дальше Плуготаренко узнал, что сейчас она приехала к маме с папой опять после развода. (Второго или третьего?) Что сволочь Жигачёв (последний муж) добился размена её однушки, и теперь живёт она в Химках-Ховрино в квартире с тремя соседями.

– Весело теперь мне, Юрка. Помнишь нашу «голубятню»? Вот теперь я опять в такой же.

На даче их ждали. Светились три окна столовой. Они остановились возле высокого крыльца, куда Плуготаренке ещё предстояло взобраться не без помощи сильного дяди Миши.

Руку друга детства Юлька держала двумя руками.

– Юра, мы с тобой росли как брат и сестра. Мы знали друг о дружке всё. (Точно. Это были вновь повторённые слова самого Плуготаренки.) Ты можешь мне не поверить сейчас, но после невольного нашего инцеста тогда в Бирске я ведь забеременела.

Юлька как захлебнулась последними словами, замолчала. Плуготаренко сжал её руку.

– Мне сразу в Москве пришлось сделать аборт, Юра. Подумай: хороша бы была беременная первокурсница. Только что поступившая учиться. Об этом до сих пор не знает никто. Ни мать с отцом, ни тётя Вера.

Она опять замолчала. То ли плакала, то ли просто смотрела в небо.

– А в общем, Юра, Бог покарал нас обоих. Ты домой вернулся в коляске, а я стала пустой. Не из-за тебя, конечно. Были потом и ещё аборты. И с первым мужем, и со вторым. Всё за ними тянулась, лезла. Тоже хотела сделать карьеру. Потом кандидатскую нужно было защищать. Да ещё этот гад Жигачёв. В общем, не будет у меня теперь никогда детей, Юра.

Юрий Плуготаренко долго не мог уснуть в ту ночь. Вспоминал всё, что произошло в Бирске. Себя – идиота. Несчастную Юльку. Щемило душу.

Потом над дачным посёлком проходила гроза. Постоянно вспыхивало в окнах второго этажа, гремело. Дом казался живым, поскрипывал половицами, вздыхал. Посапывания матери, спящей на диване, были безмятежными, ровными.

На другой день Юлька уехала. С Мишей и Галей Вера Николаевна провожала её на вокзале. Уже попрощавшись, Юлия Зимина вдруг обняла Веру Николаевну и заплакала. К немалому изумлению той и растерянности родителей. Махала из двинувшегося вагона, промокала красные глаза платком.

Любящая логику, порядок во всём, Вера Николаевна дома целый день никак не могла сложить головоломку. Помнила на своём лице горячую щеку плачущей женщины. Укоризненно поглядывала на сына: что у них там вчера произошло? В дачной аллее? Что?

Между тем Юрий сидел с фотоаппаратом у окна и ощущал себя охотником, который впервые промазал по утке. И не промазал даже, а вообще не смог поднять на неё ружья. Десять минут назад какой-то мужчина провёл мимо коляску с женщиной-инвалидом. Молодая женщина сидела со скрюченными кулачками и искривлёнными ножками в черных чулочках. Вместо того чтобы снимать, Юрий Плуготаренко, как от удара в лицо, закрыл глаза. А когда открыл – женщины в коляске и мужчины на тротуаре не было. Будто всё это примерещилось ему. Никогда он не видел эту женщину в Городе.

Точно так же он не смог сделать снимок мужчины, сбитого в прошлом году машиной. Не смог снять драку в парке, где двое убивали ногами катающегося по траве, закрывающегося руками парня. Не смог снять соседа Рыбина, старика, лежащего в гробу с лицом, как жёлтый стеарин. Хотя его просили жена и дочь умершего.

Он понял, что «репортёром бесстрашным», таким, например, как Валька Жулев, его соклассник, который недавно снимал большой пожар на нефтебазе, а потом сгоревших там людей (исключительно для домашней коллекции, как пояснял он потом в редакции, исключительно!), ему, Юрке Плугу, не бывать никогда. Он фотографировал жизнь. Он не мог фотографировать смерть, драки и катастрофы.

3.

В Афганистане однажды к ним с Лапой в кабину ротный подсадил отставшего от своей группы военного корреспондента, увешенного фототехникой. В обычной солдатской хэбэшке и кирзачах, но в тяжёлом новом бронике и каске. Кто он такой, из какой газеты – корреспондент парням в кабине докладывать не стал. Ещё не привыкший к афганской дневной жаре, сильно потел. Лапа посоветовал ему снять каску. Корреспондент, как женщина, резко мотнув головой, рассыпал мокрые красивые волосы до плеч. Автоколонна, растянутая километра на два, ползла по серпантину вверх. КамАЗ Плуготаренки и Лапы полз в середине.

Корреспондент вяло снимал проплывающую внизу речку в ущелье, редкие, как ласточкины гнёзда, селения на горах. В Салангском тоннеле, почти в трёхкилометровой прохладе его и полутьме, вроде бы задремал.

Но когда внизу, в зелёнке, вдруг взорвалось впереди, ударило, – его как ветром выдуло из кабины. Побежал со всей аппаратурой вперёд, упал в стрелковую позицию, раскинув ноги, и начал снимать горящий, как стог, бэтээр и разбросанные разорванные тела.

Шофера-солдатики повыскакивали из машин, залегли. Дробно заработали пулемёты охранения колонны, а корреспондент уже бегал вокруг горящего бэтээра и всё снимал высокое красное зачернённое пекло, вертящееся в небе, а потом внизу разбросанные изуродованные тела. Длинно зудели рикошетные пули, два раза серьёзно рвануло рядом, а он всё бегал, снимал, не унимался. «Ложись, полудурок!» Ротный вскочил, стукнул его по затылку. Только тогда он упал, пополз за камень. Быстро. Точно ящерка.

После того как духов заткнули, он влез в кабину радостный, безумный. «А? Парни? – подмигнул и хлопнул по фотоаппарату. – Всё снял!»

А зачем? – хотелось спросить парням. Зачем надо было снимать горящий бэтээр и трупы ребят вокруг него? Для чего? Поразил парней тогда безумный, кровожадный какой-то азарт корреспондента.

Через неделю возвращались обратно по той же дороге. Медленно протащились мимо недавно сожжённой машины со спаренной зенитной пушкой, сброшенной с дороги. На обочине лежали четыре тела. По волнистым женским волосам сразу узнали военного корреспондента. Пуля нашла его как белку, разворотив глазницу. Броник с него уже сняли. «Кому суждено сгореть, тот не потонет», – сказал Лапа и врубил первую скорость на крутой подъём. Через полгода он будет кувыркаться в кабине и погибнет здесь же, на Салангском перевале.

С тоской и стыдом Плуготаренко вспомнил, как сразу после госпиталя приезжали к нему из Ярославля родственники погибшего Генки. Родные брат и сестра. Как дико смотрели они на неудержимо смеющегося, раскатывающего по комнате инвалида. Который, как им казалось, радовался только одному, что уцелел, что не погиб, как Генка. Они переглядывались: туда ли мы попали? Тот ли это Юрка Плуг, о котором писал почти в каждом письме брат? На вокзале, прощаясь с ними, он смеялся и плакал, смеялся и плакал, продолжая неудержимо гонять у вагона. И только брат Генки остановил его, поймал и прижал к себе.

Уже тогда Плуготаренко начал понимать, что с головой у него не всё хорошо. Что все эти фейерверки на людях, раскатывания и неудержимый смех выглядят для окружающих по меньшей мере странно. Что, помимо всех травм – и позвоночника, и таза, и ног, – серьёзная травма головы бесследно для него не прошла. В госпитале, весь переломанный, он лежал с синим заплывшим лицом, на котором глаз даже не было видно. Позже, когда поснимали гипсы, печальный узбек Акрамов после черканий иглой по его недвижным ногам сидел и углублённо думал. Потом говорил: «Ты, Плуготаренко, в рубашке родился. Живи и радуйся». Вот он живёт и до сих пор радуется. Радуется, раскатывает и смеётся. Правда, теперь только перед одной Ивашовой.

4.

Плуготаренко проявлял в ванной снимки, на которых Наталья шла на него через дорогу, только что не разорвав на груди платье (тельняшку): «Снимай, гад! Снимай!»

Вяло ел потом с матерью в комнате. Тут раскатывать и фейерверки давать не надо, здесь как в погребе, как в катакомбе, всё своё, тёмное, привычное.

– Юра, что у вас произошло с Юлей? Почему она плакала на вокзале?

– Ровным счётом ничего, мама. У неё нелёгкая жизнь в Москве. Вот она и плачет.

Сын смотрел на свою некрасивую постаревшую мать с бурьяном на голове, корни которого от вылезшей незакрашенной седины казались подмёрзшими. Всё пытается жизнь семейную сыну устроить. Всё надеется, что будут у неё внуки.

После гибели отца, сколько помнил Плуготаренко, она только один раз попыталась выйти замуж. Жениха звали – Артур Завертаев. Его привёл как-то вечером дядя Миша Зимин.

Юричик, тогда уже ученик седьмого класса, придя из школы, сказал невысокому лысому мужичонке:

– Привет, дядя! Жениться надумал?

А когда гость гордо назвал себя и пожал ему руку, – похлопал его по плечу:

– С таким именем и фамилией, дядя, все старые куропатки твои, – и пошёл к себе.

Мать густо покраснела, а дядя Миша Зимин захохотал.

– Весёлый мальчик, – сказал тогда Завертаев и вытер со лба пот.

Во второй раз «весёлый мальчик» устроил ему натуральнейшую кову. Пока опять втроём сидели и чокались за столом рюмками, каким-то адским клеем (строительной пеной?) присобачил в прихожей его туфли к полу. Завертаев ничего не мог понять: хотел снять их с пола, сесть на банкетку и надеть – не получилось. Тогда вдел ноги в туфли стоя, сверху, думая их таким образом оторвать. Он упорно дёргал ноги, всё пытаясь отодрать туфли. Ругался: «Да растудыт твою туды!» Потом обиженно застыл. Сильно накренённый вперёд. Как лыжник, летящий с трамплина.

Вместо того чтобы хорошенько отругать юного негодника, дядя Миша опять хохотал, помогая незадачливому жениху выбраться из туфель. А мать прибежала к сыну в комнату и только немо махала кулачками над его головой. Головой усердной, склонённой над учебниками.

Предлагал дядя Миша матери ещё одного жениха. Соседа своего по лестничной площадке. Напарника по охотам на уток. Тоже с понтярской фамилией – Гордельянов. Но тут уж мать заартачилась:

– Да он старик! С вожжами на шее! Какой он к чёрту жених!

– Напрасно. Он же ружейный охотник, Вера. Надевает человек болотные сапоги в пах, ягдташ, ружьё через плечо – и молодец перед тобой! А как он по болотам шастает, Вера! Самого не видать, только камыши змеями! Настоящий лягаш понизу идёт! Сто очков даст всем молодым!

Но мать уже сердилась:

– Миша, ты что, – меня не уважаешь?

Всё же, видимо, Артур Завертаев Гордельянова был лучше.

Позже Плуготаренко, конечно, осознал, что был он в юные свои годы натуральным маленьким говнюком, и просто бить его в ту пору было некому.

Сын сжал руку матери. Глядел вбок, как виноватый волчишко. А та только хмурилась. Телячьи нежности какие-то. Что он скрывает опять? Связано ли это с Юлей или ещё с кем-нибудь?

Вдруг руку выдернула:

– Смотри!

В телевизоре бывший министр иностранных дел показан был сразу после покушения на него. Сидел на стуле. Полураздетый. В майке. Весь пёстрый от крови. Словно чудом выскочивший из-под кровавого дождя.

– Смотри, как фотографируют! – показывала мать на фотокорреспондентов, словно захлёбывающихся фотовспышками. Намекая, что не чепуху всякую за окном надо снимать, а вот как здесь – настоящее, пусть даже трагическое. Вот же!

Жалко было полураздетого седого грузина, плохо говорившего по-русски, до боли жалко. Но это был не его, Юрия Плуготаренко, сюжет.

Сын смотрел на жёсткую, без всяких сантиментов мать: уж она бы точно развернулась. Дай ей волю, дай ей в руки фотоаппарат.

5.

После смерти отца все места работ матери были связаны с дядей Мишей Зиминым. Всегда помня о погибшем старшем друге, жену его на новые места он просто перетаскивал за собой. Когда сам менял работу или шёл на повышение. Так в самый канун перестройки мать оказалась у него в автоколонне № 3. Стала работать диспетчером. Выписывала путевые листы-маршруты, составляла отчёты по ГСМ, вела табель, ругалась с шофернёй из-за опозданий, прогулов, пьянок. Смахивая на ушастого Чебурашку, умела одновременно работать с двумя трубками, попеременно прижимая их к плечу.

Когда затрещало всё по швам и началась всеобщая повальная говорильня – сразу деятельно включилась в неё. Ходила на собрания, митинги, везде выступала. Её выбирали в какие-то комитеты, комиссии, выдвигали делегатом на разные местные съезды.

Юрий Плуготаренко тоже было загорелся. Стал ездить в Общество, где уже вовсю размахивал протезной рукой Проков. Сам даже один раз что-то истеричное пролаял со сцены, поднятый туда инвалидами, как трибунная тумба. Сорвал аплодисменты. Но после Афгана ставший пацифистом в душе, скептиком, быстро как-то остыл. Поражало сейчас, как один, в общем-то, недалёкий, но уверенный в себе человек смог взбаламутить всю страну. Но это было время уверенных людей. Они тогда всплыли разом, всюду и во множестве. Они знали, что нужно делать. Как спасать страну. Они разглагольствовали на съездах, собирая миллионы зрителей у телевизоров. Они выстраивались к микрофону в затылок друг к другу с запакованными пока что мыслями, все серьёзные, как голубцы. Выборные чабаны от союзных республик за широким столом президиума тоже были серьёзны. Скоро им предстояло оттяпывать от единого пирога жирные свои куски. Тут не до шуток. А пока... а пока главный заводила с чернильной кляксой рулил съездом, двумя коматозными параллельными руками показывал всем направление, перспективу. По заранее заготовленному списку выпускал на трибуну и депутатов говорить. Разглядывал очередного оратора, стоящего в трибуне, со спины. Полностью раскрытого. Словно бы интимного. С неуёмными ногами. Успокаивал ноги регламентом. Подавал команды на включения микрофонов в зале. Поочерёдные включения. И тогда признанный эксперт всего съезда – мужчина очень прямой и гордый, с глазами, как запылённый сквозняк, – от второго или третьего микрофона давал своё чёткое заключение по выступлению только что отзвонившего с трибуны депутата. А пробирающийся на своё место депутат лез и досадовал, что ничего всезнайке ответить не может. Без микрофона всезнайка его просто не услышит.

Чаще в то время стал приходить Проков. И не столько к собрату-афганцу, сколько к матери его, Вере Николаевне. В нетерпении они усаживались напротив телевизора, точно по времени включали его и смотрели съезд. Они знали всех сильных депутатов поимённо, будто на ипподроме скаковых лошадей. Они, что называется, всё время делали ставки. Выигрывали, ошибались, проигрывали. Спорили до хрипоты. И снова ставили, не спуская глаз с экрана. Ехидного, подковыривающего инвалида они просто не замечали. Они о нём забыли.

Сам Проков в то время боролся за место председателя в Обществе инвалидов Афганистана Города. В подражание съездам в телевизоре инвалиды тоже выбирали председателя демократично – из целых двух самовыдвиженцев. Первый кандидат, Громышев Виктор Васильевич, медленно передвигал себя к трибуне на протезах в пах, которые поочерёдно означались то в одной его штанине, то в другой – словно вывихивал у себя тазобедренные суставы. Афган он прошёл поваром полевой кухни. Во время боёв в Панджшерском ущелье против Ахмад Шаха Масуда прямым попаданием мины кухню разнесло, а Громышеву оторвало обе ноги. Однако Виктор Васильевич интереса к жизни не потерял. Хотя и имел большое брыластое лицо бульдога, губы на этом лице умел складывать сладко, как это делают всегда тубисты, прежде чем начать играть. В своей программе он рисовал инвалидам картины полного благоденствия от бескорыстной помощи спонсоров, шефских организаций, которых нужно срочно искать. Призывал налаживать связи с организациями инвалидов других регионов России.

Проков прошёл Афган ванькой-взводным, потерявшим, как он сам считал, руку по глупости, из-за вовремя не обеззараженной легкой раны. Он не брал так широко, как соперник, больше напирал на реальное, сегодняшнее – на самоокупаемость, как он говорил, инвалидов, на организацию ими своих кооперативов. Чтобы занять всех, дать всем работу, даже надомную. «Деньги, надо зарабатывать, ребята, деньги. Нельзя в 25–30 быть пенсионерами, прокисать на пособиях. Если не лежачий, двигаешься – трудись. А не языком плещи!» – намекнул он в конце на предыдущего оратора. Победив тогда в честной борьбе, Проков стал председателем. Однако Громышев не остался без дела: вошёл в рабочий актив Общества. Дышал Прокову в затылок: на следующих выборах, Коля, – сойдёмся, поборемся!

Два кооператива тогда создали. Первый – по ремонту и покраске автомобилей. Арендовали небольшой ангар, и инвалиды в комбинезонах, как бренды обнажая культи в масле, ходили вокруг двухтрёх авто и крутили уцелевшими руками гайки.

Как и полагалось в те времена, у кооператива даже появилась однажды «крыша». Сама к ним пришла. В виде двух крепких братков в майках и трениках с лампасами. Но Громышев свернул при них свою железную толстую трость колесом и вновь спокойно распрямил её. Да и остальные инвалиды незаинтересованно начали покачивать увесистыми разводными ключами. И братки с большим почтением ушли. Плуготаренко в том кооперативе успел даже поработать карбюраторщиком.

Второй кооператив был по починке оргтехники. Однако в нём дело сразу не пошло: в одной из комнат Общества, на широком столе в окружении аккуратно разложенных напильничков, надфилей и тисочков долго простояла пишущая машинка. Всего одна. С торчащими вкривь-вкось рычажками – вроде расчихвощенного тетерева. Другую оргтехнику на починку почему-то никто больше не принёс. Хотя несколько раз давали в газету объявление. На этом всё и закончилось. Проков, правда, стал искать по Городу и находить работу для надомников. И для Юры Плуга в том числе.

6.

Когда Галина Павловна Зимина приходила к Плуготаренкам с лицом озабоченной дольной тыквы – это означало только одно: предстоит тайный женский Совет, на котором будет решаться только один вопрос – что делать с Юлькой, как вытащить её из московского болота. И на Совете этом Тучным Кутузовым, конечно, будет сама тётя Галя, обиженная на дочь, ну а мать довольствуется всего лишь ролью, к примеру, Барклая де Толли. Тощего, сочувствующего, предупредительного.

Попив с молчащими серьёзными женщинами чаю, Юрий уезжал к себе. Лежал и слушал приглушённую бубню, сразу же начавшуюся в столовой. Которую слушать ему не должно. В которой наверняка будет мелькать и его имя. Имя как возможного пусть даже не мужа, нет, но хотя бы нового, доморощенного жениха, сожителя.

Тётя Галя не всегда была такой беспокойной и полной, как сейчас. В далёком первом открывшемся бассейне Города, куда обе семьи купили абонемент, она, красиво нырнув, мотала сомкнутыми ногами мощно и плавно, как ихтиандр, как чёрный дельфин.

Мать в сером купальнике почему-то в бассейн всегда падала. Серой корягой. Точно её сталкивали в воду. Но выправлялась и тоже плыла. Мелкота – Юрка и Юлька – гоняли по воде друг за дружкой го-

льянами. А не умеющий плавать дядя Миша сидел и словно загорал под люминесцентными лампами, выставив пузо. Потом с поджатыми ногами прыгал в мелкий детский лягушатник, чуть не выплёскивая его весь. Хорошее было время.

А какие пироги тётя Галя пекла! У Зиминых на кухне мать всегда крутилась возле мастерицы, спокойно заворачивающей на противне пирог, заглядывала с разных сторон, пыталась уловить приёмы её, главный секрет, но не дано было, Бог не дал. Отменные пироги ели всегда только у Зиминых.

А непременные байки, рассказанные за столом дядей Мишей! И всегда только весёлые, часто анекдотичные, над которыми все смеялись до слёз.

Недавно выпивали с ним. Мать была на работе, поэтому расположились на кухне. Дядя Миша рассказывал на этот раз байки из своего детства:

– ...Ребячья забава эта у нас называлась «Чугунная жопа». Встаёт оголец на коленки и локти. Ждёт. Все хором спрашивают его: «Чугунная жопа, к полёту готова?» А сами за руки за ноги уже раскачивают другого огольца. «Чугунная жопа» твёрдо отвечает: «Готова». Тогда его вдаряют этим огольцом, как снарядом, и он отправляется в полет. Метров на пять. Хе-хе...

Плуготаренко хохотал, Проков смеялся вежливо. Поглядывал на дядю Мишу. На его обгорелую щёку.

Вдруг спросил. Видимо, приняв его за участника войны:

– Михаил Андреевич, в чём разница между Отечественной войной и Афганской? – И, не дожидаясь ответа замешкавшегося «ветерана», сам начал объяснять:

– Вам не стреляли в спину, Михаил Андреевич. Вам стреляли в грудь. Понимаете разницу? А мы воевали среди так называемого мирного населения. Днём все «шурави!», братья навек, а ночью – душманы. Мы постоянно ждали ножа в спину или гранаты в ночную землянку. Вас встречали после войны как героев, орлов, а нас – как нашкодивших псов, которые еле унесли домой ноги. Мы же все сейчас синдромы. Пожизненные афганские синдромы. После сильного хлопка мы до сих пор падаем плашмя и охватываем голову. Нас не берут на работу, не любят начальники. Везде мы ищем подвох, несправедливость. Надоедаем, добиваемся чего-то, качаем права. В семьях мы или деспоты, или подкаблучники. Нормальных семей у нас нет. Мы истеричны, нетерпимы, обидчивы, агрессивны. Недавно один из нас чуть не убил контролёра в автобусе за то, что тот потребовал показать билет. Вот что мы такое сейчас. Среди нас есть только один жизнерадостный человек – это Юра Плуг. Вот он, перед вами, – показал Проков на Плуготаренко, как на редчайший экспонат. – И то, чтобы таким заведённым на радость стать – надо слететь в пропасть и всему переломаться.

Дядя Миша несколько подрастерялся от таких страстных слов. И ещё от того, что его, Зимина, приняли за участника войны. Липкую яичницу на его щеке даже стащило немного книзу. Среди закуски с торчащей бутылкой и рюмками искал слова для ответа. Сказал, наконец:

– Я ведь не воевал, Николай. Чего же ты меня так состарил?

– Разве? – искренне удивился Проков, опять посмотрев на обгорелую щёку лже-ветерана. – А я думал, вы танкист. Воевали.

– Нет, Коля. Правда, это тоже в армии меня. Но в мирное время. В гараже было дело. При изготовлении аккумуляторного гидролиза. Один гад подкрался и серной кислотой плеснул. Уже после того, как подрались. Когда я его уделал. Вот и верь, что после драки кулаками не машут. Ещё как машут. На всю жизнь метку оставил. А я – с 37-го года. Воевать, сам понимаешь, никак не мог. Когда началась война, под стол ещё ходил.

Зимин помолчал.

– Ну а что касается двух войн – тут ты прав, Коля. На сто процентов прав. Та война была действительно народной, отечественной. А в Афганистан влезли непонятно зачем. Геронтологи наши придумали всё, маразматы.

Плуготаренко тогда хорошо запомнил слова Прокова об Афгане, поражаясь, что тот немногими словами смог выразить то, что у Юрия самого давно роилось в голове. О чём нередко думал по ночам после очередного афганского сна-кошмара, подкинувшего его на диване. Сам Плуг, как военный шофёр, ощущал сейчас всю Афганскую войну нескончаемой дорогой в горах, днями удушающе жаркой, вечерами тянущейся и тянущейся в дырку заката. И не мудрено – войну он видел только через лобовое стекло своего КамАЗа. И был вроде в относительной безопасности. Хотя некоторые отправляемые в горы автоколонны длиною в два, а то и три километра напоминали войсковые операции: с большим охранением, с разведкой, с подавлением гнёзд душманов артиллерией и даже авиацией. Иногда попадали в засады. Случалось тогда и стрелять. Отстреливаться. Генка Лапа бил экономно, вроде бы

прицельно. Пацифист Плуг палил в белый свет как в копейку. «Куда строчишь, дурак! – сердился Лапа. – Вон туда стреляй!»

...В столовой женщины всё бубнили. Однако Плуготаренко думал уже о другом – как исхитриться и пригласить Наталью Ивашову в театр. На спектакль, контрамарки на который ему уже принесли. Пойдёт ли она с ним.

В местном драмтеатре инвалид со своей коляской примелькался давно. Года два назад они с матерью вдруг взялись ходить почти на все спектакли театра один, а то и два раза в неделю. Тогда же, как потом узнал, на одном из собраний труппы кто-то предложил взять шефство над героем-афганцем, постоянным, преданным зрителем, который в антрактах уже раскатывает по театру, как по своему дому. Артисты дружно поддержали инициативу, некоторые артистки даже загорелись лично приносить контрамарки герою домой. Однако до этого не дошло, контрамарки для инвалида и его матери поручили заносить Кнутову, бутафору, живущему через дом от Плуготаренков. Мужчине мрачному. С длинными седеющими волосами. С большим лошадиным лицом. Похожему на сивого мерина. Который, правда, уже не врёт, а больше глухо молчит. Когда о решении собрания забывали, он сам приходил к администратору и говорил два слова: «Контрамарки. Афганцу». Юрию Плуготаренко в дверь звонил длинно. Как звонит милиция. Вера Николаевна испуганно распахивала дверь. «Вот. Сегодня в 7.30. Пьеса о войне». Как будто повестку в суд женщине вручал. Однако от чая никогда не отказывался. Сидел с матерью и сыном в комнате за столом, солидно пыжился. Бутафор театра, он тоже был артистом. В военной пьесе известного сибирского писателя играл роль лётчика-фашиста. В полной тьме, подсвеченный на авансцене, с невыносимым радиовоем, он якобы пикировал в кабине юнкерса и оглушительно бил из самолётной пушки. Потом словно бы делал новый разворот и опять с воем устремлялся вниз. В лётчицких очках-консервах колотился с пулемётным огнём, будто ночная петарда в парке. (Плуготаренко умудрился снять его стрельбу два раза.)

Перед уходом всегда стоял и держался за коляску с инвалидом. Как в почётном карауле. Для фотографии потомкам. Только после этого уходил.

Вчера у дома афганца Кнутов в недоумении остановился – афганец уже выезжал из подъезда! Это означало, что он, Кнутов, опоздал, что не будет сегодня ему чая, а потом почётного караула. При прощании.

Кнутов афганца догнал, остановил. Не глядя на смеющееся лицо, сунул контрамарки. Не слишком понимая, о чём ему говорит афганец, сердито держался за коляску. (Так обиженный мальчишка дуется, не получив конфету.) Смеющийся Плуготаренко попытался поехать дальше, Кнутов не давал. Будто утаскиваемый автомобилем, тащился за коляской. Не отставал так с полквартала. С рукой на коляске. В неполноценном, получалось, почётном карауле. Эх, афганец, куда ж ты так торопишься?

Плуготаренко улыбнулся, вспомнив сивого бутафора.

Однако как же завлечь Наталью в театр? В конце концов, решил просто подкараулить её. Когда она пойдёт домой на обед. Встретить вроде бы случайно. Ну а там – как получится.

Увидев инвалида возле своего дома, Наталья Ивашова вздрогнула. Как всегда. А подлетевший Плуготаренко уже рулил вокруг, смеялся, торопливо рассказывал о драмтеатре, о том, что он, Юрий Плуготаренко, в нём свой человек, что вот даже приносят контрамарки, что будет сидеть Наталья с ним в служебной ложе, сбоку, удобно, всё видно, всё слышно. Наталья Фёдоровна, соглашайтесь! Сегодня! Начало в 7.30!

Инвалид всё убеждал и убеждал, а Наталья чувствовала только одно – она сама загнала себя в угол. Нужно было думать, прежде чем садиться распивать чаи с инвалидом и выслушивать его речи. Сейчас отступать было некуда. «Хорошо, – хмуро сказала она. – Я приду. Буду у входа в 7 часов».

Окрылённый Плуготаренко помчался домой.

Начал готовиться к вечеру. Вымылся, освежился дезодорантом. Дольше, чем обычно, жужжал электробритвой. Как замазывал себя цементом. Потом надел белую рубашку, галстук повязал. Дальше – выходной костюм и чёрные штиблеты.

Хмурая мать убиралась в квартире. Смотрела, как сын с коляской вертится перед зеркалом. И так и этак выставляется. Свой бурелом на голове поправляет. Ни дать ни взять дама с пальчиками! «На вот. Деньги. Угощать ведь придётся невесту. Да и букет понадобится. Для завлечения».

7.

Наталья не умела одеваться. Знала за собой этот грех. Сегодня, уже опаздывая в театр, злилась. Как всегда до полного своего уничижения. Перед зеркалом в прихожей. Толстуха, уродина. Хватала

то одну бабью тряпку, то другую. Ни на какой не могла остановиться. Надела, наконец, шифоновое платье. В парике, с нарумяненными щеками явилась на театральную площадь широченная и пёстрая, как балаган. Однако инвалид несказанно обрадовался, тут же вручил ей цветы, рассыпался в комплементах. Наталья удерживала букет, точно не знала, что с ним делать. Косилась на крыльцо театра. Всё думала, как Плуготаренко будет взбираться по двум высоким ступеням. Однако инвалид дал ей контрамарку, а сам помчался куда-то за угол театра. Видимо, к служебному входу. «Встретимся в фойе, Наталья Фёдоровна!»

Они важно сидели одни в пустой служебной ложе. Высвеченная сцена им была хорошо видна. В военной пьесе сибирского писателя сюжет разворачивался простой, но захватывающий. На Севере, где-то в Белом море, немецкий юнкерс топит небольшой транспортный пароход. На пароходе плыли раненые и два небольших воинских подразделения. Все погибают, тонут. Но один солдатик выбирается на лёд, он ранен в руку, однако винтовку не бросает. Он идёт потом по льду, обходя торосы, в сторону, как ему кажется, спасительного берега. Но немец видит его сверху, не отстаёт, всё время пикирует, строчит, старается добить. Солдатик не даётся, падает плашмя, заползает за торосы. Немец уже расстрелял весь боезапас, у него подходит к концу бензин, а солдатик внизу шустро ползает, прячется – живой! Немца окончательно заусило – улетает за патронами и дозаправкой. В передышке солдатик опять бредёт по льду и всё время говорит. Зрители узнают из его монологов обо всей его деревенской довоенной жизни. Солдатик смышлён, с юморком, вроде Васи Тёркина. Неуёмный немец опять прилетает, опять пикирует и строчит. Но солдат внизу как заговорённый. Он плачет, ругается «да гад ты этакий!», грозит немцу кулаком. Потом на дурака шмаляет из винтовки, еле наладив её на раненую руку. Бьёт в пикирующего немца. И – попадает! За высвеченным полотняным задником сцены чёрная тень юнкерса словно бы начинает вихлять и дымить. И падает куда-то. Видимо, в море. Весь зал вскакивает и хлопает минут пять. Спектакль практически остановлен. Солдатик сидит на полу (на льду), машет над головой кулаком, плачет. Ну а потом его замечают свои. Недалеко от берега.

Конечно, блистал в спектакле и Кнутов, играющий роль летчика-фашиста. На затемнённом куске авансцены он колотился с оглушительно бабахающей самолётной пушкой, как электросварщик на ночной стройке. Всё время рычал: «Доннэр вэтэр!»

Новаторская находка режиссёра с медленно ползущим сизым льдом, на котором прячется солдатик, и якобы стреляющая в него самолётная пушка, установленная прямо на авансцене – создавали иллюзию реально происходящего: на солдатика пикирует, строчит из пулемёта гад-фашист, а солдатик прячется, вьётся ужом, заползает за торосы.

Всё это Наталью очень впечатлило. Понравился и исполнитель роли немца-лётчика в зверских очках-консервах, блестяще воплотивший замысел режиссёра. «Актёр Кнутов, – хлопая, шепнул ей Плуготаренко, повысив бутафора рангом. – Мой хороший знакомый!»

Когда спектакль закончился, когда после поклонов на авансцене артисты отходили вглубь и вновь весёлой братской связкой бежали на зал, когда ломко кланялся впереди них режиссёр, прикладывая руку к груди, Наталье вдруг захотелось побежать и вручить ему букет. Пошла даже, но, запутавшись в двух коридорах за ложей, вернулась обратно и хлопала вместе со всеми, локтем прижав букет к боку.

Из театра разгорячённые зрители выходили в прохладу ночи, трясли влажные рубашки, платья. Наталья вытирала горящее лицо платком, размазывая румяна. Осталась ждать Плуготаренко на театральной площади у потухших уже афиш.

На этот раз колясочника вывез из-за угла театра какой-то мужчина в плаще прямо на майку. Он оказался исполнителем роли немецкого лётчика.

Представленный Наталье, Кнутов с тигровыми полосами на лице от грима почти не слышал слов восторженной толстой женщины. Кнутов стоял и одной рукой держался за коляску с инвалидом-афганцем. Как за какой-то громоздкий, физиотерапевтический лечебный свой аппарат. Как за немую свою молитву, в конце концов!

– Не без странностей мужик, – смеясь, пояснил Наталье Плуготаренко, когда тронулись, наконец, и Кнутов остался у театра.

Продвигались по довольно освещенной парковой аллее с приклеенными друг к дружке влюблёнными на скамейках. Конечно, говорили о спектакле. Спорили. Наталья считала, что сибирский автор с сюжетом явно переборщил – не мог солдатик сбить из простой винтовки – да еще с одного выстрела – самолёт. Неправдоподобно это всё, притянуто за уши. Плуготаренко тут же рассказал, что автор

(сибирский) приезжал на премьеру своей пьесы. И встреченный бурей аплодисментов, со сцены после спектакля пояснил, что случай этот подлинный, о нём он сам прочитал в «Красной звезде» в самом конце войны и взял этот сюжет себе на заметку. На будущее. Конечно, вся довоенная жизнь героя им полностью придумана, сочинена, но сам случай – подлинный. Ивашова не стала больше спорить, только сказала: «Хороший писатель, Юрий Иванович, иногда сам себе потом не верит, что соврал. Тем более со сцены. Потому он и хороший писатель».

В центре парка, на ярком свету, продолжали окучивать вечерних посетителей Адамов и Сатказин. Гигантский поддуваемый человек неутомимо ломал руки и ноги свои. На мерцающем огнями танцполе танцоры выделывались по-всякому, напоминая сбесившийся на плывущем пароме крупный и мелкий рогатый скот.

Плуготаренко хотел подъехать, поздороваться с фотографом и с рисовальщиком, но те сами увидели его с дамой. Тут же подбежали. Без разговоров повели Наталью, чтобы сфотографировать на фоне неработающего фонтана.

Ивашова сердито отбивалась. Плуготаренко с коляской метался, спасал невесту, утихомиривал коллег, говорил, что снимутся у фонтана непременно, но в другой раз.

8.

В прихожей уже по привычке Наталья долго стояла перед зеркалом. На неё смотрела уставшая некрасивая толстая тётка, отыгравшая весь дневной спектакль, уже без парика, с несмытыми, размазавшимися на щеках румянами.

Вздохнув, двинулась в ванную, на ходу снимая с себя пёстрое платье.

Стояла под душем, вроде белой лошади под нескончаемым ночным дождём.

Был уже одиннадцатый час, но уселась есть. Раскладывала перед собой закуски на тарелках. Турецкий султан на голове развязался, лихо намотала его опять. Приступила. С аппетитом ела ветчину, беря ломтики с тарелки изящно – двумя пальчиками. Даже оттопыривая мизинчик. Одна радость в жизни осталась – хорошо поесть перед сном. Вообще-то – пожрать, если честно.

Потом долго пила чай. В телевизоре выступал писатель-шестидесятник. С прямоволосой бородой, он походил на большой колодный улей. До Москвы обитал где-то в Сибири. Вроде бы в городе на Енисее. Нового уже ничего выдумать и написать не может. Поэтому только рассказывает по телевизору стариковские свои былины из шестидесятых.

Мыла посуду на кухне. Потом под торшером упорно пыталась вникнуть в пресловутое «Ювенильное море». Отложила книжку с измождёнными людьми на обложке. Легла, выключила свет.

Долго не могла уснуть. Помимо воли думала о Юрии Плуготаренко.

В театре, когда рассаживались в ложе, он разом, будто циркач, перекинул себя с коляски на откидное кресло. Наталья глазом не успела моргнуть. Оказавшись впереди неё, он, как завсегдатай, запросто свесил руку с края ложи.

Во время спектакля он всё время оборачивался к ней, приглашал и её восхититься вместе с ним. Или вдруг широким жестом показывал на сцену, как экскурсовод, как хозяин всей этой театральной городской достопримечательности. Наталья отвлекалась, не могла уследить за действием, а он, зная пьесу наизусть, опять оглядывался и пояснял. Когда он хлопал артистам, и без того длинные руки его, казалось, плескались у самого потолка театра. И Наталья только выглядывала из-за них, ничего не могла понять, кому хлопают и почему.

Она попросила его пересесть на её место. Точно после резкого фляка назад, инвалид тут же оказался на её стуле. Она села впереди. Но он и на новом месте её доставал – всё время шептал ей в ухо, пояснял. Изо рта его пахло мятой.

Глава четвёртая

1.

У Натальи отношение к мужчинам, особенно после неудавшихся двух замужеств, было двояким – она их боялась, и в то же время её тянуло к ним. Когда начала работать на почте, к ней первое время липла плоскостопная Послыхалина. Набивалась в подружки. Если заразы Вахрушевой не бывало рядом, всё расспрашивала, всё стремилась узнать у Натальи *про её мужиков*. Охотно сама рассказывала – *об этом*. Со всеми подробностями. Вспоминая партнёров, – закатывала глаза. «Ну и ночка была,

подруга!» – звучал постоянный сладкий лейтмотив у тощенькой бабёнки с белобрысыми кудельками на голове. Видимо, из-за злое.....ти своей и уродливых ножек она пользовалась у мужчин большим спросом. В своём доме на Холмах она устраивала целые оргии. Особенно после смерти матери. С хрипатым Высоцким из магнитофона, с водкой, с долбёжной музыкой и лихими плясками под неё, когда казалось, что мужчины, ломая ноги, стремятся выдернуть у партнёрш руки.

Всё время заманивала к себе на Холмы Наталью: «Хватит куковать дома одной, подруга! Развеешься! Ощутишь себя женщиной! Я тебе такого молодца подберу! Поехали!»

Наталья, в своём женском одиночестве не избежавшая тайных занятий, которым иногда предаются безмужние застенчивые женщины, долго сопротивлялась. Но однажды сдалась – поехала к Послыхалиной. Вместе с ней. На Холмы. С предчувствием неизведанного, с замирающим сердцем. Поехала будто бы на день рождения Гальки. «Подарка не надо – водки купи», – сказала «именинница» возле гастронома.

В тот вечер Наталью вкрадчиво водил под музыку танго очень тощий мужчина. Водил на полусогнутых, кошачьим шагом. Тем самым наглядно показывал, каким злым он будет любовником. Но когда завел её в тёмную спальню, она сразу начала отталкивать его.

Она вырвалась на свет в большую комнату, оправляя платье.

Уже разложенный диван стоял, как полигон. Душевная, полураздетая, с распаренной водкой душой на стуле рядом пела Галька, вися на непомерно большой гитаре, как малолетка. У ног её восторженно, будто на задних лапках бобик, стоял на коленках её усатенький хахалёк.

– Присоединяйся к нам, подруга! – похлопала по дивану Галька. Восторженный тоже повернул голову.

Наталья сразу стала серой. Быстро пошла к двери. С крыльца её вырвало.

Долго ходила по темному двору, выворачивалась, сгибалась до самой земли. Вышла на улицу, двинулась вниз к плачущим огням Города.

«Всё! Никаких больше козьих потягушек!» – сказала себе на другой день. С Галькой порвала. На работе не видела в упор. А та только обиженно хихикала, рассказывая товаркам про Наталью всякие небылицы, гадости.

И только один раз за эти годы Наталья полюбила.

2.

Еврей, он был печален, как лошадь. Михаил Янович Готлиф. Познакомилась с ним Наталья в областной библиотеке им. Достоевского. В читальном зале. Засидевшись однажды допоздна.

Два месяца он печально говорил о литературе. Он сам писал. Повести. Рассказы. У него была справка из психиатрической лечебницы, позволяющая ему не работать на производстве. В одном и том же плаще, как несомый тёмный сарай, он ходил по вечерним улицам и рассуждал: «Поголовно читающего Советского Союза, Наталья Фёдоровна, давно уже нет. Накрылся медным тазом. Мы с вами – редкое исключение. Мы не вымершие динозавры. Сейчас современное телевидение читателя развратило. Как развращают женщину. Вместо серьёзных книг, серьёзного кино подсунуло ему склоки, скандалы в прямом эфире. Кухонных скандалисток с не затыкающимися погаными ртами. Как, я извиняюсь, с помойками. И всё это прямо ему в дом. Во двор на лавочку даже выходить не нужно. И всё это ему каждый вечер. И всё это на всю страну. Совести, стыда, запретных тем не стало. К тому же сейчас время тотальной рекламы. Время раскрученных брендов. В том числе и писательских. Чаще просто раздуваемых. Ну а у меня – вы сами знаете – бренда нет. Ни надутого, никакого». И он печально разводил руки.

Такого печального Наталья завела однажды в свою квартиру. Как в новое для него стойло. Ему вроде бы понравилось в нём. Он стал приходить. Отрешённый, всё такой же печальный, он позволял Наталье любить себя. Всегда покормив, та раздевала его, как ребёнка. Он капризничал. Наталья ползала по ковру, целовала его дородное равнодушное тело. Иногда на него находило, и он становился необузданным. Он раздувал ноздри, как жеребец. Наталья в такие минуты была на небе, пела. Вернее, повизгивала. Потом он снова угасал и только позволял себя раздевать и ползать возле него.

Как нередко бывает у еврейских мужчин, у него была только одна беда в жизни – его мама, из-под каблука которой он так и не смог выползти. Когда насмелился и привёл подругу для знакомства с ней, Наталья увидела сердитую еврейку в годах. Длинное тулово её в фартуке походило на выпуклый щит омоновца, из-под которого видны были только смявшиеся кривые ножки. Еврейка не признала

русскую халду сразу. Чаепитие за столом напоминало развод в суде. Судья сидит в высоком кресле, истец не знает, куда смотреть и что говорить, а ответчица готовится выступать, отбиваться, бурая от волнения, как свёкла.

Кончилось всё тем, что печальный еврей перестал приходить. Мама победила. Потом и вовсе увезла его куда-то. Только позже Наталья неожиданно узнала – куда.

Однажды она принесла пенсию... в их квартиру. Точно! Она запомнила и дом, и подъезд, и этаж, и дверь в заплесневелом дерматине.

Она позвонила. Но вместо Готлифа или его мамы ей открыла дверь незнакомая женщина средних лет. И сразу с улыбкой отступила, приглашая войти. В комнате, где когда-то Наталья сидела у стола, первоклассница в форме и с белым бантом на голове старательно выводила в тетрадке ручкой. В ожидании пенсии в углу недвижно сидел пенсионер. С толстыми, широко расставленными ногами походил на пухлое чёрное кресло из кабинета товарища Сталина.

Как пояснила женщина, они обменялись с Готлифами квартирами. Мать с сыном уехали в Кременчуг, на Украину, а они вот приехали и вселились сюда. «Вы тоже приносили им пенсию?» Наталья зачем-то сказала: да, приносила.

Это было два года назад.

И вот теперь – инвалид в коляске...

3.

Приближался день рождения Плуготаренко. Мать злилась, знала уже, что он собирается пригласить и Наталью. Обычно приходили только дядя Миша и тётя Галя да Проков с женой. Ну, еще два-три человека. Все из Общества. А тут, видите ли, будет ещё и Ивашова.

– Ты в театр её сводил – и обрадовался? – горячилась мать. – Ты думаешь, она пойдёт к нам? Мешком-то пуганая? Да она от страха заблевала весь дом у Послыхалиной на Холмах! Мне Баннова недавно рассказала. Весь дом!

– Ну, мы это ещё посмотрим! – как-то мстительно сузил глаза сын. Точно решил сплетницу Баннову зарезать. Прежде всего. А уж потом пригласить Ивашову Наталью.

В тот день он выехал из дому в шесть вечера. Он знал, что Наталья работала до семи. Можно не торопиться. Над головой тащило полчища сизых облаков. На Тургенева мимо проплыл большой открытый двор. Во дворе после сильного дождя – тихие деревья. Он остановился за полквартала от её дома. Надо было хорошенько обдумать, что ей сказать.

Она вышла на Тургенева из-за угла. И он, разом забыв всё, – рванул. Как после стартового пистолета. Он летел к ней, пригнувшись, сумасшедше дёргая рычаги коляски.

А дальше был всегдашний сельский танец-хоровод из толстой женщины и инвалида в коляске. Где добрый молодец выделывал перед красной девицей свои коленца, кренделя: Наталья Фёдоровна! мне тридцать пять! все будут свои! я вас приглашаю! приходите! не пожалеете! А красна девица на цыпочках шла, кружилась: что вы! я не могу! я не готова! я не умею! мне нельзя! (почему?) я занята! и вообще пошли вы к чёрту! (Это уже тихо, в сторону от пьесы.)

Наталья сидела в прихожей на банкетке и тяжело дышала. Остановить инвалида было невозможно. Остановить инвалида можно было только одним – послать его куда подальше. Прямо, грубо, беспощадно. Как останавливают истерику. Хлёсткой, безжалостной пощёчиной. Но представив такую картину – мгновенно покрылась потом. Нет, нельзя так, просто невозможно. Тогда что делать?

С испугом не узнавала лица своего в зеркале – лицо походило на весёлую целлулоидную гоблинскую маску, в какой забегают в банк, чтобы грабить. Где-нибудь в американском фильме... Чёрт! Помяла лицо. Только добавила красных пятен. Поднялась. Начала снимать свой пёстрый балахон.

4.

От застенчивости своей за шумным столом у Плуготаренко сидела совершенно нелепо на стуле – сильно откинувшись на нём. Так сидят с раскрытым ртом в ожидании дантистов. Поворачивала голову то в одну, то в другую сторону. Однако дантист за столом был только один – Вера Николаевна Плуготаренко. Галдящие гости уже мало обращали на Наталью внимание: шутили, смеялись, чокались бокалами и рюмками, закусывали.

Сам именинник усидеть на одном месте, конечно, не мог. С бокалом вина раскатывал вокруг стола, словно раскручивал и раскручивал всю эту весёлую, устроенную ему карусель. Иногда Наталья

слышала его слова: «Веселей, Наталья Фёдоровна! Ну что вы! Веселей!» Бил своим бокалом в бокал Натальи, точно будил, взбадривал её гонгом и снова укатывал.

Простодушный, общительный, он не понимал, что для неё, в Городе не имевшей даже подруг, находиться в компаниях, на людях – мука. Она сидела как раздетая. Была вся в себе. Она не запомнила ни одного имени. Не видела никого вокруг. Она понимала, что выглядит ненормальной, но ничего с собой поделать не могла. Она словно спала сейчас за столом. А раскатывающий именинник всё упорно бил и бил в её бокал своим. Старался разбудить.

Она пришла в себя только на улице, оставшись один на один с инвалидом, который увязался её провожать.

Они продвигались по ночной улице. Плуготаренко на удивление молчал. Возле дома Натальи сизый, повялый, светил в полнакала фонарь. Как нищий старик с протянутой кепкой.

– Вы простите меня, Наталья Фёдоровна. Я сделал всё не то, не так. Простите.

– Вы ни в чём не виноваты, Юрий Иванович. Виновата я одна.

На мужчину вдруг тёмно надвинулась тень, и на лбу он почувствовал женские сжатые губы. Она поцеловала его. Она исчезла в подъезде.

Он не двигался с места. Ветерок быстро высушивал оставшуюся влажную метку на лбу...

Наталья долго не могла уснуть. О дне рождения старалась не думать. Как отключившаяся на нём алкашка.

Всплывал и всплывал один эпизод из американского фильма, увиденного в прошлом году.

В музыкальном колледже пианист выходит к роялю. Он как будто заблудился. Он поверхностно кланяется залу, где сидят человек десять, пятнадцать слушателей. Точно хочет спросить у них, где тут выход. Наконец садится и начинает играть. Как обязательную студенческую консерваторскую шарманку, играет Баха. Вдруг останавливается. Снова начинает с самого начала. И опять замолчал. На том же месте. Десять-пятнадцать человек не дышат. Пианист встаёт, идёт к кулисам. Его с облегчением провожают аплодисментами. Ну что, пора расходиться? Все начинают ворочаться, подниматься. Но пианист вновь появляется из-за кулисы и идёт к роялю. Садится и начинает играть. Ту же пьесу. С начала. И вновь срывается в тишину. Встаёт и уходит.

Кинозрители рядом покатывались. Ивашова не смеялась. Она не знала, что такое настоящая серьёзная музыка, не знала произведений Баха, но у неё сразу сжалось сердце – пианист мгновенно стал ей близок. Она была такой же. Трусливой, не верящей в себя, потерянной. А пианист всё выходил и выходил. Он словно хотел умереть на сцене... Это был шок, бесконечно растянувшийся шок. Вот и сегодня и у неё был такой же. Только она, в отличие от музыканта – сидела и сидела. Никуда не уходила. Словно тоже из упрямства. Все уже попрощались с ней, ушли, а она всё сидела за столом. Так же откинуто. С отвешенным ртом. Словно была уже без сознания. Вера Николаевна думала, что она просто пьяна. Включившееся сознание Ивашовой уловило тихие слова женщины: «Ты бы уложил её, что ли, у себя. А сам бы вот здесь, на диване». Только тогда она поспешно встала. «Извините, пожалуйста, меня! Задумалась. Спасибо вам. До свидания». Деревянными ногами пошла на выход. Стыдно было нестерпимо, до слёз.

5.

Между тем у себя в доме на окраине Города утром проснувшийся Проков – недвижно лежал. Не в спальне с женой, а в большой комнате на диване, Похмелья не чувствовал. Контузия, полученная в Афгане, от всяких похмелий вылечила. Просто лежал с пустой головой. Ничего не мог вспомнить о дне рождения Плуга. Лежал на левом боку, придавив протез, который вчера даже не смог отцепить.

Слышались какие-то шорохи, поскрипывания за спиной. Повернул голову.

Жена месила на столе тесто. Уже по тому, как брезгливо она выпятила нижнюю губу, было видно – она очень сердита на мужа. Что-что, а губу выпячивать жена умела.

– Разве тебе можно пить, Николай? Ты ещё рюмки не выпил у Плуготаренков, а уже ничего не соображал. Ты вспомни, как сидел сначала за столом. Ещё трезвый. Вспомни! Юра тебе говорит, к тебе обращается, а ты пригнулся над тарелкой – и хомячишь. Будто век пельменей не ел. Я тебя ногой толкаю, а ты даже не слышишь. Хомячишь. Стыдоба! А потом, потом что ты вытворял? Когда выпили и запели? Кто громче всех орал и пугал своей чёрной ручищей? И больше всех толстую Юрину невесту? Да так, что та, бедная, полезла под стол, будто достать там что-то хотела. А?

Проков молчал. Тесто скрипело.

– А на улице? Помнишь? Как мы с Верой Николаевной отбивали тебя у милиции? Ведь фургон уже приехал за тобой. Милицейский фургон! Не мы бы – лежал бы сейчас в вытрезвителе, а не здесь на диване.

Проков скинул ноги, сел. В майке, в трусах. Всклоченный. Стал отстёгивать протез. Потом, вырвав у жены полотенце, пошёл во двор. В летний душ возле огорода.

В половине девятого он вышел за ограду и отправился на работу. На жену, развешивающую бельё во дворе, не смотрел. У него всё чётко – в девять он должен быть на работе.

У киоска возле парка развернул утреннюю газету, накинув её на присогнутый протез. Должна быть напечатана статья об инвалидах. И вдруг разом забыл о газете – тот парень, парень в кепоне, пацан, торопился к трамваю. И трамвай вот-вот должен был тронуться.

Проков бросился следом.

Трамвай уже шёл, но Проков упорно бежал, махал скомканной газетой. Увидев в зеркале бегущего инвалида с чёрной неживой рукой, вагоновожатая сжалилась, тормознула, чуть-чуть сдвинув дверь. И Проков влип в месиво тел.

Пацан в кепоне пробирался к середине вагона, Проков лез за ним. Ухватил, наконец, за плечо: «Ну-ка, постой-ка, шплинт». Пацан лет шестнадцати повернул конопатое недоумевающее лицо. «Ошибся, дядя?» Проков схватился за ручку на спинке сиденья, чтобы не упасть...

Случилось всё в позапрошлом году.

В ту осень, уже с сентября, хулиганьё начало по-волчьи сбиваться в ночные стаи. Ходить припоздившемуся обывателю по улицам, особенно на окраинах Города, стало опасно. Налетали всегда неожиданно. Без всяких «козёл, дай закурить» сбивали с ног и начинали пинать.

Афганца Прокова отпинали прямо напротив его ограды, прямо под уличным фонарём. Проков катался по земле, инстинктивно закрывался одной рукой, скукоживался, как зародыш в материнском пузыре, по которому садят ногами. Но спина оставалась открытой, и в неё тоже били. Били с размаху, будто в тумбу. Особенно старался, прыгал вокруг и пинал один пацанок. В большой кепке. С тонкой шейкой. Как шплинт.

Бряцая гитарой, дальше и дальше укатывался по пустынной улице весёлый хор. Проков ворочался на земле, стонал. Со двора дура Пальма только тявкала, повизгивала. На столбе ярко светил фонарь.

Кое-как поднялся, доковылял до лавочки возле калитки. Сел. Весь сжатый от боли, коротко дышал. Нестерпимо ныло в боку. Видимо, поломано было ребро. Может быть, два. Проков не мог глубоко вздохнуть. От дома бежала в ночной рубашке Валентина. Дура Пальма бежала вместе с ней, подпрыгивала к её лицу...

Плуготаренко с коляской тогда сам смог взобраться по крутому въезду на высокое крыльцо корпуса травматологии. В пятой палате на первом этаже он увидел лежащего друга таким же, каким тот был в ташкентском госпитале в 82-м году, где ему оттяпали руку, – сплошь забинтованным, прямо с культей руки, опять обрезанным на один бок.

Возле друга сидел востроносенький милиционер в накинутом халате с ожидающей ручкой на милицейском планшете.

– Так сколько их всё же было – восемь или десять? – настаивал милиционер.

– Трудно, знаете ли, сосчитать, когда тебя пинают, когда ты катаешься по земле, – вполне серьёзно отвечал пострадавший.

– Так вы запомнили кого-нибудь или нет? – продолжал милиционер.

– Запомнил. Точно запомнил! Но мне тут же дали по башке. И этот запомненный мною из башки сразу вылетел, – очень серьёзно смотрел на милиционера пострадавший. И добавил: – Знаете ли!

Милиционер крякнул, поднялся:

– Поправляйтесь.

На его место заехал Плуготаренко.

– Эко тебя, Коля. Хуже чем в Афгане. – Сидел, не знал что говорить.

Распухшее, в кровоподтёках лицо Прокова было как у синего идола.

Проков сжал руку друга, щелки глаз красно заполнились слезами:

– Я запомнил его, Юра, запомнил!..

За эти два года были и ещё подобные случаи, когда он бегал за удирающими шплинтами. Один раз, догнав, долго извинялся и похлопывал по плечу перепуганного паренька в большой кепке: «Прости, друг, прости! Обознался!»

Другой случай был посерьёзней.

Лже-Шплинта он выдернул прямо из орущих зрителей стадиона. Во время футбольного матча. Начал избивать одной рукой защищающегося парня в большой кепке. Человек пять еле скрутили однорукого инвалида. Он же мало что помнил. В себя пришел только в милиции. Общество инвалидов его отстояло тогда, до суда дело не дошло, списали всё на контузию Прокова.

Специально возвращался в ту осень домой поздними вечерами. Ближе к десяти, к одиннадцати. Как волк прокрадывался по тёмной своей улице из конца в конец. Переходил на соседние улицы. В руке сжимал гвоздодёр, завёрнутый в газету. Но не то что Шплинта, даже кодлочки какой-нибудь завалящей ни разу не встретил. Всю шпану как слизнуло с улиц его района. Он и сам уже начал сомневаться, всё ли у него в порядке с головой. Как говорится, а был ли Шплинт? Банда была, это точно, но был ли в ней этот пацан. Может быть, действительно это всё последствия его контузии. Может быть, лихая радостная мордочка в большой кепке ему пригрезилась. Пригрезилась в полуобмороке, в боли его.

6.

Проков свернул на Белинского, к двухэтажному голому зданию. С заблудившейся возле него берёзкой. Вроде деревенской девчушки с запылённым зелёным рюкзачком.

В кабинете Прокова грузный Громышев уже сидел, ждал. Похмельный, чёрный, как самое красивое и печальное бульдожье страшилище.

– Похмелиться бы мне, Коля. После вчерашнего.

Проков дал ему денег. Громышев поднялся, тяжело пошёл к двери. Видимо, в пивную. Протезы его под брюками в районе ягодиц ёрзали, срывались, ходили ходуном.

Потом в его инвалидной таратайке поехали в военкомат. Как будто в единой железной юбке до земли. Одной на двоих. Громышев поддавал и поддавал дыму и треску. Затиснутый между тучным водителем и дверцей Проков сидел как большой начальник – с папкой под мышкой...

При виде двух инвалидов, входящих в кабинет, подполковник Ганин не смог скрыть досады:

– Опять вы!

Инвалиды поздоровались, солидно сели у стола. Проков развязал папку, протянул Ганину бумагу. Список своих подопечных, кому требовалась неотложная помощь.

Военком наладил очки. В списке обнаружил целых двадцать шесть фамилий. И всем нужны телефоны, коляски, протезы! А одному – машину подавай! Это как?

– Вы что, совсем съехали? Мне что, все дела бросить и неделю заниматься вашими инвалидами?

Смотрел на настырных двух, даже не воспринимая их инвалидами.

Громышев мягко поправил его:

– Они не только наши, но и ваши, Пётр Семёнович. Они призывались на службу у вас. Они все побывали вот в этом вашем кабинете. Вы их всех напутствовали, прежде чем вручить предписания. Благословили, можно сказать, на дальнейшее.

Седой, уже предпенсионный Ганин хмурился. Как уличённый в нехорошем. Случившемся когда-то. По молодости. По глупости.

– Ладно. Я посмотрю, что можно сделать.

Инвалиды тут же подошли, наклонились, начали уточнять в списке, кем нужно заняться в первую очередь. Взятый в клещи, Ганин только голову поворачивал к наглецам.

Вечером, за столом у Плуготаренки, Проков и Громышев опять запели, зараскачивались, затошновали. Уже без жён. По-холостяцки:

Ой, то не вечер,
То не веече-ер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спало-о-ось,
Ох, да во сне привидело-ось...

Тошновали полуобнявшись, заливаясь слезами. К Юре Плугу кто кого притащил – они не знали, не помнили.

Мне во сне привиделося-а,
Будыто конь мой во-ро-ной
Разыгрался, расплясалыся,
Ды разрезвилыся подо мно-о-ой...

Веры Николаевны дома не было. Сам Юра Плуг не пил, а этаким подлым фото-Пименом метался с коляской по комнате и делал снимки. Для истории. Для ехиднейших потомков.

Кончилось всё тем, что Проков прямо, как солдат, упал с протезной рукой на диван. Громышев же на стуле ещё сидел. С подозрением озирался. Видимо, искал затаившегося с фотоаппаратом Плуга. Когда слышался щелчок спускаемого затвора, вскидывался и кричал: «Кто?!» И снова озирался. Тоже был хорошо повёрнутым после Афгана. Как и Проков с Плуготаренко. Ждал, видимо, гранаты или ножа. «Кто?! Стой, гад!»

От дворничихи Мякишевой, у которой был служебный телефон, Плуготаренко позвонил Громышеву домой. И потом в подъезде вместе с маленьким Колькой смотрел, как старший брат Громышева с сыном надсадно и быстро потащили под руки пьяного вместе со всеми его протезами. На улицу, к машине. Колька мотал своей большой головой: «Вот тяжеленный. Вот страшной. Как чёрный боров Борька, который живёт на Холмах!»

Уж кто-кто, а Колька знал толк в домашних животных. На Холмах он их постоянно изучал. Большие болтающиеся вымя коз его завораживали и пугали, как завораживают и пугают морские мины. От чёрного борова Борьки, у которого он однажды чуть-чуть приподнял прутиком ухо, – ему пришлось с рёвом бежать по улице к Городу.

Колька никогда не проходил мимо кошек, собак. Стаи голубей он сдергивал с асфальта, как плащи. Со всеми животными Колька хотел подружиться. Но в руки ему никто почему-то не давался. От этого Колька нередко ходил исцарапанным и даже покусанным.

Он пришёл как-то к Плуготаренко с круглой коробкой из-под леденцов и столовой ложкой. Сначала сам послушал закрытую коробку, а потом дал послушать дяде Юре. Внутри кто-то шебаршился, метался, явно рвался на свободу. Колька поставил железную коробку на стол, размахнулся и сильно ударил коробку ложкой. Обождал какое-то время, приложил к коробке ухо. Дал послушать дяде Юре. Внутри было тихо. Тогда Колька открыл коробку и, как фокусник, показал Плуготаренке. Внутри лежал таракан. Кверху лапками.

«Да ты же настоящий исследователь, Колька! Настоящий учёный-живодёр!» – до слёз хохотал тогда Плуготаренко.

7.

В шесть утра Проков как вор придавил за собой входную дверь Плуготаренков. Заперев дых, дождался щелчка английского замка.

В подъезде какой-то пацанёнок в колготках гонялся за кошкой. «Ну же, Мурка! Не бойся!» Приседал к ней, протягивал руку. Кошка ощеривалась, шипела на мальчишку, как на пса.

У подъезда, видимо, мать мальчишки мела тротуар. Сразу остановила метлу. Долго провожала Прокова взглядом. Забытые слетали с губ слова:

– Колька, оставь кошку в покое.

Проков шёл. Голова опять была пустой. Проков опять ничего не помнил. Хоть убей!

Его контузило весной 79-го. В марте в Афганистане идут дожди. Долгие, по нескольку дней. Кровати в землянке стояли в два этажа. Сквозь крышу без наката, как ни закидывали её землёй, просачивалась вода. Укрывались по ночам плащ-палатками, но всё равно мокли, мёрзли. Смастырили в конце концов печку типа «поларис». Сделали её из обычной трубы, нижний конец которой запаяли. Через окно посередине трубы заливали солярку и поджигали. Дыму в землянке – не продохнуть, но становилось теплее и суше. Утром наружу все вылезали с закопчёнными лицами. Плевались сажей, как черти. Точно разучившиеся умываться, задирали лица к небу, чтобы дождь сам смыл всё с лица и души.

В одно такое утро Проков, как всегда поднявшись раньше всех, отливал возле землянки. Небо было низким, небо тащило, но дождь на время перестал.

Прилетевшая ракета пробила крышу и взорвалась в землянке, подняв её на воздух.

Тугой резкий звук-удар бросил Прокова вперёд. Проков упал, перевернулся несколько раз и потерял сознание. Сидел потом на земле, раскачивался, из носу и ушей шла кровь, ничего не слышал, не понимал санитаров.

В госпитале в первый день истерично выкрикивал врачу: «Погибли все! Понимаете?! И Куликов, и Колтышев, и рядовой Гарифуллин, и...» Забыл, не мог вспомнить фамилии остальных. Мучился, искал их словно бы вокруг. С тампонами на ушах, весь иссечённый каменной крошкой – будто обгаженный птицами. «Куликов, сержант Колтышев, рядовой Гарифуллин», – всё твердил и твердил контуженный, уводимый сестрой в палату. Словно боялся и эти фамилии забыть.

По ночам слёзы текли и текли. Как у бабы. В голове по-прежнему торчали только три фамилии из всего погибшего второго отделения. Рядовой Куликов, сержант Колтышев, рядовой Гарифуллин. Помнились только эти трое. В конце концов Проков начал понимать – почему: они тащили за собой в память случай, произошедший в Тогапском ущелье...

При зачистках в кишлаках моджахеды нередко выскакивали неизвестно откуда. Уж точно, духи. Стреляли и тут же исчезали. Поэтому при проверке домов на входе всегда оставляли солдата. А то духи могли и гранатку в дом подкинуть. На прощание.

В тот день, когда отделение Колтышева зашло в очередной дом, у дверей оставили рядового Гарифуллина. На него сразу же прыгнули с дувала два душмана с ножами. Они выбили у него автомат и стали резать. Булат Гарифуллин отбивался голыми руками, весь в крови, в порезах. Потом духи свалили Булата в арык, стали топить. Стрелять не могли – кишлак был набит неверными. В последнюю минуту Булата, уже дрыгающего ногами, увидел из окна рядовой Куликов. Ребята выскочили на улицу – расстреляли моджахедов в упор.

Навесив Булату автомат, его, порезанного, окровавленного, повели на площадь кишлака. Там в это время трое старейшин доказывали Прокову, что душманов в кишлаке нет. Дескать, отродясь не было. Как только Булат увидел стариков, сдёрнул автомат и скосил их, чудом не задев своих. Сам Проков успел шмякнуться на землю. Хотя моджахеды не подпадали под конвенцию военнопленных, Проков надавал Булату по морде. Испугавшиеся ребята Булата тоже осуждали. Но не за убитых стариков, а, как сказал рядовой Куликов, «за опасную стрельбу»...

Проков тогда пробыл в госпитале две недели. Стал слышать. Но вспомнить остальных ребят из отделения так и не смог. «Колтышев! Куликов! Гарифуллин!» – твердил и твердил он, как заклинание, болтаясь в кузове грузовика, который вёз его в часть.

8.

На крыльце Валентина рубила в деревянном корытце капусту. На подходившего мужа не смотрела. Нижняя брезгливая губа её опять была выпячена. Пальма солидарно лежала рядом, на лапы положив морду и укоризненно поглядывая на хозяина.

– У Юры Плуга был, – сказал Проков, обходя и жену с брезгливой губой и собаку. – С Громышевым.

Через минуту вышел в трусах и майке. С полотенцем. Направился к будке летнего душа, над которым висело белое, заблудившееся облако.

Отстегнув протез, не знал, куда его пристроить. Приставил к будке. Зашёл внутрь, пустил душ.

Пальма тут же подбежала. Серьёзно обнюхала протез. Затем потащила по земле чёрную руку к хозяйке. Как улику.

За завтраком Валентина с мужем не разговаривала. Как всякой добропорядочной жене, ей положено было обидеться. И она обиделась. Сын Женька тоже воротил мордашку в сторону. Одна глупая Пальма заглядывала всем в глаза, ничего не могла понять. Плаксиво принималась взлаивать. Словно спрашивала: почему сидите истуканами? А?..

С медсестрой Валентиной Гладышевой Проков познакомился в местной поликлинике. Сразу как приехал домой в Город после госпиталя. Процедурная сестра, она ставила ему ежедневно два укола. В мягкое место. Причем ставила очень своеобразно – как в утреннем автобусе, дыша в затылок и с маху поддевая иглой. Словно наказывала. Как безбилетника. Но абсолютно равнодушно и безболезненно. При этом нижняя губа у неё выпячивалась. Вот такая была у неё манера ставить уколы. Старушонки со спущенными штанишками всегда хихикали в процедурной, ожидая её иглы.

Кавинтон и пирацетам Прокову предписал от гула в башке (последствие всё той же контузии) психоневролог Акрамов из госпиталя Ташкента. И Проков приходил на уколы к равнодушной медсестре недели полторы.

Потом надолго забыл о ней, ни разу не встретив в Городе.

Он увидел её через полгода на шумной гулянке у Громышевых, которым она приходилась то ли дальней родственницей, то ли хорошей знакомой.

Сначала они делали вид, что не знают друг друга. Но рюмки через три Проков начал пыжиться, солидно надуваться. А потом и вовсе – стал злым, к разоблачениям готовым. И спросил он тогда её, сидящую напротив: «Ну что, уважаемая, подденешь меня своей иглой, как безбилетника в автобусе? А? Отвечай!» Он даже вскочил и придвинулся к ней...

Очнулся дома на кровати. Рядом лежала, сладко посапывая, медсестра! Он опрокинулся обратно на подушку, мгновенно покрывшись потом. Это была фантастика! Бред! Пить ему нельзя было ни рюмки!..

...Проков отставил стакан с недопитым чаем, стал трепать волнистую шерсть охотничьей собаки. Пальма сразу же вскинула лапы ему на колени. Приготовилась. Он начал гладить её вытянутую, ласковую, жмурящуюся от удовольствия морду.

Демонстративно смачно поцеловал собаку в прохладный влажный нос. Как единственную родную душу в этом доме. Поднялся из-за стола. Сказал истуканам: «Спасибо». Пошёл одеваться.

В ящике буфета искал сигареты. Вроде бы должна остаться пачка. Жена смотрела на него почему-то с жалостью – как совсем незнакомая жена.

– Ну? – повернул голову Проков.

– Зиновьев умер. Гриша.

С пачкой сигарет Проков сел. Та-ак. Отмучился, значит, бедняга.

– Когда?

– Вчера вечером... Жена позвонила. – Валентина не удержалась, уколола: – Когда ты водку с Громышевым жрал.

Гриша считался инвалидом лёгким. Из Афгана вернулся всего лишь с негнущейся прямой ногой. Он переставлял её за собой как коромысло, как дугу. В постоянно моднючих своих остроносых туфлях – будто получивший ранение Хоттабыч.

Ему дали только третью группу. Он работал. На стройках Города. Мастером. Прорабом. Женился на Кате Панфиловой из семьи соседей Прокова – Панфиловых. Имел с ней двух детей. Не пил, не курил. Но после двух гепатитов, перенесённых в Афгане, мучила Гришу печень. Два, а то и три раза в год его клали в больницу. С лицом неузнаваемым, печальным, цвета побуревшего золота.

Он мог бы давно перейти на полную инвалидность, получать по первой группе, но не хотел. Болел, но работал. И вот – отмучился.

Проков начал накручивать диск, чтобы сообщить всем ребятам. Потом пошёл к Грише домой посмотреть на него, теперь покойного, утешить как-то Катю. Договориться с нею о похоронах.

Плуготаренко удивился, увидев Прокова в дверях. Забыл, наверное, что-то.

– Давай. Заходи.

– Гриша Зиновьев умер, – не двинулся с места Проков. – Прощание завтра. В нашем клубе. Потом похороны.

Он повернулся, пошёл в свет, на улицу.

– Да постой! Куда ты? – успел только крикнуть Плуготаренко. На душе сразу стало нехорошо.

На другой день с утра поехал в Общество. Мать погладила ему чёрный костюм, дала денег на цветы.

Впервые Зиновьева Плуготаренко увидел на танцах в парке. Пижонистый, одетый в рубашку с воланами и расклёшенные брюки, обтягивающие зад – Гриша танцевал румбу с какой-то девицей. (С будущей своей женой, Катей Панфиловой.) Хотя танцевал – это, наверное, не то слово. С прямой правой ногой он толокся почти на месте, чуть отступая и наступая, точно примерялся, как половчее поддеть партнёршу прямой своей ногой. Это был очень оригинальный танец. Парни даже забывали про партнёрш, молотили попусту ногами. Смотрели на него, раскрыв рты. А он работал, а он всё примерялся! Плуготаренко тогда успел сделать несколько снимков, а позже, познакомившись с танцором, подарить ему.

И вот теперь жизнелюбца Гриши нет... Не верилось в это. Плуготаренко, пригнувшись, толкал рычаги, никого не видел вокруг.

После бесконечно длинного дня – прощания с усохшим Гришей в клубе, похорон на Новом кладбище, поминального обеда в кафе – вернулся домой вечером.

– Похоронили Гришу? – спросила мать.

– Похоронили, мама, – ответил сын.

Мать перебирала что-то на столе, ждала подробностей.

Плуготаренко не стал ничего рассказывать. Скинув пиджак, поехал к себе.

Лежал. Опять всё тащилось перед глазами. Видел инвалидов, растерянных, оттеснённых от гроба в сторону идущими и идущими строителями. Видел гроб, где сам Гриша казался страшно маленьким,

похожим на улыбчивого золотого мальчика из раскопок. Видел деловито шныряющего Прокова с красно-черной повязкой на рукаве пиджака. Тяжёлого на протезах Громышева. Его неуместно сладкие губы, говорящие прощальные слова на кладбище. Видел, как кидали люди потом на крышку гроба скорбные свои горстки земли.

Плуготаренко тоже потянулся с коляски, чтобы кинуть. И чуть не улетел в могилу к Грише. Его еле успели подхватить. Удерживали. И он, взяв землю, кинул.

Как боевому офицеру, прошедшему Афганистан командиром стрелковой роты, Зиновьеву были положены воинские почести. Военкомат договорился с местным гарнизоном. Оттуда привезли в последний момент взвод солдат и военный оркестр.

Когда могильщики начали закапывать, краснощёкие мальчишки в солдатской форме по команде привскинули автоматы и дали трескучий залп, вспугнув всех ворон на березах. Дружно передёргивая затворы, ещё жахнули два раза, всё так же пугая ворон. И оркестр сразу как с цепи сорвался – гимн погнал галопом. Точно опаздывал на обед. А заодно быстро сметал этим бодрым гимном всю скорбь с кладбища.

Плуготаренко смотрел вверх. Смотрел, как от залпов, от гремящего лихого оркестра метались, не находили себе места в небе птицы.

Глава пятая

1.

Несколько дней после похорон собирал-клеил дома коробки. Мать приходила с работы уставшей. Клеил один, ей не давал помогать.

В эти дни Вера Николаевна с удивлением заметила, что сын перестал торчать по утрам у окна и фотографировать свою дульсинею. И вообще кого бы то ни было – фотоаппарат который день уже висел на гвозде брошенный. Со всей своей ременной амуницией – будто расчихвощенный. Небывалое дело! Тут впору схватить лобик ребёнка в ладошку: не заболело ли чадо?

Юрий сам чувствовал: после похорон несчастного Гриши что-то в нём оборвалось. Он стал другим. Он словно вылечился от своего синдрома. Перестал быть жизнерадостным идиотом. Наталью он видеть почему-то не хотел, на раскатывания перед ней – не тянуло. Из ненормального веселья его кинуло в другую крайность – во мрак. Сумеречный как сыч, он клеил и клеил коробки. Комната напоминала уже затаренный склад магазина. Подсобку.

Пришедшая с пособием Наталья его не узнала – он не восклицал, не размахивал руками и не метался. Он поздоровался и не торопясь поехал в комнату, к столу. Расписался и молча ждал, пока она считала деньги. Сказал ей «спасибо», не посмотрев даже на стопку купюр на столе.

Наталья торопливо собирала документы, оставшиеся деньги, толкала в пакет. Он смотрел куда-то в сторону, опять ждал. Как будто не было ни театра, ни ухаживаний – ничего! «Спасибо. До свидания», – сказал он и закрыл за ней дверь.

Он даже не предложил ей чаю, печенья!

Наталья шла по улице оглушённая. Плуготаренко повёл себя так, словно услышал о ней грязную сплетню. Узнал что-то нехорошее, гадкое. И сразу поверив, тут же отвернулся от неё.

Да-а, вот так инвалид, вот так плюнул в душу. Но это и хорошо, говорила она себе, и закончилось всё, и пошёл он к чёрту!

Ничего не соображала в захламлённой квартире старухи, которая в прошлый раз грохнулась на пол. Семибратова явно ожила, внимательно следила за мелькающими купюрами в руках Натальи. Наталья ошибалась. Вновь ещё быстрее принималась пересчитывать деньги. «Легче, легче, доча, – одерживала её старуха. – Куда спешишь?»

В сталинской квартире Наталья выдала Водолазу лишние пять рублей. Водолаз ничего не мог понять, разглядывая деньги. Тогда жена выхватила у него пятёрку, догнала Наталью уже в дверях и вернула. Куриные красные щёчки её подрагивали. «Нам лишнего не нужно». Захлопнула дверь.

Про развратненького старичка Наталья вообще забыла. И тот кричал ей вдогонку с лестницы. Уже не предлагал быть у него прачкой. Сердито ожидал в дверях.

Вечером, даже не переодевшись, она смотрела в телевизор на киноартиста Депардье. По-прежнему ничего не соображала. Красивый и прежде любимый, сейчас актёр непонятным образом превратился в громоздкий шкаф, в крестьянина с французской фермы, во французского мужлана.

Обида перебивала всё. Ею опять пренебрегли.

Утром ноги сами потащили её на Лермонтова. Но Плуготаренко с фотоаппаратом в окне – не было. И не было уже второй или третий день. Хватит, хватит, опять говорила она себе, и хорошо всё, и отстал, наконец, и довольно. Но отчего-то хотелось плакать. Наталья шла, смотрела вверх. Пушистая утренняя луна дрожала. Разваливалась, сминалась.

Какой-то мужик шарахнулся от неё: «Куда смотришь, корова!» Наталья разом вернулась на землю, вытерла платком глаза.

Будто в кадке фикус, в операционном зале уже стояла Баннова. Вахрушевой ещё не было, поэтому в окружении почти всех работниц почты. Изо рта её, прямо-таки зримо, как змея, выползала очередная сладостная женская сплетня. Увидев Ивашову, нарочито, словно в полном смущении, прикрыла рот ладошкой. Ой, девоньки, попалась!

Наталья нахмурилась. Поздоровавшись со всеми, опустив глаза, прошла к кассирше Шорниковой.

– Это что ещё такое!

В помещение входила Вахрушева.

– Это что опять за собрание! Вы опять здесь? – повернулась к Банновой.

Подчинённые разведёнки сразу оказались за своими столами, а Баннова боком посеменила к выходу. Как некий потупившийся толстоногий кордебалет, обиженно уметающийся со сцены.

Однако Наталья сразу увидела её у решётки своего окна. С Плуготаренко Верой Николаевной. Две подружки встретились. Давно не виделись.

Уж тут точно разговор начался о ней, об Ивашовой. О ней и сыне Веры Николаевны. Олухе. Связавшемся с хитрож... коровой. Которая зарится на его с матерью квартиру в центре Города. Она ведь ходит с пенсиями и высматривает. Чуть было не влезла к Готлифам в двухкомнатную. Да Циля там не два по третьему – быстро разгадала толстую прохиндейку.

Форточка была закрыта, кроме бубни ничего не было слышно, но когда говорила одна (Плуготаренко), толстые ноги другой (Банновой) не могли стоять на месте, в нетерпении притопывали. Когда наступала очередь Банновой говорить – с ногами Веры Николаевны происходило то же самое: они, ноги, так же топтались. Точно торопили Баннову. Вере Николаевне самой поскорей хотелось заговорить. Наблюдать всё это было забавно.

Наталья встала на стул и хотела открыть форточку. Чтобы к пантомиме ног добавить голоса. Потянулась даже к задвижке, но в последний момент отпрянула и спрыгнула на пол – её сразу увидят и услышат с тротуара. А представив изумлённых, разом онемевших двух женщин с раскрытыми ртами, начала неудержимо смеяться. Хохотать. Истерика. Натуральная истерика.

Вокруг неё суетились, ей наливали воду, пытались заглянуть в глаза. А она всё гнулась и хохотала, гнулась и хохотала.

Появилась Вахрушева. С высоким лбом своим, будто с надолбом.

– Это что ещё такое! Ну-ка прекратить!

Наталья разом проглотила всё. Стояла перед начальницей, икала, вся в слезах.

Что-то дрогнуло в Вахрушевой:

– Не надо плакать. Успокойтесь. Идите домой.

Однако строго повернулась к остальным:

– А вы чего рты раскрыли!

Толкаясь, женщины ринулись за свои столы.

2.

Наталья быстро шла по улице, зажималась, её бил озноб. Останавливалась на углах, озиралась, точно заблудившись. Снова быстро шла.

Как на место преступления, её опять вынесло на Лермонтова.

Теперь Плуготаренко из окна её не узнал – она прошла очень быстро, охватив себя руками, точно в одном легком платье в сильный мороз.

Юрий заторопился из квартиры. Выкатил из подъезда, рванул вслед. Но за углом Ивашовой уже не было.

Плуготаренко повернул, в неуверенности поехал обратно к дому. Наверняка случилось что-то серьёзное. Так, никого не видя вокруг, идёт человек, у которого умер кто-то близкий. Мать? Отец? Уже вчера она была какой-то странной. Молчком выдала деньги, быстро собралась и ушла. Даже не попив чаю.

В комнате Плуготаренко долго смотрел на фотоаппарат на стене. Фотоаппарат висел, как безжизненный гимнаст. Как повесившийся Арлекин. Странно. Почему не брал его в руки несколько дней?

Точно впервые увидел нагромождения коробок вокруг. Будто на складе каком. Тоже странно. Даже не заметил, что столько намолотил. Нужно звонить теперь на картонажку, чтобы забрали.

Пришла чем-то переполненная, оживлённая мать.

– Ну, как ты тут?

Молчком обедал с ней. Вдруг засмеялся:

– Знаешь, мама, что на похоронах Гриши Зиновьева понравилось мне больше всего?

У Веры Николаевны лицо стало похожим на фасолевый боб.

А сын, смеясь, выдал ей:

– Гимн, мама, понравился. Гимн духового оркестра в конце. Очень быстрый. Галопом. Прямо хотелось сплясать под него!

Довольный, он всё смеялся. Он словно опять разом выздоровел. Опять дал акробатический фляк. Фляк назад. Вернулся в себя прежнего, весёлого.

У Веры Николаевны похолодело в груди.

– Что с тобой, Юра?

Сын её не слышал:

– Позвоню от Мякишевых на картонажку. Пусть заберут коробки. А то в комнате уже нельзя пройти.

Всё такой же весёлый и довольный направил коляску в прихожую...

Через два дня упорных поисков Натальи он дождался её, наконец, на Тургенева. Подлетел к ней по своему обыкновению – как пёс к хозяйке. Что называется, с виляющим хвостом:

– Здравствуйте, Наталья Федоровна! Я нигде не могу вас найти! Куда вы пропали! В прошлый раз ушли от меня неожиданно, быстро. Даже не попили чаю. Я ничего не успел вам сказать. Что произошло, Наталья Фёдоровна? У вас случилось несчастье? Я увидел вас на другой день из окна и просто не узнал! У вас кто-то умер, да? Наталья Фёдоровна?

Наталья растерялась. Не верила ни глазам своим, ни ушам. Но инвалид смотрел участливо, невинными глазами.

– Я болела.

Опустив голову, пошла к своему дому. Инвалид не отставал, вылетал то справа, то слева от неё. И говорил, говорил без остановки. Всё было по-старому. Инвалид опять был прежним, весёлым. Он вернулся. Теперь уже, видимо, навсегда.

Наталья вошла в подъезд, бросила за спиной и смех, и громкий голос. Поднимаясь по лестнице, представляла, как колясочник сейчас размахивает руками перед закрытой дверью. Как говорит и говорит, не может остановиться.

Душили слёзы, не могла попасть ключом в замок. Бедный несчастный солнечный Плуготаренко!

Ну а смеющийся жених, довольный (всё у любимой хорошо, никто у неё не умер), поехал домой.

3.

Колька Мякишев мелко бежал по тротуару, пытался подружиться с сереньким стриженым пудельком. Взятый на поводок, пуделёк дисциплинированно частил лапками рядом с дяденькой-хозяином. Дяденька был в очках и в попугайной рубахе навыпуск. Колька нагибался, хотел погладить пёсика. Стриженая головёнка пуделька тряслась как махровый цветок. Он огрызался. Дяденька-хозяин, казалось, ничего не замечал. Вдруг схватил Кольку за ухо. Вздёрнул:

– Ты, запёрдыш! Двадцатипроцентная скидка!

В колготках своих пожизненных Колька послушно висел, вернее, переступал ножками, как балерун, скосив голову, ухваченную за ухо. Парень в очках, походило, не знал, что с «запёрдышем» делать.

Плуготаренко увидел, рванул. С ходу саданул очкарика кулаком в печень. Парень переломился от боли, но тут же бросился наутёк. Убегал, дёргая за собой пуделька, грозился.

– Вот дурной так дурной, – ласкал ухо Колька. От удивления даже не плакал.

А уже через минуту гнал на коляске, будто один дёргая рычаги, брызгаясь слюнями. Левое горящее ухо его стало гораздо толще, старше правого.

У себя в квартире Плуготаренко отправил Кольку в ванную, чтобы тот хорошенько вымыл руки с мылом. Потом тщательно вытер руки мальчишки полотенцем и, усадив за стол, раскинул перед ним с десяток фотографий:

– Смотри, Колька! Какая понравится – скажи.

С фотоаппаратом наизготовку замер. Как охотник. Стал ждать момента главного – когда Колька увидит себя на фотографии полуторагодичной давности.

Пальчонками шестилетний мальчишка деликатно перебирал фотографии. Молчал. Голова его была недвижна. Походила на большой, коротко остриженный одуван.

– Вот эта! – ткнул, наконец, пальцем в одну.

Фотограф был разочарован – Колька указал на пса с муравьиной башкой. С которым, видимо, не успел ещё подружиться.

– Смотри ещё!

Как карты, перемешал все фотографии. А «козырную» выкинул наверх. Под нос эксперту. Но тот, не видя себя в упор, стал снова перебирать. И без ошибки ткнул:

– Вот эта! Лучше всех, дядя Юра!

На Плуготаренко опять смотрел пес с заросшей муравьиной башкой.

– Да чёрт тебя! А вот эта, вот эта что-нибудь говорит тебе?

Колька смотрел на себя самого, юного. Смотрел на беленький писюн, выглядывающий из проносившихся колготок.

– А почему он не писяет, дядя Юра? Этот мальчишка? Он что – стесняется?

– Тьфу!

Пришла на обед мать. Сразу воскликнула:

– Что это с ним?

– Производственная травма, – вздохнув, пояснил бабе Вере сам маленький гоблин с оттопыренным ухом. Словами дяди Юры.

Однако Вера Николаевна смеяться не стала, а сразу принялась лечить. Мазала ухо какой-то мазью. Заставляла Кольку удерживать на ухе сложенные марлечки, пропитанные этой мазью.

Потом на кухне втроём обедали. Вера Николаевна наливала мужчинам в тарелки окрошку. Колька не ломался, хорошо загребал большой столовой ложкой, удерживая её в кулачке. Хоть с матерью бы его сошёлся, мысленно говорила сыну Вера Николаевна. Ведь хороший мальчишка растёт. Да и Зоя достойная женщина. Работает на двух работах. Тянет сынишку. Блюдёт себя. А? Куда фотоаппарат свой направляешь, тетеря? В какое окно?

Фотограф ел и тоже поглядывал на Кольку. Жаль, что дети так забывчивы. Ведь мог бы получиться хороший снимок: теперешний Колька показывает всем свою раннюю фотографию. С писюном. Показывает радостно. Как мандат. Смотрите, это я!.. Жаль. Не получилось. Фотомодель подвела.

А Колька уже слегка окосел от еды. Окрошки у дяди Юры и бабы Веры он съел большую тарелку. Раздутый, сидел, икал. Его явно тянуло в сон. Вера Николаевна предложила ему прилечь. Вон, на диване. Колька мутно посмотрел на диван – отказался.

Его уводила домой ругающаяся мать. Приобнятый ею, маленький бражник заплетал ножками в колготках, оступался.

– Что у тебя с ухом? – допытывалась мать.

– А! – бесшабашно махал рукой кутила. – Производственная травма!

Юрий смеялся, а Вера Николаевна ничего, кроме досады, не испытывала – сын никак не воспринимал соседку. Как, впрочем, и та его.

Известно, что даже собаки, прежде чем без сожаления разбежаться, должны походить вокруг друг дружки. Обнюхаться хотя бы. Эти двое – нет: никогда не «ходили» и не «обнюхивались». Глаза обоим всегда застилал маленький Колька – забавный щеночек.

4.

В горсовет обратно Вера Николаевна шла хмурая, недовольная. И сыном, и собой. Солнце стояло в зените беспощадное, жаркое. Вокруг тоже всё раздражало. Сначала какой-то старик подмигнул ей, точно подружке. Прошёл мимо весёлый. От гипертонии и солнца пылая, как спирт. За ним четверо подростков навстречу шли. На манер негритосов – приплясывая, пуляя руками. В болтающихся майках почти до пят. Чуть не сшибли её (старуху) с ног. Да чтоб вас! Вера Николаевна спотыкалась, оглядывалась. А тут ещё всенародный Голубков впаривал почти с каждого дома. Куда ни повернись. Давно уже сдох МММ, а он всё впаривает: «Куплю жене сапоги!» Да сколько ж можно!

Вера Николаевна остановилась. Неожиданно для себя свернула к отделению связи. К отделению связи №4.

В операционном зале оглядывалась, чтобы убедиться: тот, кого она ищет – на месте.

Решительно направилась к первому окошку, за стеклом которого сидела Ивашова.

– Здравствуйте, Вера Николаевна, – привстав, пролепетала Наталья. – Что-то случилось? С Юрием Ивановичем?

– Ни в коем случае! Всё у него хорошо! Просто отлично!

Вера Николаевна стучала пальцами возле стекла. С лицом независимым. С лицом себе на уме Мефистофеля. Готовящего кову.

– Тогда вы хотите, наверное, оформить у нас подписку?

– Точно так! Именно! Хочу! Только у вас! На газету «Наш город»! – выкрикивала Вера Николаевна уже по-военному. Словно для того, чтобы набежало больше свидетелей. Да!

Наталья, не поднимая глаз, быстро заполняла квитанцию. Пальцы над головой по-прежнему стукали. Совсем рядом.

Наталья подала квитанцию, назвала сумму.

– Отлично! – Вера Николаевна хлопнула деньги: – Получите!

Пошла на выход.

Что это было? Угроза? Демонстрация силы? Или просто жарко сегодня на улице? Наталья опустилась на стул.

В углу Баннова нашёптывала, поглядывая на виновницу несостоявшегося скандала. Но появилась Вахрушева – и все разом оказались на своих местах. Ну а Баннова опять показала начальнице почты потупившуюся толстоногую балерину, уносящуюся со сцены.

5.

Наталья опустошенно сидела в парке. Никуда не хотелось идти. Неутомимый, выламывался и выламывался гигантский прорезиненный разноцветный человек. Фотограф и живописец хватали проходящих усталых людей. На танцполе настраивались-мяукали гитары, готовились дружно вдарить, чтобы земля задрожала. Небо было голым, предночным. И только вдали – подпираемая закатом – одиноко висела тучка свинцово-красного цвета, напоминая горящий замок.

Дома, прежде чем есть, Наталья по привычке потянулась к пульту.

Со своим постоянным бодряческим гимном на экран вылетела заставка «Санты-Барбары». Наталья тут же переключила канал. Но там ещё чище – изнемогали Ла́ура и Альберто.

На следующем канале шло ток-шоу с поганками-скандалистками. С не затыкающимися, как говорил Готлиф, ртами. «Да чёрт вас задери совсем!» Наталья взмахивала пультом. А тот никак не переключал. Видимо, из-за севшей батарейки. Наконец, открылась «Культура».

Показывали литературный курятник. Главный куровод – мужчина, всё время слушающий свои слова – пространно говорил о литературе. Его курочки и петушки во время рассуждений мэтра дисциплинированно сидели на двухуровневом насесте – рядок выше, рядок ниже – терпеливо ждали своей очереди. Чтобы тоже умно порассуждать. Наталья ела, внимательно смотрела и слушала.

Передача было регулярной, еженедельной. И поражало всегда то, что ведущий – этот умный, въедливый, добирающийся всегда до самой сути произведений писатель – сам так бездарно пишет. Ведь если убрать из его вещей порнографию, все модернистские его скабрёзности, читать будет нечего. Останется унылая однородная серая каша. Однако если бы кто-нибудь его спросил – «почему так пишешь, Въедливый?» – писатель тут же ответил бы, что всё так задумано. Что до его прозы нужно дорасти. И опять бы вслушивался в себя, переваривая сказанное.

Бродила у Натальи мысль, что умные рассуждения о литературе порой не очень дружат с творчеством самих таких рассуждающих писателей. Вроде бы возникает постоянно перед ними какой-то непреодолимый барьер, барьер между умом их и творчеством, через который они никак не могут перепрыгнуть. Ходят, примеряются, как спортсмены к высоте, но – никак. А если и сиганёт какой, то планка непременно падает. Лучше уже просто ходить и примеряться. Пока не погонят со стадиона.

Мысль эту подтверждали и курочки с петушками, когда взахлёб начинали так же умно рассуждать, как и мэтр. Двое были тоже писателями, и книги их Наталья читала. И говорили они о разбираемом произведении один лучше другого. Но, как и у мэтра, проза их казалась Наталье громоздкой, неуклюжей, беспомощной. То есть они почему-то оказывались умнее, интереснее своих написанных произведений. Почти всегда. В этом была какая-то роковая, необъяснимая закономерность.

Наталья перестала есть. Невольно вспомнились чьи-то слова – хорошие стихи всегда должны быть немножко глуповатыми. Относится ли это к прозе? Должна ли и она быть такой же? – умные петушки и курочки, походило, ответить на этот вопрос не могли.

Знал об этом хорошо Михаил Янович Готлиф. Незабываемый Миша. Помимо общих рассуждений – он имел ещё и талант. Два рассказа, которые он сунул ей однажды на ходу, сунул сердито, выдернув их из-под всегдашнего своего плаща, – ей очень понравились. Однако спустя день, когда она начала восторженно говорить о рассказах, на одном дыхании прочитанных ею, он сердито поднял руку: «Не надо!» Отнял рукопись и опять запустил куда-то под балахонный свой плащ. В закрытое для всех подполье своё. Стоял потом хмурый, гениальный, словно осыпался надоевшими читательскими аплодисментами. Бедный, бедный смурной Миша. Так и не смог пробиться никуда. Ни в одном журнале Наталья так и не встретила его имени.

6.

В воскресенье Вахрушева с чемоданами и сожителем отбывала на юг. Широко шагала она по перрону к нужному вагону с одной только сумочкой в руке. Жестоковыйный, как мандолина, за ней тащил два тяжеленных чемодана Семён Семёнович. Разведёнки и холостячки торопились с сумками и какими-то коробками. Наталья отставала с большой сумкой.

Пока Вахрушева доставала билеты, Семён Семёнович торопливо вытирался платком. С бровками в виде страдательных вздёрнутых скобок. Бедный Семён Семёнович. Доедет ли живым до юга?

Он полез с чемоданами наверх. Принимал от разведёнок сетки и коробки. Наталья закинула ему китайскую большую сумку, которую всё-таки доволокла.

Провожающие не уходили, ждали отправления. Обязательным для проводов сиротливым Политбюро. «Счастливого пути, Леонид Ильич! До свидания! Ждём Вашего возвращения!» Махали, идя за вагоном. Некоторые смахивали даже слёзы. Вахрушева у двери по-партийному, с достоинством пошевеливала коматозной рукой.

С привокзальной площади все пошли в разные стороны. Как после просмотра кошмарного фильма.

В ванной Наталья долго отмывалась. От всех этих подлых проводов. С закинутым лицом, хлестаемая водой, видела, как тащила эту чёртову вахрушевскую тяжеленную сумку. Как махала и махала потом удаляющемуся последнему вагону. Его закрытой двери. Будто закрытой двери уезжающего кабинета, за которой словно и сидела насупленная начальница... Стыдобища, сказала бы незабвенная мама.

Вахрушева иногда чувствовала Натальино превосходство над собой. Особенно когда слушала правильную её речь. Мало того, что та не «чёкала», она ещё говорила: «достаточно» вместо «хватит», «благодарю вас» – вместо простого «спасибо».

Не без образования, окончив в своё время даже партийную школу – сама Вахрушева говорила только точным языком милицейского протокола. А когда требовалось – оборотами, блоками хорошо подкованного канцеляриста. Поэтому на Ивашову иногда сердито смотрели глаза цвета пережжённого йода. После её «интеллигентских» слов. И Наталья понимала тогда сама, что опять «попалась». Опять «проговорилась». Одна Послыхалина без обиняков ехидничала, передразнивая «интеллигентку»: «Сахара мне достаточно. Благодарю вас... Принцесса Турандот!» Наталья, конечно, могла бы запузырить им всем на современном, деревенско-городском волапюке, могла. Сама из деревни. Но предпочитала иногда подразнить начальницу и товарок, хотя бы в этом почувствовать себя отличной от них.

Сидела в комнате на диване, сушила, теребила полотенцем волосы. В телевизоре, изнеженно водя руками, вещал известный всей стране тусовочный субъект в высоком картузе. То ли парикмахер. То ли уже певец. С женским, *сердечным*, рисунком губ. С одеждой и внешностью расфранченного экзотического насекомого, стоящего на задних лапках. Учил пожилую известную артистку, годящуюся ему в матери, как той нужно одеваться. Брезгливо смотрел на её квадратное, похожее на короткое мужское пальто, платье. Говорил «это же полный отстой, уважаемая, полный отстой». И всё ручками вокруг неё водил. Ага! – вдруг вспомнила слово тёмная Наталья. – Он теперь называется *стилистом*. Вдруг представила себя стоящей на месте этой пожилой артистки. Себя – слониху. В пёстром балахоне. Стилиста в картузе всего бы перекорёжило, наверное. Он начал бы материться. Как нередко это делает в прямом эфире. Кого вы мне привели? Мать-перемать! Это же лажа, полная лажа! Наталья горько смеялась.

Ночью видела совершенно дикий сон. Будто бы они с Мишей Готлифом идут по какому-то ночному городу, который сплошь состоит из телевизионных студий. Прямо под открытым тёмным небом эти студии. Высвеченные отовсюду светом с высоких железных ферм.

На громаднейших сценах, обстреливаемых лучами, как физкультурники, одинаково чётко выламываются подтанцовки из мужчин и женщин. Как бы аккомпанируют скачущим певицам и певичкам

с микрофонами. Взмывают и падают краны с телевизионными пушками. Со скукожившимися при них операторами. Волнами, каким-то одуревшим планктоном колыхаются в покатых залах зрители.

Наталья с удивлением останавливается, как будто впервые видит такое. Но Миша тащит дальше. Он явно чем-то озабочен.

Пошли студии поменьше, где по команде включаются и хлопают зрители. Затем студии совсем крохотные, в которых доверительно беседуют за столами двое или трое. Снова студии с включающимися зрителями.

Наконец Миша останавливается. Он нашёл то, что искал:

– Вот, Наташа, посмотри, какие ядовитейшие склочницы-поганки в этой студии. Они выскакивают здесь каждый вечер. Семь дней в неделю! С не затыкающимися своими ртами! Наташа!

Схватив большой огнетушитель со стола ведущей, начинает бегать и тушить орущие рты пеной. Он сжигает эти рты с садистским выражением лица. Бабёнки, ослепшие от пены, оглохшие, немые машутся руками, а он жжёт и жжёт.

Наталья как через реку тянет руки: «Миша! Миша! Опомнись! Что ты делаешь! Не надо! Не надо бить пеной этих женщин! Лучше бей меня, меня, твою толстуху! Миша! Прошу!» Готлиф тут же поворачивает огнетушитель – и Наталья так же, как и скандалистки, машет руками, захлёбываясь пеной. Да что же это такое! Села на диване. Часы на стене – горели. Фосфорным мертвецом с кладбиша. Проклятье! Упала обратно на подушку.

7.

Вахрушева вернулась с юга в конце августа и сразу посадила Наталью на подписку. В окно № 1. Никак не могла забыть августовские свои подписные кампании советского времени. В конце рабочего дня всегда спрашивала: «Сколько на сегодня подписчиков?» – «Целых два, Капитолина Ивановна!» – громко отвечала Наталья. «А кто они?» – всё ещё надеялась на что-то Вахрушева. «Славные ветераны труда, Капитолина Ивановна! Зайцева и Парнокопытов!» – всё дурачилась, выкрикивала вконец осмелевшая Наталья.

Вахрушева с подозрением смотрела на подчиненную. Но та уже деловито перекидывала на столе три нетронутых новейших каталога для подписчиков. Точно взбадривала их, будила. Чтоб не дрыхли, значит, лентяи, были наготове. Прямо вся в работе. «Хорошо! Докладывайте мне обо всех подписчиках». Есть! – хотелось выкрикнуть Наталье.

Опять сидела в полном безделье. С тоскливой головой на кулаке.

В один из таких дней подписываться пришёл Проков. На две газеты и журнал. Для Общества. Наталья мгновенно узнала его. Вспомнила, как он орал песню и яростно дирижировал ей протезной рукой. Прямо перед носом: «Бат-тяня комбат! Бат-тяня комбат!» Точно не просто заставлял петь, а по меньшей мере хотел чёрным протезом прибить её.

По известным причинам Проков этого ничего не помнил. Смотрел равнодушно на пригнувшуюся, быстро пишущую женщину. Которая, правда, почему-то сильно вспотела. Заплатил деньги, взял квитанции и двинул на выход.

И только на улице остановился... Точно. Она. Невеста Плуга. Вспомнил, как та знакомилась со всеми. Как Юра водил её вдоль стола. Он даже помнил её куцую ручку. Он был ещё трезв, когда она пришла. Он в это время ел пельмени. Много пельменей. Без водки. Специально. Чтобы не опьянеть. Ел, ни на кого не глядя. Точно прибыл с голодного мыса. А вот что было потом, после пельменей, когда выпил вдогон им несколько рюмок... Чёрт!

Проков трудно пошёл. Пить ему точно нельзя ни грамма. Наверняка так и было всё, как рассказывала Валентина. Сначала пыжился перед женщиной, учил жить. А потом заставлял орать со всеми песню и чуть не прибил протезом... И как теперь с ней? Если придётся разговаривать. В какую сторону глядеть?

У себя на Южной сидел на крыльце и курил. Одноглазый петух Корсар, оттоптав хохлатку, распускал крыло. Как бы снова жёстко затачивал «сабли». Валентина развешивала бельё возле сарая. Опять лебезила перед Евдокией Панфиловой, в соседнем дворе делающей то же самое.

Со значением Валентина поглядывала на мужа. Дескать – посмотри, как люди живут. Во дворе Панфиловых стояли две тучные иномарки. Одинаковые, как клоны. Ещё вчера стояла одна. Проков отвернулся. Да-а, жлобиха Евдокия – это не Катя Панфилова. Жена умершего Гриши. Две родные сестры. Небо и земля.

Проков снова закурил. И всё же – как зовут невесту Плуга?

Прыжками, зло пропу́хал мимо в сарай панфиловский кот. За ним побежала Пальма. Любопытная больше, не злая. Из сарая тут же послышался злой шип, мяуканье – и Пальма выбежала обратно: растерянная, плачущая, как девчонка – кровь брусничками капала с глупого носа. А кот-разбойник уже ходит в своём дворе, выписывает между белыми ногами хозяйки восьмёрки. И никаких, как говорится, извинений. Ни от кота, ни от гордой Евдокии.

– Так тебе и надо, дура, – держал на ладони исцарапанную скулящую морду собаки Проков, не зная что делать.

Достал платок, хотел промокнуть, вытереть кровь. Но Валя уже пронеслась в дом:

– Не вытирай грязным платком!

Обратно выскочила с каким-то пузырьком, ватой и бинтом. Все же медик как-никак. Правда, не ветеринар. Начала обрабатывать ранки на носу перекисью водорода. Потом быстро мазала нос какой-то мазью. Собака скулила, вырывалась, но Проков, охватив её коленями, держал. Ловко перебинтованная по голове с захватом носа собака чем-то стала напоминать Гитлера со старой карикатуры. Где он, тоже весь перебинтованный, прямо через нос был пришпилен к земле длиннющим острым штыком сердитого красноармейца. Отпущенная псина ходила и мотала башкой возле самой земли. Словно стремилась освободиться не от повязки, а от штыка сердитого красноармейца. Проков хохотал, а прибежавший Женька сразу подхватил Пальму на руки и понёс в дом, зыркнув на отца. Как будто тот и сотворил всё это зло с собакой.

8.

Бабушка Прокова, баба Груня, как звали её домашние, была ещё жива, когда он женился на Валентине. Успела даже понянчить правнучка, родившегося Женьку.

Мать и отца Проков не помнил. Он был ещё совсем маленьким, когда оба они погибли.

Вернувшийся с Победой домой Евгений Николаевич Проков почему-то сразу о войне забыл. Не ошивался по пивным, не вспоминал за пивом с водкой «вот мы на Одере» или «вот мы под Кенигсбергом». И хотя опять, как и до войны, стал работать инженером на механическом, словно бы и про инженерство своё забыл. В плановом отделе сидел – лишь бы день отсидеть. И всё из-за того, что начал ходить в походы. Сначала по окрестностям Города. Потом по всей области. Ну а дальше – по всей стране. Словом, он стал заядлым туристом.

После войны туризмом даже и не пахло нигде, были рыбаки, охотники, это правда, но какие же это туристы? Он был в Городе зачинателем движения, пионером. За год-два выработал стратегию и философию движения человека на природе. Возможно, даже самый первый начал петь и бить на гитаре у ночных костров.

Довольно скоро стал обрастать единомышленниками, заражая их своей энергией и философией туризма. Каждую субботу десять-пятнадцать рюкзаков до неба планомерно уходили из Города вдаль единой дружной связкой.

Весь дом внутри был увешан теперь острейшими альпенштоками и связками надёжных верёвок. Он устраивал ночные посиделки единомышленников даже у себя во дворе. Для тренинга, как сказали бы сейчас. У ночного разведённого им костра. В отблесках которого стойко блестели медные счастливые лица его друзей. Он отмахивался от матери (бабы Груни), боявшейся, что он спалит и дом, и все дворовые постройки. Он наглядно показывал ей полную безопасность своих мероприятий, в конце посиделок всегда лично заливая костёр водой из колодца. Весь двор при дневном свете стал напоминать брошенные индейцами стоянки. Куры по утрам подолгу рассматривали чёрные кострища. А баба Груня с болью начала понимать, что сын вернулся после фронта, после Победы не со всеми шариками в голове. До войны он был совсем другим.

Как он держался на работе – непонятно. Нормально работал он только зимой. С мая месяца он был уже в походах. Помимо отпуска, постоянно брал без содержания.

Он и женился как со льда обломился, встретив свою единственную в самолёте Ли-2, летя вместе с ней, своими единомышленниками и рюкзаками в Сыктывкар, где она жила с матерью и отцом. Звали её Галя Забийворота. Невероятно, но, как рассказывала потом баба Груня внуку, после похода он заскочил обратно в Сыктывкар, зарегистрировался с невестой в загсе и привёз домой. Уже своей женой. На всё это (вместе с походом) у него ушло две недели.

Он сразу начал таскать за собой молодую жену. В медовый месяц они топали с рюкзаками по горным тропам Алтая. Работать он жене не давал и, для отвода глаз определив домохозяйкой, таскал за собой смело. С ней он побывал и на Валдае, и даже в Восточной Сибири.

Так в славных походах прошло девять лет. В 57-м, к большому его удивлению, жена забеременела, а потом и родила. Пока кормила маленького Кольку грудью, он ходил в походы без неё. С единомышленниками. Едва отняла от груди, опять начал таскать за собой, оставляя любимого маленького сынишку на попечение бабушки, своей матери, которая костерила туриста последними словами.

В 60-м году, призаняв где-то денег, он отправился с женой и друзьями в дальнюю поездку. На Енисей. Для полноценного многодневного сплава по великой реке. Ладно хоть двухлетнего сыночка с собой не прихватил. А хотел. Подготовил даже для ребёнка подходящую надёжную амуницию. Этакую ременную парашютную ловушку. Однако баба Груня встала горой: не дам! Не дам ребенка как рюкзак по горам таскать!

Это было последнее путешествие туриста. В низовье Енисея, на порогах, он перевернулся с плотом. Вместе с единомышленниками. Его самого не нашли, выловили только мёртвую жену и ещё двоих, тоже мёртвых.

Похоронили всех в ближайшей по течению деревеньке...

Баба Груня побывала через пять лет в той крохотной деревушке на высоком берегу большой реки. Поплакала на могилке снохи, больше всего терзаясь, что могилы сына на земле нет.

Эту историю об отце и матери Проков узнавал постепенно от бабушки в детстве.

Когда умерла сама баба Груня, у Прокова, потерявшего единственную родную душу, всколыхнулось что-то давнее. Словно бы забытое им. Он вдруг захотел поехать на Енисей, чтобы отыскать могилу матери. Из рассказов бабушки он помнил название этой деревушки на крутом берегу Енисея. Начал было собираться в дорогу, но как-то остыл. Он просто не помнил свою мать. Её будто и не было никогда. В реальности у него была только одна мать – бабушка. Баба Груня.

Хлебая сейчас щи, поглядывал на два фотопортрета на стене – погибших отца и матери. Отец почему-то бешено смеялся. Чем-то напоминал теперешнего Плуготаренку. Мать же с прической волнами на щеку (на бок) – сложила губки капризным сердечком.

Сколько помнил себя, фотопортреты висели здесь всегда. Юненького Прокова баба Груня наставляла только под ними. Показывая на них. Как на иконы, как на легенды... Ругала даже под ними маленького драчливого пацанёнка в хвостатой, извоженной белилами гимнастёрке. С разбитой, шмыгающей носопыркой. «Что они бы тебе сказали! А? Что! Если бы были живы! Отвечай!»... Бедная баба Груня.

Сын Женька сидел на диване. Не садился обедать с отцом и матерью. *Косоурился*, как сказала бы незабвенная баба Груня. По-прежнему удерживал у себя на руках собаку с перебинтованным носом. Пусть все видят, что сотворили с его лялькой.

– Иди, у себя держи, – безжалостно сказала сыну мать, имея в виду его комнату.

Проков глодал мосол, размышлял. Смотрит ли когда-нибудь сын на портреты, что висят сейчас у него прямо над головой. Видит ли он в них своих деда и бабку. Или это для него портреты в музее. Куда их недавно водили всем классом. Ничего не говорящие замшелые раритеты. Прабабушку свою, бабу Груню, он чтит. Это правда. Портрет её перевесил даже к себе в комнату. А вот эти, родные дед и бабка – кто они для него?

Отобедав, Проков пошёл на крыльцо покурить. Собака разом бросилась с рук Женьки. Брякнулась даже на пол. Женька глазом не успел моргнуть.

– Ну что, Гитлер израненный, будешь ещё за котами бегать? – гладил у себя на колене преданную собачью морду. Псина в бинтах и вате жмурилась под рукой, виновато поскуливала.

Остаток дня у Прокова прошёл обычно – в Обществе. Вечером дома помогал жене закатывать банки с соленьями. А ночью, во сне, с Пальмой, как с сыскной собакой, долго ходил по какому-то провинциальному музею. Сам был в милицейской фуражке и с пистолетом на боку. «Ищи!» – говорил и распускал длинный повод, давая собаке свободу движения. Пальма бегала между музейных раритетов, лежащих и стоящих повсюду, вынюхивала. Со стен, из чернозёма старинных картин, на них печально смотрели никому не известные, давно умершие люди. «Ищи!» – всё приказывал Проков. Вдруг Пальма зацарапала стену, залаяла на одну из картин, висящую в самом углу. Повернула морду к милиционеру-хозяину. Милиционер-хозяин тут же подбежал. Из старинной картины, светясь, на него хитрюще смотрела словно бы живая женщина. С русой волнистой гармошкой на́ щеку и с пиковым рисованным сердечком на губах... «Мама!» – закричал Проков. Проснулся и сел. «Чего орёшь! – толкнула жена. – Женьку разбудишь». Как железный, Проков медленно лёг на подушку обратно.

9.

Утром с улицы забибикала инвалидная мотоциклетка.

– Иди. Громышев твой. Персональное авто подано, – ехидничала жена, убирая со стола посуду.

Проков быстро одевался. Когда вышел за калитку – Громышев ждал его почему-то на скамейке.

Закурили. Смотрели на инвалидную таратайку с заглохшим мотором и распахнутой дверцей. Машинёшка чем-то напоминала шлем крестоносца после битвы. Искуроченный, валяющийся у обочины дороги.

Помолчав, Громышев словно бы продолжил начатый с кем-то вчера разговор:

– Знаешь, что я тебе скажу на твои слова (какие слова? – хотел спросить Проков), у каждого в Афгане была своя судьба. Один постоянно был в боях – и ни одной царапины. Другой кантовался при штабе – и погибал. А меня возьми – повар. Кормил солдат. Ни в одном бою не участвовал, под пули не шёл, а ноги оторвало...

Бульдожье лицо никак не соотносилось со сладкими губами, которые вытягивали табак из сигареты, как сладкую песню. Печальный тихий стих Громышева продолжался:

– В госпитале рядом со мной лежал парализованный от ранения штабной офицер. Старший лейтенант. Виктор Бажанов. С таким именем и фамилией, если бы не Афган, быть бы ему сейчас большим генералом. Однако судьба распорядилась по-другому. Однажды он рассказал нам в палате свою историю. В Кабуле ждали шифровальщика из Союза. Он должен был работать при штабе. Полгода или год обучался в спецшколе. И вот он прилетел. Его, долгожданного, как большого начальника, штабные офицеры встретили на аэродроме. И Виктор Бажанов был там. Нетерпеливые, они сопровождения дожидаться не стали, сразу повезли в часть. Ехали на уазике впятером: подполковник, капитан, старший лейтенант (Бажанов), долгожданный шифровальщик и водитель-рядовой. И вот едут по Баграмской дороге где-то в районе Карабага, радуются, похлопывают шифровальщика по плечу: дорогой ты наш! Сколько мы тебя ждали! Вдруг их обгоняет ЗИЛ и перегораживает дорогу. Выскакивают из него духи и в упор открывают огонь... Шофер и шифровальщик погибли на месте. Виктора тяжело ранило в позвоночник, он сразу потерял сознание (это его и спасло), ну а доблестные капитан и подполковник чесанули в зелёнку, как зайцы. Душманы тоже не задержались – исчезли в кустах, как их и не было. На дороге остался целёхонький ЗИЛ, а перед ним – изрешеченный пулями уазик с тремя, если посчитать и Виктора, трупами... Вот, Коля, – это судьба. Прилетевший шифровальщик даже дня не прослужил в Афганистане. Были ли захвачены душманами шифры, знали ли они вообще о них – неизвестно: при допросах Виктору об этом, естественно, не доложили. Но судьбу сбежавших и бросивших всё капитана и подполковника – представить нетрудно...

Когда уже машинёшка трещала, подпрыгивала на ухабах, сквозь треск прорывались слова Громышева:

– Опять же нас с тобой возьми, Коля. Или Юру Плуга. Нам повезло наполовину. Мы вернулись живыми, но уродами. Мы живые уроды Афгана.

Невольно Проков вспомнил своего санинструктора, харьковчанина Мишу с характерной фамилией – Аптекарь. Хладнокровного, расторопного, знающего своё дело еврея. Немало он вытащил раненых ребят. Вернул их к жизни. Его всегда перед боем оставляли на броне. Вместе с водителем и зенитчиком, которым тоже не надо было идти под пули... Однажды, не потеряв ни одного бойца, вернулись из ущелья обратно наверх, на дорогу... увидели сидящего на броне Аптекаря с санитарной сумкой. От гранаты с тыла Мише оторвало голову. Только нижняя челюсть висела на шее. Погибли и зенитчик с водителем.

Хотел рассказать об этом случае водителю таратайки, но, посмотрев на печальное лицо, передумал. Был бы Миша на то время жив, когда Прокову задело руку, – не брякался бы сейчас вот этот чёрный протез о дверцу инвалидки.

Вдруг увидели летящего с соседским пацанёнком Плуготаренку. Легок на помине! Хотели помахать и даже остановиться. Но дружно работающий тянитолкай резко свернул на Тургенева и погнал, видимо, к парку.

– Что-то совсем перестал приезжать в Общество, – сказал Проков. – Не был на последнем собрании...

Громышев переключил скорость и поддал газку.

– Он себе на уме, Коля. Он из тех, кто хором не поёт. Не смотри, что весёлый иногда. – Помолчал и добавил, как проницательный поп: – С детства, верно, в нём засела гордыня. С детства.

Проков удивлённо посмотрел на друга, не зная, спорить с ним или нет...

Военком Ганин почему-то встал при виде двух инвалидов, вошедших в его кабинет. Потупился даже. Как набедокуривший сердитый подросток. Перед наказанием.

– Я тут, это. Три коляски выбил. С большой скидкой. Для ваших инвалидов. И телефон. Один. Только за установку заплатить надо.

– Ну вот, можете же, когда захотите, Пётр Семёнович! – без всяких субординаций воскликнул Громышев. Торопливо подкандыбал и от души затряс смущающуюся руку. Да ладно, чего уж, всё сердился и смущался Ганин.

Вера Николаевна при виде входящих в Архив Прокова и Громышева не просто встала, как Ганин, – испуганно вскочила:

– С Юрой что?!

Но оба инвалида широко улыбались. Они – два добрых вестника.

– Ну, Вера Николаевна, – сказал Проков, – придётся вам сегодня раскошелиться. Сходить в универмаг и купить телефонный аппарат. Ну а потом на телефонную станцию с Юрой и вот с этой бумагой.

Он положил Вере Николаевне на стол «эту бумагу». С улыбкой смотрел вместе с Громышевым, как пожилая грачиха с гнездом на голове быстро читала. Как тощие ноги её вдруг начали выбивать на месте какого-то не подчиняющегося ей, радостного трепака.

– Да милые вы мои-и! – запела и пошла к мужчинам по-бабьи – с распростёртыми руками. Целовала их, смущающихся, по очереди, как детей: – Спасибо, милые, спасибо!

Глава шестая

1.

Коробку с новёхоньким телефоном Вера Николаевна внесла в квартиру торжественно. Как вносят избирательную урну старикам или лежачим инвалидам в день выборов.

Однако сын довольно равнодушно вынул из коробки кнопочный аппарат. Проверяюще растягивал мягкий гофрированный провод с трубкой. Сказал, что время таких телефонов проходит. Если уже не прошло. Сейчас у многих мобильные телефоны.

– Это нащёчники-то эти? Да это же смех, а не телефоны! Ходят, за щёку держатся, как зуб им сейчас рвать будут – и орут, и орут, ни слова не слышат!

Сын возразил, что это временно, что всё усовершенствуется в таких телефонах. Однако мать не услышала его. До крайности возбуждённая, всё кружила вокруг *настоящего* телефона на столе. Фетиш. Мгновенно полюбившийся фетиш. Этакий многоглазый пластмассовый идол. Вокруг которого возможно только ходить, ритуально петь и приплясывать.

Уже на следующее утро Плуготаренко потащили на телефонную станцию, чтобы предъявить там кому-то в качестве живого приложения к этому телефону. Как инвалида-льготника. («Вот он! Живой, живой! Перед вами! Сидит с телефоном! В коляске!») И через два дня чёртов этот телефон в квартире уже устанавливали.

«С разъёмной розеткой делаем?» – спросил ушлый телефонщик в синем комбинезоне. «С разъёмной, с разъёмной!» – поспешно успокоила его Вера Николаевна и тут же выложила лишнюю купюру.

Когда мастер ушёл, Плуготаренко вдруг начал хохотать.

– Что с тобой? – вскинула бровь Вера Николаевна.

– Анекдот, мама, вспомнил. Анекдот! Ха-ха-ха! Как раз для тебя. Такой же вот работник связи в комбинезоне приходит в церковь. Каяться. Встал на колени: «Господи, слышишь ли ты меня? Господи! Даю настройку: раз-два! раз-два!..» Ха-ах-хах-хах!

Вера Николаевна ничего не поняла, отмахнулась.

А уже вечером, вольно раскинувшись на диване, бросив ногу на ногу, разговаривала по своему теперь домашнему. Разговаривала с Зиминых. Сначала с Галиной, потом с Мишей. Самодовольно звучал её басовитый голос, перемежаясь с самодовольным смехом.

Сын клеил коробки. Поглядывал на «оттягивающуюся» мать: как мало, оказывается, нужно для счастья человеку. Телефонная трубка чтобы на ухе была – и плещи языком, сколько хочешь. Мысль о том, что он и сам сможет теперь в любой момент позвонить Ивашовой и так же вольно разговаривать – в голову почему-то не приходила.

Наталья Ивашова, увидев у инвалида в комнате телефон – похолодела: всё, теперь забомбит звонками. Отсчитывая деньги, помимо воли все время косилась на аппарат. На журнальном столике. На непредсказуемый аппарат. Который в любой миг может взорваться, зазвонить, обнаружить себя. Словно мысленно молила его: только не сейчас! молчи, пока я здесь! пока не выдам пособие и не уйду!

Плуготаренко видел, куда смотрит Натальи, понимал направленную мысль её. Поэтому говорил и говорил. Тоже словно заговаривал телефон. И когда кнопочный аппарат вдруг действительно зазвонил – замерли оба. Точно пойманные на нехорошем.

– Да, – снял трубку инвалид.

Звонила, конечно, мать. Трубка, казалось, разрывалась от её напористого, радостного голоса. Сын в каком-то недоумении отстранял трубку от уха и вновь запускал голос в ухо. Не дослушав, прервал её:

– Ладно, мама. Потом. – И будто загнал обратно в аппарат жаркий голос.

Что тут должно сказать женщине и мужчине? После того, как телефон обнаружил себя явно? Как себя повести? Нормальные люди, конечно, тут же обменялись бы номерами. Записали бы их. Предложили бы звонить. Что называется, в любое время дня и ночи. Но это – нормальные. Эти – нет.

– У вас теперь телефон? – изобразила робкое удивление Наталья.

– Да. Вот поставили, – ответил инвалид вроде бы даже с досадой. – Мать добилась. Я не хотел, – словно извинялся перед Натальей.

Оба смотрели на телефон.

И телефон вновь зазвонил. Этого Наталья вынести уже не смогла. Быстро начала собираться. Вымелась за дверь, не допив чай.

Звонил Громышев. Как и мать, тоже от нечего делать. Развёл свои сладкие словеса. Плуготаренко злился, отвечал невпопад. Злился и на себя, и на телефон, и на Ивашову. Обижало это всё. Опять им пренебрегли. Теперь уже с телефоном. Хотелось положить трубку с Громышевым и крикнуть Наталье вслед: да не буду я тебе звонить, не потревожу, успокойся!

Чёрт знает что! Не складывалось с Натальей, никак не складывалось!

2.

Мать лезла, подливала масла в огонь:

– Ну что, дала она тебе свой номер?

– Я не просил.

– Да что «не просил», что «не просил»! Ты же два дня выискивал её телефон. Вон, в телефонной книге. Которую я купила. Два дня! Только всё напрасно, сынок. У неё нет своего телефона. И своей квартиры нет. Она караулит телефон и квартиру подруги. Которая работает сейчас в Африке. Понял?

Плуготаренко вытаращился на мать. Не мог поверить в услышанное.

– Что же, у неё и жилья своего нет?

– Именно так, сынок. Мне Баннова всё рассказала.

Ну, уж если Баннова «всё рассказала» – тут без ошибки. Однако мысли Плуготаренко сразу поскакали по другой дороге: столько лет живёт в Городе, а мыкается по чужим квартирам. А тут ещё он суётся со своим телефоном! Ей просто стыдно перед ним. За своё положение.

Сын посмотрел на мать голубиными глазами: как ей помочь? Мама?

Большим пальцем Вера Николаевна покрутила у своего виска и пошла из квартиры. Даже не пообедав.

Плуготаренко тут же начал готовиться к встрече с Ивашовой. Помылся в ванной, тщательно побрился перед зеркалом там же. Не забыл про дезодорант. Надел ядовито-черные свои треники с лампасами, новые белые кроссовки, новую белую майку с коротким рукавом. В комнате смотрел на себя, опять поворачивался с коляской перед зеркалом. Вообще-то натуральный баклан длинноносый, но – ладно.

До конца работы Натальи оставалось ещё целых три часа, однако сидеть дома и ждать Плуг не мог. Двигаться надо!

Он выкатил из подъезда, выхватил у Мякишевой сына её Кольку и погнал с ним на стадион «Авангард». Сделать пока несколько снимков. Радостный Колька тарахтел, дергал палки вместе с дядей Юрой. Солнце летело меж деревьями, казалось, тоже брызгалось слюнями вместе с Колькой.

С двумя стаканчиками мороженого фотограф усадил Кольку на первый ряд невысокой трибуны. Рядом с толстой дамой и девчонкой под одним зонтом. Колька тут же отдал один стаканчик девчонке.

Получалось – познакомился с ней. Дама же вдруг побурела вся и закричала в поле: «Дави его, Замков! Дави! Прессингуй!»

Фабричные футболисты картонажки бегали, как пацаны – кучно, воплясто. Всё время останавливались, спорили, шли друг на друга в натырку. Судья подбегал, протезно взмахивал рукой, свистел, растаскивал. И вновь бежал вперёд, оставив за собой штрафной на продолжение.

Как попросили на картонажке, фотограф снимал сначала общий план игры. Гонял по беговой дорожке вдоль поля вместе с движущейся лавой футболистов. То к одним воротам, то к другим. Только успевал нажимать на затвор. Заодно сумел снять пару свалок у обоих ворот, где трудно было понять что-либо – где мяч и где чьи футболисты.

Наконец выбрал позицию у одних из ворот, неподалёку от штанги. Стал ждать главного момента. Когда мяч влетит в ворота. Надеясь момент этот схватить.

Вместо ворот мяч ударил прямо в лицо – Плуг чуть не опрокинулся с коляской. Однако потряс головой и заехал за сеть ворот. Скрылся за ней. Защитился.

Вратарь с большими кожаными лапами всё время растопыривался, загораживал обзор, только мешал. Плуготаренко сдвигался с камерой то вправо от него, то влево.

Наконец после крепкого удара Замкова метров с двадцати – мяч полетел к воротам. Как в замедленной съёмке, мяч приближался. Казалось, неимоверно увеличивался в размерах. Пролетел мимо разинувшегося вратаря и взметнул собой, как земным шаром, сеть ворот, опять звезданув фотографа по сопатке.

На этот раз Плугатаренку трясли, приводили в чувство. «Ничего, ничего, – говорил фотокорреспондент, опустив голову. Однако боевого фотоаппарата из рук не выпускал: – Всё нормально!»

Дама с зонтом, девчонкой и Колькой сопровождала его с поля, как героя. Потом подсадила в коляску Кольку. И инвалид с мальчишкой погнал домой. Срочно проявлять отснятую плёнку.

3.

Уже без Кольки в половине седьмого он ездил вдоль здания почты. Хотя и с толстой сизой щекой, но довольный: он сумел сделать снимок, какой до него, возможно, не сделал никто – мяч размером с земной шар во взметнувшейся сети ворот – и испуганно присевший под ним вратарь размером с таракана.

Ровно в семь, после резкого звонка внутри, начали появляться на крыльце работницы почты.

Проходя мимо, они перемигивались и хихикали. Они уже знали из донесений Банновой, что происходит между ним и Ивашовой.

Солнечный Плуготаренко смеялся, со всеми здоровался. Как будто он уже муж Натальи и встречает её после работы.

Однако шустряк, посмеивались разведёнки.

Ивашова, увидев в решетчатом окне инвалида с коляской – раскрыла рот. Инвалид смеялся. Инвалид, что называется, расшаркивался перед её товарками. С раздутой щекой, как с баллоном.

На улицу не шла. Тянула до последнего. За столом как будто голубей принималась гонять. Уже разложенные ею письма будто сами начинали перелетать из ящика в ящик. Снова. Во второй раз.

Пятидесятилетняя бухгалтер-кассир Шорникова играла на калькуляторе, сверяя цифры в ведомости. Ждала инкассаторов. Поглядывала на часы. Сторож Михеич тоже ждал, для вида развернув газету. Он хотел поскорей закрыться и дёрнуть, наконец, сотку. Натрясти её в стакан из чекушки. А потом уж сидеть, смотреть в окно, курить и вспоминать всю свою жизнь непутёвую.

Подъехал уазик, и мимо Плуготаренко быстро прошли два лихих парня с кобурами на боках и свёрнутыми брезентовыми инкассаторскими мешками. Так. Понятно: Наталья помогает кассиру управиться с деньгами. Сейчас должна выйти.

Всё так же профессионально быстро, как ветры, опять прошли парни с кобурами и мешками. Теперь к машине. И машина сразу уехала.

Шорниковой нужно было совсем в другую сторону, однако во все глаза смотрела на размахивающего руками инвалида с запухшей сизой щекой. А тот рассказывал, а тот заливался.

Шорникова поворачивалась к Наталье: смотри-ка – заехали в клаву на стадионе, а какой весёлый! И снова с улыбкой смотрела на инвалида с распухшей щекой.

Ивашова мяла руки, не знала, что делать, как выйти живой из этой невыносимой мизансцены.

Вдруг сказала Плуготаренке. Сказала с досадой. Как мужу:

– Юра, тебя оставить одного нельзя! Даже на один час! Юра!

Повернула коляску с инвалидом и покатила её, что-то поправляя в ней. Так уводят с детской площадки несносного мальчишку, отряхивая его угвазданные штанишки.

Инвалид по инерции испуганно смеялся. Он не поверил ушам своим. Его назвали на «ты»! По имени! Его ведут сейчас! Ведут – как будто под руку!

Плуготаренко схватил руку «жены», начал целовать. Однако Ивашова руку вырывала, злилась, оглядывалась на Шорникову. «Что вы делаете, Юрий Иванович! Прекратите! Слышите!» Мол, всё это было не всерьёз, только для Шорниковой, для конспирации!

Она продолжала уводить коляску. Вроде бы даже заботливо обнимала инвалида. Она оборачивалась – целый театр уезжал от Шорниковой! Цирк!

4.

Ночью плакала. До боли в груди жалела Плуготаренко. Всё время видела себя, подлую. Как отбивалась от инвалида, будто от чёрта, когда он хватал её руки. Да ещё успевала оборачиваться к Шорниковой. Показывать ей, что всё у них хорошо, что вот она ведёт коляску, что она заботится об инвалиде, заботится как не любовница даже – жена!..

Шмыгала, промокала нос и глаза платком. Платком уже мокрым. Вставала, включала в ванной свет, охлаждала под холодной струёй голову. Из зеркала над раковиной потом на неё смотрело стекающее с волосами и водой лицо. Лицо со свекольными щеками, с белым лбом и красными глазами.

Снова ложилась. И опять плакала.

– ...Что вы делаете, Юрий Иванович! Вы не так меня поняли! Перестаньте! Я не то хотела сказать!..

И опять улыбку Шорниковой! И снова приобняла инвалида! И повела!.. Гос-по-ди-и!

5.

Когда Наталья утром вошла в операционный зал, сразу увидела Шорникову, накрытую за столом всеми товарками. Как отличницу в классе. У которой двоечницы перед уроком поспешно сдувают сложную, запросто решённую ею задачку.

Плоскостопная Послыхалина прошлёпала мимо: «Когда свадьба? Невеста? Или уже была? Ха-ха-ха!»

Принимая от Шорниковой деньги для пенсионеров, Наталья не смотрела на неё. Была неузнаваема. От злобы потрясывалась. Бунт! Восстание прокажённых!

Через полчаса лапающего её старичка она толкнула так, что развратненький улетел в спальню, сорвав за собой штору. Ударила дверью. Старый гондон!

У медлительного Водолаза тоже была злой, нетерпеливой. Вырвала у него ручку. «Распишитесь за него!» – приказала курице с красными щёчками. Выхватила ведомость с росписью, на весь дом бухнула сталинской дверью.

Шестибратовой считала деньги так, что у корвалольной бабки от мельканий купюр закружилась голова. «Ну, ты, дочка, даёшь».

Расправилась Наталья со всеми пенсионерами – часу не прошло.

Сидела, вольно развалившись на скамье. В парке. Закинутая на колено, заголившаяся нога без стыда покачивалась. Как толстенный питон. Ничего не скрываю! Хватит прятаться! Хватит бояться всего и всех. Смотрите! Толстая я? – да, толстая. Некрасивая? – да, некрасивая. Плевать на вас всех!

Потом вошла в какой-то ступор, ничего не видела.

Сатказин и Адамов ходили вокруг неё осторожно – подруга Юры Плуготаренко казалась пьяной. Сидела вся красная, мутно смотрела.

Адамов залез в кусты. Достал из кармана новомодный мобильник с тараканьим усом. Потыкал кнопки. Пригнулся и закричал Плуготаренке как на другую планету:

– Юра! Ты меня слышишь?! Это Адамов тебя беспокоит. А-да-мов!! Приезжай в парк. В парк, говорю, приезжай! Подруге твоей плохо. Сидит, никого не узнаёт. Не узнаёт никого, говорю! Приезжай!

Наталья пришла в себя от холодной воды, брызнувшей ей в лицо. Бобовые к ней приблизились два лица. Вроде бы Сатказина и Адамова.

Подлетел на коляске Плуготаренко:

– Что с вами, Наталья Фёдоровна!

– Солнечный удар, – дал заключение Сатказин. – Вон солнце сегодня какое. Как палач!

Наталья глянула на солнце, увидела в нём палача, испуганно прижала к себе спецсумочку, обёрнутую пакетом. Хотела встать. Ей нужно пойти сейчас же на работу. Сдать ведомости и оставшиеся деньги. Отчитаться перед Шорниковой.

– Сидите, сидите! – кинулись все трое. – Вам необходимо посидеть.

Сатказин и Адамов на два голоса уже советовали пить много воды в такую жару, всегда иметь её при себе. А на голову обязательно что-нибудь надевать. Подтверждая свои слова, один (Сатказин) уже наливал в бумажный стаканчик фанту из маленькой бутылочки, а другой (Адамов) приспосабливал Наталье на голову бумажную свою шляпу, сделанную им из простой газеты. Бесстрашно оставшись под солнцем с голой лысинкой своей. Из венчика волос торчащей вроде красной помадки.

Наталья послушно пила. В бумажном колпаке походила на маляра, присевшего на перерыв в работе. Однако вскоре поднялась. Поблагодарила фотографа и живописца. Почему-то их одних. И пошла.

Плуготаренко смиренно тронулся следом. Медленно передвигал высокие рычаги. Чем-то напоминал колченогую собаку, хромающую позади хозяйки.

Собака робко просила идущую женщину в колпаке:

– Вам бы не ходить сегодня больше на работу. А, Наталья Фёдоровна? Ведь 35 сегодня на улице. Посидели бы лучше дома. В прохладе. А?

Наталья забыла о жаре. Она шла сейчас в другой ад. В ад, созданный её дорогими товарками. Где в сплетнях ей вариться вечно.

Остановилась, не дойдя до окон почты. До обзора из них.

– Юрий Иванович, не провожайте меня дальше. Прошу вас. Поезжайте домой. Я вам позвоню.– И добавила: – Обязательно.

Обрадованный Плуготаренко торопливо снимал уходящую женщину в измявшемся широком платье.

Женщина сдёрнула дурацкий колпак, бросила в квадратную урну у почты. Тяжело взбиралась на крыльцо.

6.

Вера Николаевна застала сына у телефона. Понятно. Ждёт звонка. Даже не секрет – от кого. А пока в руках держит старый-престарый журнал. Который она сама достала вчера из шкафа. Чтобы перечитать понравившийся ей когда-то переводной роман.

В детстве и юности сын любил читать. Меньше стал читать только после Афганистана. Но уж если вещь захватывала его, то читал как прежде: пока не перевернёт последнюю страницу – книгу или журнал не отложит.

– Нравится? – спросила Вера Николаевна.

Сын не ответил, поехал к себе, держа раскрытый журнал перед глазами. И про телефон забыл.

– Поужинай сперва! – крикнула Вера Николаевна.

Сын её не услышал.

Роман назывался «Рэгтайм».

Поражал перевод его, сделанный шумно известным писателем. Советским когда-то. К прозе которого Плуготаренко, в общем-то, был равнодушен.

У профессиональных переводчиков, как казалось всегда Плуготаренко, давно сложился единый стиль перевода. И не плохой, и не хороший. Усреднённый. Перетаскиваемый ими из книги в книгу, из одного журнала в другой.

Этот перевод ломал все каноны. Переводчик, молодой в ту пору писатель, казалось, сам написал этот роман. Как будто никакого англоязычного акына с его функциональным языком – просто не было. Причём написал как роман русский, написал блестяще, как сам свои вещи никогда не писал. Вот это поражало больше всего. На каждой странице он словно говорил профессиональным переводчикам: вот как надо переводить, вот как надо писать, уважаемые.

Ужинать на кухню сын вплыл всё так же – с журналом у глаз. Пережёвывал какую-то еду, чем-то запивал из стакана. Перевернув страницу, вновь складывал журнал вдвое и подносил к лицу.

Мать мыла посуду. Сын читал рядом, за чистым кухонным столом.

– На вот, – сказала Вера Николаевна и подала бумажку: – Телефон Ивашовой. Мне Баннова его сегодня дала.

Сын сунул бумажку в карман. Пропустив мимо ушей и «Ивашову», и «Баннову». Не удивился даже, что Баннова, оказывается, помимо прочего, держит в голове всю телефонную книгу Города.

Опять покатил к себе, по-прежнему удерживая раскрытый журнал у глаз.

Читал всю ночь. Рано утром, не обращая внимания на возмущённые возгласы матери («Юра! Опомнись! Не звони! Шести нет!»), нащёлкал номер:

– Наталья Федоровна, вы читали «Рэгтайм»? (Ни «здрасти», ни «прощайте!».)

– Кто это? – спросил заспанный женский голос

– Это я, Плуготаренко.

И опять – как следователь на допросе:

– Вы читали «Рэгтайм»?

Во дворах только-только начали заходиться в оргазмах утренние иномарки, люди ещё спали, но уже через минуту-другую мужчина и женщина – словно одни во всей вселенной – наперебой пели в телефоне аллилуйю роману «Рэгтайм».

Иногда, правда, сбивались с восторженного тона и начинали спорить. И больше всего почему-то о переводчике как о писателе. О его произведениях.

– ...Да переводом этим он затмил всю свою прозу, – горячился Плуготаренко. – Понимаете – затмил! Он переплюнул самого себя! Это не перевод даже. Это интерпретация романа американца. Роман им переписан заново. Это перевод на тему, по мотивам. Это русский роман об Америке. Оригинал наверняка бледнее перевода. Просто нет таких слов в английском языке, чтобы написать так здорово. Взяты герои у американца, фабула, сюжетные ходы – и написано всё заново. Как переписал бы бледную вещь хороший редактор. Ещё раз скажу: Аксёнов переписал акынский роман. Переписал гениально. Если бы Доктороу знал русский язык, он бы ахнул, увидев, как засияла его вещь.

Наталья спорила, говорила, что сам роман Доктороу велик и написан хорошо. Что «Рэгтайм» на русском языке – это сплав гениального английского текста и не менее гениального русского перевода. Что Аксёнов, наверное, долго искал такой роман и нашёл, наконец, дождался. После него он вряд ли переведёт что-нибудь так же хорошо. Потому что переводить с английского, судя по «Иностранке» последних лет, – почти нечего.

Вера Николаевна быстро гладила рубашку сына. Злилась. Поражала самоуверенность спорящих. Не знают английского, а спорят. С пеной у рта. Не выдержала:

– Да чтобы судить о романе, о каком-то его переводе – нужно знать для начала хотя бы язык, на котором он написан. Язык! Английский! Вы – лингвисты липовые, филологи!

– Слышите, Наталья Фёдоровна, что говорит Вера Николаевна? – отнял трубку от уха сын и повернул её к матери. – И она, наверное, права. Для начала нам с вами нужно выучить хотя бы сам английский. Спасибо за разговор, Наталья Фёдоровна. Извините, что разбудил вас так рано. До свидания. – И он положил трубку.

7.

Наталью Плуготаренко сразил наповал. Оказывается, он читает. Читает не всякую чепуху – настоящую литературу. У него складывается своё мнение о прочитанном. Пусть спорное, может быть, даже неверное, как сегодня, но своё. Это удивило.

Стоя под душем, Наталья даже не испытывала досады, что он разбудил её в такую рань, что напугал своим звонком. Да-а, Юрий Иванович, не так ты прост оказался. Не так ты весел и глуп, как кажешься. Каким, быть может, стараешься казаться.

Завтракала на кухне. Всё думала о внезапных метаморфозах инвалида. Вдруг бросила вилку, начала хохотать:

– Семейная пара! Ха-ха-ха! Из двух хорошо тукнутых по голове! Толстухи, пугающейся своей тени, и веселого, мечущегося инвалида в коляске! Ха-ах-хах-хах!

А в это время всего в двух кварталах от Ивашовой, на улице Лермонтова, в своей квартире на первом этаже, Плуготаренко безмятежно спал. После ночи без сна проспал ровно час. Встал бодрый, довольный собой.

В ванной, сидя под душем, пел.

За завтраком смеялся от счастья.

Одевался. Коробки сегодня – к чёрту! Сегодня – только фотографировать!

Мякишев Колька в парке как всегда пытался оживить облезлую поникшую карусель. Зажечь её как-то. Чтоб снова праздник был. Он запрыгивал на край деревянного круга, хватался за скрипучие проволочные растяжки, дёргал их, тарахтел, уверяя себя, что едет. Что снова праздник цыган. Адамов и Сатказин смеялись. Тащили круг с сидящим Колькой, как волы. Потом вели его за руки к газировке.

«У меня папа – промоутер, – хвалился Колька. – У него костюм зайца есть и большой микрофон. Он кричит в микрофон, никого не боится. Только маму. Как увидит её – микрофон бросает и бежит». Адамов и Сатказин заходились от смеха. Колька в недоумении на них смотрел. Плуготаренко метался вокруг, еле успевал снимать.

Ровно в час дня он был на месте, на наблюдательном пункте, за полквартала от дома Натальи.

Как и вчера, стояла сильная жара. Солнце висело над Городом размытым. Будто прилетевший на время неопознанный объект. Готовый снова растаять, исчезнуть.

Наконец из-за угла появилась Наталья. Наученная вчерашним, сегодня шла как щирый украинец с бахчи – в соломенной шляпе с широкими полями и в мотающихся необъятных шароварах. Плуготаренко ахнул, рванул.

Как баба, всплёскивал руками вокруг необычного прикида невесты. Ехал рядом, опять смеялся, опять языком безостановочно молотил. Но об утреннем разговоре по телефону – ни слова. Его он не помнил. Он забыл о нём. Невероятно!

Наталья не выдержала, остановилась:

– Юрий Иванович, вы помните, что сегодня утром звонили мне?

– Конечно, помню, Наталья Фёдоровна! Конечно, помню! – всё захлёбывался от слов и счастья инвалид. – Вы извините меня, что разбудил вас так рано. Понимаете, я перед этим всю ночь читал роман под названием «Рэгтайм». Автор американец. По фамилии Доктороу. Эдгар. Вы, конечно, читали его. Роман в целом неплохой. Но мне не понравился перевод его. Понимаете? Я хотел поделиться с вами этим.

Наталья не верила ушам своим. Перед глазами у неё во время этого бреда инвалида прямо-таки наглядно, как в дрянной рукописи на столе перед редактором, возникали вопросы с восклицательными знаками. Вместе, подряд: ?!, ?!, ?!..

– Но позвольте, позвольте! – забывшись, она уже лезла в спор с ненормальным: – Вы же говорили мне, что роман вам понравился, Юрий Иванович. И больше всего как раз перевод его! Сегодня утром! Юрий Иванович! Мы же с вами целый час спорили об этом!

– Разве?.. – как споткнулся, разом перестал смеяться инвалид. Но тут же со смехом вывернулся: – Возможно, вы и правы, Наталья Фёдоровна – в переводе Аксёнова нет хотя бы пресловутых «тётушек Моллей» и «дядюшек Скруджей».

Наталья не поняла.

– Понимаете, Наталья Фёдоровна, – Он вдруг опять заговорил серьёзно. Как утром. Он изменился на глазах. Мгновенно. – У переводчиков с английского для перевода сложился даже псевдословарь из вроде бы русских слов. «*Тётушка* Молли», «*Дядюшка* Скрудж». Русский человек разве скажет – «тётушка Галя»? Или там «дядюшка Фёдор»? Он скажет: «*тётя* Галя», «*дядя* Федя». Более того, он скажет «моя *тётка*», вместо «моя тётушка», «мой *дядя*», даже «*дядька*» вместо «мой дядюшка». Понимаете, о чём я говорю? Переводчики вроде бы русскими этими словами просто лепят читателю. Создают, как им кажется, дух далёкой страны, дух чужого языка для русского читателя. Пусть те думают, что так говорят англичане, французы или немцы. Все эти «*старина*» («старина Билл»), «*дружище*», «*крошка*», «*детка*», пресловутое «*чертовски*» («Я чертовски зол на вас, Наталья Фёдоровна!») выдуманы ими. Русский человек не говорит так. Уж лучше, мне кажется, насыщать переводы чисто английскими словами. Понятными русскому читателю. Англицизмами. К примеру, у хорошо переведённого Драйзера: «*Хэлло*, милый! Потанцуем?» Уже лучше так, чем: «*Ты в порядке*, милый? Потанцуем!» Вот поэтому так и разнится перевод Аксёнова от общепринятых, канонических. И тем перевод его интересен. Смотрите, вместо *мамаши* Фсоу он переводит *маманя* Фсоу. Вместо *папаши* он пишет – *папаня*. У него даже есть – «*Тятя*» и «*Мамка*». Понимаете, наши деревенские слова «тятя» и «мамка». В американском романе! Это же неожиданно, это же здорово! Или вообще гениальное место. Послушайте, послушайте. На память помню: «“Эй, Гудини”, – позвал какой-то голос. Ветер повернул Гудини к зданию. В окне двенадцатого этажа стоял усмехающийся мужчина. “Эй, Гудини, – сказал он, – етиттвою, Гудини”. – “Взаимно, Джек”, – ответил волшебник». А? Где такое прочитаешь? У какого переводчика? Вот как нужно переводить с английского!

У Натальи глаза стали сумеречными. Он ненормальный. Он даже не заметил, что опять перескочил и запел осанну Аксёнову. Как переводчику. Он ничего не замечает за собой. Он не помнит, что говорил несколько часов назад. Он вот вспомнил сейчас. И сразу снова забудет. Он ненормальный.

Наталья шла, как оглушённая. Инвалид катил рядом, не умолкал:

– Но это мое мнение, Наталья Фёдоровна. Только моё. Вы можете со мной поспорить... – И опять как обухом по голове: – А вообще-то, Наталья Фёдоровна, я не люблю переводных романов!

И он опять смеялся. Он опять обнажал ей свою душу Плуготаренки весёлого.

Точно. Он ненормальный, – шла и словно пятилась от инвалида женщина.

8.

Опять радостный, инвалид гнал в сторону горсовета. Сегодня пятница. Нужно помочь матери с продуктами на неделю. Промелькивали встречные люди. Сплошной зелёной шугой летели деревья. И всё же душу почему-то скребло.

Резко остановился.

Ведь он действительно говорил с Ивашовой о романе Доктороу. Утром. Разбудив её ни свет ни заря. Нахваливал перевод Аксёнова. Спорил даже с ней о нём. Что-то доказывал. И куда это всё вылетело из головы, как только увидел её, идущую на обед. И сразу рванул как полоумный.

Когда она прямо спросила его о разговоре, который был всего несколько часов назад, – начал изворачиваться. Выхватывал какие-то слова из утреннего спора, вспоминал что-то, опять чёрт-те что ей лепил.

Можно только представить, какими глазами она смотрела на него в это время. На него, ненормального.

Медленно поехал. Прибавлял и прибавлял ходу.

Вдруг подмигнул идущей рядом полной женщине в таких же лёгких шароварах, как у Натальи: «Вся моя жизнь соткана из противоречий. А? Запорожец за Дунаем? Ответь! Ха-ха-ха!»

С вытянувшимся лицом, в точности как Ивашова, женщина потянула куда-то в сторону.

Хотя и крутой, пандус перед входом в горсовет был. С разгона Плуторенко взлетел на высокое крыльцо. Ему с готовностью раскрыли и подержали дверь. Поблагодарив, въехал внутрь.

Спустя полчаса возле центрального гастронома Вера Николаевна уже загружала продукты в коляску сына. Сын почему-то был хмур. Поехал, как раздутый ишак с перемётными сумами. Вера Николаевна шла рядом. Вроде как ишака вела.

– Какой-то ты скошенный сегодня, – поглядывала на сына.

Дома, выкладывая продукты на кухонный стол, сын вдруг остановился с пакетом гречки в руках:

– Мама, ведь я забыл об утреннем разговоре с Натальей. По телефону. Напрочь забыл. Она сама мне об этом напомнила.

У Веры Николаевны похолодело в груди. Как было совсем недавно. Когда сыну захотелось сплясать под гимн на похоронах.

– Как же так, Юра?

Молчали. Мать лихорадочно искала выход. Дверь.

– Может быть, тебе врачу показаться? Невропатологу, психиатру. А? Юра?

– Нет. Только не это.

Сын поехал к себе.

Лежал на диване, смотрел в потолок. Неожиданно вспомнил Прокова. Его запухшую, в кровоподтёках голову, лежащую на подушке. Его, как ландрин, красные слёзы в щелях глаз... Сильно добавили тогда бедняге к контузии. Очень сильно. Тоже забывает всё. Правда, только когда выпьет. А тут – и трезвый, и некурящий – а как два человека засели в одном. Не знают друг друга совершенно.

Проков вполне серьёзно однажды спросил: «Почему ты смеёшься, Юра? Неужели жизнь вокруг такая весёлая?» (Возвращались домой из Общества.) «Весёлая, Коля, весёлая», – с готовностью рассмеялся инвалид. И в доказательство вдруг крутанул с коляской пируэт на тротуаре. Что тебе балерун или гимнаст. «Вот какая весёлая, Коля!» И со смехом пошёл гонять вокруг ошарашенного Николая.

Вспоминать об этом сейчас было стыдно.

Плуготаренко всё таращился на белый потолок, где видел другие картины из серии «Идиотское поведение колясочника Плуготаренко».

Вспомнился приезд матери в госпиталь в 82-м году. Как он отталкивал её от себя и смеялся, будто мать щекотала его, будто мешала играть в баскетбол. А брат и сестра Генки Лапы, приехавшие расспросить о нём, узнать, как он погиб? Какими глазами смотрели тогда на мечущегося по комнате инвалида, готового лопнуть от смеха. Что чувствовали они на вокзале, когда им пришлось успокаивать его – так он рыдал.

Не раз ловил он себя на том, что во время драматичных моментов вдруг совсем как посторонний слышал своё хихиканье, смех. Так было недавно в клубе, когда прощались с Гришей Зиновьевым.

Плуготаренко сидел в коляске у гроба, и на лице его, как на занавесе в театре, боролись две маски. Трагическая и весёлая. И весёлая всё время побеждала. Можно представить, как смотрели на него собратья-инвалиды.

А уж что видела и слышала Наталья Ивашова – об этом лучше не вспоминать.

Плуготаренко напряжённо смотрел в потолок, напоровшись, как на засаду, на прежнее сознание своё.

Глава седьмая

1.

Холл психиатрической больницы походил на оранжерею. На выставку-продажу цветов. Цветы были повсюду – в трёх кадках на полу, в горшках и горшочках на ажурных железных решётках, цвели и вились на окнах.

– Вам нужно на второй этаж, – сказали Вере Николаевне в регистратуре. – К доктору Колобову. 8-й кабинет. – Дали бумажку.

Вера Николаевна продвигалась длинным полутёмным коридором. Здесь, на втором этаже, никакими цветами и не пахло. Навстречу попадались вроде бы нормальные улыбчивые люди. Правда, в больничных пижамах похожих на полосатых арестантов. И только один раз прошла мимо странная женщина. Худая, отрешённая, с распростёртыми руками, словно растение.

Врач Колобов озабоченно моргал большими глазами совы, не понимающими дневного света. Психиатр с многолетним стажем, он, что называется, всю жизнь был у воды и, походило, хорошо ею напился.

Веру Николаевну смущали такие глаза врача, она теребила платок.

– Итак, что привело вас к нам? – спросил доктор Колобов, обнаружив, наконец, перед собой дневную действительность в виде женщины с буреломом на голове. С глазами галки. Насыщенными, как нефть. – На что жалуетесь?

– Я ни на что не жалуюсь, доктор. Я пришла поговорить о своём сыне... Не знаю даже, как начать... – Вера Николаевна почувствовала, что сейчас заплачет.

– Ну-ну! Успокойтесь! Начните с начала.

Будто получив команду, Вера Николаевна сразу стала зачитывать словно бы досье на сына. Заготовленное дома:

– В 82-м году мой сын Юрий Плуготаренко служил в автомобильных войсках в Афганистане. Двигаясь в автомобильной колонне по Салангскому перевалу, его КамАЗ съехал с узкой обледенелой утренней дороги и упал в глубокое ущелье. Его напарник Геннадий Лапа погиб. Юрий остался жив и с множественными переломами и разбитой головой был вывезен вертолётом в Кабул, а оттуда на другой день самолётом эвакуирован в Ташкентский госпиталь № 320...

– Минуточку, минуточку, – прервал Колобов. – Не так быстро и официально. Подробнее, пожалуйста. Своими словами. Об аварии, о переломах у вашего сына.

– Подробностей аварии я не знаю, Юра никогда не рассказывал об этом. Но в госпитале мне дали выписку. У Юры были переломы обеих ног, раздроблен таз и сломан позвоночник. Сильно ушиблена, разбита голова... От всего этого Юра обезножел. Стал инвалидом. В коляске...

Вера Николаевна опять зашмыгала.

– Ну, ну. Не надо. Выпейте вот воды.

Пока Вера Николаевна пила воду, Колобов сидел, и глаза его опять увеличивались. Опять как у совы, не понимающей дневного света.

– Но я думаю, вы пришли ко мне не из-за физической инвалидности сына. Что же дальше произошло с ним?

– Просто я его не узнала, доктор. Когда приехала за ним в Ташкент. Это был другой Юра. Он постоянно смеялся. Понимаете, доктор! Хохотал, как дурачок. В больничном парке он отталкивал меня от коляски и хохотал... Потом мне сказали, что всё это со временем пройдет, что так бывает, но вот прошло шестнадцать лет, а ничего не проходит у него, наоборот, становится хуже и хуже.

Вера Николаевна всё же заплакала. Колобов встал, вышел куда-то. Вернулся с таблеткой, завернутой в бумажную салфетку.

– Вот, выпейте, пожалуйста. Это вас успокоит.

Дальше Вера Николаевна довольно долго рассказывала обо всей прошлой и теперешней жизни сына. Колобов умел слушать. Два раза заглядывала медсестра. Но он махал ей, и она исчезала.

Наконец Вера Николаевна замолчала. И то ли от таблетки, то ли от того, что выговорилась, что её выслушали – на душе стало легче. Было даже неудобно – столько времени отняла у занятого человека.

Но Колобов был уже деловит, не услышал даже извинений посетительницы.

– Как вы рассказали, Вера Николаевна, в детстве своём Юрий был спокойным, уравновешенным мальчиком, умеющим за себя постоять. Всё это хорошо. Но когда ему было десять лет, погиб под колёсами грузовика его отец. И всё это он видел. Это серьёзная психическая травма для ребёнка. Да и в Афганистане: жуткая авария, он еле живой после неё, весь переломанный. Разбита, сильно ушиблена голова. В госпитале гипсы, противовесы месяцами, сложнейшие две операции на позвоночнике, бесполезность их. В итоге – полная обезноженность, инвалидность, коляска. Что он должен испытывать? Как ему жить дальше? Он просто вытесняет всё из сознания, понимаете? Забывает всё. Он теперь постоянно смеётся, он жизнерадостен, он счастлив, он живой. А прошлого для него нет, он его забыл, вытеснил из сознания. Понимаете, что произошло? Поэтому вы и не узнали своего сына в Ташкенте. Это редкий случай посттравматического синдрома. Правильно вам психиатр сказал в госпитале – синдрома весёлого. Если бы у него был обычный синдром – с длительными депрессивными состояниями, с попытками суицидов – он бы давно уже был нашим больным.

– Но он стал забывать и теперешнюю свою жизнь, Борис Иванович! В обед он не смог вспомнить, о чём целый час говорил по телефону утром!

– Ну что ж, такие короткие амнезии будут и дальше случаться. Понимаете, в нём живут сейчас два человека. Основной, если можно так выразиться, теперешний, и – прошлый, до Афганистана, которого он вытеснил, но не забыл до конца. И эти два человека борются в нём. Тогда и происходят такие сбои: кратковременная потеря памяти, короткие депрессии на день-два. Но потом он снова весел и жизнерадостен. Вам нужно с этим смириться, Вера Николаевна. Таким он будет всегда.

Колобов помолчал. Совиные глаза его опять моргнули несколько раз, возвращая в них, глаза, действительность:

– И потом, давайте на всё это посмотрим с другой стороны: он не пьёт, давно бросил курить. Он работает, клеит коробки, получает за это деньги. В свободное время он увлекается фотографией, он снимает, и снимает, как вы сказали, хорошо. Снимки его даже посылают на выставки. Он живёт полноценной жизнью, он просто не помнит, что инвалид. Более того, он полюбил женщину, к которой вы почему-то не благоволите. И что же вы теперь от него хотите? Чтобы он глотал таблетки и постоянно лечился у нас? Благодарите Бога, что он такой, Вера Николаевна. Давайте оставим всё как есть. Не нужно его теребить с больницей, тащить к психиатрам. Если депрессии будут длительными – неделю там, две – тогда мы вмешаемся, поможем. Вот вам мой телефон. – Колобов написал номер на бумажке и подал Вере Николаевне.

С благодарностями, опять чуть не заплакав, та вышла из кабинета.

Сразу же помчалась к Зиминым. Там рассказала о психбольнице, о враче Колобове, его советах. Потом втроём долго разговаривали.

Вечером домой Вера Николаевна вернулась весёлой и вроде как себе на уме. Загадочно поглядывала на сына, улыбалась. Неожиданно крепко поцеловала его в щёку.

– Что это с тобой? – отпрянул сын.

Чудеса! Пьяная, что ли?

2.

С картонажки, когда получал там зарплату, домой Плуготаренко всегда ехал через городскую площадь.

Длинная большая пивная через дорогу от площади за стеклом напоминала цех с работающими станками и любознательными рабочими при них. Обязательный Ильич с центра площади пивной не видел, указывал на восток. Здание с властями за Ильичом и вовсе закинулось, смотрело в небо.

На майские и октябрьские праздники здесь ставили невысокую трибуну с надутым руководством, и мимо сначала чётко проходил местный воинский гарнизон, а за ним долго вязли демонстрации. «Верной дорогой идёте, товарищи!» – как отец чадам, указывал тогда трудящимся весёлый Ильич с постамента.

Ну ладно – демонстрации, Ильич, но Плуготаренко никогда не понимал, зачем под барабанный оркестр прямыми палочными ногами нужно печатать шаг, проходя мимо трибунки с надутыми индюками в шляпах и в фуражках. Зачем? Какая в этом красота, какая необходимость? Вообще, для чего этот дурацкий гусиный балет, шлёпающий по площади? «Для *че́го?*» – как спрашивала одна весёлая молодая полька у советского офицера из старого советско-польского фильма о войне. «Для че́го, пан офицер?» И тот, гоняя взвод солдат строевым, злился на бестолковую, и кроме «ну, вообще!», ничего внятного ответить не смог. Действительно – «для *че́го?*»

Мать же, глядя в телевизоре на такие экзерсисы мужчин на парадах, всегда выпрямлялась за столом, глаза её начинали молодо блестеть. Поворачивалась даже к сыну: гляди, как маршируют!

Плуготаренко давно заметил, что она любит смотреть только жёсткие фильмы. Фильмы про настоящих мужчин. Где косяком идут драки, рукопашные бои, погони, стрельба, взрывы. Всё время бегает тараканный спецназ. Где постоянно кричат «стоять!», «на пол!», «не двигаться!», «руки назад!» То есть – боевики. Ну и, конечно, тоже её зрелище – регулярные ежевечерние сериальные убийства на НТВ и их расследования. Про все эти «убойные отделы», которые уместно иметь, наверное, не в милиции, а на мясокомбинате. (Какой дурак отдел убийств выдумал так обозначить?) Про «следаков» при этих отделах, которые давно уже отлично ботают по фене тюрем и колоний, и их самих впору туда всех отправить. Сериалы со слюнями, любимые многими женщинами, – для мамы просто мусор.

А ведь она в советское время много читала. И читала настоящую литературу. Но с появлением в перестройку жёстких этих фильмов и сериалов она, как сказали бы сейчас обыденно с экрана, – поменяла ориентацию. С женской на мужскую.

Телевизор в доме был один. На двоих. Мать поэтому часто злилась:

– То да потому! То да потому! – с досадой говорила она, когда он смотрел какую-нибудь экранизацию классики. К примеру, из Достоевского.

Сын глядел на неё как на отступницу. Перескочившую в другую веру. Мать же всё злилась, не могла дождаться, когда закончится эта «мутотень» и сын уедет к себе. Уж тогда-то она оттянется с боевичком!

Книги она теперь покупала только с яркими обложками. Откуда мрачно смотрели мужчины с громаднейшими бицепсами и пулемётами в руках. Плуготаренко стыдился этих книг в книжном шкафу. Старался оттеснить их куда-нибудь, переставлял в самый угол шкафа. Однако мать возвращала их в центр. Для хорошего обзора. И когда приходил, к примеру, Проков, тоже любитель подобной литературы, с гордостью показывала ему эту свою яркую маленькую библиотечку. Вдвоём, перебивая друг дружку, обсуждали они какого-нибудь «Лешего» или «Мента поганого».

Удивительно, что она вдруг вспомнила в этом году и перечитала «Регтайм» Доктороу. Это был, наверное, одинокий отголосок от прежнего её чтения. Внезапный, ностальгический. А так – или драки и убийства на экране, или – стриженные ёжиком оковалки с пулемётами в руках на ярких обложках.

Ивашовой он всякий раз говорил: «Не моё! Мама балуется!» Как милиционеру. Поймавшему его с неопровержимой уликой. Впрочем, Наталья «красных наркотиков» в шкафу словно не замечала – за столом отсчитывала инвалиду деньги. В последнее время ей стало не до Плуготаренко. Не до его настырных ухаживаний. Она просто забыла о нём. Работница почты – она недавно сама получила письмо. Впервые за много лет. И получила самым мистическим образом. Словно вымолив эту весточку у заката в вечернем окне.

Накануне, перед тем как получить его, она привычно смотрела дома телевизор. Уже поужинав.

Сначала сексуальный таракан стоял и выламывал свои ножки будто перед своей тараканихой. Спокойно стоять на месте он, как всегда, не мог. Затем на экране, вальяжно развалившись в кресле, сидел и рассуждал молодой, но уже широко известный литератор. Еврей, как и Михаил Готлиф. Но в отличие от печального Миши, похожий на весёлого отъевшегося цыгана с золотыми зубами. Он знал всё. Он мог говорить на любую тему. В любое время, где угодно. Его хотелось уподобить человеку-оркестру, работающему на оживлённой городской улице. На тротуаре. Где он одновременно умудряется петь, глодать перед своим лицом губную гармошку, лихо бацать на гитаре, через приводы к ногам, притопывая, лупить в громаднейший барабан у себя за спиной большой колотушкой и там же, над барабаном, прицокивать медными тарелками, напоминающими вьетнамские шляпы.

Такой всегда соберёт вокруг себя большую толпу. Не то что бедный Миша Готлиф.

Моя посуду, всё думала, почему Мише не повезло, почему он не состоялся как писатель. Ведь весёлый цыган из телевизора сумел схватить удачу за хвост, вскочить не неё, оседлать и поскакать, а

бедный Миша и бежал, наверное, за ней, и тянулся, но всё равно брякнулся в пыль. И уже ничего не делал. Печалило это всё. До слёз печалило.

Долго не спала в ту ночь, плакала, всё вспоминала свою оборвавшуюся любовь. Своего Мишу.

А утром на работе ей прямо на стол Послыхалина кинула письмо: «Тебе. Ещё от одного твоего жениха! На Украину который от тебя сбежал! Хи-хи-хи!»

Увидев на конверте знакомый почерк – обмерла. Тут же сунула письмо в пакет. Ничего не соображала. С мгновенной бурей в голове. Не видела даже дорогих товарок, которые уже объединились с Послыхалиной. Которые смотрели на невесту с суетящимися бестолковыми руками. Подталкивали друг дружку и хихикали. Точно ждали от толстухи сальто-мортале. «Это что ещё такое!» – разогнала всех Вахрушева.

В тот день Наталья не могла дождаться обеда. Всё время взглядывала на белую бляху на стене. Усы на которой скособочились, никуда не двигались. Вахрушева, как назло, посадила на коммунальные платежи. Наталья всё время ошибалась, часто пересчитывала деньги. Чуть не плача, исправляла свои ошибки в квитанциях. Через полчаса у окна кассы образовалась очередь из возмущённых пенсионеров. Добросовестных плательщиков. Безобразие!

Как бич, стегнул наконец резкий вахрушевский звонок на обед. Наталья бросила старушонку-очередницу, только-только начавшую раскладывать на стойке свои бумажки. Закрыв железный ящик с деньгами и бросив ключ на стол Шорниковой, первой выскочила из здания.

Сначала хотела помчаться домой, но далеко, терпения нет, тогда заспешила в парк, ближе, никто не помешает. Мысль, что письмо можно прочитать уже здесь, на улице – отметала: Мишино письмо? на глазах у всех? Как можно!

В центре парка, присев на скамейку возле сухого фонтана, с замиранием сердца вынула и развернула, наконец, письмо.

С недоумением прочитала первые три строки: «Писатели, Наталья Фёдоровна – это кулички на болотцах. Пищат, заливаются. Причём – каждый на своем. Никого из соседей не слышат».

Дальше шло пояснение: «Это эпиграф к моему письму, Наталья Фёдоровна. Читайте, пожалуйста, дальше».

Наталья перевела дух, вытерла с лица пот. Снова впилась в текст письма:

«Здравствуйте, дорогая Наталья Фёдоровна!

Вот решил написать Вам, хотя думаю, что Вы наверняка уже замужем, и муж Ваш не одобрит этого. И всё же – решился. (Пусть Он меня простит.)

Материальная жизнь здесь, не говоря уже о духовной, ещё хуже, чем в России. Маминой пенсии и моих маленьких денег стало не хватать. Пришлось мне пойти работать. Да и местный участковый, в отличие от российского своего клона, всё время подступал с пистолетом к горлу. Пришлось пойти. Теперь я Ваш коллега – почтовый работник. Разносчик телеграмм. Прошу любить и жаловать.

Как Вы, наверное, помните, я всегда любил ходить по Городу. Гулять. Особенно вечерами вместе с Вами. Но моя теперешняя подневольная ходьба – это ходьба совсем другая. От неё у меня стали болеть ноги, суставы. Порой тяжеловато подняться даже на второй этаж. Приходится останавливаться и долго выламываться, вихлять коленом. Будто сеньору перед дамой. А уж потом только позвонить в квартиру. Извините.

Реакция получателей телеграмм на твою физиономию в дверях всегда одинакова. Сначала напряжённость в глазах, даже испуг. А затем или радость, или слёзы. К слову, ничто так не застаёт человека врасплох, мгновенно раздевая его, как слова: “Вам телеграмма!” Стараешься быть индифферентным. Вроде тупого пня. Иногда обламываются медяки. Чаевые, понимаете ли.

Вечерами сижу в библиотеке. Как в насмешку над теперешней нашей жизнью – имени Салтыкова-Щедрина. Сижу один на весь читальный зал. Думаю, пытаюсь писать. Тощие библиотечные женщины относятся с пониманием. Раньше девяти не выгоняют.

Иду один домой. Ужинаю. Смотрю на свою мать. Которая даже за столом с большим достоинством следит за сыном. Счастливо не понимая своего несчастья.

Читаю. Иду к себе, ложусь. С думами о Вас засыпаю.

А утром – всё с начала. Верчения коленом перед чужими дверями, а затем испуганные или радостные лица...

Я очень скучаю по Вам, Наталья Фёдоровна. Не могу Вас забыть. Как приехали сюда, мама сразу хотела женить меня. Но я отвык от еврейских женщин и от назначенной невесты отшатнулся с ужасом.

Представляете, что пришлось мне пережить? Это всё равно, что после свадьбы проснуться и вместо любимой женщины (Вас) увидеть рядом с собой улыбающегося, разглядывающего тебя трансвестита.

А вообще жизнь моя теперешняя без Вас – как болтающийся полёт одинокой чайки над штормящим морем. То вниз, то вверх, то в одну сторону ныряю, то в другую.

На этом заканчиваю. Простите меня.

Всего Вам доброго, Наталья Фёдоровна!

Любящий Вас Михаил Готлиф»

Прямо над Натальей, как бедный Миша, выламывал и выламывал ногу гигантский поддуваемый человек. Высокая маленькая головёнка его, как чайка, сначала летела в одну сторону, затем разворачивалась и летела в другую. Внизу Сатказин и Адамов неутомимо кадрили клиентов. Наталья сидела с письмом, прижатым к груди. Если бы Плуготаренко снял её в это время – он назвал бы снимок «Долгожданное письмо с фронта».

3.

...Как твоё колено сегодня? Длинной железной лопаткой Циля Исааковна перекидывала на большой сковороде картофельные драники. Драники начинали прыскать жиром, взрываться, шипеть, как ежи, и утихали, собирая жир. У тебя спрашивают! Михаил Янович смотрел на только что написанный абзац, как мышь на крупу. Не знал, то ли безжалостно посечь его пером, то ли в живых оставить. Не слышишь? Слышу, мама, слышу. Всё нормально. Но когда встал со стула, боль сразу привычно вошла в колено. Под внимательным взглядом матери взял себя в руки, бодро прошагал к кухонному столу. Молчали. Ели драники. Весёлый кроха со стрелками выстукивал на холодильнике. Вдруг принялся звонить. Пора, сказала мать. У себя в спальне одевался на работу. Как генералу, мать внесла громадный фураган любимого почтового ведомства. Потом тоже форменный, синего цвета, отглаженный ею большой пиджак. Наложил на колено капустный лист. Обмотав, закрепил его эластичным бинтом. Будто бы помогает. Соседка Бойченко сказала. Анна Тарасовна. Тоже с листьями на коленях, как с доспехами хоккеист. Мать строго оглядела сына. В глухом, застёгнутом до горла пиджаке, в фуражке сын смахивал на шофёра миллиардера из американского фильма. Иди. Хлеба на обед купи. Я суп сварю. Сын вкладывал в карманы блокноты и ручки. Слышишь! Хорошо, мама, куплю. Обязательные старушонки на скамейке дружно закивали. Поздоровался, благополучно прошёл, никого не задев. Колено по-прежнему ныло. Ничего, сейчас разойдусь. Пройдёт. Недовольный Коткин показал на стул. Михаил Янович, я же вас просил все смерти у Зябловой забирать! Просил? Зазвонил телефон. Коткин снял трубку: да. По стене стёк таракан. Чуть погодя ещё один. Как из дому на работу. Как по привычной дороге. Коткин положил трубку. Зяблова ведь женщина, Михаил Янович. За одну смерть она будет у вас забирать два дня рождения или две свадьбы. У неё же истерики после смертей, давление. Вчера опять плакала у меня. А, Михаил Янович? Вы же мужчина! Печальный Готлиф сидел мешком, забыв даже снять фуражку. Михаил Янович! Хорошо, Лев Зиновьевич, пусть смерти будут мои. Когда вышел из туалета и вытирал платком руки, длинная Зяблова прошла мимо заплаканная, отчуждённая. Даже не поздоровалась! Это вместо благодарности! Ведь уже узнала у Коткина. Ладно, Зяблова. Пусть это будет на твоей совести. И дней рождений мне твоих не надо, преподобная Зяблова. Было обидно. В первой же квартире, куда принёс смерть – завыли. Две женщины и мальчишка. Вот гадина Зяблова! Спускался по лестнице. Сидел, приходил в себя в парке. По заплесневелой воде фонтана водолазом в ластах дёргался лягушонок. На клумбе, на высохших скрюченных ветках, несмотря ни на что, паразитами цвели молодые розы кулинарного цвета. Поднялся. На сегодня осталась ещё одна смерть. Это, конечно, пока только. После обеда – неизвестно что будет. Здоровеньки булы, жидовин! З-заходи! Мотающийся коротышка-хохол в вышиванке. С висящим пьяным усом, как с люлькой. З-заходи, жидовин! На, у тебя умер брат. Пока ты здесь жрёшь водку, подлец! Спускался на ломких, вздрагивающих ногах. Зачем брешешь, жидовин? – раздалось сверху. Телеграмму разверни, полудурок! Шары пьяные разуй! Сволочь. Опять сидел в парке. Вытирал платком пот. Вместо лягушонка – лягуха-мать дёргалась в мути фонтана. Прошла женщина. Такая же полная, как Наталья. С такой же метущей поступью слонихи. Защемило в груди. Почему молчит? Неужели не получила письмо? А может, действительно давно уже замужем. Два года прошло. Кое-как доработал до обеда. Разнёс ещё четыре телеграммы. Телеграммы нормальные, радостные. В одной квартире дали даже мелочи. Как раз вышло на буханку хлеба. Заказ матери. Поднимался к себе. На четвёртый этаж. Ну как, Миша, помогает моя капуста? Старуха Бойченко. Улыбается. Вся в морщинах вдоль и поперёк. Что тебе добрейший голкипер в маске. Спасибо, Анна Тарасовна, помогает. А чего кряхтишь? Да по привычке, Анна Тарасовна! Посмеялись. Втащился

в квартиру и сразу сел на стул. Колено ощущалось каким-то пульсаром, множащим и множащим боль. Поневоле вспомнился врач Середа. С его ударно-волновой терапией. Удерживающий крепкими засученными руками эту чёртову тарахтящую цилиндрическую хреновину, как шахтёр отбойный молоток. Левое колено он хорошо отбомбил, привёл в порядок. Никуда не деться, нужно идти теперь с правым. Зашебуршился в двери ключ. Сразу вскочил. Принял от матери сумку с продуктами. Хлеба купил? Купил. Пообедав, прилёг у себя, положив поутихшую вроде бы ногу на валик дивана. Заверещал маленький разбойник из кухни, с холодильника. Миша, пора! Слышишь! Торжественно внесла фураган. Опять. Как королю корону, по меньшей мере. Злился на мать. Всё у неё по часам. По секундам. Напяливал синий пиджак. Синий головной убор уже на башке. Насажен. Сушек на вечер к чаю купи. Слышишь! Слышу! Хлопнул дверью. Неутомимые старушонки на скамейке. Вахта. Правда, осоловевшая слегка. Солнце жучит. Прямо в мордочки. Пришёл на почту. Дедушки-ленина-лысина Коткина после домашнего обеда была лучистой. Как там Циля Исааковна? Не болеет? Здорова как лошадь. Хмуро. В сторону от пьесы. Тогда ей от меня большой привет! Вы бы сняли фуражку, Михаил Янович – жарко. Ничего. Я привык. Коткин смотрел. Глаза под козырьком у малого – как две пули дум-дум. Странный. Шизоид. Никак не могу привыкнуть. Если бы не мать его да не Аделаида, не работал бы у меня. Коткин покопался в бумагах на столе. Вот вам две телеграммы – вручите и можете идти домой. А вдруг смерть опять? Глаза из-под козырька разоблачали: а? Ничего. Зяблова отнесёт. Отдохнула. После того как вручил телеграммы двум адресатам, сидел в парке на своём всегдашнем месте. У фонтана. Где лягушки устроили уже матч века. Две команды. Белопузые и черноспинные. Носились. Откуда их тут столько развелось? Какой-то мальчишка уже наклонялся, лез с сачком. Запустил в большую банку с водой пойманного лягушонка, где тот сразу начал дёргать лапками, показывать разные куншткюки. Во весь свой ростик. Юный натуралист смотрел, улыбался. Прошла Аделаида Молотовник. Если у Олеши – как цветущая яблоневая ветка, то эта – как тощий лихой татарник. Назначенная невеста. Шофёра в кителе и фуражке просто не узнала. Шизоидно видел себя со стороны – разом откинувшегося на спинку скамьи, пузатого, беспомощного. Да что же это такое! Сняв фураган, вытирался платком. Такие испытания! Спасибо, мама. Никогда этого тебе не забуду. Высокие тонкие тополя вяло прятали ветер. Мальчишка с лягушонком в банке побежал домой. Успокоившись, Михаил Янович достал большой блокнот. Развернул на коленях. Открутил колпачок старомодной чернильной авторучки. Задумался.

4.

Для начала нужно название. Михаил Янович написал печатными буквами: «КВАРТИРАНТ СО СВОИМ ДИВАНОМ». Ещё подумал. Добавил пониже: – Рассказ –

Начал писать: «Аделаида Молотовник, девица 32-х лет, работала бухгалтером на небольшом заводике города Кременчуга (бухгалтер, милый мой бухгалтер!)

Коткину Льву Зиновьевичу, директору почты, она доводилась племянницей. В свою очередь, Коткин Лев Зиновьевич (если я с письмом не доеду, значит, я с письмом дойду!) хорошо относился к Буровóй-Найман, единственному зубному врачу, занимающемуся частной практикой в городе Кременчуг. Ну а Буровая-Найман (песен нет, под бормашиной не особо запоёшь) в 76-м году хорошо забурила пломбы в три зуба Циле Исааковне Готлиф (тоже врачу), в те времена работавшей терапевтом. А у Цили Исааковны был сорокалетний сын Миша, Михаил Янович уже, которого после связи с плохой женщиной нужно было срочно женить. Поэтому в один из благословенных летних вечеров, можно даже, наверное, сказать, подмосковных вечеров (не слышны в саду даже шо-ро-хи-и), Михаил Янович Готлиф оказался за столом плечом к плечу с Аделаидой Молотовник, как уже было сказано, бухгалтером и девицей 32-х лет».

Готлиф прервался, прочитал написанное. Не всякое лыко в строку. «Лапоть» получился громоздким. Но потом можно будет подправить. Продолжил:

«Михаил Янович, несколько расплывшийся блондин с потным размазанным флажком на лысине, поминутно вытирался платком. Ему было явно не по себе. На невесту почти не смотрел. Да и на кого-либо за столом под высоко висящей дачной лампочкой, в которую с треском ударялись ночные мотыльки.

Предложенная Михаилу Яновичу невеста, Молотовник Аделаида, в дремучем парике походила на обряженного в женское трансвестита. Имела массивную челюсть, костлявые широкие плечи с висящим на них платьем. В отличие от жениха, она радовалась откровенно. Всё время скалилась, обнажая длинные, как амулеты дикаря, зубы. Она поймала свой шанс. Никуда теперь голубчик не денется! Она постоянно тыкала рюмкой в рюмку голубчика, чтобы он взбодрился как-то. А не сидел мешком. Каза-

лось, готова была вскочить и сама зажать его в поцелуе. Без всяких там криков “горько!” Я отчаянная, говорил весь её вид. Ух, держись! (Готлиф.)

Организаторы встречи (сводни) – Лев Зиновьевич Коткин с супругой, похожей на улыбчивого дельфина, Берта Яковлевна Буровая-Найман (хозяйка дачи) и Циля Исааковна – СТРАЖДУШАЯ МАТЬ НЕПУТЁВОГО СЫНА – излишне как-то были оживлены и разговорчивы за столом. Напоминали стайку говорливых попугаев. Коткин, как купец, имеющий припрятанный (залежалый?) товар, всё время нахваливал племянницу: да какая она замечательная хозяйка, да как вкусно она готовит, какая чистота и порядок у неё в комнате, а на работе – так вообще ей нет равных: цифры складывает в уме мгновенно, всегда без ошибки, дебет-кредит и так далее. Не голова у девушки – а целый арифмометр!

Доверенное лицо Цили Исааковны, сватья Буровая-Найман, что называется, размашисто выхлопывала свой товар. Михаила Яновича Готлифа. Вот он! Сидит! Мужчина в самом соку! Красавец! Работает! На хорошей должности! (Это на должности почтальона-то?) Не курит, не пьёт! По нашим непростым временам имеет мебель! Свой диван! Понимаете, свой новый диван! – победно оглядывала всех Буровая-Найман. Большой мокрый рот её был весь утыкан железом. И получалось, что она как зубной врач – сапожник. Но – с сапогами.

Однако Лев Зиновьевич и его Улыбающийся Дельфин наперебой доказывали, что их товар намного лучше – Аделаида скоро купит квартиру, и не какую-нибудь, а двухкомнатную. Да, она пока живет в семейном общежитии, да, комната у неё маленькая, тесная, это так, но это временно! Временно! Всё скоро у неё совершенно изменится!

Кто же всё-таки тут купец, а кто – товар? – невольно задал бы себе вопрос сторонний наблюдатель. Этот, как баба после бани, весь в стойких фиолетовых пятнах мужик? Или эта – брутальная девка рядом с ним, елозящая от нетерпения ногами?

Между тем Мама (Циля Исааковна) тоже поглядывала на сына непонимающе. Даже обиженно. Как на пожизненного неудачника, неумеху. Ничего не может! Даже обработать женщину. Бухгалтера. Имеющего деньги. Обработать без каких-либо обязательств. Ведь никто его, дурака, не заставляет жениться. Просто нужно сойтись ему с ней, сойтись (понимаете?) – и всё. Чтобы забыть ту русскую толстую прохиндейку. А он вместо того чтобы немедленно начать ухаживать, сидит рядом перепуганный, потный. Зажал всё своё меж колен – точно женщина сейчас потащит его кастрировать!»

Готлиф вновь остановил перо. Нужно бы, наверное, придумать вымышленные имена героям этой подлинной истории... но пусть будет пока так. Потом всё поменяется. Герой, раз он в рассказе писатель, конечно же, будет каким-нибудь Тумановым. Или Зимогоровым. Кстати, есть фамилии, которые уже сами по себе несут поэтическое – Бухаров, Лебединский. Если имеешь подобную фамилию – просто стыдно не быть писателем. Помнится, об этом говорил Наталье. Ладно, не будем вспоминать больное. Итак: «Михаил Янович Готлиф не лишен был поэтической жилки – он писал рассказы и повести. При кажущейся своей солидности и даже высокомерии, человеком он был боязливым, застенчивым. В редакции со своими рукописями не лез, а женщин – так просто боялся. Если в случае с Натальей Ивашовой (растоптанной своей любовью) он всё же позволил завести себя в новое для него место (квартиру), и ему даже в нём понравилось, то Молотовник Аделаиде он не поддался сразу, ни под каким предлогом не позволил втащить себя в её комнату. Дошёл с ней только до третьего этажа семейной многоэтажки. И ринулся назад, вниз, расталкивая людей на лестнице.

В кинотеатре, куда его всё-таки завели, он отбивался от женских рук, хватающих его за то, за что мужчину не нужно хватать. Да она же ненормальная! – поспешно, грузно вылезал он из ряда, пихаемый недовольными зрителями.

Домой Михаил Янович шёл и кипел. Это чёрт знает что! Такое насилие над личностью! Да как она смеет?!

В украинский Кременчуг Михаил Янович переехал из России. Из-за его любовной связи с русской женщиной – мать заставила, настояла. Сама подала на обмен квартиры, и через месяц нашлись желающие. Михаил Янович с 25-ти лет состоял на учёте в психбольнице. У него бывали психозы. Чаще мания преследования. Случавшаяся осенью или весной. В такие дни он прятался на чердаке или в чьём-нибудь погребе. И сидел там. Пока его не находили санитары и не везли в больницу. В России даже с третьей группой инвалидности Михаил Янович мог не работать. А если и работать, то ограниченно. Всё резко изменилось после переезда на Украину. Сразу же начал привязываться участковый Коноплянин. Игнорируя справку Михаила Яновича, заставлял идти работать на Кременчугский автосборочный завод. Почему-то именно туда. Разнарядку, что ли, получил? “У нас не Россия! У нас не

пройдёт туньядствовать! У нас кто не работает – тот не ест, уважаемый!" Пришлось пойти с матерью к Коткину Льву Зиновьевичу, дальнему родственнику. Тот взял Михаила Яновича к себе на почту. Почтальоном. Вот так-то, гад Коноплянин! Не вышло у тебя, чтобы я гайки крутил!

И вот теперь новая напасть – Аделаида Молотовник!

Он думал, что после случая на лестнице, а потом и в кинотеатре, где от неё натурально отбивались, она поймёт, что не желанна, как женщина не желанна, чёрт побери, и отстанет наконец... Однако ошибался.

Уже через два дня, придя на обед, он увидел её распивающей на кухне чай с матерью.

Без парика она даже показалась Михаилу Яновичу симпатичной – у неё был лихой мальчишечий чуб-косарь жёлтого цвета. Однако куда же денешь её массивный подбородок и обнажённые мускулистые руки трансвестита? Михаил Янович пил чай с тортом, принесённым женщиной, и не находил ответа.

Непонятно было Михаилу Яновичу поведение матери в создавшемся положении. Она прекрасно знала, что сыну противопоказаны такие стрессы, что всё это может кончиться для него погребом, а потом больницей, но всё равно привечала эту женщину. Неузнаваемо (фальшиво) была ласкова с ней, ловила каждое её слово, заглядывала ей в глаза и в рот. Странно.

Мать всё делала по часам. Под будильник на кухне. Едва начинал бесноваться маленький разбойник – в любое время дня и ночи она входила к сыну с таблетками и водой в стакане: "Прими!" Если куда отправлялась по делам, первый вопрос её по возвращении был: "Ты принял таблетки? Аминазин? Галоперидол? Карбидин? Клозапин? Звонил будильник?"

И вот теперь новое (новейшее!) лекарство для сына – еврейская женщина ему. "Ты принял аделаида молотовника? Не забыл? Звонил будильник?"

Сама Молотовник за столом не умолкала. Рассказывала всё о себе откровенно. Без всяких. Ничего не скрывала. После смерти матери (отца не знает) воспитывалась в детдоме. Окончила финансовый техникум. Выходила даже замуж. Но русский муж почти сразу начал пить. Выгнала его. А потом он и вовсе – *откёнулся*.

Мать и сын не поняли.

– Ну дал дуба. Отбросил коньки. Понимаете? От пьянки.

Даже такая вульгарность гостьи мать не смутила. Сразу после чая она с гордостью показывала ей новый чешский диван, купленный сыну буквально перед самым переездом сюда, в Кременчуг. Нимало не смущаясь сына, который стоит тут же, в спальне, и смотрит на громаднейший диван с валиками, словно на чужой диван, как будто впервые видит его.

Деловая Молотовник потребовала рулетку. Кидаясь на диван с железной лентой, быстро обмерила его.

– Жаль. Габариты большие. А то Михаил Янович смог бы поселиться у меня со своим диваном. – Скручивая ленту, пояснила: – Калидор не пропустит.

– Как, как вы сказали? – сразу переспросил Михаил Янович. – Повторите.

– Я говорю: калидор не пропустит диван. Он у меня узкий. Да и в дверь, наверно, тоже не пройдет, – всё скручивала железный метр Молотовник.

Готлиф начал наливаться кровью. Готлиф Михаил Янович боялся одного – от смеха лопнуть. Ринулся из комнаты.

Циля Исааковна хмурилась. Зачем-то поправляла накидку на диване, точно обидевшись за диван. Что он не пролезет ни в дверь, ни по "калидору"».

Михаил Янович задумался. Рассказ в целом был закончен.

Конечно, можно было и дальше рассказывать, как она преследовала его, не давала проходу, лезла с тортами в квартиру. Как он кричал матери: «Она эпидемия, мама! Настоящая эпидемия!» Мог бы даже рассказать о единственной близости с ней, после которой его неделю преследовало страшное видение: тощие кривые ноги женщины и её втянутый, как пропасть, пах. Мог бы рассказать, что даже железная мама, не выдерживая, ходила несколько раз к Коткину и требовала от него, чтобы он обуздал, наконец, племянницу... И только после того, как отыскал в Кременчуге погреб, спрятался в нём, Молотовник отстала. В психиатрическую лечебницу города Кременчуг она не пришла ни разу.

Уже подступила ночь, а Михаил Янович всё сидел с забытым блокнотом в руках. Всё смотрел вдаль, где зябла одинокая звёздочка. На манер Чехова Антона Павловича Михаилу Яновичу хотелось прошептать: «Наташа Ивашова (Мисюсь), где ты?»

Глава восьмая

1.

Прокова мучил афганский сон. Проков один бегал по пустому горному плато. Жужжа, как шмель, советская граната РГД-5 прилетала и прилетала. Будто одна и та же. Падала, скакала по камням прямо к ногам Прокова. Тот бежал от неё, падал, охватывая голову. После взрывов вскакивал, озирался, не мог понять, откуда гранату кидают. Но снова она летела и жужжала. И он снова бежал и падал. Он понял, что взрывами его гонят к краю плато, к обрыву. Тогда он сам подбежал к обрыву. Глубоко вздохнул, как перекрестился, закрыл глаза и полетел в пропасть, истошно крича. «Ты что?!» – толкнула его Валентина. Потом перекинулась на другой бок и тут же снова засопела. Проков выдохнул напряжение.

За завтраком сидел, словно в вакуумной оболочке, почти не слыша, о чём говорят Женька и Валентина. Наяву всё случилось совсем не так. Будто в замедленной киносъёмке, плавно переворачиваясь, граната летела к Прокову. Ещё в воздухе прозвучал характерный щелчок, означающий, что начал гореть пороховой замедлитель. В пяти шагах граната упала. Замедленно подпрыгнула на камнях два раза. «Ложись!» – крикнул Колтышев. У Прокова оставалось две-три секунды до взрыва. Задирая толстенные слоновьи чужие ноги, опять как в замедленном фильме он ринулся от гранаты. Упал, наконец. Охватил голову. После красного ватного хлопка над головой прошуршала стая из осколков и камешков. Лежащий Колтышев пришёл в себя и тут же швырнул в овраг ответную гранату. «Мать вашу за ногу, духи сраные!»

Однажды отделение того же Колтышева в полном составе забрело на минное поле. Как на огород. «Стоять!» – тихо сказал хладнокровный Колтышев. Приказывал отходить по одному, пятиться. Вышел последним. Потом сидели возле поля, курили, приходили в себя...

Под сеющим дождём в плаще и шляпе, скрывая лицо, как сексот, Проков шёл на работу. Был уже октябрь месяц. Чёрные деревья стояли сырыми, почти голыми. Всюду на земле, словно пёстрые клочья женских платьев, мокли не убираемые дворниками листья.

У здания Общества, возле жёлтой облезшей берёзки вытаскивал себя из своей мотоциклетки Громышев. Покачивался возле неё высокий, грузный, закрывал ключиком дверцу. Одна штанина у него зажевалась высоко на бедре, задралась, выказав тощий круглый протез, похожий издали на сапожную лапу.

Поднимаясь на крыльцо, одёрнул ему штанину. Пожал недоумевающую руку. Похлопывая друга по плечу, завёл внутрь.

Уже через пять минут вся комната, где стоял большой стол Прокова, была в дыму. Курили все: сам Проков, его заместитель Громышев, слепой Никитников с одноногим Кобриным и ещё трое-четверо инвалидов. Рабочее утро началось с воспоминаний. С тенётами табачного дыма плавали по комнате картины:

...ведь как бывало. Преследуем банду. Мы на одну гору залезем, а банда уже на другой, мы к ним, а они уже на третьей. Так и перескакиваем по верху гряды что тебе горные козлы. Да-а. И духи и мы понимали: кто на горе, тот пан, кто внизу – тот пропал. Поэтому мы и спускались вниз всегда под прикрытием. Вертушки там прилетят, заглушат духов, миномётчики ли дадут огня. Только тогда...

...а у нас случай был. Положили банду внизу. Всю. Штабной капитан посмотрел в бинокль и говорит комбату: «Надо спуститься, собрать оружие. Миномёты там даже есть». Знал гад, что с трофеями награду ему сразу дадут. А наш комбат отвечает: «Тебе надо – ты и спускайся». И никого не отправил вниз. С матерками штабной покатил по дороге в свой штаб. А мы по команде комбата двинулись в горы, ещё выше полезли...

...а я когда призывался, скрыл от комиссии, что ревматик с детства. Тяжело было мне в горах. Особенно при обострениях. Весной, осенью. Отставал от всех. А духи, чтобы не выдать себя, били последних в цепочке. Однажды снайпер почти достал – пуля ударила в камень в полуметре от меня. Брякнулся, конечно, на землю. Тяжело, в общем, бывало мне в горах. Но скрывал от всех болезнь, бодрился, не шел в медсанбат. Боялся, что ребята подумают – косарь. Доходился до того, что однажды спускался с гор на прямых ногах. Верите? Как на ходулях...

Посмеялись.

...да-а. По молодости смерти не боялись. Девятнадцатилетние пацаны. Больше воспринимали войну как приключение. Как военную игру. Да и не верил никто в свою смерть. Жутковато было, когда ждёшь. Когда духи затаились, не обнаруживают себя. А уж обнаружили – тут и понеслось! Строчишь

из пулемёта. От живота. Как с балалайкой пляшешь. А те идут. В чёрных мотнях своих. В открытую. Накурились гашиша, кричат. Грозятся, скалятся. Бьёшь его очередью, гада, а он дёргается и хохочет, дёргается и хохочет. Так и умирает, смеясь. А другие уже с ножами на нас прыгают. И пошла рукопашная. Тоже бьём. И только после боя, когда видишь нескольких ребят убитыми, тоской опахнёт – ведь и ты мог вот так же лежать. Лежать с ножом в груди. Как друг мой, Саня Ботов. Мог бы. Просто тебе сегодня повезло. Да-а. Поэтому трусов тогда среди нас не было...

...а мы однажды бегали от своих. От вертушек. Вызвали их на подмогу, а корректировщик то ли тоже накурился, то ли просто болван. Бомбы начали падать не на духов, а прямо на нас. Мы в одну сторону перебежим, а там нас опять вертушки встречают. Так и бегали от них, как зайцы...

Все смеялись.

...правда, никто не погиб. Сами вертолётчики распознали, что свои бегают. Ушли крошить духов за горку... Да-а, есть что вспомнить. Не то что теперь...

Задумавшись, курили. С сигаретами, дымящими в пальцах, как бабы с куделями. Каждый со своей. И вновь пошли надёргивать историй:

...а вот у нас забавный случай был...

Большой грузный Громышев, казавшийся гораздо старше всех, смотрел на разошедшихся «пацанов» с печалью. Сладкие губы тубиста даже слегка подвяли, сморщились: о чём вы говорите, ребята? Какие приключения девятнадцатилетних? Какие военные игры? Когда вас убивали. Когда вы убивали. Какие игры?

Проков тоже молчал. Курил. Хмурился. Будто и не воевал вовсе в Афганистане. Поглядывал на своих подопечных как отец: ничего не осталось у ребят за душой. Кроме войны этой чёртовой, кроме загубленной своей молодости. Ладно хоть не понимают этого пока, наперебой чирикают, смеются.

Заговорил, наконец. Тушил окурок в пепельнице:

– Вообще-то все мы здесь, ребята... как бы это помягче сказать, афганские недобитки. Вот так. С оттяпанными руками и ногами. А некоторые и слепые вдобавок. И не хрена нам больше ностальгировать, вспоминать. – Помолчал и как подвёл черту всегдашним своим призывом: – Работать надо, ребята, только работать. Забыть всё. Как Юра Плуг.

Х-хы, нашёл авторитет. Все время смеющегося полудурка. Который и пороха-то в Афгане не успел даже нюхнуть. Упал в пропасть, искалечился. Не знает даже разницы между РПК-74 и АК-74. Не знает! Спрашивали! Инвалиды поднимались со стульев недовольные и даже обиженные. Тоже мне! Авторитет!

Громышев и Проков остались вдвоём. Занялись бюджетом Общества. Большими пальцами Громышев у себя на коленях давил калькулятор, как с крохотной игрушкой играл. Проков сличал цифры в лохматых бухах. После Хрусталёвой бухгалтера больше не заводили. Ни женщину, ни мужчину.

К одиннадцати поехали на таратайке в райисполком. На заседание жилищной комиссии. Нужно было пробить, наконец, расширение Никитникову. Живёт с тремя детьми и женой на восемнадцати метрах. Однако сумел. Наклепал слепой Слава. При полной своей тьме. Посмеялись. Настроены были решительно.

За столом, помимо Дрожжиной Алевтины Павловны, председателя, государственно хмурились три тётки в надвинутых мускулистых париках и два облетевших одувана с кожаными плешами.

Проков с папкой сидел солидно, надувшись, и сладкогубый Громышев Виктор Васильевич по своему обыкновению крутил шарманку один: «Итак. Никитников Вячеслав Иванович, 1958-го года рождения, мужественно защищал южные рубежи нашей необъятной Родины, имеет боевые награды, танкист, два раза горел в танке, при втором коварстве душманов в Тогапском ущелье потерял глаза, ослеп, стал инвалидом первой группы, но, вернувшись домой, не упал духом, продолжил работать (на дому), приносить нашей Родине пользу, однако живёт в очень стеснённых условиях, на восемнадцати метрах, жена, трое детей, мальчик трёх лет, девочка пяти, старшая дочь тринадцати лет, знаете ли, этакая статная девушка с толстой русской косой, прямо залюбуешься, родители, сами понимаете, ещё молодые, по всем нормам жилищного права должна быть у неё отдельная комната».

За столом свесили головы, заслушались.

– Товарищ Проков, – повернулся к коллеге сладкогубый вития, – предоставьте, пожалуйста, комиссии решение собрания нашего Общества инвалидов Афганистана о Никитникове Вячеславе Ивановиче.

Проков тут же подал бумагу.

Комиссия очнулась. Пожилая Алевтина Павловна взбодрила себя. Низкий лоб её в мелко свившихся волосах походил на запрятанную до поры до времени иконку. Строго оглядела подопечных. «Голосуем». Сама поставила руку. Два одувана и тётки дружно поддержали её.

Выйдя в коридор, Громышев и Проков состукнулись ладошками: есть!

На улице сразу увидели брата Громышева, Фёдора.

Прокову диковато было смотреть на ещё одно красивое бульдожье страшилище, спокойно идущее к ним по тротуару. Как две капли похожее на первое. Только не хромающее, абсолютно излечившееся.

Выслушав просьбу, уже несколько постаревший бульдог начал недовольно отсчитывать деньги молодому бульдогу, салаге.

– На. Но смотри не нажрись опять. Тащить не буду.

– Да что ты, Федя! – засовывал деньги в карман салага. – В меру мы. В меру. Сам же знаешь.

– Ага – знаю.

А дальше сценарий пошёл уже избитый, банальный. Пивная. Предварительно. По кружке с прицепом. Для бодрости. Серьёзные две бутылки водки в гастрономе. Поехавшая бойко таратайка. Заехать сначала к Никитникову. Обрадовать, поздравить. Затем опять таратайка. Наконец, квартира Юры Плуга. Точнее – его кухня. Всё, прибыли. Бутылки на стол!

2.

Плуготаренко подставлял рюмку, когда торопливо чокались с ним, смотрел на незваных гостей и никак не мог взять в толк, почему они с бутылками идут сюда, к нему, непьющему. Ладно, у Славы Никитникова пить они не могли: маленькие дети там, жена, теснота. Но почему сюда прут? Здесь что, «Голубой Дунай», притон?

Вон, один уже солидно пыжиться начал, надуваться. Протез свой капризно поднял над столом, требуя внимания. Сейчас начнёт учить. А потом, как всегда, разоблачать, тыча протезом во все стороны. Правда, второй, более крепкий на водку, понял намерения дружка, сразу начал сдёргивать его со стула. Недвусмысленно намекая на выход. Рассовал по бездонным штанинам бутылки и потащил друга к двери. Хозяину пришлось провожать, подстраховывать, если вдруг повалятся, упадут. Раскрывать и удерживать дверь, пока друзья не вывалятся из квартиры. И окончательно не скатятся к раскрытой двери подъезда.

Вернувшись на кухню, услышал, как затарахтел, наконец, за тёмным окном мотор. Закатились песней, поехали. Наверняка к Громышеву. Как и на водку, более стойкому на жену, чем Проков на свою Валентину.

Да-а, дали мужики слабину, опять напились.

Теперь дома оба разом слетят с пьедесталов. Дня два будут от жен только отбиваться.

Потом, протрезвев, верховенство над жёнами снова вернут. Но только до следующей пьянки. Стоит афганцу выпить, расслабиться – всё: власть в семье меняется. Афганец – в жопе. Удивительная роковая закономерность!

Почему-то думалось, что Ивашова бы так не поступала. Случись ей быть за афганцем. Жалела бы мужа, понимала его боль, не гнобила бы даже пьяного. Себя почему-то мужем-афганцем Ивашовой уже и не представлял.

Однако на другой день утром, перед приходом Натальи с деньгами, опять чувствовал истеричный подъём, взвинченность. Только спокойно, спокойно встретить. Не метаться и не заливаться смехом. Держать себя в руках. В комнате лихорадочно прибирал на столе. Это сюда, это туда, это убрать вообще, чайник уже кипит, плетёнку с печеньем на середину стола. Так.

Прошло уже три месяца с того памятного разговора по телефону, когда всё вроде бы стало понятно и ей, и ему. Однако нелепые отношения по-прежнему продолжались, по-прежнему напоминали игру в поддавки. Или в кошки-мышки. Причём кошки и мышки всё время менялись ролями. То кошки бежали за мышками, то мышки за кошками.

Наталья, ударенная письмом Готлифа, с неделю ходила как помешанная. Ночами не спала. Никак не могла решить, писать ответное письмо или не надо. А мысленно уже писала его. Писала далёкому любимому Мише.

Работу на почте теперь воспринимала как некое недвижимое облако, туман, в котором плавают посетители, не очень узнаваемые товарки, Вахрушева. «Что с вами, Ивашова!» Наталья близко видела всё те же пронзающие глаза цвета пережжённого йода. «Вы больны, Ивашова?» Наталья передёргивалась. Будто бы от озноба. Достав платок, шумно сморкалась. Её, как заболевшую гриппом, отправляли домой.

Оборвал весь бред неожиданный приезд Тани Зуевой. Из Африки.

В то утро Наталья, выйдя во двор, чуть не упала – из багажника такси Таня и Алексей Сергеевич вытаскивали чемоданы и сумки. Шофёр суетился, помогал.

Таню Наталья обнимала, как спасительницу. Упавшую вдруг с неба. Которая защитит теперь от всего, освободит от тяжкого, невыносимого, что навалилось в последний год.

Прижав к себе дорогую Таню, смотрела поверх неё, поскуливая, плача.

Маленькая женщина в колоколистом плаще чуть ли не висела на толстухе:

– Ну-ну, Наташа. Хватит, хватит. Успокойся.

Пошли, наконец, к подъезду. Наталья на радостях попёрла два тяжёлых чемодана, отняв их у Алексея Сергеевича. Отвыкнув от смурной Натальи, муж и жена подмигивали друг дружке, несли следом сумки и сетки.

Когда Таня сняла плащ, Наталья опять ахнула: перед ней стоял этакий пузатенький китёнок в платье кулёчком!

– Таня, милая, когда же? Как? Сколько времени?

– Шестой месяц, – с гордостью сказала беременная и начала расчёсывать волосы.

– Поздравляю, поздравляю! – опять взялась целовать подругу Наталья.

Муж, разбирая вещи, прятал улыбку. Он, получалось, был ни при чём.

Его поцеловать Наталья не решилась. Не посмела.

Торопливо шла на работу. Опять мучилась: что теперь будет? С ней, Натальей?

Днём, когда вместе обедали, ей казалось, что супруги думают о том же, где теперь она будет жить. Куда ей пойти.

Однако Таня и Алексей Сергеевич загадочно переглядывались. Пожалуй, пора преподнести Наталье подарок. Сюрприз:

– Наталья Фёдоровна, не хотите ли пожить в моей квартире? – спросил у заплаканной свёклы хирург с большими, как у лётчика, очками. – У меня квартира на Льва Толстого, на первом этаже. Недалеко от вашей работы. Как вы на это смотрите?

Наталья сразу начала сопеть, вновь наливаться слезами. Да что же это такое! – смеялись муж и жена. Наперебой успокаивали. Ну же, Наталья Фёдоровна! Ну же, Натка, перестань! Жизнь продолжается! Веселей!

Наталья, как девчонка, вытирала кулачками слёзы, виновато улыбалась, посматривая на подругу.

Беременность Татьяну сильно изменила, состарила. Грустное серое личико у неё свисло. Вроде осенней последней грушки с деревца. И от этого ещё сильнее хотелось плакать. Ну-ну, Наташа! Перестань!

Отопление в дом ещё не дали, в квартире было холодновато – вечером подруги сидели в разных концах дивана, укутанные одеялами. Для Алексея Сергеевича перетащили в спальню маленький стол, и он сидел за ним в уютном свете лампы – уже работал на новом месте. «Не теряет ни минуты своего времени, – кивнула в сторону спальни Таня. Пояснила: – Диссертацию пишет». Потом, вслушавшись в стрекотню пишущей машинки, добавила: «Одержимый». То ли осуждая мужа, то ли восхищаясь им.

Дальше из рассказа подруги Наталья узнала, что это он настоял на отъезде домой в Россию. Не хотел, чтобы Таня рожала в Африке. Даже не стал ждать окончания контракта. Названивая по телефону, всполошил всех своих друзей-однокашников в России и замену себе быстро нашёл. «Он ведь всё может, если упрётся, – сказала Таня. – Боялся не за меня или себя – за будущего ребёнка. Африка – это пороховая бочка, Наташа, во́йны там не прекратятся никогда. Племена будут бегать, воевать между собой, пока не перебьют друг друга окончательно. И ладно, если бы длинноногий воин с мелкой головёнкой оставался со своей стрелой или там копьём, так он же теперь с автоматом, с гранатомётом бежит, бьёт врага. Такого же длинноногого и мелкоголового. Что́ стрелы там, луки, копья! – это в прошлом: он косит теперь таких же, как сам, десятками. И всех везут к нам, в наш госпиталь. С оторванными руками, ногами, с пулевыми, слепых. И самое страшное, что по статистике каждый раненый тащит за собой пять-шесть мирных. Словно бы своих племенных детей, своих женщин, своих стариков. (Скота, правда, с собой не прихватывает.) И тоже – всех с оторванными руками, ногами, с пулевыми. И все – у нас. А мы не успеваем. Просто не можем успеть. Госпиталь забит, на всех мест не хватает, поэтому лежат-умирают многие прямо на земле. Как говорится, под пальмой... Что я насмотрелась там, Натка, не приведи Господи никому!..»

Таня, когда звонила из Нигерии, не могла кричать о своей жизни там. По известным причинам. Так только, в общих чертах, без подробностей. И сейчас после рассказа хирургической сестры о не-

лёгкой, опасной работе её в российском полевом госпитале – Наталье было стыдно рассказывать о своих ничтожных, как ей теперь казалось, пустых переживаниях, связанных с двумя мужчинами, из которых она никак не может выбрать одного.

Но Зуева не была бы женщиной, если бы не начала приставать к подруге, чтобы та поскорее начала рассказывать про своё, про личное. Устроилась даже поудобней на диване в предвкушении захватывающего рассказа.

Наталья трудно, сминая подробности, коротко рассказала сначала о Готлифе, потом сразу о Юрии Плуготаренко. Что он инвалид, что на коляске...

– Постой, постой! Так он способен или нет? – сразу захотела выяснить Зуева главное.

– Что «способен»?

– Ну, это самое. Ты понимаешь, о чём я.

Наталья покраснела.

– Зачем ты так говоришь, Таня?

– А как говорить? Если ты хочешь создать с ним семью? Жить с ним, иметь от него детей?

Наталья молчала, не смея взглянуть на подругу. Сказала, наконец, что не знает. Да и вообще, Таня, не надо об этом.

Татьяна смотрела на свою неудачливую подругу.

– А ты проверь его, Наташа. Будешь жить у Алексея Сергеевича – пригласи к себе. И всё станет ясно. В квартиру на первом этаже, я думаю, он со своей коляской залезет. – И со смехом закончила: – Раз такой упорный и настырный оказался!

Наталья вроде бы тоже смеялась, отворачивалась, кусала губы.

В час ночи, когда они наговорились всласть, Таня приостановилась у двери спальни:

– Мишу своего с его еврейской мамой – забудь. Раз и навсегда. Ничего там у тебя не выйдет. Мадам не отдаст. Горой за сына встанет. А вот с Юрием Плуготаренко – попробуй. Если что получится, с его мамой мы справимся.

Получив такой категоричный совет, Наталья Ивашова досадовала на подругу. Стелила на диване и ворчала, как старуха: поможет она, видите ли. «Мы справимся!»

Прожила с супругами ещё три дня, пока Алексей Сергеевич, как человек ответственный, приводил своё жильё в полный порядок: мыл, белил, красил. И категорически один. Без всякой помощи от двух женщин.

3.

Бутафор Кнутов пил с афганцем и его матерью чай. Он уже отдал контрамарки. В телевизоре вышагивали пингвины. Кнутов смотрел. «Пингвин – птица гордая». Ещё посмотрел, осклабился: «Пока не пнёшь – не полетит». Это у него, Кнутова, юмор такой. Пусть знают.

Перед уходом не забыл почётно постоять. Держась за коляску с афганцем. Опять вроде как за свой талисман. За свой громоздкий оберег. Пусть видят. (Кто? Из театра? Так где они? Неважно.) Сивые волосы его крылато свисали. Тоже пусть все видят. Пошёл, наконец, к двери. Опустив голову. Молчком. Да. Дверь за собой прикрыл – будто занавес задёрнул.

– Что это с ним сегодня? – будто впервые увидев такое, повернулась к сыну Вера Николаевна.

– А ты у него спроси! – захохотал Плуготаренко.

Продолжил клеить коробки. Мать всё не выходила из-за стола. С забытой чашкой в руке теперь смотрела на полностью неведомое ей действо в телевизоре – громадная круглая шайба скользила по гладкому льду, а рядом бежали два спортсмена и шустро тёрли лёд впереди неё длинными щётками.

– Что это ещё за полотёры такие? – опять повернулась к сыну.

– Это кёрлинг, мама. Название. Новый вид спорта.

– Чёрт знает что! То пингвины вышагивают, то полотёры какие-то бегут!

Сын отложил склеенную коробку в сторону. Посоветовал маме переключиться на боевичок. На канал РенТВ. На мужскую, так сказать, рукопашную свалочку. Или на НТВ, где наверняка уже кого-нибудь убили, а следаки ломают репы – кто убивец.

Вера Николаевна нахмурилась. И ведь серьёзен. И даже не хихикнул. Потому что нет сегодня бурощёкой свёклы рядом. Толстого мощного стимулятора для веселья. Не перед кем сегодня смеяться, гонять на коляске. Вполне серьезный вменяемый человек сидит. Работает. Эх, всегда бы так было. Вера Николаевна в прихожей уже надевала плащ.

Опаздывая, по улице шла широко. Впереди переваливалась на отёкших ногах полная старуха. Смирившаяся, давно закостенелая в тяжеловесной своей старости. Однако муж ее, тоже старик, был, по-видимому, ещё крепок. Во всяком случае, легко нёс большую сумку с продуктами. Всё время сердито оборачивался к переваливающейся жене узнать, идёт она там или уже упала.

Вера Николаевна, стараясь не задеть, обошла мужа и жену. Почти сразу увидела, что навстречу идут два молодых бездельника с сектантской литературой в обнимку. Да чёрт бы вас побрал! И куда теперь?

Несмотря на осеннюю свежесть, парни шли без плащей. Зато в добротных чёрных костюмах, белых рубашках и галстуках. Хорошо причёсанные и вымытые. Точно банковские служащие. От рутины и скуки выскочившие на улицу. Пройтись немножко. Освежиться.

Конечно же, остановили насупленную тётку:

– Здравствуйте! Почему вы не улыбаетесь? Вокруг столько солнца! У вас что-то случилось?

Атеистка Плуготаренко тут же выдала:

– Всё время улыбаются только идиоты. Ненормальные. Понимаете? Да ещё сектанты-хитрованы. Которые не хотят работать. Которые ходят по улицам и впаривают людям всякую чушь. И хорошо, надо сказать, с этого имеют. Вы не встречали таких?

Парни молча пошли дальше. С вытянувшимися похудевшими спинами.

Однако взяли себя в руки и остановили старую пару:

– Почему вы не улыбаетесь, бабушка? И вы, дедушка?

– Чи-во-о? – растянул рот старик. Наверное, на полверсты.

Парни пошли, закидывая головы к небу.

– В горячий цех, вас, паразиты! На стройки всех! – кричал им вслед старик.

Вера Николаевна оборачивалась, злорадно смеялась. Неожиданно увидела Баннову. Баннова шла быстрой метущей походкой, какой ходили плотненькие манекенщицы Советского Союза в 50–60-х годах. То есть – кружась, останавливаясь. И снова прибавляя ходу... Сегодня Вера Николаевна видеть манекенщицу и балерину не хотела никак. Тут же свернула в переулок. И опять – как из огня да в полымя. (Да что же это за напасти такие сегодня!)

Навстречу шёл Уставщиков, тайный давний грех Веры Николаевны, о котором не знал никто, даже Галя Зимина, верная подруга.

Поздоровались. Остановились. Оба испытывали неудобство. Смотрели в разные стороны. Уставщиков спросил, почему перестал приходить в редакцию со своими снимками Юрий. Вера Николаевна ответила, что не знает. Вдруг сказала:

– Не до того. Влюбился в женщину. – Густо покраснела.

– Ну что ж, хорошее дело. Передайте ему привет от меня. Рад был вас увидеть.

– И я тоже.

Разошлись, наконец. Каждый пошёл своей дорогой. И ведь больше десяти лет прошло, а стыдно было до сих пор. Во всяком случае, Вере Николаевне. Как будто всё случилось с ней вчера...

Это произошло тоже осенью. В городском парке, через который они проходили в два часа ночи. Шёл дождь, было холодно, но на ней уже были тёплые чулки и китайские панталоны с начёсом. Оба под зонтами, они всё время хохотали, вспоминая вечеринку. Потом началось какое-то безумие. Он вдруг принялся её целовать. Зонты кружились, взяв их в осаду, точно не давали им упасть. Потом они оказались в дырявой беседке. Дождь по-прежнему хлестал. Лежащая Вера Николаевна видела его сверкающую пляску на высвеченных поручнях беседки...

Через неделю они столкнулись в коридоре... кожно-венерологического диспансера. И покраснели оба страшно.

– Ты чего здесь, Вера, – спросил он, оглядываясь.

Она сказала, что проходит медосмотр. Что устраивается в столовую на работу.

– А я вот опять с сезонной аллергией. – Он показал запястья в красных цветках. Будто исхлёстанные крапивой. Как в наказание. Не надо было лапать меня в парке, пронеслось у Веры Николаевны. В то время – ещё просто Веры.

– ...Осень. Да. Обострение... Ну, всего тебе!

И они разошлись, наконец. Не знали, куда теперь. В какой кабинет.

Жили они в разных районах Города. Но какой-то рок по-прежнему сводил их, сталкивал нос к носу. И почему-то в самых неожиданных местах. На городском съезде в перестройку, куда были вы-

браны оба делегатами, они вдруг оказались в тесном президиуме рядом. Плечо к плечу! Однажды столкнулись в бане на Холмах: он с веником, она без веника, но со своим эмалированным тазом. Один раз ехали в переполненном трамвае, причем он, гораздо выше ростом, прижатый к ней, точно запрятывал её у себя на груди, мотаясь вверху подобно мучающемуся жирафу. Такая же история случилась однажды в утреннем автобусе. Только в нём – уже она упиралась руками в его грудь. Никак не могла его от себя отдавить.

А ведь вообще-то их звали даже идеально для мужа и жены – Вера и Гера. Но у него была семья, росли два сына, а ей нужно было заботиться о сыне-инвалиде. С годами из Веры и Геры они превратились в Веру Николаевну и Германа Ивановича, однако по-прежнему при редких, всегда неожиданных для них встречах чувствовали себя скованно, не знали, о чем говорить. А пройти мимо и просто кивнуть – почему-то не могли. Почему-то нужно было всегда останавливаться. Что-то говорить друг другу. Отводя глаза. И уж потом только разойтись...

Правда, один раз она сама пришла к нему в редакцию. Пришла вынужденно, с сердитым лицом. Чтобы он посмотрел снимки Юрия.

При виде её Уставщиков испуганно вскочил. Как давно разыскиваемый алиментщик. Тут же вывел её в коридор от глаз и ушей сотрудников.

– Что, что ты хочешь сказать! Что случилось, Вера**!** Говори!

Испуганный, оглядывался по сторонам, забыв, что давно уже называет её на «вы», а не на «ты». И не «Верой», а «Верой Николаевной». И вообще он мало понимал, что говорит ему женщина, с которой у него была когда-то неосторожная связь. По-прежнему оглядывался и вздрагивал. Казалось, хлопни в ладоши – стреканёт как заяц...

Вышла тогда Вера Николаевна тогда из редакции, пылая от стыда. И смешно было, и почему-то обидно. Точно она и не женщина уже, а чума какая-то болотная.

Когда рассказала, что ходила в редакцию к Уставщикову – сын сразу с подозрением посмотрел:

– Ты разве знакома с ним?

В общем, – смех и грех!..

Подошла, наконец, к горсовету. Миша Зимин спешил к ждущей на дороге машине. На ходу успел коснуться губами её щеки:

– Ты не забыла? Вечером чтобы оба с Юриком у нас!

Вера Николаевна ахнула – сегодня же день рождения Галины! Хотела о чём-то спросить. Но Миша уже полез в японский автомобиль, который смахивал на большую русскую кибитку. Закрылся. Поехал. Повезли в кибитке куда-то. Как Чичикова.

Вера Николаевна тут же развернулась и помчалась в универсам. За подарками для Гали.

4.

Зимины жили в элитной десятиэтажке на Гагарина. Вечером в семь Михаил поджидал их возле подъезда. Помог Юрию взобраться на крыльцо. Мать деликатно ступала следом с двумя бумажными сумками, в которых были подарки для Гали.

Грузовой лифт не работал, пришлось обычным отправить инвалида одного. Задом он въехал в крохотную кабинку, нажал кнопку, помахал остающимся и устремился вверх.

На седьмом этаже выехал из лифта, давнул кнопку первого, успел выдернуть руку и, проехав чуть, свернул за угол в высокий бетонный коридор.

В раскрытой двери квартиры уже стояла тётя Галя Зимина. Фартук домохозяйки был сегодня на ней парадный – чистейший, отглаженный..

Даже не дослушав поздравления, крепко обняла и поцеловала. Подоспели и мать с дядей Мишей. Объятия и поздравления пошли снова.

Тётя Галя, смахнув слезу, совала вынутые из сумок подарки почему-то под висящую верхнюю одежду, на обувную полку. Словно прятала там и подарки, и свое лицо.

В гостиной мать и сын ахнули – Зимины поменяли мебель. Во всю длину стены стояла модная новая стенка под натуральное дерево, набитая вазами, хрусталём и книгами. У другой стены раскинулся большущий диван, что тебе мягкое сухое джакузи, куда запросто могли прыгнуть две-три пары молодожёнов и среди набивных цветов, больше напоминающих лопухи, не теряя ни минуты, сразу же начать целоваться.

На правой стене у Зиминых теперь никаких ковров – теперь новомодный весёлый терем вышагивал на месте со спрятавшейся до поры кукушкой.

– А где же прежнее всё? – спросила Вера Николаевна, глядя на богатую новую люстру, как по меньшей мере на царевну в жемчугах. – Ведь хорошее всё было. Мебель полированная. Стенка. Продали?

– На дачу свёз, – самодовольно ответил хозяин. – Могу вам отдать. – Видя, что лицо женщины вытянулось, поспешно добавил: – Даром, Вера, даром! Сам привезу!

– Да нет, куда уж нам. Сойдёт и своя, привычная, – всё смотрела вокруг Вера Николаевна.

– Ну, как знаете, – уже направлял гостей к столу хозяин.

Усаживались. Плуготаренко перекинул себя из коляски на мягкий стул в красивом набивном тике. Да-а, Зимин Михаил Андреевич умел жить. При любой власти. Приглашённые мать и сын жить не умели. Ни при какой власти. Сидели за столом, как две потрёпанные птицы. Впрочем, после одной-двух рюмок забыли о своей ущербности, уже шутили, смеялись, налегали на закуски. А уж чего-чего, а поесть у Зиминых всегда было что.

Михаил Андреевич, перевоплотившись снова в дядю Мишу Зимина, уже пошёл рассказывать свои байки. Интересно, что у рассказчика порой драматичные в начале истории – становились почему-то всегда смешными в конце. Каким-то непонятным образом он переворачивал весь первоначальный замысел рассказа своего. Начал как всегда серьёзно. Как лектор на лекции: «Мало кому известно сейчас, но голод в СССР был и сразу после войны. В 46-м и в 47-м неурожайных годах. Но причина была не в этом – по минимуму хватило бы на всех. Главная причина была в людоедской политике нашего дорогого товарища Сталина. Всё шло в города. Деревня не получала ничего». Это было введение. Ну а дальше пошла сама байка: «Летом 47-го мне и моему другу Тошке Голышову было по десять лет. Пока матери наши, кажилясь, плача, подвешивали на гужи последних падающих коров на ферме, мы с Тошкой лазили по оврагам, выискивали хоть какие-нибудь уцелевшие от односельчан растения: лебеду там, крапиву, лопухи, хоть какой-нибудь кусток паслёна. На обоих висели школьные холщёвые сумки – натуральные побирушки. И вот однажды, совсем оголодав, решили мы заработать. Подрядились испилить дрова парикмахерше Пучилиной. Она вроде бы не бедствовала, парикмахершей была одной на всё село. В хорошие времена делала бабам завивку щипцами, а заросших мужиков – стригла. Для фотографии на стену. Где мужик сидит сапог на сапог, откинулся, вроде как от важности спит, а жена стоит рядом с рукой на его плече, ну и мелюзга впереди в чём попало. Да. Ладно. Пришли со своей пилой, с топором, даже свои козлы притащили. Договорились за полноценную послевоенную красную тридцатку. Двухметровых берёзовых кругляков у неё кубометра четыре валялось. Ладно. Начали. У тёти Лизы, ну Пучилиной, было в то время двое детей. Неизвестно от кого. Сопливая девчонка лет четырёх. И полугодовалый сынишка, которого она кормила грудью. Никак нас не стеснялась. Сядет на крыльцо и кормит себе, покачиваясь. Да. Пилим. Кругляки на полметра длиной отваливаются, падают. Другие – опять длинные – кладём на козлы и пилим. А жрать охота нестерпимо. Особенно когда она что-то варить в доме начинает. Двери открыты, тянет сквозняком прямо на нас. То картофельной затирухой, а то вроде бы даже мясом. Но нам не предлагает. А могла бы. Нас уже от голода качает, сил мало осталось, устаем быстро. А она только воды в ковше иногда вынесет – попейте, ребятки. Работали так три дня. С утра до позднего вечера. Распилили всё, всё покололи. К стенкам сарая составили три поленницы. Для подсушки. Ну, тётя Лиза, пора вам с нами рассчитаться. Пошли с ней в дом. Она вдруг говорит: “А давайте я вас подстригу? Бесплатно?” Ну что ж, очень хорошо. Согласились. Первого стригла меня. Посадила на табуретку. Обернула детской пелёнкой. А от пелёнки мочой воняет – сил нет. Но терплю – бесплатно. Потом Тошка сел и тоже, вижу, мордочку в сторону воротит от вонючей пелёнки. Но выдержал. Бесплатно. Сделала нам обоим полубокс. Так. А деньги? “Через три дня, ребятки, через три дня, мне должны отдать долг”. Ладно. Поверили. Ушли. И козлы с собой утащили. Через три дня приходим. “А хотите я вас подстригу?” Так стригли уже! “А теперь – под бокс? Бесплатно?” Ну что ж, опять согласились. Сидели по очереди, опять нюхали вонючую пелёнку. Тут ещё карапуз ползал у ног с полным подгузником. Ладно. Выдержали. Стали оба с чубчиками с ноготок. А она снова нам: только через три дня, ребятки, только через три дня. Опять поверили. Через три дня она сразу встретила нас словами: “А давайте вас обнулим!” Как это! – испугались мы. “Сделаем под ноль! Наголо! Бесплатно!” И мы опять сели. Дали завернуть себя всё той же пелёнкой. И пошли от неё потом. Два голодных белых кочана. Да ещё сказали ей: “Спасибо”».

За столом покатывались, но рассказчику мало, руку поднимал, останавливал смех: «К ней ещё старик Караулов ходил. Она и ему за что-то должна была. Он тоже сначала вышел с полубоксом. Потом через три дня боксик на голове стеснительно ласкал. А ещё через три дня был уже налысо, бритый. Правда, бороду Караулов снять не дал – вышел с бородой. Как басмач бритоголовый».

Мать и сын заходились от смеха. «Ой, уморит! Ой, не могу!»

Тётя Галя тоже посмеивалась, не забывала про гостей, подкладывая им еду, однако всё время косилась на телефон, стоящий на новой, тоже под дерево, тумбочке. Ждала, конечно, звонка из Москвы. От Юльки.

Звонок забулькал в кармане брюк дяди Миши. Выхватил, прилепил мобильник к своей яичнице на лице:

– Да, доча! Да! Да! Хорошо!

Сунул мобилу обратно в карман. Пояснил всем: сейчас по телефону обычному наберёт, дешевле будет, не хочет переплачивать. Платком вытирал пот с лысеющей головы, разом забыв свои байки.

Все невольно ждали. Телефон на новой тумбочке молчал.

– А, да ладно. Давайте-ка выпьем! – уже наливал в рюмки дядя Миша.

И телефон зазвонил! Кинулись оба. И муж и жена. Гости были разом забыты.

На длинное поздравление дочери тётя Галя только да́кала и говорила спасибо, сразу заполнившись слезами. Дядя Миша заглядывал к ней с разных сторон, точно от него что-то скрывали. Выхватил, наконец, трубку и закричал в неё как на пожаре. Словно дочь уже горела. Удерживал трубку двумя руками и всё кричал наставления тридцатипятилетней женщине в далёкой Москве. Тётя Галя рядом маялась, никак не могла отнять у него трубку обратно, которую он загораживал уже локтями и всё кричал и кричал: «Где? Где он работает? Повтори!»

Из его криков гости сразу поняли, что московская доцентша снова выходит замуж. (Это в который же раз?) Что дядя Миша резко против этого.

Минут через пять супруги вернулись за стол, мало понимая что-нибудь. Кто за столом и что на столе. Продолжая кипеть, дядя Миша увидел, наконец, гостей:

– А! Какова! Снова замуж выходит! За шофёра такси! Как вам это нравится?

Тётя Галя попыталась объяснить гостям:

– Он начальник автопарка такси. Он...

– Да он такой же Ванька, как я! Как она будет с ним жить, как? С её образованием, с её амбициями? Как!? Доцент института – и шофёр такси! А? Ха! Ха! Ха!

И за столом снова всё вспыхнуло. Теперь заспорили о жизни далёкой доцентши все. Даже Плуг сказал своё мнение: это, конечно, перебор. Явный перебор. Не туда Юльку повело.

Несколько раскиснув к концу ужина, подпершись кулаками, отец и мать непутёвой дочери смотрели на Юричика Плуготаренко. Уж он бы вывел Юльку на верную дорогу. Сойдись они тогда – в 82-м году. Эх, вспоминать даже больно. Сам Юричик был очень скептичен. Только усмехался.

«Ку-ку! Ку-Ку! Ку-ку!..» – вдруг начала выскакивать кукушка. Из новомодного терема. Точно хитрым приветом из Москвы: «Ку-ку! Ку-ку!..»

Плуг начал прыскать, потом уже откровенно смеялся. Остальные в недоумении смотрели. То на выскакивающую кукушку, то на заходящегося в смехе Юричика. Что это с ним?

Гости ночевали в одной из комнат большой квартиры. В темноте мать долго приставала с Юлькой. Пришлось нарочно захрапеть, чтобы умолкла, наконец.

В окнах умирали редкие всполохи от проходящих внизу припозднившихся машин.

5.

Во сне Пуготаренко ходил по просторному фойе кинотеатра «Факел», рассматривал на стенах фотопортреты киноактёров и киноактрис. Кругом грызли мороженое отдыхающие трудящиеся. И женщины, и мужчины. В высокие окна ломилось солнце, скользко поблескивали колонны, паркет. Плуготаренко почувствовал, что становится жарко. Он снял рубашку с коротким рукавом, пошёл и навесил её на стул служительнице у входа. Полная служительница в расшитом халате, похожем на богатый гербарий, нисколько не удивилась, а напротив – разрешающе, милостиво кивнула. Плуготаренко вернулся к трудящимся, опять стал ходить. Но почему-то по-прежнему было жарко. Он снимает брюки. С брюками на руке в позе услужливого официанта стоит у штор дамской комнаты, ждёт Наталью, куда та уже давно зашла. Теперь он в белой майке, черных трусах и в красивейших отцовских подтяжках, которые удерживают длинные носки в шахматную клетку. Наталья не выходит, видимо, всё прихорашивается. Женщина, понятное дело. Уже дали первый звонок. Зрители потянулись в зал, не уставая грызть мороженое. Наконец Наталья вышла. Она была прекрасна. Она везла за собой по полу снятое шифоновое платье. Однако сразу рассердилась: «Куда ты дел рубашку? Тебя нельзя оставить даже на минуту, Юра!» Он успокоил её, сказал, что рубашка висит в надёжном месте. Показал на служитель-

ницу в гербариях, сидящую на стуле с его рубашкой, будто с белым хвостом. Затем взял невесту под руку. Предупредительный, с брюками на руке, повёл в зал. Под грянувший Мендельсон трудящиеся сразу образовали им живой восторженный рукоплещущий коридор. Так и шли они по нему, полураздетые (полуголые) в зал. Он – внимательный, с непомерно развитым торсом, но с тонкими ногами в шахматных носках. Она – везущая за собой шифон, в бюстгальтере, в коричневых трубастых чулках, взятых на женскую сбрую – вся вольная, полностью раскрепощённая...

Плуготаренко проснулся. Чёрт! Неподалёку на диване у окна мать спокойно похрапывала. Снова лёг. Долго таращился в потолочную тьму.

Утром позавтракали в просторной кухне, оставили тётю Галю и спустились на первый этаж и во двор. Втроём. Утренняя десятиэтажка в осеннее движущееся небо закидывалась, улетала. Мать и дядя Миша пешком отправились в свой горсовет. Плуготаренко погнал домой.

Едва только переехал порог, услышал зазвонивший телефон. Даже не сменив коляску, прямо с грязными колёсами устремился в комнату, схватил трубку.

Звонила Наталья Ивашова. Небывалое дело! Впервые! Сама! Отбросил назад кепчонку. Уже начал хихикать, заливаться. Безотчётно расстёгивал пуговицы осенней куртки. Точно распаковывал себя. Будто торопливо освобождал свою идиотскую смеющуюся душу. Радостно выкрикивал:

– Да, да, Наталья Фёдоровна! Сейчас запишу. Одну минуточку. Уже записываю. Да-да, уже записал! Обязательно! Обязательно буду! Спасибо вам, спасибо, Наталья Фёдоровна! Я так рад! Вы...

Разом отключилась. В ухо полетели короткие гудки. Неверяще смотрел на телефонную трубку. Его пригласили на день рождения. Не сон ли это? В воскресенье. К двум часам. Чёрт побери-и. Она дала адрес. Но почему не свой? Где этот дом 26 на Льва Толстого? С квартирой 3? – Трубка тукала, не давала ответа. Придавил, наконец, гудки.

Мысли сразу поскакали по двум направлениям: где достать денег и где выбрать и купить подарок. Сегодня уже четверг. На всё про всё три дня. Но первым делом, конечно, деньги. И сколько их понадобится? Или сначала присмотреть подарок, а уж потом искать деньги? Задача.

Плуготаренко никогда не имел своих денег. Ни карманных, никаких. Пособие и всё, что получал от картонажки, – сразу отдавал матери. Необходимое для них двоих – одежду, продукты – всегда покупала мать сама. Он только доставлял домой. От гастронома там или от универмага. С коляской был вроде китайского кули. Когда нужны были деньги на фотоплёнку и химикаты – брал у матери. И то, если покупал в центральном универсаме, где был пандус. Фотобумагу большого портретного формата, которая была только в «Фототоварах» на Белинского, где пандуса не было – по его заказу покупала всегда мать. Словом, нужды в деньгах Плуг не испытывал. Он жил при полном коммунизме. Но подарок для женщины (любимой) – не фотобумага. И как теперь быть? Мать наверняка его не поймёт. А слушать её зудню...

Прежде всего начал звонить Прокову. Сняла трубку Валентина и сказала, что Николай уже ушёл. Полчаса назад. Наверное, уже на работе. Что передать, Юра? Ничего, Валя. Спасибо, я сам. Стал искать где-то записанный номер телефона Общества. Нашёл. Быстро защёлкал кнопками. Слушал занудные длинные гудки. Оборвалось, наконец, всё в одушевлённую потрескивающую тишину. И голос Прокова. Почему-то очень важный:

– Да, я вас слушаю. (Прямо-таки большой начальник снял трубку телефона.)

Плуг поздоровался, сказал, что срочно нужны деньги. Сможешь дать взаймы, Коля? На картонажке получу 17-го и сразу отдам?

– Конечно, Юра. Какой разговор! Сколько тебе нужно?

Плуг сказал – тысячу. Тут же поправился – две. Нет, не две даже, – четыре. Сможешь, Коля?

Проков растерялся от такого сумбурного напора – прямо катастрофа у друга. Сказал, что столько с собою нет. Но есть дома. Приезжай вечером.

– А днём – нельзя, Коля? В обед? Мне срочно нужно!

– Проигрался в карты, что ли? – позволил пошутить себе Проков. Но друг в трубке сразу замолчал.

– Ну хорошо, хорошо, Юра! Не обижайся только. Полпервого я буду дома. Жду тебя.

В обед всё семейство Прокових, включая собаку, встречало инвалида в своём большом дворе. Женька и Пальма бежали по бокам коляски, как бегут пажи при короле. Возле крыльца стояли-улыбались Николай и Валентина.

Проков хотел вынуть друга из коляски и занести в дом, но тот остановил его: в другой раз, Коля. Ну что ж, в другой так в другой. Проков пошёл за деньгами.

Валя вышла во двор в одном платье, голоногой, уже мёрзла, но не уходила. В бегущих низких облачках выискивала нейтральные вопросы: что нового дома? как здоровье Веры Николаевны? Хотя страшно подмывало спросить, для чего понадобились инвалиду деньги. Так срочно. И такая сумма – целых четыре тысячи рублей! Остальных во дворе это не интересовало: Женька тщательно изучал все механизмы коляски. Пальма вскинула лапы на колени инвалида и восторженно смотрела прямо ему в глаза. Как старому другу. Который долго к ней не приезжал.

Плуготаренко гладил собаку, рассеянно отвечал на вопросы Вали.

Потом засовывал четыре сложенные тысячерублёвки во внутренний карман осенней куртки. Видел, что от него ждут объяснений и Проков, и Валя, но из суеверия какого-то ничего не говорил. Поблагодарил только супругов и опять в сопровождении небольшой кавалькады, состоящей из мальчишки и собаки, покатил к калитке.

– Невесте его, наверно, срочно деньги понадобились, Наталье, – сделала предположение супруга. – Вот и забегал.

– Вряд ли. Непохоже. Тут что-то другое, – не согласился супруг.

В универсаме на первом этаже Плуготаренко двигался вдоль стеклянных, ярко высвеченных параллелограммов, где смиренно ждал покупателей разложенный на стеллажах товар. Где отрешённые от всего стояли или сидели очень хорошо одетые продавщицы. Наконец свернул в крайний параллелограмм. С вывеской – «КОСМЕТИКА. ПАРФЮМЕРИЯ».

Владелица стеклянного ящика, похожая в перманенте на белую слониху, снимала колпачки с флаконов и поматывала возле своего хобота стеклянной палочкой. С лицом закоренелой наркоманки сама сначала принимала дозу. И лишь затем давала раскумариться инвалиду. Плуготаренко нюхал, пошевеливал носом. (Так, нюхая, шевелит носом мышь.) Нет, не то. Слониха высвобождала новую стеклянную палочку и поматывала у своего носа, опять закатывая глаза. Другие флаконы лежали в раскрытых коробках на красивом атласе, чем-то напоминая миниатюрных, хорошо прибранных покойников.

– А вот оцените этот аромат, молодой человек.

– Минуту! – вдруг осенило Плуга. – Так это разве духи?

– Нет. Это – парфюм. Настоящие духи, мне кажется, будут для вас дороговаты, молодой человек. – На инвалида пусто смотрели глаза цвета белены.

– Ну уж нет, давайте как положено – духи.

Процедура тестирования у белой слонихи началась по новой. Только теперь флакончики были маленькими, а стеклянные палочки из них – совсем крошечными. И, пошаманив в воздухе, она подносила их к носу инвалида сама. Чтобы, не дай бог, тот палочку не выронил или сломал.

– Вот эти подойдут, – сильно скосив нос, как кокаинист, сказал, наконец, покупатель. – Сколько они стоят?

– Отличный выбор! – будто не услышав вопроса о цене, громко объявляла белая слониха. Как публике на аукционе. – Французские духи «Кландестин Ги Ларош»!

Дескать – кто больше?!

Деньги за «Кландестин Ги Ларош» Плуготаренко отдал почти все. Три рубля только назад вернули. Сдачу. Чёрт, могло ведь вообще денег не хватить. Попросил упаковать красиво. Подарок. Для женщины. (Любимой.) Слониха постаралась – крохотный покойничек на дне красивой коробки, казалось, даже улыбался. Спасибо вам! Ещё раз прочитал название на коробке как бы по-французски: Clandestine Guy Laroche. Звучит, чёрт побери!

Когда гнал домой, вдруг вспомнил другие духи. Духи под названием «Красная Москва». Запах которых запомнил с юности.

«Красной Москвой» душилась Томка Бабина. Одноклассница. С которой он, Юрка Плуг, несколько раз целовался. И в девятом, и в десятом. Даже на выпускном. В тёмном классе. Закрывшись на стул. Нос до сих пор помнил эти духи, а блудливые пальцы – гладкие, мнущиеся, как целлофан, ягодицы девушки. Господи, сколько лет прошло! Где теперь Томка! А духов этих и вовсе, наверное, уже нет. Слониха, во всяком случае, их не предлагала. Узнал бы мгновенно.

Дома к подарочным духам решил добавить ещё и хороший альбом репродукций живописи. Альбомов таких в книжном шкафу стояло несколько. Как въедливый цензор долго выбирал подходящий альбом, медленно перелистывая гладкие страницы. Старых европейских мастеров, на картинах кото-

рых были разложены розовые облака обнажённых женщин, – решительно возвращал в шкаф: с таким альбомом его, Плуготаренку, могут не так понять.

Рассматривал и русскую живопись. Передвижники? Очень уж мрачно как-то у них всё. Тоскливо, безнадёжно. Более поздний период? Пожалуй, Кустодиев. Купчихи у него тоже розовые и крупные. Но спокойные, домашние. И все красиво, пышно одеты. Своей спокойной статной красотой напоминают Наталью. Часто пьют чай, держа блюдце на пальчиках. Или просто сидят и смотрят на тебя. Одна, правда, тоже там обнажённая. Но какая-то своя, домашняя, русская. И она, надо думать, Наталью не смутит.

Очень довольный собой, заворачивал и альбом, и духи в белый лист плотной бумаги. (Со стороны посмотреть – большой знаток живописи работает, пакует.) На кухне в ящике нашёл атласную голубую ленту, перевязал. Красиво. С бантом. От матери подальше пакет спрятал у себя в комнате.

Однако вечером та сразу увидела другого сына – опять хихикающего. Помогая снимать ей плащ и подкладывая тапочки, сын явно не мог сдерживать смех. Так. Значит, в квартире побывала толстуха. Или на улице встретились. Точно! – села на банкетку Вера Николаевна. Смотрела, как сын уже наяривает вокруг стола. Как будто пляшет перед ней в коляске. И-иэхх, мама!

6.

В своей однокомнатной квартирке на Льва Толстого Круглов Алексей Сергеевич на какое-то время забыл, что он врач, – с улыбчивым интересом простого обывателя смотрел на смеющегося, размахивающего руками инвалида за столом. За свою врачебную практику Алексей Сергеевич повидал немало, но такого жизнерадостного инвалида видел впервые. Казалось сейчас, что человек этот неделю блуждал по тайге и вышел, наконец-то, к добрым людям. Остановить теперь его смех, слёзы, рвущиеся слова просто невозможно.

Алексей Сергеевич неплохо знал психиатрию, но никак не мог определить – кто перед ним. Кто размахивает руками напротив: истерик, постоянно жаждущий внимания окружающих, или просто парень с гипертрофированным холерическим темпераментом? Потому что обезноженный инвалид не давал никому говорить. Да никто и не говорил. Жена Таня всё время подкладывала ему еду, словно только для того, чтобы он замолчал. Сама же именинница (она же невеста) в новом цветастом платье с широкими белыми бортами сидела недвижно, не издавая ни звука, вроде отгороженной от всего оранжереи. Алексей Сергеевич платком протирал свои большие очки, на время смутно видя махающиеся руки, и снова водружал очки на нос.

Наконец, сумел вклиниться:

– Я слышал, вы занимаетесь фотографией, Юрий Иванович?

Плуготаренко будто на столб налетел – разом перестал смеяться и говорить. Изменился в лице. Оно стало недовольным, даже злым. Точно инвалида прервали на самом интересном.

– Рассказали бы об этом, Юрий Иванович, – не отставая, подкинул живца хирург.

– Да что тут рассказывать... По-любительски всё... Чтобы убить время... – нехотя ответил инвалид.

Без смеха своего человек стал неузнаваем. Во всяком случае, для Алексея Сергеевича и Татьяны. Сидел за столом, опустив взгляд, ковыряя вилкой какую-то еду. Наталья тоже не поднимала глаз. Не могла взглянуть на супругов. Она-то видела не раз все эти внезапные перемены инвалида. Господи-и! Кого пригласила к ним! Кого втащила в их дом! Своими руками. С его коляской. Буквально! Даже вытирала тряпкой грязь с колёс. Пока инвалид чуть не выпрыгивал от радости из коляски. Приветствовал и приветствовал хозяев. Ошарашенных мужа и жену. Гос-по-ди-и!

Алексей Сергеевич всё не терял надежды вытащить инвалида на нормальный разговор, просил показать камеру, с которой тот работает. Говорил, что и сам когда-то неплохо фотографировал.

Под ждущими взглядами Плуготаренко нехотя перекинул себя в коляску. К перемётным сумам её. Вроде китайского ходи к своему товару. Молчком достал завёрнутые в бумагу альбом и духи. Протянул Наталье, сказав: «Это вам от меня». Опять запустил руку в брезентовый мешок и вытащил камеру для Алексея Сергеевича. Дескать, а это – вам.

Пока Круглов знакомился с зеркальным фотоаппаратом «Зенит», вернулся за стол, крутил за ножку фужер. Фужер с ситро. Толстой именинницы рядом как будто и не было. Внимательно смотрел на другую женщину, беременную, сидящую напротив, напрочь забыв, как её зовут. Галей, кажется. Или Женей? Иногда женщина вставала за чем-нибудь и сразу превращалась в худенького попика в рясе. С пузцом. Муж её продолжал копаться в фотоаппарате. Плуг удерживал его боковым зрением. Всё ждал от него вопроса главного – об Афганистане. (Ну как же – хирург, военврач.)

Однако хирург, вернувшись за стол, наливал в рюмки и всё восхищался фотоаппаратом. Но Плуготаренко понимал, что врач просто притворяется, и сейчас вопрос непременно последует.

Потом Плуготаренке предложили пирожки с луком и яйцом. Которые испекла якобы Наталья. Плуготаренко взял с тарелки один. Даже не прикоснувшись к своей рюмке, послушно стал есть.

Не замечая за собой ничего странного, он взял второй пирожок, потом третий. Сосредоточенно, ни на кого не глядя, жевал. Всё куда-то отодвинулось, мысли его перешли на восточный базар на окраине Кабула, по которому с Генкой Лапой однажды бродили от нечего делать. На раскинутых пыльных тряпках на земле громоздились горы арбузов, как бомбы были сложены дыни. Старики-торговцы сидели без всяких – прямо на земле. Как сохлые красные перцы. Тогда они с Лапой съели по дыньке, и всё обошлось. Через два дня, опять в увольнении, на этом же базаре они съели по чебуреку со странным привкусом стеарина. Торговка, протягивая чебурек, прикрывала старую морду чёрным платком. Даже не дошли до роты – согнулись от боли. От боли в желудках. Оба, одновременно. Они ничего не могли понять. Приступы боли накатывали волнами, гнули к земле, скрючивали. В расположение вошли оба безумные, уже чуть не падая. Их тут же засунули в уазик, помчались с ними в санчасть. Всю дорогу санитар Володя Бег костерил их последними словами, заставляя пить какую-то дрянь. После которой они прямо на ходу высовывали головы из окон и блевали. В санчасти им сразу промыли желудки, положили под капельницы, тем и спасли. Как узнали потом, несколько ребят с оружием бросились на базар, но торговки с чебуреками и след простыл...

Плуготаренко всё жевал пирожки. По-прежнему ни на кого не глядя.

– О чём задумался, Юрий Иванович? – назвав на «ты», спросил его, наконец, Алексей Сергеевич.

Плуготаренко вздрогнул:

– Извините. И, правда, задумался. – Увидел в своей руке пирожок. Отложил.

И вдруг сказал:

– А давайте я вас поснимаю! – Он опять стал прежним: радостным, смеющимся. Он уже командовал, где кому и как сесть. Он постоянно перекидывал себя в разные места. То за стол, то снова в коляску, безжизненные ноги его летали за ним, как плётки. Он нисколько не смущался этого. Он опять забыл, что инвалид. С камерой он торопливо выбирал нужную позицию для съёмки.

Когда снимали его самого (работал уже Алексей Сергеевич), он перекинул себя на диван и смело подгрёб к себе двух женщин. Худенькую и толстую. Но с восторгом смотрел только на толстую. И на проявленной потом фотографии было видно, кого он любит, от кого он без ума.

Расходились в полдвенадцатого ночи. По лесенке первого этажа инвалид спускался рывками. Фактически сам. Длинной цепкой рукой он хватался за перила, помогая себе рычагом коляски. Алексей Сергеевич только придерживал, подстраховывал, удивляясь ловкости инвалида.

Удивлены были не меньше и Наталья с Татьяной – да такой сильный краб заползет не только на первый – на десятый этаж! Где бы Наталья ни спряталась! Лишь бы были перила. Было бы за что хвататься ему и выдёргивать себя наверх.

Радостный инвалид выехал в звёздную ноябрьскую ночь. Раскатывал, прощался с новыми знакомыми. Наталья хмуро стояла в лёгкой дохе с просторным воротом. Как будто с висящим удавом на груди. Она собралась инвалида проводить.

Глава девятая

1.

17-го декабря, получив зарплату на картонажке, Плуготаренко как всегда ехал домой через площадь Города. Несло крупный снег. Ильич восстал над всеми, как голый монстр из пенной ванны, где его не смогли утопить. Пивников с белой площади видно не было – пивники со стеклянной своей субмариной словно залегли на дно. Только здание с властями по-прежнему пыжилось, смотрело в небо.

Плуг вдруг увидел на обочине машинёшку Громышева. А затем выходящих из пивной двух друзей. С бутылками, что тебе со связками битой дичи. Вот это охотники! И это в разгар рабочего дня!

Друзья засовывали добычу в багажник, Плуга не видели. Тот прокрался мимо них чуть ли не на цыпочках (и это на инвалидной коляске!). Хорошо хоть долг Прокову уже отдал. Была бы сейчас картина. Он – Плуг – с деньгами, с получкой! Прямо возле пивной! Живым бы не ушёл. Это точно. Плуготаренко дальше гнал, посмеивался, Декабрьское солнце над головой тонуло в снегу. Как чьё-то воспоминание.

Дома, раздевшись, стряхнув снег прямо в прихожей, перекинул себя в домашнюю чистую коляску, въехал в комнату.

В телевизоре бегали истеричные омоновцы: «Стоять! Лежать! Руки назад!» Вера Николаевна нахмурилась. Как опять пойманная на нехорошем. Но сын без обычного своего ехидства кинул получку на стол и сразу проехал к себе. Вера Николаевна не успела даже обидеться за омоновцев. С досадой крикнула:

– Коля Проков звонил. Там у них новоселье намечается. У Никитникова. То ли сегодня, то ли завтра. Тебя тоже звали. Слышишь?

Сын тут же вернулся в комнату. Чёрт! Совсем забыл! Схватил деньги со стола. Ринулся в прихожую одеваться.

– Зачем деньги-то все взял? – успела только крикнуть мать.

В Обществе, в большой комнате Прокова, Плуга поразила какая-то благочинность, воспитанность расхаживающих инвалидов. Никто не курил. Все были трезвы как собаки. Вокруг сидящего на середине комнаты слепого с тростью ходили деликатно, без шума. Большой холодильник, стоящий неподалёку, недавно распаковали, проверили и снова запаковали. Теперь предстояло тащить его по лестнице на пятый этаж в новую (трёхкомнатную!) квартиру Никитникова. А пока переносили какие-то картонные коробки. То ли с вином, то ли с подарками. Бутылочное пиво, купленное в пивной на площади, уже стояло на столе. По всему было видно, сабантуй намечался немалый. Никитников только вслушивался в возню вокруг себя.

Проков отвёл Плуга с коляской в сторону.

– Юра, мы тут скинулись на холодильник и на подарки детям его. Сам знаешь, как он живет. Деньги взяли из кассы. Надо внести обратно. Где-то по тысяче получилось на каждого. Ты сможешь дать за себя?

– Какой разговор! Коля! – Плуготаренко тут же отсчитал полторы, протянул.

Подъехал к слепому:

– Поздравляю тебя, Слава. Счастья вам всем в новой квартире.

Приобнял его со спины. Словно помогал ему, слепому, увидеть его счастье где-то у пола.

Склонённый слепой, казалось, послушно разглядывал что-то внизу:

– Спасибо, Юра, спасибо. Ждём тебя сегодня в пять.

Плуготаренко снял руку. Сказал, что на пятый этаж подняться не сможет.

– Да ты что! Юра! Ребята занесут хоть на десятый! Вместе с коляской!

– Верно, Слава, занесут. Только потом как бы ни пришлось мне кувыркаться в твоей пятиэтажке по лестнице вниз. Вместе с коляской. Когда наши ребята станут хорошими. Когда их самих нужно будет выносить.

Посмеялись. Плуготаренко прощально сжал руку слепому. Поехал на выход. Никитников остался сидеть. Опять смотрел, как смотрят все слепые, – мимо всего.

Жалко было его. Плуготаренко знал Славину историю. Как рассказал однажды Проков, Никитников смог выбраться из горящего танка. Смог. Один из всего экипажа. Но ещё в раскалённой железной ловушке глаза его начало сильно резать, будто выворачивать наизнанку. И возле танка кружился, падал, вскакивал уже не человек – факел. Факел слепой.

У него обгорели руки, ноги, спина, однако голову в шлеме огонь почти не тронул. По госпиталю сёстры осторожно водили чистого ангела с белыми, как молоко, глазами. А сейчас человек этот радуется, что получил трёхкомнатную квартиру. Смеётся. У Плуготаренко пощипывало глаза. Плуготаренко снова забыл, что он сам инвалид. Что точно так же безнадёжен.

Помимо Общества инвалидов Афганистана, Никитников состоял и в Обществе слепых. Там он познакомился со своей будущей женой. Надя ходила в очках. Правый глаз её напоминал большой заблудившийся глаз офтальмолога. Она немного видела им. Сама маленькая, она водила высокого Славу по улицам. Тесно прижавшись друг к другу, они несли к Славе в квартирку целые рюкзаки пухлых книг для слепых. Вместе водили пальцами по их пупырчатым строкам. Начитавшись как следует, сами принимались по Брайлю долбить в железных рамках металлическими грифелями. Тексты. Оба рьяно графоманили. Он налегал на стихи, она на прозу. Как-то незаметно стали появляться дети. Сначала девочка, потом два мальчика. Но вроде бы не мешали, сами как-то воспитывались: сперва ползали, потом ходили. Когда Надя узнала об измене мужа (с Хрусталёвой), несколько дней плакала. Творчество было заброшено. Но потом отошла, простила, и два грифеля опять дружно застучали в железных

досках. Сейчас, когда свалилась трёхкомнатная квартира в новом доме, супруги обрадовались и растерялись: чем и как обставлять её? Но словно бы надеялись, что мебель, как и дети, появится в квартире сама. Новый холодильник, на который скинулись инвалиды, уж точно сам заедет в кухню.

Думая сейчас о несчастно-счастливой паре, об их графоманстве, о смури, которой они защитились от жизни, Плуготаренко печалился. Опять напрочь забыв, что сам он точно такой же. С фотографированием своим, Натальей, фейерверками...

Буран лупил в спину. Уносился прочь в виде белых сгорающих кустов.

2.

В спальне у света лампы Проков читал книжку под названием «Леший», взятую у Веры Николаевны. Жена одевалась на работу. Бело маячила её вздёрнутая попа. Которая образуется, как считал почему-то, если женщина постоянно носит туфли на высоком каблуке. Но отправляясь даже в гости, Валентина всегда вбивала ноги в плоские туфельки типа тапочек. Хотя туфли на высоком у неё были. Она надела их один только раз – в день своей свадьбы. Ноги в них она переставляла осторожно. Как переставляют ноги козы. Больше этих туфель он на ней не видел. Она их куда-то спрятала. Как и белое пышное платье с фатой.

– Меня сегодня посетил дядюшка дристантин.

Проков наморщился:

– Ну и зачем ты мне это говоришь?

– А затем, что Женьку тоже пронесло! И всё из-за твоей рыбы! Неизвестно где и у кого купленной.

Было дело. Купил возле гастронома. У старика в драном ёптыр-малахае. Сидящего на тарном ящике над тремя снулыми щуками. «Не боись. Свежие. Вчера на подлёдной поймал». Обманул старый!

Жена всё ворчала. Для неё покупка продуктов, особенно поход на рынок – это серьёзное гордое дело настоящей хозяйки. На рынке она всегда покупала только у *своих продавцов*. Они здоровались с ней, как с родной. Она заводила с ними разговоры на кулинарные темы, наивно думая, что уж они-то её не обманут. Но её и тут – вот такую свою, постоянную – обманывали. То мясо, выдаваемое за свежайшее, дома начинало вонять марганцовкой, то молоко сворачивалось в кастрюльке на газу, а сметана отстаивалась серой водичкой, то творог начинал горчить через день и отдавать ацетоном. А ведь ей давали пробовать всё, мясо подносили к носу. С оттопыренными мизинчиками она показывала: вот этот кусочек, пожалуйста. Проков стоял рядом, кипел. С армейским сидором до земли. Будто собрался назад в Афганистан.

– Застегни бюстик.

«Бюстик». Бюстик-то, наверное, шестого размера. Не меньше. Проков встал, застегнул. Снова сел. А жена уже чулки пристёгивала. Выставлялась перед зеркалом. По всему было видно, очень гордилась собой. Проков смотрел хмуро. Так смотрят на лошадь в сбруе.

В первые годы они любили друг друга. Ещё, наверное, в запале молодости. Потом ему хотелось уже какой-то остроты, новизны от неё в постели. Она же его только регулярно удовлетворяла. В минуты близости думала о котлетах на завтрашний обед, о шторках на кухню, которые надо бы уже заменить. Прокову казалось, что как женщине он ей и не нужен вовсе. У них даже не было своей супружеской тайны. Той интимной тайны, которую прячут ото всех муж и жена. Даже будучи уже стариками, до самой смерти. Им же скрывать было нечего. У них всё всегда было одинаково. Серьёзная, обстоятельная, она просто исполняла свой супружеский долг. Это нужно было для здоровья мужа. «Хочешь?» – выключив свет, спрашивала она его. Он обречённо валился. Белкастый шахтёр в шахте. Долбящий породу. Обречённый долбить её вечно.

Потом ему всё надоело. В одной постели они бывали всё реже и реже. Под видом долгого чтения, вечерами Проков перекочёвывал в большую комнату на диван. Там и засыпал, уронив книгу на пол. Она же, глядя на него, думала: стареет. Накрывала пледом и выключала свет.

Нередко Проков вспоминал почти месячный угар свой с ловкой Хрусталёвой. Когда на дню по два, по три раза он скрывался с ней в маленькой комнатке в клубе за сценой. Чего только она не выдумывала! Не вытворяла с ним, Проковым! Он ходил по Обществу, как безумный. Дикой. Он думал, что один у неё такой отчаянный и неутомимый. Однако потом выяснилось, что в комнатёнке за сценой побывали и верные его товарищи. И Громышев, и Кобрин, и даже слепой Никитников.

А кончилось это – известно чем...

Прибежали в спальню Женька с Пальмой. Проков сразу раскрыл окно прямо в утренний сизый холод. Уже ждали воробьи. На двух ветках распределились. Беспокоились. Грозди вонючие, грозди душистые. Как только Женька сыпанул в кормушку семечек – ринулись кучей.

Дав им попировать, Женька взмахнул рукой – воробьи разом взмыли, рассыпались по дереву. И тогда начинали падать синички. Будто с неба, прямо с крыши. Как весенняя капель. Только сейчас получалось – зимняя. Глупая Пальма крутила башкой, ломала ухо вопросом: что за чудеса такие? Откуда их (птичек) столько?

Валентина сразу начинала ворчать:

– Опять привечаете. Уже обгадили весь подоконник!

Отец и сын не обращали внимания – любовались.

К калитке шли вместе. Высокий сильный отец, одетый в афганский выцветший бушлат и такую же армейскую шапку, и толстенький сын в новом зимнем пальто с громоздким ранцем за спиной. Не чувствуя разлуки, глупая собака подпрыгивала, летала.

За калиткой Женька, помахав отцу, а потом Пальме, потянул влево, к школе номер № 35. Проков двинулся направо – в центр, на работу в Общество. Пальма поскуливала, выглядывая из калитки. Но ни за тем, ни за другим не бросалась. Боялась улицы. Побежала к крыльцу. Чтобы так же радостно проводить и хозяйку. Но проводить не дали. Заперли. Тогда ходила и скулила в доме.

Проков купил возле парка свою утреннюю газету. Бодро пошёл дальше. Сегодня зимнее утро было пепельно-серым, без солнца. Длинные ветви деревьев над головой расползлись и перепутались. Походили на промёрзших вконец гусениц. Задирал голову, смотрел.

Навстречу приплясывающей походочкой двигался парнишонка лет шестнадцати. Несмотря на заметный морозец, одетый легко. Спортивные штанцы с лампасами, кожанка-косуха, большой кепон на круглой голове.

Остановились оба, мгновенно узнав друг друга. Весёлые глаза пинальщика-убийцы сделались стальными, узкими. Уже выискивали отход, чтобы рвануть.

Одной своей рукой, точно клещами, Проков сдавливал тонкую шейку Шплинта через ворот косухи. Глаза Прокова были как гады. «Пусти, пидарас!» – сипел, вырывался Шплинт, пытаясь оторвать железную руку. Сучил ногами, пинался, но Проков отстранял его и снова давил. «Падла, отпусти!» – дергался гадёныш, уже хрипя. Детская, но уже испитая мордашка становилась пепельной, серой, покрывалась потом. «Пус...ти!»

Утренние пешеходы – будто вымерли. Только какая-то бабёнка еле слышно кричала с того света: «Милиция! Милиция!»

– Николай! – вдруг явственно раздалось сзади.

Проков обернулся. На всех парах к ним летел Плуготаренко в коляске.

– Николай, что ты делаешь! Опомнись!

Проков ослабил хватку, но не отпустил пацана. Дышал как бык, промазавший по красной тряпке.

Плуг начал вязаться, хватать Прокова, пытаясь отодрать железные пальцы. Опрокинулся с коляской. Как ванька-встанька тут же встал... на руки. И словно не знал, что делать дальше.

Проков бросился, подхватил, стал усаживать в коляску. Кашляя, Шплинт побежал. Падал, вскакивал, матерился. Махался кулачишком: погоди, сука, встретимся!

На груди у друга, словно продолжая удерживать его, дрожал Плуготаренко:

– Коля! Ты же не убийца! Разве можно так! Коля!

Точно пьяного, Прокова покачивало, он закрывал глаза, сжимал зубы. В голове словно кололись иголки.

Повернулся, наконец, пошёл обратно домой. Плуготаренко поехал рядом. Непрерывно говорил, успокаивал. «Милиция, милиция!» – прячась в белых деревьях парка, сопровождала их, повизгивала бабёнка.

Проков остановился:

– Юра, поезжай по своим делам. Прости, что так случилось со мной. На твоих глазах. Прости... Вере Николаевне не надо об этом.

Сжал руку друга. Пошёл дальше один.

Дома лёг. Запястьем придавил распадающуюся голову. Слёзы текли и текли. Как у бабы. Как когда-то в госпитале. Собака нервничала, вскидывала лапы на диван, скулила, слизывала с лица. Как чужие, её лапы царапались обо что-то, о пустой протез стукались.

3.

...Как твоя шея сегодня? Циля Исааковна носила завтрак на стол. Михаил Янович сидел на диване в позе султана, но головой мотал как набожный еврей. Вниз-вверх, вниз-вверх. С некоторых пор к болям в колене добавилась тянущая боль в шее. Шейный остеохондроз, – дал заключение врач Середа. Но ударно-волновой долбить не стал – опасно, можно посадить сердце. Рекомендовал только мотать головой. По пять-десять минут. Три раза в день. Цилю Исааковну упражнение это почему-то раздражало. Головой мотает как еврей, а часы удерживает в руках как русскую иконку. Гибрид сидит. Скрещенный. Глаз от секундной стрелки оторвать не может. Мотается. Хватит! Садись есть! Время уходит. Накладывала кашу сыну в тарелку. Поглядывала на другой будильник. На холодильнике который. Который скоро зазвенит. Не подведёт. И точно – заверещал. Пора. Иди, собирайся. В спальне мазал колено дёгтем. Колёсной мазью. Баночку которой дала добрейшая Бойченко Анна Тарасовна. Соседка. Мазь сильно, надо сказать, воняла. Но помогает. Лучше листьев капусты. Сверху оборачивал целлофаном, закреплял эластичным бинтом. Вместо летнего верного почтового фурагана мать торжественно внесла громаднейшую песцовую шапку. Михаил Янович сразу опустил голову. Шапку секонд-хэнд подарила маме Буровая-Найман. (Просто чтобы не выкидывать.) Известный частный зубной врач. Старая шапка эта осталась у неё от покойного мужа. Михаил Янович брезговал её надевать. Мать сама насадила. Опустила, завязала уши. Стал на манер первоклаша, отправляемого морозным утром в школу. Зато шею не продует, сказала Циля Исааковна. Перед тем как одеть форменное пальто с золотыми пуговицами, насобачили ещё и душегрейку. Порядок, похлопали по горбу. Хлеба не забудь купить. Я сварю твои любимые русские щи. Закутанные старушки были уже на боевом посту. Дружно закивали. Благополучно прошёл. Колено пока не болело. Машины бежали по разным направлениям. БелАЗ, взрёвывая, как динозавр, гадил за собой чёрными хлопьями сажи. Зяблова даже не кивнула в коридоре. Прошла, задрав голову. Черт бы тебя побрал, неблагодарная Зяблова! Лысина Ленина у Коткина сегодня была мраморной. Ничего по-доброму на ней не скворчало. Михаил Янович, почему телеграмму-молнию на Луговую вы вручили только через три часа? Готлиф молчал. Не знал, что сказать. Михаил Янович! Я заболел, ответил Готлиф. Чем? Расстройство желудка. Внезапный понос. Ха-ха! Да вас же видели в парке, Михаил Янович! Кто видел? Это Зяблова, что ли? Да неважно. Игнорируя мороз, вы сидели там и черкали опять в своей книжице! Целых три часа! Вокруг вас даже прыгала белка, пытаясь вас отвлечь. Вы не видели даже белку! Михаил Янович! Вы будете нормально работать? Или стишата только свои сочинять? Готлиф сказал, что отработает. Даже за Зяблову. Может взять опять все её смерти. Коткин смотрел. Да-а. Большим геморроем оказался этот Миша Готлиф. Аделаида ему и Циле, видите ли, не подошла. Так хотя бы работал! Или в туалете со своим блокнотом сидит, очередь всегда создаст, или в парке. Любуйтесь на него! Как на бабу на самоваре в мороз. Вот он. Уже в шапке с завязанными ушами. На Северный полюс собрался. Полярник. Что же мне с ним делать? Коткин смотрел в окно. В туалете Михаил Янович обрушил воду. Действительно получилось, как с гвоздя. Еле успел. Наверное, от переживаний в кабинете Коткина. Зяблова всё время науськивает его. Погоди, неблагодарная Зяблова! Когда с телеграммой поднимался по лестнице, опять заныло колено. Тоже наверняка от пережитого. Стоял перед дверью, опять вихлял по-всякому ногой. Отзовутся тебе, Зяблова, мои слёзы. Позвонил. Открыл полный старик в полосатой пижаме. С шей как набитый снегом овраг. Не дав рта раскрыть, выхватил телеграмму, сунул в карман. Уходите, тихо сказал. Кто там, Володя? Голос прилетел женский, далёкий, больной. Ошиблись квартирой, Лена! – прокричал старик. Уходите, я вам говорю. Чуть не вытолкал Готлифа на площадку. Михаил Янович тяжело дышал, сразу покрывшись потом. По-всякому встречали приносимую смерть, но чтобы так – ни разу. Ну, гадина Зяблова, спасибо! Спускался по лестнице. Колено заныло ещё сильнее. Такие постоянные переживания! Разнёс ещё три телеграммы. Они были нормальными. Долгожданные приезды родных. Один день рождения. Получатели – все радостные, приветливые. Обломилось даже мелочи. Приглашали к столу. Куда день рождения принёс. Но отказался. Приложил руку к груди. Тогда завернули три пирожка. Один с капустой, два с рисом и мясом. Большое спасибо. Два пирожка съел, пока шёл к парку. Опять сидел на своем постоянном месте – на скамье возле заснеженной ямы фонтана. На скамейку подложил специальную фанерку, которую прятал в снегу неподалёку. Чуть погодя всегдашней своей дорогой прошла Молотовник Аделаида. Несостоявшегося квартиранта в громадной шапке просто не узнала. Михаил Янович захихикал – маскировочка, знаете ли. Достал, развернул блокнот. Подышал на шариковую ручку. Начал писать первые слова рассказа: *«В полной тьме АН уже минут пять ползал по летному полю, низко подсвеченному вытянутыми гирляндами огней. Чудилось, что он передвигается*

по потолку. Вверх тормашками. Куда лететь? То ли с потолка вниз, то ли сквозь него пробиваться? Наконец взревел, затрясся на месте, побежал и словно отвалился от потолка. И пошел проваливаться в небо, будто в черную яму. «Тебе не страшно, Наташа?– спросил у побледневшей жены Михаил Янович Готлиф. – Не бойся. Видишь, я уже отстегнул ремни. И тебе давай отстегнём. Не бойся, я с тобой». Михаил Янович остановил ручку. Сквозь оснеженные кусты проступала белая тишина. Недвижные берёзы висели в серебряной изморози. Опять стекла с дерева рядом, а потом замерла перед Готлифом белка со вздёрнутым хвостом. Мальчишка-натуралист, тот самый, который летом вылавливал лягушат, пытался её переманить к себе, кидая на дорожку то ли семечки, то ли орехи. Но бесстрашная белка упорно разглядывала Михаила Яновича. Прямо метров с двух. Как небывалый, пушистый математический знак. Шустрый глазок её, казалось, перескакивал то на одну сторону головки, то на другую. Михаил Янович спросил пионера, откуда она здесь, в городе. Натуралист заговорил важно. В парке теперь имеется живой уголок. В раздельных вольерах там обитают лоси, кабаны, лисы, зайцы, один волк. Белка обитает там же. Ей разрешено свободное перемещение по парку. (В переводе с канцелярита пионера – бегать и прыгать по деревьям.) На кормление и ночлег её призывают специальным пищаком. Михаил Янович удивился: надо же! Достал оставшийся пирожок, отломил чуток и кинул. Она не будет такую еду, профессионально заявил пионер. Однако белка цапнула и взлетела на дерево. С кусочком в лапках выглядывала. Михаил Янович смеялся. Пионер был обескуражен. Даже не попрощавшись, побежал к служителям уголка доложить об увиденном. А белка уже прыгала за ним с дерева на дерево, руша снег. Михаил Янович вернулся к работе. Через час мимо возмущённо прошёл кошачий воротник Зябловой. Не повёл даже глазом. Пусть доносит, преподобная Зяблова. Снова стал писать. Для конца рассказа: «*Обратно домой с женой летели днём. Самолёт оторвался от земли и сразу полез в небо. Салон самолета крутой пушкой взвёлся вверх – точно хотел выстрелить в небо креслами с пассажирами. Однако через минуту выровнялся, принял горизонтальное положение. «Тебе не страшно, Наташа? – опять спросил он. – Не бойся. Видишь, я не боюсь. Давай отстегнём у тебя ремень»*. Когда почувствовал, что начал мёрзнуть, поднялся. Спрятал фанерку в снег за деревом. Пошёл в кинотеатр неподалёку. Как не раз уже делал. На сеанс. Чтобы погреться. Но когда начался фильм – опять кто-то рядом подвёз. Да-а. Культура. Пересел в другое место. Поближе к экрану. Сбоку. И там подвезли! Да что же это такое! В парк больше не пошёл – пора было с отчётом к Коткину. Двигался в сторону почты. Колено не отпускало, ныло. Так же привычно заныло в душе: почему молчит Наталья? Почему не ответила и на второе письмо? Михаил Янович просто не знал, что оба ответных письма Натальи из почтового ящика вынула Циля Исааковна...

4.

Допивала чай Наталья уже одетой. Боялась облить шерстяное платье. Опаздывала. Чай, как назло, не остывал. Стягивала его с блюдца по-деревенски, шумно.

Тренькнул звонок в прихожей. И тут же длинно, настойчиво зазвонили.

Знала, знала, кто это, а сердце оборвалось.

Спросила у дерматиновой двери. Вежливо. Как кукушка:

– Кто-там?

За дверью сразу радостно забубнили.

Да-а, правильно Таня сказала: никакая лестница инвалиду не помеха. Тем более первого этажа.

На площадке лампочка перегорела, в подъезде было темно, и перед раскрывшейся дверью Плуготаренко улыбался во всё лицо. Как бы освещал собою всё. После дня рождения Натальи это был его первый приезд к ней. Просто так. Вот, мол, ехал мимо и решил заехать к вам. Две недели держался. Да. Телефона у вас теперь нет. Пришлось так вот. Без звонка. Извините.

Всё это было написано на его радостном лице. Однако увидев, что она уже в тёплом платье, что собралась на работу, тут же попятился от двери:

– Простите меня, Наталья Фёдоровна, я подожду вас у подъезда.

И будто не развернувшись даже, повалился с коляской обратно в темноту.

Дверь квартиры осталась открытой. Наталья торопливо обувалась, надевала пальто. Конечно, помимо приёма незваных гостей, которые могут явиться, когда им вздумается, нужно ведь и на работу ходить. Притом не опаздывая. А так – всё нормально. Всегда рады вас видеть.

Неотвратимо приближался Новый год. Продвигаясь по сонной улице с блеклыми фонарями, приближение его они остро чувствовали. Всё должно случиться у них с 31-го на 1-е. Они должны (обяза-

ны) Новый год встретить вместе. Отступать им было некуда. Они подошли к той пресловутой последней черте, через которую нужно или сигануть, или рвать от неё обратно. Сломя голову.

Как всегда обмирая, Наталья ждала, что вот в следующий момент, вот у этого фонаря, он заговорит об этом. Два дня назад она попыталась прилепиться к Татьяне и Алексею Сергеевичу, чтобы у них встретить Новый год. Но те сразу замахали руками: нет-нет-нет! И не напрашивайся даже. У тебя есть теперь жених, любимый жених, есть квартира, вот и встречай вместе с ним. Давай, действуй! Получалось – на порог даже не пустили, захлопнули перед носом дверь.

Лёгкое волнение испытывал и Плуготаренко-жених. Между своими фейерверками делал долгие паузы. Наивно ждал, что Наталья сама пригласит его на Новый год. К себе, в новую квартиру. Но проплывали фонари, приближалось здание почты, а женщина молчала.

Под лампочкой на крыльце дружно плясали, отряхивая с обуви снег, товарки. Посмеивались, смотрели на молодых. Никто и не думал уходить за дверь. Стояли как целая деревня. Послыхалина уже пошлёпывала впереди плоскостопной ножкой. Так ударник, перед тем как всем грянуть, задаёт палочкой на краю барабана ритм. Тук, тук, тук, тук. После чего и должен был грянуть дружный хор с крыльца: тили-тили-тесто, жених и невеста!

Наталья маялась. Опять между двух огней. Плуготаренкой и приготовившимся хором на крыльце. И Вахрушева, как назло, не шла.

– Юрий Иванович!.. Я согласна! – чуть ли не прокричала.

– На что согласны? – испугался инвалид.

– Встречать Новый год с вами. У меня.

Возникла у крыльца Вахрушева. Тёмная, гневная:

– Это что ещё опять такое здесь?!

Все полезли в дверь, как бараны. И тучная Наталья за всеми.

Не в силах совладать с собой, инвалид подлетел к женщине в мутоновой шубке с пышной шапкой на голове. Хватал её руку. То ли хотел поцеловать, то ли поздравить с таким дружным коллективом:

– Спасибо вам, спасибо!

Вахрушева пятилась к крыльцу, ничего не могла понять – инвалид уже фотографировал её! Невесть откуда взявшимся фотоаппаратом! Кто он такой? Фотокорреспондент? Из газеты? А Плуг выхватывал её через видоискатель и нажимал затвор. Быстро выхватывал и нажимал. И так, и этак. Стремительная фотосессия – женщина смотрит из шапки, как испуганный басмач, – её глаза – большие чёрные смородинные – мутоновая бочкообразная шубка на ней – её нога в длинном зимнем сапоге, точно нога удирающего мушкетёра или задняя нога вскинувшейся на дыбы лошади.

– Кто он такой, чёрт побери?! – спрашивала у выскочившей обратно Послыхалиной. Как будто только что мгновенно раздетая инвалидом и так же мгновенно одетая им.

А инвалид уже мчался прочь, уже размахивал руками, уже пропадал. Летела мимо оспа утренних окон, летели зимние, вконец перепутавшиеся деревья. Летели светофоры на перекрёстках, как люльки с плачущими младенцами.

Только вкатив по пандусу на крыльцо горсовета – пришёл в себя. Словно разом сдёрнул всю темень зимнего утра, погасил фонари, явил белизну и мороз.

Сдёрнув шапку, глубоко дышал, вскидывая голову к дымному солнцу. Идущие в горсовет принимали инвалида с обнажённой головой за нищего. Некоторые удивлялись (надо же!). Другие хмурились (совсем обнаглели! крыльцо горсовета в паперть превратили). А одна даже попыталась сунуть в шапку деньги. Длинной рукой инвалид отстранял мешающие обзору деньги. И снова жмурился на солнце.

Вера Николаевна споткнулась, увидев сына на крыльце возле дверей. Опять что-то случилось. Недаром умчался ни свет ни заря.

Выслушав сына, не поверила. Да не может такого быть!

– Да, – важно сказал сын, – пригласила. На Новый год. При свидетелях.

И уж чтобы совсем поверили – рассказал о сцене возле почты.

Вера Николаевна нахмурилась. Однако – приглашение. Если для него понадобились свидетели. Всё почтовое отделение. С начальницей во главе. И это называется у него «пригласила». Даже не понимает, глупый, что оравой припёрли бабёнку к стенке. «Пригласила». «При свидетелях».

Сын умчался.

Прошла в свой Архив, села за стол и подперлась кулаком. Даже не раздевшись.

Что-то приносили ей, что-то забирали со стола, о чём-то спрашивали. Возник один раз Миша Зимин и тоже растаял.

Первое время после разговора с психиатром Колобовым (моргающей совой) Вера Николаевна хотела даже приветить как-то Ивашову. Сблизиться, что ли, с ней. Поговорить. Однажды, когда та должна была принести пособие, не пошла с утра на работу. Нажарила котлет из свежего мяса, сварила макароны, дождалась её и сразу пригласила за стол. Позавтракать с ними. Да какой позавтракать – пообедать! Время-то двенадцатый час! Но толстуха отказалась сразу, выдала пенсию и ушла. Ну, не голодна, кума, коль сало не ешь, – сказала про себя Вера Николаевна. Однако на душе стало тягостно, нехорошо. И сын сидел, не поднимал глаз.

– Не любит она его! Не любит! – кричала она вечером у Зиминых. – Ведь квартира ей нужна наша, квартира. Как ему глаза открыть? Как отвадить от неё? Ведь она с евреем даже своим не порвала! Переписывается до сих пор! Выжидает! Мне Баннова сказала!

Супруги успокаивали, советовали махнуть рукой, отойти в сторону. Пусть они там – сами.

Молчали, забыв про чай. Терем на стене, проглотив кукушку, опять мерно вышагивал. Миша заговорил:

– Юра ведь не в тебя пошёл, Вера, – в Ивана. Тот такой же мечтатель был. Ты уж извини. Чего уж теперь – порода. Смирись.

Супруги с жалостью смотрели на свою расстроенную, не причёсанную толком подругу, которая сидела сейчас как с разорённым птичьим гнездом на голове.

5.

Второе письмо от Готлифа Ивашова сама цапнула в почтовой голубятне. В самом конце рабочего дня. Посаженная на сортировку. Как кошка, разом придавила, оглядываясь. Но дорогие товарки, уже все одетые, готовы были после звонка рвануть. От устремлённых глаз невыносимая секундная стрелка в часах на стене, казалось, ещё больше вязла.

Ударил, наконец, звонок. Все ринулись из-за столов. Наталья тоже вскочила, быстро оделась, вымелась из почты. Остался в зале на стуле всё тот же Михеич со ждущей чекушкой в кармане да трудолюбивая Шорникова, которая не торопясь собирала бумаги и всё что-то додавливала в калькуляторе.

Не выходила из своего кабинета и полководец Вахрушева. Ждала Семёна Семёновича. Когда он прибежит, наденет ей сапоги. А потом мутоновую шубку. И поведёт домой. Чтобы шубку не содрали. Как было уже с другой шубкой прошлой зимой. Тоже в декабре. Куда пропал мерзавец? Неужели опять лакает в пивной на площади?

Дома Наталья суеверно оттягивала время, не вскрывала конверт, ходила вокруг него, высвеченного на столе лампой, потирала руки.

Включила даже телевизор, про письмо на столе вроде бы «совсем забыв». Большим еврейским приветом от Миши печально говорил в «Культуре» довольно известный писатель. Похожий на живописца Сальвадора Дали. Только очень печального Сальвадора Дали. У которого испанские дружинники обкорнали его тараканьи усы. О чём говорил печальный Сальвадор, не понимала совсем, но продолжала тянуть время, не поворачивалась к письму.

Наконец сказала себе: достаточно, паузу выдержала. Села к столу, под лампу.

С недоумением прочитала первые строки: «Пишущий человек всегда беззащитен. Любой редактор может бросить в него камень. Да что редактор – любой профан, чуть научившись читать, может наморщить лицо и сказать о произведении – ерунда. Пишущий человек – это покойник, лежащий в открытом гробу. Он раскрыт перед всем миром. Он ответить не может. Он беззащитен».

Ага. Это эпиграф Мишин. И точно, дальше шло разъяснение: «Простите, Наталья Фёдоровна, это опять эпиграф к моему письму. А теперь читайте, пожалуйста, всё мое письмо к Вам:

Здравствуйте, дорогая Наталья Фёдоровна!

Месяц назад я послал Вам письмишко, но ответа от Вас почему-то нет до сих пор. Я уже всякое подумал: Вы замужем, боитесь огорчить мужа, Вы просто не хотите отвечать, Вы (тьфу-тьфу!) заболели. Развейте мою тревогу, Наталья Фёдоровна, – напишите мне, пожалуйста». Дальше Михаил Янович коротко пересказал содержание первого своего письма. И с новой строки продолжил: «Как видите, Наталья Фёдоровна, жизнь моя теперешняя без Вас совсем безрадостная. На работе меня стали гнобить. Получаю всё время выговоры. То не так, это не этак. Особенно старается одна стервозка, по фамилии Зяблова, нашёптывает начальнику, шпионит за мной в парке, когда я прихожу туда и пишу

на скамейке. Прямо некуда от неё скрыться! К моим болям в колене добавилась и боль в шее. Иногда вступит так, что не могу голову повернуть. Хожу как загипсованный. Спросят о чём-нибудь – поворачиваюсь всем корпусом: а? что вы сказали? Прямо глухой старик. Большое неудобство. И телеграммы эти ещё! Всё время приношу людям смерть. А это очень нехорошо. Это всё отражается и на тебе самом, разносчике телеграмм. Чего я только не насмотрелся! Всё время мотаюсь между жизнью и смертью. То радость на лицах, когда готовы тебя расцеловать, то мгновенные неудержимые слёзы. Или того хуже – душераздирающий крик, который сдирает с тебя кожу. И всё гадина Зяблова!.. Впрочем, тут Вы о многом просто не знаете и многое не поймёте, поэтому не буду больше об этом.

Небезызвестную Вам Молотовник Аделаиду вижу почти каждый день. Через парк, видите ли, она ходит на работу. Но это уже не опасно. Потому что маскируюсь. Сижу в шапке величиной с ведро, лица почти не видать, с красными носом, хихикаю. Трудно, знаете ли, распознать в парковой снежной бабе бывшего своего жениха. Простите меня за этот мой горький юмор. Но мне очень тяжело, Наталья Фёдоровна. Постоянно думаю о Вас. И жизнь моя без Вас теперь безрадостна и опасна. Я – одинокий альбатрос, висящий над бушующим морем. Так и хочется мне крикнуть с высоты: “Наталья Фёдоровна, где вы? Откликнитесь!”

Простите меня. На этом заканчиваю.

С наступающим Вас Новым годом!

Любящий Вас Готлиф (Миша)»

Значит, письма мои он не получил. Наталья застыла с двумя листками, исписанными мелким почерком. В сознание проступил телевизор. К обкорнатому Сальвадору Дали добавилась известная критикесса. Законодательница литературы. Критик, как где-то прочитала Наталья, без чувства юмора. Женщина с чёлкой и носом сапожком, похожая на русского пажа. Смотрела на склонённого Сальвадора, что-то говорила ему. Как выговаривала. Печальный Сальвадор взял руки в замок и ещё ниже склонил голову.

Значит, письма вынула из почтового ящика мама. Наталья всё смотрела на склонённого писателя и строгую критикессу, похожую на русского пажа.

Забыв про ужин, ходила по квартире, делала что-то. Открывала кладовку. Подставив табуретку, полезла на антресоль, что-то доставала оттуда.

Зачем-то взялась стирать. Вцепившись в край ванны, сидела и покачивалась. «Малютка» Алексея Сергеевича рядом тряслась, ревела, выносила мозги.

Утром на Главпочте купила конверт и листок бумаги. Отошла к большому столу с людьми, дождалась места, села и в единый дух написала: «Михаил Янович, дорогой! Я выхожу замуж. Прошу Вас, послушайте свою маму и больше не пишите мне. Желаю Вам счастья с другой женщиной. Наталья».

Быстро лизнула по клею и придавила конверт к столу.

В окошке для заказных писем и бандеролей ей сказали, что она забыла написать обратный адрес.

Постояла. Написала внизу конверта адрес Тани. Фамилию свою: Ивашова.

– Уведомление нужно?

– Нет.

По улице шла, ничего не видя от слёз.

– Куда прёшь, дура! Глаза разуй!..

6.

В кабинете Прокова все столпились вокруг только что распакованного компьютера. Монитор на столе смахивал на башку дауна. Вздутую, таинственную.

В кабинет уже входил на ручных костылях срочно вызванный из дому одноногий Кобрин. Скинул кому-то на руки шубейку, потом шапку, уселся за стол и сразу начал командовать. Инвалиды заползали с проводами вокруг стола. «Да не туда, не туда суёте! – сердился Кобрин. – В тройник включайте штепселя! В тройник! Чайники!»

Наконец экран высветился. Кобрин начал работать. Был сосредоточен. Выскакивали и исчезали какие-то схемы, другие наслаивались одна на другую. От щелчков мыши, словно от бичей, наглядно бежали поперёк экрана загрузки. Инвалиды нависли над Кобрины, смотрели во все глаза.

Кобрин щёлкал, лихо ударял. Мясистый нос его постоянно шмыгал. Точно помогал Кобрину запросто шарить мышью. Громышев и Проков смотрели на мастера с гордостью – Кобрин первый из инвалидов освоил компьютер, серьёзно учился где-то, стал даже программистом на престижной фир-

ме... Вдруг переглянулись, одновременно озарённые одной мыслью: да ведь каждый инвалид может вот так запросто шмыгать и шарить. Каждый! Были бы у него целыми руки и голова. Это же неиссякаемая работа для всех! А мы всё с картонажками да гаражами.

Когда объявили о своём открытии Кобрину, тот сразу остудил их. Сказал, что не каждый. Нужны способности, время и упорство. Тыкать в клавиши и лазить по интернету действительно сможет каждый. Работать профессионально с компьютером, зарабатывать им на жизнь – нет.

Подозвал их, несколько разочарованных, поближе, начал объяснять элементарное: что, куда, чем и как. Первым уселся к компьютеру Громышев.

На другой день он смело, двойным щелчком, открыл файл с надписью «Бухгалтерия». (Несколько необходимых Обществу файлов Кобрин установил.) Толстыми пальцами начал медленно печатать. Делал ошибки, тут же исправлял. Проков ходил, диктовал с листов.

– Как сохранить, Коля? Что-то я забыл.

Проков подошёл, ткнул какую-то клавишу. Всё улетело с экрана.

– Что же ты наделал, идиот?

В общем, дело пошло...

В обед Проков шёл домой. Возле ЦУМа скидывали с бортового грузовика новогодние ёлки. Опутанные мочалом, плоские, ёлки напоминали похоронные венки. В очереди Проков хмурился, толкался вместе с набежавшими женщинами. Один как перст среди них.

Рассчитавшись, отошёл с плоской ёлкой, маракуя, как её половчее нести: под мышкой или на весу? И – рот раскрыл.

Из кафе на цумовской площади выходила Валентина с каким-то мужчиной в распахнутом кожаном пальто с ремнями. Мужчина взял её под руку и начал что-то мурлыкать на ухо. Валентина в песцовой шапке и таким же воротом смеялась, похлопывала его руку. Дескать, полно, полно! Прямо девочка, пташка, вырвавшаяся на свободу! Проков не верил глазам своим.

Мужчина поцеловал женщину в губы и пошёл, утаскивая ремни. Женщина тоже повернулась и пошла, поматывая дамской сумкой. Со стороны – школьница идёт, играет портфельчиком. Чёрт побери-и. Проков уж то́чно не знал своей жены. Проков с ёлкой покрался следом.

Дома он сидел на диване, прижав к себе Женьку и Пальму. Верную свою семейку. Которая не продаст. Нет. На жену смотрел даже как-то радостно.

Валентина спокойно собирала на стол. Потом спокойно наливала в две тарелки. Мужу и сыну. Пальму она уже покормила. Себе тарелку не поставила. Сказала, что пообедала в больничном буфете. Ага, «в больничном», значит, – как автомат кидал в рот ложки со щами Проков. Валентина спокойно налила себе чаю. Ага. Уже похмелье наступило. Жажда. После кафе. Чаем теперь надо опохмеляться. Проков, дескать, за солью, потянулся через стол, приблизился к жене. Спиртным от жены не пахло. С солонкой брякнулся на место.

Недавно на гулянке у Громышевых его несказанно удивило поведение Валентины за столом. Когда все уже хорошо поддали, она, казавшаяся трезвой, просто весёлой, вдруг начала рассказывать неприличный анекдот. Со всеми скабрёзностями. С матом. Говорила спокойно, с полуулыбкой. Как говорят опытные, записные анекдотчики, привыкшие к вниманию и хохоту слушающих. Он просто не узнавал жены! Он никогда не слышал от неё ни одного анекдота! Никакого!

Тогда, не успев осмыслить всё (увиденное и услышанное), Проков вырубился. Как всегда с ним бывало на гулянках. И что уж сам творил потом – не помнил. Очнулся только на своём диване уткнувшимся в сальную обивку его...

Вечером наряжали ёлку. Женька и Валентина вешали игрушки. Проков ползал, укутывал крестовину ватой. Уже в колпачке со звёздами. Заранее для репетиции нацепленном ему Женькой.

Вдруг спросил у жены, выглянув из-под ёлки. Эдаким ехиднейшим снеговичком:

– С кем это ты была возле ЦУМа?

– Когда?

– Сегодня. Перед обедом.

– Ах, вон оно что! – фальшиво рассмеялась жена. – А я смотрю, что это он таращится на меня целый день...

– Ты не ответила! – ждал на карачках снеговик в колпачке.

– Да это же Лёша Лопатин! – фальшиво продолжала смеяться жена.

– Ах «Лёша»...

– Да, Лёша! Мой однокурсник! Мой друг!..

Ну а дальше пошёл торопливый рассказ о друге Лёше. Однокурснике по медучилищу. Он вернулся с семьёй обратно в Город. Он уже работает фельдшером на скорой. Ясно?

– Неужели ревнуешь? – уже наклонялись к Прокову, громко спрашивали у него. Как у охлороформленного.

Проков встал, наконец, с колен, снял Женькин колпак. С вешалки сдёрнул бушлат и шапку, хлопнул дверью.

Поламывая руки, Валентина заходила возле стола.

Под шумок Женька и Пальма стырили по конфете. С ёлки сдёрнули. Женька жевал шоколадную, Пальма носила длинный круглый леденец в обёртке. Будто необрезанную сигару. Подошла к хозяйке, чтобы та «обрезала». Хозяйка отобрала сигару. Нашлёпала как ребёнка.

Проков быстро шёл по морозной ночной улице неизвестно куда. Никак не мог понять, больно ему или нет.

Ночью зачем-то упорно пытался вспомнить, когда у них с женой было последний раз. Сколько прошло? Месяц? Два?

Чтобы выяснить, как вор, прокрался в спальню. В темноте его встретили жаркие женские руки. А дальше была лава, поглотившая его. Из которой он выскочил чудом, задыхаясь. И почему-то опять на цыпочках вернулся к себе в комнату, на диван. Это было невероятно! Это ему приснилось! Жены он своей – точно не знал!

Утром всё было по-прежнему. Жена гладит на гладильной доске рубашку мужа. Проков и Женька за столом. Рядом Пальма. Скандал вчера не разразился. Непонятно как, грозовые тучи быстро протащило мимо. Без последствий. Ни дождя тебе, ни града по башке.

– Галстук сегодня надень. Который я тебе купила. Ходишь всегда как апо́ка, – уже звучала ворчливая осмелевшая забота жены, продолжающей гладить.

Кто такой «апо́ка», Проков не знал. Спокойно ел. Однако следует ждать продолжения про «апо́ку».

– И вообще, когда пальто нормальное тебе купим? (Не апоку, понятное дело.) Когда перестанешь ходить в афганском своём дрипиздоне? Ведь стыдно с тобой по улице пойти. Идёшь рядом ремок ремком! (Целых два народных вечных от Валентины – *дрипиздон* и *ремо́к ремко́м*. Сразу!)

Проков посмотрел на вешалку. На свой полевой верный афганский бушлат.

– А ты не ходи. Лучше – с Лёшей. Который в кожане и с ремнями до земли. – И Проков словно опять выглянул из-под ёлки. Правда, сегодня без колпачка на голове: – А, дорогая? *Дристантина* у тебя сегодня нет?

Скандал ещё мог вспыхнуть, начаться. Положение спас зазвонивший телефон. Валентина кинулась, схватила трубку.

– Да-да, Юра!

Прокова раздражала её манера говорить со знакомыми по телефону. С показным интересом, участием. Она постоянно называла собеседника по имени. Точно чтобы тот его не забыл. Вот и сейчас: «Ты ещё клеишь коробки, Юра? И сколько выколачиваешь, Юра? А не тяжело тебе, Юра?» Таким частым повторением имени она словно стремилась заговорить слушающему зубы, втиралась в доверие. Хотела навек расположить к себе. С Проковым так она никогда не говорила. Проков смотрел на улыбчивую, сладкую рожицу с телефонной трубкой: э-э, прохиндейка. Вырвал трубку. Скандал был опять забыт:

– Да, Юра!

И к своему удивлению тоже начал «Юра-Юра». Невольно заразившись от *прохиндейки*:

– Хорошо, Юра. Я тебя понял, Юра. Да-да, Юра...

Валентина быстро убирала со стола, чтобы поскорее смотаться на работу. Вчера всё обошлось, сегодня – неизвестно.

С ёлки Женька и Пальма по-тихому сдёргивали конфеты.

Вечером после работы Проков сидел на крыльце, курил. Смотрел на низкий, пришедший во двор закат. Идти в дом не хотелось.

Соседский кот-бандит шёл по верху зачерневшего забора как йог по вспыхивающим углям. Исчез. Сверзился или просто спрыгнул в свой двор.

Проков поднялся, толкнул внутрь дверь.

Глава десятая

1.

Мелкими глоточками Татьяна Зуева отпивала чай, поглядывая на подругу. Наталья сегодня была бледна и как-то нечётка. Вроде плохо отпечатанного фоторобота на розыск. На доске. У милиции. Похоже, что уже сейчас трусит. Ещё до встречи Нового года. С инвалидом этим. Может быть, зря всё затевается? Принесли ей домашнюю колотую утку. Утятницу даже Алексей здесь оставил. Готовь! Утку с яблоками, например. Инвалид ахнет. Нет. Сидит. Уже заранее умирает. Вроде и не слышит, о чём говорит Алексей.

Вздохнув, Зуева сама налила себе кипятка. Плеснула заварки. Оглядывала теперь кухню. Ладно, хоть чисто. Но ничего не изменилось после ремонта. Так же голо. Не повесила ни занавески на окно, ни тряпки на стену. Даже не сменила на столе изрезанную клеёнку. Как со своим инвалидом будет жить – неизвестно. Книги, конечно, читать хорошо, но как же быт? Вряд ли у инвалида такая же неустроенность: всё-таки с матерью живёт. А они с Алексеем как будто и не уезжали. Всё в квартире было по-прежнему! За три года купила только торшер. Понятно, чтобы удобно было читать. И то: «Ты прости меня, Таня. Что без спросу поставила». Несчастная, затурканная баба.

Зуева повернулась к окну. Но там тоже – тусклая лампочка с потолка высветила на стёклах рафинадные белые толстые корки. Не решилась хозяйка даже проложить вату между рамами.

Наталья не знала, куда смотреть. Словно винилась за мороз, который столько много нажёг снегу на стёкла.

Согреваясь после улицы, Алексей Сергеевич тоже глотал чай. Хвалился, как удачно купил сегодня на рынке двух уток. Одну, конечно, для вас, Наталья Фёдоровна. Как раз вам на Новый год. Он смеялся. Но глаза его за большими очками почему-то бегали. На манер блудливых рыбок в аквариумах.

Супруги пришли после девяти. Наталья была уже в одном халате, без белья. Ей было неловко. Когда потянулась на холодильник за печеньем, вдруг увидела голодный взгляд Алексея Сергеевича. На заголившемся своём бедре. Тут же запахнула халат, чуть не выронив плетёнку. Густо покраснела. Странное охватило чувство. Чувство женской подлости своей... и беззащитности.

Таня ничего не заметила. Сказала только: «Осторожней, холодильник опрокинешь».

Наталья встала, сходила в комнату.

– Вот, Алексей Сергеевич. Деньги за утку.

Отвернув лицо, стояла перед ним, собрав полу халата в кулак.

– Зачем ты нас обижаешь? – спросила Татьяна.

Но Ивашова была непреклонна: нет, пожалуйста, возьмите.

Супруги, что называется, крякнули и начали собираться домой. Опять на улицу, опять на мороз. Сейчас уже около тридцати, а ночью будет ещё холоднее. Если бы не прогулки для Татьяны перед сном, из дому бы и не высунулись. Алексей Сергеевич живот беременной жены обернул шалью, надел теплое пальто на ватине. Стал сам одеваться.

В толстом этом пальто, в двух шерстяных платках и тёплых рукавичках жена стояла раздутой матрёшкой. Только матрёшкой не краснощёкой, а больной, серой. Потянулась, поцеловала Наталью, и они вышли.

На улице супруг сказал:

– Зря ты лезешь в её жизнь... Странная женщина... Застенчивая и бесстыжая... И женихи эти её... Ты же будешь потом виновата... Если что...

Супруга будто не услышала его:

– Обиделась Наташа. Отфутболили мы её с Новым годом. А сейчас откупиться твоей уткой даже не смогли.

Чуть погодя спросила:

– Как ты думаешь: кого она выберет? Еврея или инвалида?

Крупный мужчина осторожно вёл маленькую женщину. Рассмеялся – ну и сопоставила! Чуть погодя серьёзно сказал:

– Не знаю. Но Фрейд тут точно отдыхает. Прямо собака на сене. Собака на сене зарайского какого-нибудь уезда.

Под фонарями рождались две слившиеся тени и уходили в темноту.

На другой день в свой обеденный перерыв Наталья продвигалась по большому гастроному на Ленина, набирала в корзинку продукты для Нового года.

Деревенская неизбалованная девчонка, в детстве и юности Наталья неплохо готовила. Всему научилась у матери, большой мастерицы. Могла завести и поставить тесто, завернуть потом из него любой пирог – мясной, рыбный, сладкий. Пирожки с разными начинками, пельмени, холодец – тоже умела и готовила. Там же в деревне солила огурцы, капусту, грибы. Даже коптила и вялила рыбу, вылавливаемую по ночам отцом и братом Вовкой, добытчиками-браконьерами. Всё это забылось в Городе, когда болталась несколько лет в общежитии, а потом на птичьих правах у подруги, которая к кухне своей никого не подпускала. Да и позже, оставленная уже в квартире одна, готовила редко. Простой борщ, щи, каши какие-нибудь по утрам. Лень было даже покупать мясо на рынке, чтобы приготовить котлеты или гуляш. По вечерам обжиралась колбасой, ветчиной, сыром, готовой выпечкой. Благо всё это было везде, в любом гастрономе. По теперешним временам денег было всегда в обрез. От зарплаты до зарплаты. Но жила одна, и на это хватало.

Вечером долго разглядывала на разделочной доске большую склизкую рыбину. Словно не знала, что с ней делать. Палтус. Большой чёрный палтус. Наутилус с погасшим глазом. Вытащенный на берег... Наконец стала резать на куски. Крепкая башка ножу не поддавалась. Трусливо, закрывая глаза, рубила её кухонным тесаком Алексея Сергеевича. Потом в большой кастрюле (тоже Алексея Сергеевича, своего ничего нет) завела-поставила тесто. Для этого всё купила: и муку, и дрожжи, и яйца. Варила картошку и овощи на винегрет. Огурцов к нему консервированных тоже взяла в гастрономе. Пресловутый салат оливье не стала готовить – из принципа. Всё – только русское. Пусть инвалид оценит. Поставила на всю ночь вариться свиные ножки и говяжью лытку – на холодец.

В постели думала, почему Плуготаренко не даёт о себе знать. Не показывает себя, солнечного, в дверях. Или хотя бы напротив здания почты. Сегодня 29-е. Через два дня Новый год. В темноте Наталье казалось, что она сейчас видит далёкую закулисную возню в доме на Лермонтова. В квартире на первом этаже. Где инвалид наверняка рвётся на сцену, рвётся играть, а мамаша его не пускает, оттаскивает, задергивает занавес.

Неожиданно вспомнила вчерашнего Круглова. Его шкодливый взгляд на своей заголившейся ноге. Оказывается, не только Готлиф и Плуготаренко любят много мяса. Есть и другие любители смачных женских филейных частей. Неужели изменяет Татьяне? Такой серьёзный и целеустремлённый? Не верится. Хотя кто знает – был любимцем всего белого женского персонала своего хирургического отделения, где опять начал работать.

Всё так же было стыдно. Опять видела свои подлые и беззащитные телеса, поспешно запахиваемые халатом. Выставилась. Показала мужику. Стыдóбища на всю деревню, сказала бы незабвенная мама.

Потом мысли потекли о Мише. О далёком несчастном Мише.

Легко, привычно плакала. Вытиралась платком.

2.

На большом бруске Юрий Плуготаренко точил длинный кухонный нож. Долго, старательно. Как лезвие пиратской сабли выводил.

– Да хватит! Хватит!

Вера Николаевна вырвала нож, сполоснула под краном, начала крошить капусту, отодвинув старательного с бруском в сторону.

Старательный не обиделся. Отъехал к тумбочке, склонился. Брусок положил на нижнюю полку. Где и было ему место.

На стене висел целый набор ножей. Как лезгинка.

– Может, ещё поточить?

– Да не надо, не надо! – непонятно на что злилась Вера Николаевна.

Ну что ж. Из кухни Старательный поехал в комнату.

Когда мать ушла, уверенно, споро работал. Хватал заготовки, на шаблоне загибал картон, длинными цепкими пальцами давяще разглаживал сгибы, собирал целиком коробку и откидывал в сторону. Снова загибал, цепко разглаживал, собирал и откидывал. Потом любовно мазал торцы коробок клеем.

Ближе к обеду зазвонил телефон. Плуготаренко бросился, думая, что Наталья. Но оказался почему-то Уставщиков. Никогда не звонил. Сейчас звонил как с того света, еле слышимый:

– Юрий Иванович, сердечно вас поздравляем. Вы удостоены почётного диплома на фотовыставке в Москве. Слышите? Всё пришло к нам в редакцию: и диплом, и три буклета, и памятный знак. Ждем вас в три часа в редакции. Слышите! Юрий Иванович! Что же вы молчите?

– Слышу, Герман Иванович. Неожиданно как-то всё. Спасибо. Конечно, приеду.

– Большой привет Вере Николаевне! – всё радовался Уставщиков. – Ждём вас вместе! Мать и сына! – точно плакал уже Уставщиков. Будто пьяный.

Плуготаренко положил трубку. Странное было ощущение. Неожиданное известие почему-то не обрадовало. Словно перебило что-то более важное. И что теперь делать? Подпрыгивать до потолка? Потрясать руками, как чемпиону? Взявшему рекордный вес.

Пришла на обед мать. За столом молчали. Плуг загребал ложкой. Уже не изображал никого. Ни старательного, ни внимательного. Ничего не говорил о редакции, об Уставщикове.

3.

В просторной комнате чинно разгуливали все сотрудники редакции. Во главе с самим Уставщиковым. Почти все курили. Уже можно было вешать топор. Три женщины хлопотали вокруг стола, застланного красивой скатертью. На столе – несколько тёмных и прозрачных бутылок и два ровных ряда тарелочек с закусками. Женщины их всячески переставляли. Чтобы было красиво.

Потом все сотрудники столпились вокруг инвалида в коляске, склонившегося над буклетом.

Плуготаренко смотрел на свои фотографии – как на чужие. Снятые не им. Были ли тому причиной сам буклет с густым фотоколлажем на обложке, бумага ли буклета, отличная, лощёная, другие ли яркие, неожиданные снимки лауреатов и дипломантов – он понять не мог. Но эти две фотографии, помещённые на одной странице – были словно не его.

На первом снимке на фоне современного бетонного дома шла по тротуару совершенно фантастическая женщина. Женщина из 19-го века. С цветами на шляпе и на подоле платья была похожа на идущую богатую цветочную клумбу. Вокруг дамы, оберегая всё её богатство, бежало с десяток собачонок разных пород. Во главе с замухрышкой кобельком с волосатенькой мордочкой, похожей на репей. Снимок назывался – «Преданное сопровождение».

На втором снимке стоял мальчишка лет четырёх. Этаким приземистым ухватиком. В шапке, во взрослой зимней душегрейке, но почему-то в бумажных, явно не по сезону, колготках. Из которых, как белый червячок, пробился наружу детский писюн. «Я пришёл с мороза домой», назывался снимок.

Точно впервые увидев этого мальца, все опять хохотали, похлопывали инвалида. Фотограф Жулев, верный себе, ходил с большими, не узнающими никого глазами. И прежде всего Плуготаренку с его снимками.

Под дружный аплодисмент Уставщиков вручил дипломанту второй буклет (третий останется в редакции), сам диплом и знак выставки, смахивающий на африканский орден, который из-за размера возможно было поместить разве что на пузо.

Когда все расселись за столом, Уставщиков поднялся с бокалом. В поздравительной речи его мелькало «большой талант», «почтим за честь», «всегда пошлём на выставки», «только работайте, Юрий Иванович, только работайте! Мы всегда с вами!» Теперь уже все полезли бить в бокал инвалида, сидящего к торцу стола боком, как бы сбоку припёка.

А потом про него забыли. Пошли свои разговоры у сотрудников. С табаком, с вином, с хохотом. Только Уставщиков не забывал про дипломанта. Всё время обращался к нему, спрашивал. Но больше почему-то о Вере Николаевне. Почему она не пришла сегодня сюда, как её здоровье и где сейчас она работает. Это казалось Плугу странным. (Откуда он её знает?)

Ещё одна сотрудница, полная, уже в годах, тоже подходила к Плуготаренке. То куриную ножку принесёт, то винегрету добавит. Словно бы говоря каждый раз: «Ешь, сына, ешь. Не слушай их, дураков». И Плуготаренко ел. Старался не смотреть на Вальку Жулева. А тот сидел один перед бутылкой водки полностью убитым. Эх, Плуг. А ещё одноклассник, друг.

Расходились, когда на улице было уже темно. Под фонарём перед редакцией прощались с инвалидом, жали ему руку. Уставщиков упорно передавал приветы Вере Николаевне. По двое, по трое уходили в темноту, продолжая разговаривать и смеяться, как люди, в меру выпившие и хорошо посидевшие за столом. Из всех – один Жулев надрался.

– Врёшь, Плуг, не уйдёшь! Погоди! Пойдём вместе! – приставал он к Юрию.

Потащился рядом, что-то бормотал, чуть не падал на коляску. Плуготаренко одной рукой его удерживал, другой работал рычагом. Картина со стороны была интересной – колясочник-инвалид ведёт, держит длинной рукой пьяного, не даёт ему упасть. Плуг знал, что Валька живет на Льва Толстого рядом с домом Ивашовой. С новой её квартирой.

Напротив двери своего подъезда Жулев надолго впился Плуготаренке в щёку. И, как резину со щеки отодрав, отпрянул. Потом его повело, сильно потащило вперёд. И он ворвался в подъезд, хлобыстнув дверью. Что-то там ещё прогремело. Затем всё стихло. Ну ладно, теперь не замёрзнет. До утра будет свою квартиру искать.

Плуготаренко поехал. Сразу увидел идущую с работы Наталью.

Не отдавая себе отчёта, тут же свернул в проулок. За домом затаился, не выглядывал. Когда женщина прошла, выехал обратно на улицу, к фонарю. Не понимал совершенно, почему так поступил, чего испугался.

Дома, раздевшись, мокрой тряпкой очищал колёса. Все четыре. Два передних, высоких, и два размером поменьше – задних. Мать с подозрением смотрела: зима на улице, снег, не грязь, какого чёрта старается! Ушла, наконец, в ванную.

Тогда достал всё из сумки. Буклеты, диплом, памятный знак. На домашней коляске поехал к себе. Прятал в разных местах. От матери и, выходило, от самого себя.

Ночью долго не спал. Лупил глаза в темноте. Всё пытался понять, почему не радует награда. Неожиданная, упавшая с неба. Почему вся встреча в редакции кажется сейчас ненужной, глупой, стыдной. Всем, кроме Уставщикова да пожилой женщины, было наплевать на пришедшую для инвалида награду. На чествование его. Просто сегодня после укороченного дня остались на предновогодний междусобойчик. Очкастые все, корпоративные. Газетчики. Среди них один только пьяный Валька Жулев казался искренним. Не скрывал хотя бы обиды, что кое-кто за этим столом опять его обошёл.

Представил Наталью, увидевшую две его фотографии в буклете. Её вытянувшееся лицо. Наверняка всё было бы точно так же, как с телефоном: «У вас теперь буклет есть (телефон есть), Юрий Иванович?» – «Да вот, – ответил бы он, – прислали, Наталья Фёдоровна. Из Москвы. Я не хотел брать, но настояли, всучили в редакции».

Плуготаренко горько смеялся. Потом глаза его словно вспыхивали в темноте. Словно освобождались от всего. Так вспыхивают глаза у ночного кота перед сном. Прежде чем он свернётся в клубок.

4.

Рано утром, бреясь в ванной, другой Плуготаренко громко пел.

Учкуду-у-ук, три колодца-а,

Защити, защити нас от солнца-а...

Длинный шнур жужжащей машинки перекидывал, как по меньшей мере шнур с микрофоном от караоке.

Выбривал под носом. Томно, с перерывами, мычал:

м-м... *ты в пустыне...* м-м... *спасительный круг...* м-м.. *учкуду-у-ук...*

Вера Николаевна в кухне напряженно смотрела на зашторенное окошко высоко на стене. «Учкуду-у-у-ук», – доносилось оттуда, будто из ямы.

– Что же ты не спросишь, где я вчера был? – въехал сын на кухню. В майке, с полотенцем на плече, свежий, благоухающий дезодорантом.

Мать молчком резала хлеб.

– ...Погоди, сейчас я покажу тебе кое-что.

С удивлением искал по всей спальне буклеты и грамоту. Ничего не мог понять. Ведь положил вчера вот сюда, на подоконник. Куда всё испарилось?

Буклеты нашёл на шкафу, под кипой журналов, а диплом и памятный знак и вовсе – в старом валенке матери. В углу... Странно... Да ладно. Потом.

В кухне небрежно бросил всё на стол. Откинувшись, раскачивал себя с коляской, самодовольный, привыкший к славе.

Не торопясь, Вера Николаевна вытерла руки фартуком, села к столу. Взяла в руки диплом. Долго строго читала всё, что там было напечатано и написано от руки. Прощупав на подлинность как купюру, отложила в сторону.

На Собачью Маму и бегущих собачат смотрела спокойно, без удивления. Как на старых знакомых. Но увидев Кольку с писюном, неверяще голову от снимка увела. Да ну! Не может быть! И начала мелко смеяться:

– Вот негодник! Вот бессовестный маленький негодник! – По-старушечьи хватала греховный смех в горстку: – Хихихихихи!

Потом, когда сын ел и рассказывал о встрече в редакции, – незаметно унесла буклеты в комнату. Под увлечённую трескотню из кухни быстро пролистала все страницы буклетов. И первого, и зачем-то второго. Снимков толстухи нигде не было. Отлично. Не прошла. Бог не Тимошка, видит немножко. Вернулась в кухню. Сразу подложила сыну яичницы.

А Плуготаренко всё рассказывал, как приветливо его встретили в редакции, как хорошо там всё прошло. И вручение, и речь главного редактора, и поздравления. Ну а потом, мама, конечно, стол. Богатый стол. Опять все поздравляли без конца, лезли с бокалами. Жулев даже. Помнишь Вальку Жулева? Фотокорреспондента? И он поздравил. Через губу, правда, но поздравил. Кстати, почему Уставщиков всё время спрашивал про тебя? Ну-ка ответь!

Вера Николаевна как будто не услышала вопроса. Спросила – когда? Когда сын начнёт готовиться к Новому году. У своей Ивашовой. Сегодня 29-е. Через два дня уже нужно встречать. Так когда? Когда будет закупать продукты, вино? Или заявится только с буклетами и грамотами?

– Так купил же, – нахмурился сын. – Шампанское. Конфеты.

– А не стыдно будет? Что придёшь только с этим? Ей придётся покупать всё, готовить. Ты же не просто в компанию приглашён?

Сын молчал...

Мать сходила в комнату, принесла деньги.

– Вот. Съезди сегодня, отдай. Предложи помочь. А уж потом заявляйся с шампанским и буклетами.

Сын смотрел в окно:

– Да не возьмёт она ничего...

Повернул потемневшее лицо:

– Может, зря это всё, мама? Вся эта встреча Нового года?

У Веры Николаевны оборвалось всё в груди.

Однако сын прислушался к себе. И вернул улыбку:

– Спасибо, мама.

Взял деньги, поехал к себе:

Учкуду-ук, три колодца...

Вера Николаевна упала на табуретку.

5.

– Наталья Фёдоровна, возьмите, пожалуйста, деньги. Прошу вас.

– Нет, Юрий Иванович, не нужно ничего. Я уже купила всё необходимое. Просто приходите. Завтра вечером.

– Но вы ставите меня в неловкое положение, Наталья Фёдоровна. Честное слово!

Разговор происходил опять на виду всего почтового кагала, стоящего на крыльце. Под утренней мигающей красной лампочкой сигнализации. Даже Вахрушева, подходя к крыльцу, замедлила шаги. Забыв про всегдашнее своё «это что ещё такое!».

Женщина и мужчина-инвалид явно не могли о чём-то договориться.

Ивашова пошла, наконец, к крыльцу, откуда товарок уже сдуло, вернее, вдуло внутрь, а поднимающаяся по ступеням начальница строго сказала: «Опаздываете, Ивашова».

Плуготаренко тоже поехал. Погнал. Не мог понять своего состояния. Он как будто слеп и тут же прозревал. Всё мешалось в голове. Досада, радость. Радость, досада. Глаза слезились в полутьме. Навстречу летели, разбивались стеклянные птицы фонарей.

Дома в обед он вдруг сказал: «Подарю-ка я ей книгу Антала Гидаша “Господин Фицек”. Помнишь этот роман, мама? Но подписывать не буду: подписывать не тобою написанную книгу – дурная манера». И опять продолжил загребать ложкой.

Весь вечер гонял коляску из комнаты в спальню и обратно. Он походил на какого-то лохматого учёного, математика, никак не могущего решить сложнейшую задачку. Вера Николаевна нарочно включала свои детективы и боевики в телевизоре. Давала звук на полную – «Стоять! Лежать! Руки на-

зад!» Однако летающий математик не видел и не слышал ничего. Часов в одиннадцать он провалился в ванную и долго шумел водой.

В это время Вера Николаевна звонила Зиминым. Докладывала «обстановку». Просила советов.

Миша, выслушав её, ответил:

– Похоже, Юра сам не знает, что ждёт его в Новый год и что ему самому нужно... Может, вытащишь его к нам с собой? 31-го? Уговоришь?..

...Ночью с мороза Плуготаренко въехал в свой подъезд. По пандусу поднялся к квартире, достал ключи. По лестнице спускалась Наталья Ивашова. В пальто, в песцовой шапке. Прошла мимо не поздоровавшись, даже не кивнув. «Здороваться надо! Эй!» – с досадой крикнул ей вслед Плуготаренко. Она хлопнула подъездной дверью. Через какое-то время вернулась в подъезд. С синим тяжёлым баулом скорой помощи. И опять прошла мимо. Теперь к квартире Мякишевых, где её в дверях встречала Зоя. Почти сразу оттуда выглянул Колька. Увидев дядю Юру, подмигнул. Крадучись двинулся к выходу из подъезда. Во взрослой душегрейке, в бумажных своих колготках, с писюнчиком наружу. Прикладывал к губам палец. Дескать, молчите, дядя Юра! Потихоньку открыл подъездную дверь в мороз и растаял в нём... Плуготаренко проснулся, шамкая пересохшим ртом...

В другой подъезд, на улице Льва Толстого, он въехал наяву. Ровно в десять часов вечера. 31-го декабря 98-го года.

На этот раз по случаю Нового года ввернули лампочку – в подъезде было светло.

У заветной двери Плуготаренко достал из сумки коляски цветы, наглухо обёрнутые газетой, высвободил их. Взбодрил. Три крупные бордовые розы.

Потянулся, позвонил. В добавление к звонку стуканул костяшками пальцев в косяк. Этаким игривым парольчиком:

– Тук-ту-ту-тук!

Дверь открылась.

– С наступающим вас Новым годом, Наталья Фёдоровна!

Протянул через порог цветы. И словно был вдёрнут внутрь.

6.

Точно впервые попав в эту квартиру, осматривался. Он был в бостоновом угольного цвета костюме, белой рубашке и галстуке. На ногах – лаковые штиблеты.

Она носила угощения. Его бутылка шампанского уже торчала в центре стола, напоминая дневной бельмастый маяк.

С понтами, побалтывая, он взял эту бутылку в руки с намерением открыть. Наталья сказала, что рано, в двенадцать, пока лучше вина. Ну что ж, вина так вина.

Тоже не без понтов, вино он наливал красиво, подкручивая бутылку. Чтобы не пролить на белую полотняную скатерть ни капли. Он знал своё дело.

Он поднял свой бокал. Он предложил выпить за 1998-й год. Сказал, что год этот уходящий был для него знаменательным. Пусть это не покажется вам напыщенным, романсовым – я встретил Вас. И всё былое. В душе моей. Так сказать. Угасло не совсем. Вы пришли ко мне с пособием в первый раз 23-го февраля. В день всех мужчин, Наталья Фёдоровна! Я запомню этот день навсегда! Я... я... В голосе его вдруг появились высокие плаксивые ноты. Она думала, что он заплачет. Но он овладел собой и закончил достойно. Я счастлив, что встретился с вами. Я пью этот первый бокал за вас, Наталья Фёдоровна! Он чокнулся и маханул почти полный бокал вина враз.

Однако – лихо.

Она смотрела, как он сосредоточенно ест рыбный пирог, видимо, мало понимая, что́ именно ест, и невольно думала, как он будет управляться с туалетом, с нуждой, если его приспичит. Ванная маленькая. Ведь может не влезть с коляской туда. Но Плуг меньше всего думал об этом, уже без всякой понтярской подкрутки набулькал в бокалы и опять поднял свой. Большой рукав его шёлковой белой рубахи, схваченный старомодной отцовской резинкой, свисал. Вроде свисшего пока что паруса.

На этот раз он говорил с некими намёками. О судьбе, которая порой сводит двух людей случайно. Женщину и мужчину. Что всё в жизни случайно и в то же время закономерно. И дико глянув на неё, закончил – ваше здоровье, Наталья Фёдоровна! И опять махнул почти полный. Получалось, второй уже. Не многовато ли для начала? Ведь до двенадцати ещё целых полтора часа. Наталья отпивала только чуть. Старалась подложить больше еды гостю. Добавляла винегрету. На отдельную тарелочку холодца. Попробуйте вот это, Юрий Иванович! Но тот всё так же мрачно думал и жевал пирог.

В телевизоре среди новогодних шаров и звёзд он вдруг увидел Поэта. Сильно высохший, в чём только душа, в плечистом своём пиджачище – Поэт смахивал на упорного, какого-то фанатичного долгожителя, который давно оставил всех своих соперников за горизонтом. Читая стихи, длинной тощей рукой Поэт всё так же отчаянно давал «кр-ругаля». Она тоже удивилась. Сколько же ему лет? Да кто ж его знает, ответил он. Точно жалел уже и Поэта, и себя самого. Забыто держал в руке большую утиную ножку, как какой-то посторонний предмет. Курительную трубку, к примеру. Отложил её. Вытер руку салфеткой. Перед Натальей сидел Плуготаренко прежних лет своих. Не теперешний. Наталья терпеливо ждала. Когда он вернётся назад. Сюда, в комнату.

Он снова налил. И опять себе полный. Только после этого его отпустило. Он захихикал. Он опять заразмахивал руками. Радостный, он словно помчался вниз по сумасшедшей своей, смеющейся речке:

...Наталья Фёдоровна, хихихи. Представляете – встаёт сам редактор Уставщиков с бокалом в руке и говорит всем сидящим за столом: «наш талантливый друг». «У которого всё впереди». Представляете? И все тянутся ко мне с бокалами и тоже несут подобную графоманскую чепуху: «Наш первый голубь, вылетевший из гнезда». «Его первый полёт», хихи. (Лучше бы, наверное – «первый помёт», хих-хих-хих.) «Наш голубь встал на крыло», хихихи. (Между нами, «на крыло встают» – утки, ха-ах-хах-хах».) И прочую чушь... Но. Но приятно, Наталья Фёдоровна. И вам, и вам спасибо за поздравление. Я думал, как с телефоном будет, ну так же, и вообще, в общем, понимаете? но я ошибся, вам буклет понравился, и я рад этому, очень рад. В следующий раз, как пошлют ещё, ваши снимки будут первыми. Уж я постараюсь, хихихихи, Наталья Фёдоровна...

Он махнул вдруг рюмку водки. По-быстрому закусил и перекинулся на второй свой подарок. Всё так же хихикая через слово-два, он погнал уже о книге «Господин Фицек», нагнувшись со стула и выхватив её из сумки коляски. Зачем-то объяснял, что купил книгу давно. Ещё когда учился в десятом классе, Наталья Фёдоровна. Уверен, она вам понравится. Я несколько раз перечитывал. До боли жалкий, глупый, смешной маленький человечек в ней. Господин в кавычках Фицек. Кустарь-одиночка, сапожник. Обременённый большим семейством. Громадной корзиной, из которой всё семейство его и выглядывает. Его нескончаемая смешная и одновременно трагическая борьба за выживание в большом городе. Знаете, иногда возьмёшь книгу в руки, где-нибудь в книжном или библиотеке, раскроешь и после страницы-другой сразу поймёшь – это автор твой, написал для тебя. Я никогда не слышал о венгерском писателе Антале Гидаше. И вот случайно раскрыл его книгу. И вы так же, уверен, обрадуетесь. Всегда такие открытия радостны. Хихихихи, Наталья Фёдоровна!

Он перестал размахивать книгой в синем переплёте и отдал её Ивашовой.

Как-то внезапно выпала в телевизоре новогодняя заставка: четырёхэтажное строгое здание с флагом на макушке, Спасская башня за ним и пышная ель впереди. Появился как в бане отмытый и причёсанный Президент. Его поздравление Наталья слушала почему-то потупившись, словно виновата была в чём-то перед ним. Плуготаренко, забыв про все понты, лихорадочно сдирал в это время фольгу с шампанского. И тоже замер, изготовившись пальнуть. «Новогодняя ночь, – говорил вымытый Президент, – это новые надежды, новые мечты». Плуг засмеялся, подмигнув Наталье. Дескать, здорово говорит – про нас! Наконец последовало «С Новым годом, дорогие россияне», и сразу же вынырнули часы с почти слившимися стрелками и начались мерные тонущие удары курантов. Плуг шмальнул в потолок, обдав скатерть пеной, однако успел до последнего удара налить в бокалы:

– С Новым годом, с новым счастьем, дорогая Наталья Фёдоровна!

И ударил в бокал Ивашовой.

– Уря-я! – несмело обнаружили себя после гимна несколько людских анклавчиков на этажах. Пока закусывали – всё стихло. И за окном пошли рваться китайские заводы и фабрики пиротехники. Народ высыпал во дворы. Сверкания, вспышки и грохот начались неимоверные. Рожи ракет рассыпались прямо в окне. Плуг и Ивашова вздрагивали. Смотрели на свою новогоднюю еловую ветку в банке. Всего лишь с двумя слезящимися шарами. Синего и красного цвета.

Потом началась ежегодная нескончаемая тягомотина «Голубого огонька». Послужившая, однако, хорошим фоном к вновь воспрянувшей болтовне и смеху инвалида.

Она видела, что он пьянеет, но, как ни странно, чувствовала себя от этого свободней, раскованней. С улыбками, как на Петрушку (неопасного), она посматривала на него. Подкидывала женские, выведывающие вопросики. О нём самом и больше – о матери, о Вере Николаевне. (Так взрослая тётя выведывает у пятилетнего ребёнка: «А скажи-ка, Петя...») Даже называла его на «ты». Он её «ты» не слышал, не воспринимал. И хотя был уже пьян, называл её только на «вы». Он очень уважал её. Да, уважал. И не спорьте! Ха! Ха! Ха! Ха!

Часа в три ночи он вдруг пересел в свою коляску. И почти сразу свесил голову. Натуральный лыжник на лыжных палках. Который сник прямо на лыжне. И как теперь быть? – растерялась она. Ему ведь надо сходить в туалет, в ванную. Он просидел за столом пять часов. Что у него – железный мочевой пузырь?

Легонько потрясла горячее плечо:

– Юрий Иванович, вам нужно, наверное, в туалет, в ванную. Давайте я вас провожу, Юрий Иванович?

Он ничего не ответил. Она выключила в комнате свет. Свет остался только в кухне и коридоре. В полутьме осторожно разложила диван Алексея Сергеевича. Это была, собственно, большая тахта. Застелила её двумя простынями. Две подушки положила и только одно одеяло. (Второго у Алексея Сергеевича не оказалось.) Снова подошла, тронула горячее плечо:

– Юрий Иванович, проснитесь. Лягте, пожалуйста, на тахту.

Он мутно посмотрел. Подъехал к постели и обречённо вывалился на неё. С каменными ногами медленно поворачивался на бок. Наталья осторожно сняла с него штиблеты. Брюки снять – не решилась.

Долго мыла посуду на кухне. Долго сама мылась в ванной. Наконец вошла в полутёмную комнату и застыла над спящим. На ней был домашний халат, под который она вновь надела бельё и чулки. Нужно было на что-то решиться.

Пробиралась на тахту вдоль стенки, боясь задеть спящего. Легла, наконец, на спину. Сдерживая дыхание, распрямилась. Слава богу, места хватало. Инвалид рядом, слава богу, не храпел – еле слышно, по-детски посапывал.

Когда задремала, услышала скрип коляски. Повернула голову – Плуготаренко, словно на цыпочках, пробирался на коляске в коридор, где горел свет. Явно в ванную, в туалет.

С жалостью опять думала, что он там ничего не сможет сделать. Но она ошибалась. Сильнорукий, он действовал в ванной как человек-паук, хватаясь за стены и за всё, что могло его удержать. Он даже пошумел там водой. Потом выключил в коридоре свет. Так же тихо приехал и лёг опять с краю. Она лежала к нему спиной, боялась шевельнуться, дыхнуть.

На бедре почувствовала осторожную руку:

– Наталья Фёдоровна, вы не спите?

Молчком отодвинулась. Вжалась в спинку тахты.

Он затих. Словно где-то на краю земли. Рука снова приплыла: «Вы не спите? Наталья Фёдоровна?» Да не сплю, не сплю! – хотелось закричать ей. Вместо этого с резким выдохом повернула себя на спину,

Он понял. Он торопливо начал копаться в плотных доспехах женщины, пытаясь разобраться в них. У него были сычовые, горящие глаза. Она оттолкнула бестолковые руки, сама стала шумно снимать всё. Садилась, расстёгивала лифчик, снова падала на спину, снимая остальное. Плуг не отставал, тоже делал сидячие упражнения, пытаясь снять брюки. Она сама сдёрнула их с него.

Потом он вздыбливался и задыхался. Он чувствовал ломящую, твёрдую, как кость, силу, врывающуюся и врывающуюся в тугую, в мягкую женскую плоть...

Он спросил её в темноте:

– Почему ты плачешь?

Она не ответила. Доставала откуда-то платок, шмыгала в него.

Глава одиннадцатая

1.

Наутро, 1-го января, Плуг выехал из подъезда на Льва Толстого и широко раскинул к небу руки:

– Наташа, смотри: солнце ликует!

Январское квёлое солнце просто дымилось и всё. Вроде маленькой печки с не берущимися огнём дровишками. Никак не ликовало, но инвалид всё воздевал руки: ликует! Наташа! ура!

Наталья посмотрела по сторонам. Слава богу, во дворе никого не было. Перевела дух: вот уж правда: здравствуй, папа, Новый год!

Медленно, но как-то сильно инвалид поехал. Выдыхаемый пар за ним походил на усы Тараса Бульбы. Наталья покорно пошла за Тарасом с усами.

Двигаясь, Плуготаренко теперь почти в каждое предложение своё вставлял её имя – *Наташа*. Новое для себя, радостное. Она умудрялась не называть его никак. Правда, говорила ему «ты». И то – изредка. «Ты бы не кричал на всю улицу. Люди всё же кругом». Он смеялся.

Расстались на углу. Наталья пошла на Ленина в «Кулинарию», чтобы купить там торт и поздравить Таню и Алексея Сергеевича. Плуг погнал домой. Под ликующим, понятное дело, солнцем.

От Зиминых мать уже пришла – пальто висело на вешалке. Скинув шапку и куртку, – в чёрном костюме, свежий, праздничный – въехал в комнату. Поздравил с Новым годом, поцеловал.

Несколько смущались друг друга. Точно долго не виделись. За большим столом пили спасительный чай. С выпечкой от тёти Гали, которую та, конечно же, натолкала в сумку Вере Николаевне. *Для Юричика.*

Вера Николаевна украдкой поглядывала на сына. По лицу его, по глазам пыталась определить: случилось *э т о* или нет? Однако сын опять был другой. Он смеялся по-новому – с пустыми остановившимися глазами. Хихикал от воспоминаний. Покручивал головой. Дескать, надо же. Или вдруг, взглянув на неё, начинал прямо-таки пыжиться от смеха. Как это делает мальчишка. Который готов лопнуть, описаться, но не выдать тайны.

– Ты что, не проспался, что ли? После вчерашнего?

– Я счастлив, мама, – сказал он просто и тронул её руку. – Думаю, теперь у меня всё будет подругому. Другая жизнь у меня теперь начнётся, мама.

Он скинул на диван пиджак и поехал к себе, на ходу сдёргивая с рукавов отцовские резинки и бросая их.

Ну что ж, всё это было предсказуемо, разом превратилась в философа Вера Николаевна. Как переломы от падений в гололёд. Как милицейская жатва алкашей по Городу по пятницам для вытрезвителя.

Однако душу защемило нестерпимо: неужели приведёт сюда? Ведь три комнаты! А там-то – живёт христа ради. У подруги. Даже не у подруги, а в квартире её мужа... Господи!

Как за спасением, повернулась к самой последней фотографии мужа на стене, которую увеличил и повесил сын. Где Иван стоял после первомайского парада. В парадном кителе, фуражке, в своём чертовском галифе.

– Что делать, Иван?

Офицер улыбался, смотрел на живую жену, но ответа не давал.

Трёхкомнатную квартиру на первом этаже получили всего за полгода до его гибели. После расселения «голубятни» на Комсомольской в 71-м году. Как и Зиминым, им полагалась двухкомнатная. И на нормальном, втором, третьем или четвёртом там этаже. Но неожиданно всплыла вот эта квартира, на первом, трёхкомнатная, и Офицер сразу загорелся, не стал слушать жену, добился какой-то справки в военкомате и въехал сюда. В трёхкомнатную на первом этаже. Словно тогда уже знал, что сын станет калекой.

За полгода обставил квартиру неплохой крепкой мебелью. Большой обеденный стол, шкаф на полстены для книг, трельяж – всё это он успел купить сам. Да и две другие комнаты почти обставил.

И теперь – что: разменять, раздербанить эту его квартиру? Оставшуюся память о нём? Полученную им с таким трудом? После стольких лет мытарств в коммуналке с семьёй?

Вера Николаевна непонимающе смотрела в телевизор, где вокруг вчерашней ночной городской ёлки веселились, прыгали мужчины и женщины, где по низу экрана аккомпанементом им быстро ползла «бегущая строка»: «Комплексный приём у гинеколога. 4000 рублей. УЗИ в подарок. Телефон».

Схватила пульт, выключила всё.

Опять смотрела на мужа.

Вспомнилось вдруг, как он тащил с грузчиками от машины громоздкий тяжеленный книжный шкаф. Как уже в подъезде зацепился за что-то и распорол своё галифе. Но ношу не бросил и дальше кожилился – с растерзанной штаниной и белой, до боли тощей ногой в коротком сапожке. Елозящим и елозящим для опоры по ступеньке... У Веры Николаевны перехватило горло, навернулись слёзы. Бедный Иван.

2.

Проков после встречи Нового года лежал на диване в лёжку. И не от похмелья, нет, – опять с пустой головой. Голова ощущалась пустой комнатой. Через которую изредка вроде бы что-то протягивало, продувало.

В тёплом туалете в конце коридора Валентина убирала, чистила, гремела ведром. Слышался её сердитый голос:

– Опять говняные бумажки везде накидали! Что сын, что отец!

Кричала по коридору виновникам:

– Для чего я ведро вам ставлю? А? Слышите или нет? Грязнули? – Добавила ещё одно слово. Не очень приличное.

Женька и Пальма ходили тихо. Конфет на ёлке больше не было. Обдёргали вчера. Проков колупал сальную обивку.

Валентина вернулась в комнату. В длинном прорезиненном фартуке и резиновых перчатках по локоть – натуральный дезактиваторщик, работающий на местности. Поражённой химической или атомной атакой.

Начала сбрасывать в таз с водой грязную вчерашнюю посуду со стола. Проков пробубнил, что сегодня 1-е января, праздник. И не следует затевать генеральную.

– Да что вы говорите! – тут же подбежала жена. – Мешаем размышлять вам о вчерашнем? Что вы делали вчера?

Женька и Пальма деликатно пошли из комнаты.

– Куда?!

Женька и Пальма так же деликатно вернулись и присели на диван. Рядом с Проковым. Готовые разделить с ним и свою, и его вину.

Спас всех троих зазвонивший телефон.

Хмуро воительница сняла трубку: да! Но голос сразу сделался медовым – Юра Плуг прямо-таки свет в окошке. Через слово пошло опять – Юра! Юра! Принимала поздравления инвалида. Сама пела: с Новым годом, Юра, с новым счастьем тебя! При ответных словах рот её раскрывался и отвисал сладкой улитой. Никак не брезгливой. И снова: Юра! Юра!

Наконец сказала мужу. Уже через губу. Брезгливо отвешенную:

– На. Нормальный человек звонит.

После разговора с Плуготаренкой, после поздравлений опять лежал, отвернувшись к спинке дивана. Выслушивал про своё вчерашнее, про своё ночное поведение. Выслушивал один – Женька и Пальма под шумок слиняли. Только над его пустой головой зудели злые пчёлы.

Оказалось, ему, пьяному, совать протезом за столом и всех поучать уже мало. Когда соседи Панфиловы начали пускать ракеты и рвать петарды, он выскочил в одной рубашке во двор и кричал им через забор, что они душманы, жлобы, жулики и что он выведет их на чистую воду. Слышите, гады! С палкой он гонялся за их котом и пытался его убить. Он был просто опасен! Жена, сын и собака повисли на нём, еле успокоили, увели в дом. А Панфиловы так и остались висеть на заборе с раскрытыми ртами. Это – как? Как теперь будешь с ними разговаривать? В какую сторону смотреть?

Валентина продолжала зло убирать со стола. Как? С какими шарами? Ведь ты даже сына, родного сына весь вечер пугал своей ручищей. Собаку, глупую преданную собаку. Да так, что та, бедная, уползла от тебя под ёлку.

– А – ты! – вдруг слезливо выкрикнул Проков и даже взнялся на локоть. – А ты со своим Лёшей! Перед самым Новым годам! Это – как? Ответь! – заклёкнулся голосок униженного петушка.

Да это ж с больной головы на здоровую!

– А ты? А ты сам? Забыл, как к Дашке Громышевой под подол лез? Своей ручищей? Забыл?

– Да кто бы говорил! Кто-о?! Расскажи лучше свой матерщинный анекдот. Расскажи! А мы послушаем да посмеёмся. Ха! Ха! Ха!

И понеслась классическая злая семейная перебранка. Свара. И визгливая, и басистая. Где правых нет, есть только виноватые.

Из дальней комнаты деликатные Женька и Пальма вслушивались. Мужской и женский голоски словно сталкивались где-то вверху и соревновались там по высоте и силе. Серьёзно, как дошколёнок, Женька возил по столу машинку. Тарахтел. Пальма, положив морду на лапы, изредка шумно выдыхала.

Потом Женька оделся и, на цыпочках пройдя с собакой сквозь скандал, бегал с ней во дворе. Лёгкая Пальма перелетала за ним.

Из-за забора высунулась Люська Панфилова. Как февральский, преждевременный сурок из США. Востроглазый. В круглой шапке.

– Что это дядя Коля вчера кричал на всю улицу? Позорил маму и папу?

– А! – махнул рукой Женька, продолжая играть с собакой. – Бывает иногда у него. После Афгана, наверное...

– А пошли на горку? На площадь? И ёлку посмотрим. Там музыка.

Люська училась всего лишь в третьем классе, была малолеткой ещё, вон, в шапке из детсада, но Женька подумал и сказал – ладно. Обожди.

Повёл собаку к крыльцу.

В сенях, перед дверью в дом, Пальма поняла подвох, начала упираться, царапать пол, никак не хотела обратно в жаркую ругань. Безжалостно Женька кинул её внутрь. Будто рыжий бензин вплеснул. И захлопнул дверь.

Толстенький мальчишка и востроглазая девчонка торопились в сторону площади Города, где вовсю шёл праздник, откуда летала музыка и зазывающий гулкий голос, где была высокая ёлка, ледяная горка, где можно было прямо на морозе съесть по горячему беляшу. А то и по два.

3.

Круглов Алексей Сергеевич, открыв на звонок дверь утром 1-го января, спозаранку, – не мог скрыть удивления: на пороге стояла Ивашова Наталья Фёдоровна с тортом в коробке.

Однако удивление тут же сменил на широкую улыбку:

– Проходите, проходите, Наталья Фёдоровна, здравствуйте, и вас с Новым годом! Проходите, пожалуйста!

Принял, отложил на тумбочку торт. Потом пальто, шапку.

Переваливающейся утицей, запахивая халат, принесла свой живот Таня. Целовала подругу, тоже поздравляла.

– Проходи, проходи, Наташа!

Муж и жена исчезли в спальне. Видимо, чтобы переодеться.

В комнате причёсывалась перед зеркалом. Понимала, что приход её утром 1-го января, сразу после новогодней ночи, да ещё ночи с женихом, мягко говоря, выглядит странноватым. Её явно не ждали здесь сегодня. В кухне остался брошенный завтрак, а комнатный стол был уже убран. Правда, казалось, что над чистой скатертью его всё ещё витал дух вчерашнего праздника... Наталья осторожно поставила на этот стол торт.

Появилась Таня в просторном платье беременной и сразу начала хлопотать. Как по щучьему велению на скатерти стали появляться тарелочки с закусками, приплыло блюдо с красиво разложенными треугольниками пирогов (с мясом, капустой, с луком-яйцом), три высоких бокала. Алексей Сергеевич принёс и открыл бутылку вина. Сухого. Однако налил его только Наталье и себе. Беременной жене – янтарного шиповнику. Полезнее, дорогая. Ну, за наступивший Новый год? Чокнулся с женщинами и маханул свой бокал сразу, напомнив Наталье лихого Плуготаренку.

Пирог с луком и яйцом ел, не уставая нахваливать жену. Мууу! Объеденье, дорогая! «Он второй противень уже сметает, – шепнула Таня подруге, – никаких других пирогов не признаёт, угу». Наталья то ли хохотнула, то ли подавилась. Вытирая губы салфеткой, невольно смотрела на усердного Круглова. Точно хотела понять, что в нём Таня нашла, за что полюбила.

Против Таниного поблекшего личика всегда румяное лицо Алексея Сергеевича было живописным. С рельефно выписанными деталями. С толстыми кудлатыми волосами, зачёсанными наверх. С большим носом, с большими ушами, с подбородком в виде крупного обглоданного мосла. Однако когда он снимал очки, чтобы протереть их платком, – вся живопись терялась: лицо становилось точно после солярия. С тёмными усталыми кругами вокруг глаз. Он возвращал очки на место, и всё становилось прежним – узнаваемым, крупным, живописным.

Сейчас он ел. Он ел пирог с луком и яйцом. Он всё нахваливал жену. Он мало обращал внимание на телевизор, где всё ещё продолжала кувыркаться «Карнавальная ночь» и нарочитый, переигрывающий Игорь Ильинский с зонтиком путался в ёлке, никак не мог из неё выбраться.

Снова наливая в бокалы, он спросил у Натальи, как прошла у них с Юрием Ивановичем встреча Нового года. И добавил несколько игриво – наедине.

Наталья начала вдруг хихикать. В точности как это делал Плуготаренко. Как будто заразившись от него. (Так истеричная жена перенимает смех, слова и даже интонации у мужа.) Не узнавала себя. Говорила, что всё хорошо, всё просто прекрасно. Проводили и встретили. Было и шампанское, и стол, и куранты. Ну и «Голубой огонёк», конечно, всё продолжала хихикать Наталья.

– И что же, не спали всю ночь? – переглянулись супруги.

Наталья изменилась в лице. Тоже как Плуготаренко. Вслушивалась в себя. Сказала, наконец, нехотя:

– Да нет. Я немного вздремнула. На диване. А Юрий Иванович так и просидел у телевизора... Потом поехал домой поздравить Веру Николаевну. Ну и поспать, наверное... Да. Вот так. Встретили... – не совсем уверенно закончила Наталья, мечась взглядом.

Зуева смотрела на подругу. С белыми, почему-то измятыми отворотами на платье, та сидела как побитый ангел. Меньше всего походила на женщину, которая провела ночь с любимым. Ничего, похоже, не было у них. Просто петушок прококотал всю ночь, а потом умчался домой спать.

Когда пили чай с тортом – вдруг резко, длинно позвонили. Все трое вздрогнули. Подумали одно и то же – инвалид. Но как? Четвёртый этаж! Невозможно! А если затащили?

Алексей Сергеевич пошёл. Зачем-то прикрыл за собой в прихожую дверь. Побубнил там какое-то время и вернулся... с телеграммой:

– Вот, Наталья Фёдоровна. Оказывается – вам.

Наталья раскрыла праздничный бланк с цветами и увидела наклеенные полоски с буковками. Быстро пробежала их: «Дорогая Наталья Фёдоровна! Поздравляю Вас с наступившим Новым годом! Желаю Вам счастья, здоровья! Очень надеюсь на встречу с Вами. Любящий Вас Готлиф. Миша. Извините».

Наталья густо покраснела. Помедлив, отдала телеграмму Тане. Та, прочитав, сразу подперлась ладошкой. Точно перед ней сидела не подруга – чудо.

Тихо спросила, когда муж ушел на кухню к вновь засвистевшему чайнику:

– Он-то хоть знает о еврее? – Зуева имела в виду инвалида.

– Нет, – опустила голову Наталья.

Ну ты, подруга, даёшь, покачивала головой Зуева в изумлении.

Вернулся с чайником Алексей Сергеевич, и Ивашова сразу начала собираться. Ещё не хватало, чтобы и он закачал головой. Подпершись ладошкой.

В прихожей, обняв подругу, Зуева шепнула:

– Расскажешь всё потом. О новогодней ночи. Ладно? – Будто идущему на мороз ребёнку, запахивала пушистый воротник, поправляла шапку. И как перекрестила: – Иди.

Увиливающую женскую ручку Алексей Сергеевич поймал сам. С чувством затряс её:

– Всего вам хорошего, Наталья Фёдоровна! Не забывайте нас! Всегда будем рады вам!

Когда вернулись в комнату, сказал:

– Как хочешь, но очень странная женщина... Прямо-таки собака на сене зарайского уезда. Честное слово!

– Ты уже говорил это, – нахмурилась жена.

– И ещё раз повторю! Двух мужчин удерживать. Одновременно. И ни того, ни другого не любить. Это ж надо так уметь! – И опять повторил давнее: – Смотри, сваха, как бы не быть тебе виноватой потом.

Спорить с женой не стал, словно тут же забыл обо всём, поскорей пошёл в спальню, к своему столику, к диссертации – он и так потерял два часа драгоценного времени.

Шла домой. Навстречу двигались травленные изморозью деревья. Солнце перестало дымиться. Висело матовым, пустым. На душе было муторно, нехорошо. Корила уже себя, что пришла к людям. С утра припёрлась. Прямо после новогодней ночи. После бурной ночки с «любимым».

Ничего, кроме бабьей жалости к голодному, скулящему, пропадающему инвалиду Наталья ночью не испытала. Да ещё досаду, злость, когда он становился совсем неуёмным. «Ну хватит, Юра, хватит! Успокойся!» Инвалида колотило рядом как в лихорадке. Сама стремилась в ванную, зачем-то зло вымывала всё. Словно убивала миллионы и миллионы будущих сограждан. Шла назад, в темноту, где опять её встречали неуёмные руки. Да чёрт подери, да будет ли конец! – чуть не кричала в темноте... Вот такая любовь, вот такое начало (медового месяца).

Плуготаренко увидела издали. Инвалид уже давал круги возле подъезда. Уже готовился к встрече.

Остановилась. С тоской оглядывала дома, словно не знала куда идти, словно искала хоть в каком-нибудь окне приюта.

4.

...Вы последняя? Михаил Янович оглядывался в просторном вестибюле Главпочты, где дверь в операционный зал была закрыта. Сегодня, 1-го января, все отделения связи в городе не работают, только здесь, на Главпочте открыто окошечко для приёма телеграмм. Отсюда и можно послать весточку любимой. Так вы последняя? Старуха в выносившейся плюшевой жакетке подчёркнуто ответила, что она не *последняя*, а *крайняя.* И, насупившись, отвернулась. Ну что ж, очень хорошо, очень хорошо, что не последняя, а только крайняя. Михаил Янович встал за жакеткой. Военных лет ещё, наверное. Всего к окошечку, помимо старухи, стояло ещё два человека. Можно мне взять бланк, чтобы написать на нём текст телеграммы? Михаил Янович был очень вежлив. Дойдёт очередь, тогда и возьмёшь. Морщины старухи напоминали чёрные трещины в почве. Комнатушка с телеграфисткой напоминала дзот. Михаил Янович отступил: хорошо, хорошо, уважаемые. Старуха просунула телеграфистке бумажку. Нет, доча, не дед *Микола,* а дед *Николай.* Русский он был. Да, доча. Похороны завтра. Второго января, доча. Так и исправь. Готлиф подумал: плохая примета. Смерть. И прямо в Новый год! Лучше пока выйти на улицу. Однако почти сразу на крыльце появилась и старуха. Как привязанная. Чего удрал? Иди, твоя очередь. Спасибо, уважаемая, спасибо. Подышу маленько. Твёрдо пошла. Ни слезинки, никаких причитаний. Железная. Вернувшись, попросил в окошке (в дзоте) бланк. Отошёл к специально поставленному в вестибюле письменному столу с чернильницей и ручкой. Своей, шариковой, стал разборчиво писать новогоднее поздравление любимой. Из дзота ему сказали, что неправильно написан адрес. Не просто нужен индекс и название города, а прежде всего перед ними слово – *Россия.* Другое государство. Лицо девушки было сродни усталой философичной фасолине. Обречённой объяснять элементарное. Простите, никак не могу привыкнуть. Что два теперь государства. Допишите, пожалуйста, там где-нибудь. Довольный, вышел, наконец, на улицу. Руки раскидывать не стал, а просто сказал с крыльца в небо: солнце сегодня светит только для нас! Наташа! Наше яркое солнце! Пошёл в сторону дома. Мозжащая коленная боль тоже сразу пошла с ним, но как-то крадучись, словно бы сбоку. Улыбался, совершенно не обращал на неё внимания. Сегодня надо и подробное письмо Наташе сочинить. Уже складывались первые его строчки. Остановился, достал свой большой блокнот, дыханием согрел шариковую ручку. *Всё перевернулось в русском языке. Всё. Перевернулось с ног на голову. Убийц с винтовками, отстреливающих людей десятками, называют теперь стрелками. Педерасты теперь зовутся очень красиво – ГЕИ. В драке теперь не драчуны дерутся, а оппоненты. Ужас что творится с русским языком, Наталья Фёдоровна! А уж пресловутое «я в шоке» – по любому поводу, везде! – это ж просто схватиться за голову и бежать!.. Извините, Наталья Фёдоровна, это опять мой эпиграф. Не могу молчать. А теперь читайте, пожалуйста, моё письмо к Вам.* Так. Неплохое начало. Михаил Янович дальше пошёл. Людей сегодня было мало на улице. Конечно, спят все после новогодней ночи. Да и минус 15. Одиночные машины несло как-то боком, будто они не опохмелились. Снова складывались строки письма. Останавливался и записывал. Дальше шёл, уже ничего не видя вокруг. Словно грезил наяву. Выпуклые большие глаза коня видели только Наташу. Любимую белку в парке кормил почти с рук. Шустрый зверёк стоял перед ним как всегда – пушистым изогнутым математическим знаком. Домашний пирожок Цили Исааковны удерживал куцыми лапками. Белые зубки зверька частили. Потом он прыгал по деревьям, как лыжник в слаломе по горкам, кидая за собой снежную пыль. Несмотря на боль (теперь уже в шее), Михаил Янович всем корпусом поворачивался, с улыбкой следил. Зимний пионер рядом хмурился, по-видимому, ревновал. Уходя, Михаил Янович потрепал его шапку размером с терем. Старухе Бойченко помог в подъезде. Тащил ей на третий этаж тяжеленную сумку с соленьями в стеклянных банках, за которыми та уже, как она выразилась, *сгоняла* к сестре спозаранку. Сын со снохой и внуками должны прийти, Миша. К обеду. Вот и сгоняла. Гоняльщица кряхтела сзади, тяжело поднимала на ступени ревматоидные свои ноги, обмотанные тряпками, хваталась за лестничные перила, точно стремилась их вырвать с корнем. У её двери посмеялись над своими одинаковыми недугами. Морщины у смеющейся Анны Тарасовны были добрыми. Не то что у старухи на Главпочте. Не отпустила, пока не взял одну банку с домашним лечо. Ещё раз вас с Новым годом, Анна Тарасовна! И тебя, Миша, и тебя, дорогой! Поднялся ещё на один этаж. В дверях уже стояла мать. Руки в бока. Где был? Почему не разбудил? Кто будет пить лекарства? Пушкин? Столько сразу вопросов. Прежде отдал банку. Снимал пальто, шапку. Сказал, что гулял. Дышал воздухом свободы. Которым можно подышать только утром 1-го января. Это почему же? А-а, не скажу! Пока снимал зимние ботинки – вышла с целым подносом лекарств. Так ведь руки надо хотя бы помыть, мама! Помой, мы подождём. С подносом Циля Исааковна пошла за сыном. К ванной. Чтобы заблокировать, перекрыть отступление.

После приёма лекарств – завтракали. Разбойник на холодильнике до поры молчал. Только затаённо тикал. Мать подкладывала вчерашнего, вкусного, наготовленного ею. Новый год встречать чуть было не пошли к Буровой-Найман. Циля Исааковна даже сделала в парикмахерской перманент, но как только узнали, что Коткин Лев Зиновьевич приведёт с собой и племянницу (Аделаиду Молотовник) – сразу отказались. Внутренне содрогнувшись. Простуда, знаете ли, у Миши, флюс образовался. Сейчас оба смеялись. Обманули судьбу. Чёрный бараний перманент матери от смеха потрясывался. А золотой зуб был лихим, цыганским. На-ка вот ещё русского пирога, который ты любишь. Сама Циля Исааковна ела сегодня овсяную кашку. Гастрит после новогодних излишеств опять обострился. Столько съесть за праздничный вечер! Что же тут удивительного. Да ещё стул утром был никакой. Придётся принимать опять пурген. Ладно, хоть у Миши всё работает хорошо. Выскакивает из туалета через минуту. Циля Исааковна мыла посуду. Сын привычно писал здесь же за прибранным столом. Как твоё колено сегодня? Отлично, мама. Всегда так говорит. Два дня назад видела, как он крутил коленом на промежуточной площадке. Прежде чем подниматься на свой этаж. Что вам плохой велосипедист вихлял ногой. Вот вам и «отлично». Никуда не деться, нужно опять вести к доктору Середе. На резонансно-волновую терапию. Даст ли Коткин взаймы деньги? Когда даже в Новый год отказались от его молотовника. Вопрос. Не сутулься! Все хондрозы твои от неправильной осанки! Даже не услышал. Грызёт авторучку. Над своим блокнотом. Кому говорю?! Хорошо, мама. Михаил Янович откинул страницу вверх и на новой продолжил писать. *Сейчас, Наталья Фёдоровна, как я уже говорил, время тотальной рекламы. Раскручивание новых и новых брендов. И не только торговых, но и, что страшнее всего, идеологических. Почившие в бозе манипуляторы коммунисты сейчас в подмётки бы не сгодились нынешним манипуляторам. Народ наш стал бараном как никогда – куда хотят его гонят, что хотят, то с ним и делают. Бесчеловечность и жестокость сейчас правят бал, Наталья Фёдоровна. И это не просто фигура речи – реальность.* Михаил Янович прочитал написанное: точно, ёмко. Но интересно ли будет Наташе об этом читать? Подумал чуть и стал писать о другом. О том, как встретил с матерью Новый год. *Нас пригласила к себе мамина подруга, зубной врач, с характерной фамилией Буровая-Найман, колоритнейшая, надо сказать, особа, но о ней как-нибудь потом. И всё было хорошо, мы готовились, купили подарки, мама сделала в парикмахерской причёску. Вдруг в последний момент случайно узнаём, что Коткин Лев Зиновьевич (мой непосредственный начальник) приведёт туда... кого бы думали? – свою племянницу. Аделаиду Молотовник! Представляете, что мне опять пришлось пережить? Ведь нет на свете ничего страшнее трансвестита, Наталья Фёдоровна! Нет! Конечно, сразу же под благовидным предлогом отказались прийти. У меня, дескать, образовался флюс. Мама такое придумала. И кому доложила – зубному врачу! Буровой-Найман! Буровая тут же предложила зуб вырвать. Прямо перед встречей Нового года. У неё дома. Бесплатно. Новогодний подарок. Представляете? Смех и грех! Мама, бедная, еле отбилась.* Михаил Янович с улыбкой посмотрел на мать. Продолжил. *В общем, встречали Новый год дома. Мама наготовила всего. И специально для меня, как я просил – только русские блюда. Пельмени сибирские, которые я очень люблю, рыбу жареную с картофельным пюре, творожную запеканку с изюмом, салаты разные. Словом, и весь вечер и всю ночь – просто объедались.* Снова прервался. Мать в резиновых перчатках уже чистила раковину. *Комет. Очистит то, что другим не под силу!* Защемило почему-то в груди. Не мог смотреть на мотающуюся голову матери в жалком крашеном перманенте, под которым видна была кожа. На её сутулую похудевшую шею в виде хлебной горбушки. Сглотнул комок. С трудом стал писать дальше. *Потом смотрели ваш российский «Голубой огонёк», а дальше – художественные фильмы. Весёлые и не очень. Смешные и грустные. Я не любитель телевизионных фильмов, сериалов. А после ругающихся матом тёток-скандалисток – просто боюсь телевизор включать. (Всё время на них натыкаюсь, всё время! Как на грязные лужи! Извините.) В кино специально хожу редко. Зимой, когда пишу в парке, чтобы погреться иду иногда в кинотеатр неподалеку. Покупаю дневной дешёвый билет и сижу среди зрителей в зале, греюсь, поглядывая на экран. И даже после таких коротких просмотров мне открылась странная, но роковая какая-то закономерность – во всех российских фильмах, которые я увидел, теперь играют только лысые актёры. Сплошь! Не старики, не пожилые (это ещё можно было бы как-то понять), нет – совсем молодые, до тридцати лет. В советское время их бы на километр не подпустили к съёмкам в кино. На два километра! А сейчас – пожалуйста. Все востребованы. Все облысевшие парни стали киногероями. Все при деле. Что за поветрие такое? Сплошь молодые лысачи! Я тоже лысый, но я разве лезу на съёмку, Наталья Фёдоровна? Я, сверчок, знаю свой шесток.* Опять сутулишься! Тебя палкой по спине бить? Хорошо, мама, не буду. Выпрямился на какое-то время. И снова сник, разъехался на стуле, как бесформенный мешок. Как баба с задом. Над чёрто-

вой своей писаниной. Циля Исааковна никогда не читала то, что пишет сын. Прибирая у него на столе, с какой-то брезгливостью даже – двумя только пальцами – брала неряшливо исписанные листки и пыталась сложить их хоть в какой-то порядок. И нарывалась каждый раз на истерики, скандалы. Видите ли, опять что-то потерялось у него там. План, видите ли, гениального там какого-то рассказа. Занятия сочинительством никогда не считала достойным серьёзного мужчины. Будущего чьёго-то мужа, будущего отца семейства. В далёкие теперь уже времена, когда сын только окончил десятилетку, сама повезла его в Ростов поступать в мединститут. Но сын там – на удивление – с треском провалился. Кроме русского языка, ничего не сдал, ни химию, ни даже иностранный (немецкий) язык. Потом – как назло – был развод с Яшкой Готлифом. Подлым изменщиком. Торгашом. Жуликом и проходимцем. (Вы только представьте себе – он даже сделал себя *Яном* в паспорте!) Дальше был переезд с Украины в Город. И оттуда повезла сына уже в Москву, в институт. И там полнейший провал! Каждый год теребили с армией, но со своими врачебными связями ещё могла тогда сына *откосить.* А потом он действительно заболел, и стало не до армий, не до институтов. Вдруг увидела на полу чистый почтовый конверт. Выпавший из блокнота сына. Хотела наступить, придавить ногой, но сын поднял конверт, сунул обратно в блокнот. Та-ак. Значит, сочиняет не рассказы, а письмо толстой чертовке. В Город. Попыталась заглянуть через плечо. Заперла дыхание. Отпрянула – сын начал подниматься из-за стола. Собрал всё и пошел к себе. Циля Исааковна опала на табуретку. Значит, ничего не помогло. Рви письма чертовки, не рви – по-прежнему переписываются...

...Перед сном из блокнота всё переписал набело. Получилось два листочка. Долго думал, как закончить письмо. Наконец написал: *Плохо мне без Вас, Наталья Фёдоровна. Очень плохо. Я без Вас – одинокий полустанок в степи. Пролетают мимо поезда. Пролетает жизнь... Где вы? В каких далёких землях? Отзовитесь! Преданный и любящий Вас Михаил Готлиф (Миша)*. Вложил листочки в конверт. (Письмо будет отправлено в дополнение к телеграмме.) Облизнул клей на конверте, заклеил. Утром можно будет опустить его на работе. В ящик, висящий в операционном зале. Лёг. Выключил лампу.

5.

Когда Вера Николаевна рассказала, что Ивашова по-прежнему переписывается со своим Готлифом, что письма от него приходят на почтовое отделение, где она сама работает, Михаил Андреевич тихо произнёс:

– Ну что ж. Как говорится, не по хорошему мил, а по милу хорош. И ничего уж тут, Вера, не поделаешь. Не любит она нашего Юру.

Но Вера Николаевна опять завела своё:

– Да какая вообще любовь, Миша! О чём ты говоришь! Ей же квартиры нужны. Теперь уже две. Понимаете? Вот эта наша и бедного Миши-еврея. Какая любовь? Подлый расчёт, и больше ничего.

Супруги Зимины смотрели на свихнувшуюся подругу, уже жалели, что пришли к ней сегодня, 1-го января. То же самое было и вчера, и в новогоднюю ночь. Только декорация была другой – не эта, а квартира Зиминых. Празднично убранная, со сверкающей ёлкой, с богатым праздничным столом

Уже вчера встретить Новый год Вера пришла возбуждённой, какой-то настёганной. Быстро, равнодушно отдала подарки и стала ходить вдоль накрытого стола, потирая руки. Как мужик перед выпивкой. Кивая на стол, подмигивала растерявшимся хозяевам. Одета она была в чёрную вислую кофту с блёстками. Оголённые тощие руки её казались жидкими, старушечьими. Востроносое лицо ещё больше поджалось, осунулось.

За столом её немного знобило, она посмеивалась. Впервые за шестнадцать лет, как привезла сына из Ташкента в Город, она встречала Новый год без него. Галя подкладывала ей всякой наготовленной вкуснятины. («Попробуй-ка вот этот салат! И вот этот обязательно!») Миша не отставал, всё время подливал в бокал. Старался отвлечь её от больных дум своими байками, анекдотами. Она вроде бы смеялась, но продолжала думать о своём. Мало обращала внимание и на телевизор, где ежегодные обязательные четверо будто бы нормальных мужчин стукались пивными кружками, выламывались, заплетали языками, изображая из себя пьяных в бане.

Уже хорошо выпили, закусили. Супруги попытались завести песню, но Вера Николаевна, немного опьяневшая, всё сворачивала и сворачивала на своё. Как тот первоклаш-матерщинник. Не давала петь. Говорила только о сыне. Которого вот нет за этим столом, а где-то он там, на этой чёртовой Льва Толстого, и что он сейчас там делает – никому не известно. Да! Упрямо ждала от друзей предположений, продолжения темы.

– Да он же нормальный мужик, – смеялся Миша. – Неужели не знаешь, что делают мужчина и женщина, когда остаются вдвоём? Ещё и в новогоднюю ночь! Ха-ха-ха!

– Ну что ты говоришь? Что ты мелешь? – защищала подругу от слов мужа Галина. Как мать. Не совсем уверенно предположила: – Просто они смотрят сейчас «Голубой огонёк»... Так же, как мы...

– Ха-ха-ха! – не унимался супруг.

Вера Николаевна готова была плакать. Словно только сейчас поняла, что́ там может произойти. На этой Льва Толстого. Сегодня, прямо в новогоднюю ночь. Миша! Галя!

Супруги обнимали её, утешали. Потом пытались заразить песней:

Не слышны в саду даже шо-ро-хи...

– Ну же, Вера, давай!

...всё здесь замерло-о до утра-а-а...

Часа в два, когда первый хмель прошёл и пили чай, зазвонил междугородний. Юлька! Все трое вскочили. В телефонной трубке громко долбила музыка в какой-то жаркой компашке. И на её визжащем и долбящем фоне – в трубке словно бы разлёгся и отдыхал самодовольный, не очень трезвый голос москвички. Который в конце концов начал плыть, как заедающая пластинка, и умолк совсем, оставив в трубке только долбящий визгливый фон.

– Юля! Юля! – кричал Михаил Андреевич. Потом долго клал трубку, промахиваясь. – Напилась чертовка! Точно. Надралась!

От волнения раскалившаяся яичница на его лице стала синеватой по краям, пылающей.

Потом, точно в пику разгулявшейся москвичке да и всяким местным юричикам заодно – тоже танцевали. Все трое. Под старый гулкий магнитофон. В новогоднем колпаке Вера Николаевна походила на остроносого звездочёта. Она ходила, двигала тощими руками на манер паровозной тяги. Или словно бы примерялась боксировать. Михаил Андреевич выкидывал прямые ноги вперед. Дедморозовская борода и усы у него съезжали набок, превращая его в косоротого инсультного старика. Он умудрялся возвращать всё на место. Ну а Галя только плавала вокруг них. Со снежинкой снегурочки на голове передвигалась на цыпочках. Как и положено толстой снегурочке.

Поспать легли часа в четыре. В восемь поднялись, попили чаю, и Вера пошла домой. На разведку. Ждали её звонка часов до двенадцати. Сами позвонили. Молчит. Уж не случилось ли там чего? Собрались, в две сумки набрали оставшихся Галиных вчерашних блюд и сами отправились.

И вот пришли. В гости: Юрия нет, опять умчался к любимой, Вера сидит – будто на войну его проводила.

– Так он хотя бы поспал?

– Он уехал опять к ней ровно через час. «Проветриться», «прогуляться» – с сарказмом передразнила сына Вера Николаевна. Мол, мы-то понимаем это «проветриться-прогуляться».

Супругам стало грустно. Опять на колу мочало, начинай сначала. Зачем пришли? Две сумки с вином и закусками так и стояли забыто в прихожей. Там же на тумбочке лежал завёрнутый в бумагу подарок для Юры, с любовью выбранный Михаилом Андреевичем в Торговом центре. Красивый, в тиснёных цветах альбом для будущих фотографий.

Но Юрий Плуготаренко в последнее время вообще забыл про свой фотоаппарат. Он теперь – только раскатывал. Вот как сегодня, сейчас, возле подъезда на Льва Толстого. Он уже довольно сильно продрог, всё-таки градусов двадцать на улице, а любимая от подруги всё не возвращалась. Может, давно уже дома, но не услышала звонка в дверь? В ванной была?

Инвалид снова въехал в подъезд. Привычно уже – сильными рывками – взобрался с коляской на площадку первого этажа. Позвонил. Смотрел на горящую лампочку в проволочной ловушке. Вслушивался. За дверью – тишина. Опять выехал наружу. Уже два часа дня. Странно. Сказала, что пойдёт, поздравит их, попьёт с ними чаю и домой. Очень странно.

Внюхиваясь как февральский тощий волк, ищущий свадьбу, потянул в сторону городской площади. Чтобы согреться, прибавлял и прибавлял ходу.

Площадь Города 1-го января напоминала раскинувшуюся шумящую ярмарку. Слепой от вчерашнего снега Ильич, казалось, не ориентировался над ней, приседал, искал рукой поводыря.

На вершине ледяной горы, из громаднейшей бутафорской головы Ильи Муромца в шлеме, прямо из разинутого рта его, густо срыгивались ребятишки. Размахивая ручонками и вопя, на жопках катились вниз, каждый раз образуя у подножия горки весёлую кучу малу. Лоботрясы постарше летели

вниз на прямых ногах, утробными ревя басами. Но у подножия горки спотыкались, бежали и летели на крутой сугроб по-лягушачьи – с широко раскинутыми ногами.

Дымились всюду разные жаровни и шашлычницы – весёлый народ насыщался возле них, а заодно и хорошо наливал. В раскрытых эстрадных коро́бках в красных рубахах и цветастых сарафанах (казалось, прямо на голое тело!) отплясывали и кружились русские парни и девки, нисколько не боясь на морозе простудиться. Укутанные намалёванные матрёшки в белых фартуках и нарукавниках за деньги угощали горячими беляшами из больших термосов. Наливали кофе в бумажные стаканчики. Богатой разукрашенной купчихой стояла пышная городская ёлка в хороводе из ледяных зайчиков, белочек и залихватски пляшущих емелей-дураков. Чуть в стороне от ёлки хозяином всего стоял высоченный ледяной Дед Мороз с прилепившейся к нему Снегуркой и крепко вбитым в землю посохом. И всю площадь и округу неутомимо бомбил голос микрофонного зазывалы.

– Дядя Юра! – вдруг расслышал в гулком землетрясении на площади Плуготаренко.

К нему бежал Женька Проков. Без собаки, с какой-то девчонкой. Поздоровавшись, они сразу поздравили его с Новым годом. Девчонка смотрела на инвалида восторженно, как будто знала его всю жизнь. Женька представил её – Люська Панфилова. Рядом живёт. Плуготаренко с улыбкой смотрел на востроглазую мордочку сурка в круглой шапке. Значит, племянница, родная племянница Кати Панфиловой, жены умершего Гриши Зиновьева. Спасибо, Люся, спасибо! И тебя с Новым годом!

– А вон папа! – показал Женька. – Беляши ест! Мы уже наелись, а он всё ест и ест.

На Николая Прокова напал очередной жор. Какой бывает у него перед выпивкой. В компании. Или когда он сильно чем-то озабочен. Ел один беляш за другим. Намалёванная матрёшка уже сердилась почему-то. С двумя термосами – бедрастая. «На, кофем хотя бы запей», – протянула парящий бумажный стаканчик. А то, мол, подавишься. Проков стал запивать «кофем».

Подъехавшему радостному другу, казалось, нисколько не удивился. Молча пожал руку, перед этим свою руку тщательно вытерев платком.

Вдвоём двинулись к ледяной горке, куда уже умчались Женька и Люська.

Плуг ехал и говорил:

– ...Ерунда это всё, Коля. Просто твоя мнительность. Не было этого ничего. Не позволит Валентина такого. Ерунда, чушь, выкинь из головы.

У Прокова от обиды опять по-петушиному начал заклёкивать голос. Как уже было сегодня дома. Сам себя Проков не узнавал. Ещё не хватало тут разреветься. Но кому, кроме Юры Плуга, он мог рассказать о своей негаданной беде. Как мне жить теперь с такой занозой, Юра? Плуготаренко успокаивал друга, опять говорил, что глупость это всё, мнительность. Забудь, Коля. О своём счастье, наконец-то пришедшем к нему, рассказывать теперь не мог. Не поворачивался язык говорить о нём расстроенному другу.

Два инвалида-афганца смотрели на катающихся с горки детей. Один стоял-сутулился в старом, давно выгоревшем армейском бушлате, из левого рукава которого торчала ядовито-черная, присобранная кисть протезной руки. Другой, колясочник, сидел. В лёгкой осенней куртке на рыбьем меху, но в тёплых зимних спортивных штанах. Его птичье погрустневшее лицо еле виднелось в пышной меховой шапке.

Люська и Женька летели с горы как все – на жопках, размахивая ручонками и вопя.

Самостоятельный Колька Мякишев катился серьёзно. Не махался и не кричал. С прижатыми к бёдрам руками – натуральный саночник-бобслеист, летящий в спортивном снаряде.

С Женькой и Люськой знакомиться не хотел. Стоял перед ними букой. В коротком пальтишке и пожизненных своих колготках. Без писюна. В шапке. Охлёстнутой резинкой. Такой же шапке, как у этой Люськи. Держался за коляску дяди Юры. Сердито ревновал.

В коляску садился как в свой автомобиль. Помчался домой, наяривая с дядей Юрой рычагами.

Вскочившие Зимины и Вера Николаевна увидели в окне этот мчащийся автомобиль-тянитолкай. На противоположной стороне улицы. Автомобилисты остановились, резко свернули и помчались через пустую дорогу прямо на них, в испуге отпрянувших от окна.

Глава двенадцатая

1.

В конце января устроили общее собрание. Человек тридцать-сорок инвалидов расселись в небольшом зале Общества. Семеро колясочников заехали в проход между двумя рядами. В затылок друг

другу. Тем самым создав из колясок некую организованную затычку в проходе. Случись какой-нибудь афганский взрыв и пожар – началась бы свалка. Совсем неорганизованная.

За красным столом на сцене сидел приглашенный военком Ганин, пожилая Дрожжина Алевтина Павловна, председатель жилищной комиссии райисполкома, и ещё какой-то хмырь в сером пиджаке и вольно расстёгнутой белой рубашке. Вроде бы от профсоюзов. Сидящий тоже вольно – с рукой на спинке стула и с ногой на ногу.

Отчётный доклад делал Проков. В нём он перечислял всё, что получили инвалиды от государства за прошлый год. Три усовершенствованные, на рычажном ходу, коляски по льготной цене, пятнадцать новых протезов рук и ног бесплатно, одну машину с ручным управлением без очереди Кобрин купил, а трёхкомнатную квартиру (расширение) получил Никитников. Четверо инвалидов ездили, лечились в санатории «Лебедь». Бесплатно. Всех получивших помощь и льготы называл поимённо. После фамилий делал паузы. Словно ожидал – названные встанут со своих мест. Если смогут, конечно. Предъявят себя президиуму. Мол, без дураков. В конце поблагодарил за поддержку Ганина, Дрожжину Алевтину Павловну и товарища от профсоюзов со странной для всех фамилией – Несмывайлов. (Вольный Несмывайлов, не меняя положения ног, склонил голову и приложил к груди руку.)

Доклад получился неплохой. Инвалиды даже похлопали. Не торопясь Проков складывал листы в папку. Словно ещё аплодисментов ждал. Даже шмыгал своим шлемовым носом. Пошёл, наконец, с папкой. Сел рядом с Ганиным. Тот пожал ему руку.

Ёрзая протезами, тяжело взобрался на сцену Громышев. Рукой опёрся на край трибуны, будто на плечо корешка, друга, который всегда выведет куда надо. Сладко складывая губы, говорил о финансах Общества. Все цифры, куда и сколько, докладывал инвалидам наизусть. Но всё время взмахивал бумагами. Будто честный голубь крылами. Мол, не хухры-мурхы, а вот, всё здесь. Вот в этих бумагах. Формата А4. Видите? Инвалиды видели. Кивали. Молодец, Громышев, хорошо считаешь.

Плуготаренко опоздал на собрание. В гардеробе, забитом толстой одеждой инвалидов, бросил куртку и шапку на стул и поехал к широко распахнутым дверям зала, откуда тянуло жаркой духотой от скопившихся внутри людей. Увидев забитый колясками проход между рядами, лезть в него не стал – принялся ездить у двери. Да всё, о чём говорил Проков со сцены, было слышно и здесь.

Когда тот сказал про телефон и про новую коляску, доставшуюся ему, Плуготаренке, первому – дурашливо вскинул кулак над головой. По молодёжной моде: – Й-йес!

– Ты чего, Юра? – сразу узнав по голосу, спросил его слепой Никитников. Он сидел в затемнённом углу вестибюля. Вместе со своей женой-поводырём. После света улицы Плуготаренко его и не заметил. Сразу подъехал, пожал ждущую руку:

– Радуюсь, Слава, что целых два раза обо мне сказали со сцены!

Посмеялись. Потом, мало слушая зал, разговаривали. Плуготаренко рассказывал о своём счастье. Почему-то думалось, что Славе и его жене об этом – можно.

– Дай бог, Юра, дай бог. Мы рады за тебя, – говорил слепой Никитников.

Его очкастая полуслепая жена улыбалась. Её правый, увеличенный глаз офтальмолога смотрел на Плуга: ещё одни инвалид пристроен, теперь не одинок и попал, видимо, в хорошие руки.

После собрания инвалиды нехотя выходили и выезжали на белую морозную улицу. По́трое больше старались. С намерениями на троих. Надо теперь тащиться в пивную на площади или на Свободную в «Голубой Дунай». Выпивок (пьянок) инвалидов в здании Общества Проков почему-то не допускал. Как говорится, с водкой пришёл – только на выход! Даже его заместитель, частенько похмельный Громышев, просто выходил из здания и возвращался. До тех пор, пока не падал в здании. И его приходилось оставлять в здании. На ночь. Охранником.

Кто не нашёл третьего, курил и косился на Плуготаренку и Славу Никитникова, прощающихся возле крыльца. Плуг, понятно, не товарищ (свинье), это однозначно, а Слава сегодня под охраной своей шмакодявки. Да-а, незадача.

Зато «чёртов трезвенник Проков» в это время водил по зданию гостей из президиума, зная, что всё здесь чисто. В смысле этого самого. Щелчка под бутылку. Показывал, чёрт бы его побрал, где и что в здании находится. Долго держал всех троих возле длинного ряда фотографий на стене вестибюля. С погибшими в Афганистане парнями из Города. Словно чтобы гости хорошенько запомнили их. Ганин и Несмывайлов хмурились. Мужественно. А пожилая Дрожжина по-бабьи сокрушалась: такие молодые, совсем мальчишки. Покачивала низким лобиком своим. Как крестила парней иконкой.

Проков помог гостям в гардеробе одеться, до дверей проводил, пожал всем руки и пошёл, наконец, в свой кабинет. Там давно уже сидели Члены Клуба Афганских Воспоминаний. Человек десять Постоянных Членов. Этим водки не надо, этим бы только подымить, вспомнить былое. Своё, афганское. Они, похоже, даже не заметили вошедшего хозяина кабинета. Которому пришлось скромно присесть к своему столу, будто бедному родственнику.

Одеяла из дыма плавали по всей комнате, свободно:

...в Афгане ночи тёмные. Сами знаете. Глаз выколи. Душман-снайпер клал на камни китайский дешёвый фонарик, ложился в сторонке и ждал. Какой-нибудь наш салага, оставленный в дозоре, не выдерживал, стрелял по фонарику. Тут душман и поражал дурака. Бывали такие случаи. Или пускали ночью по склонам ишаков. С привязанными фонариками. Дескать, много нас, русские, бойтесь нас! Ну, однажды нам надоело. Шмальнули из танка. Погасили. Больше фонарики по ночам не передвигались. А днём чаще врага и не видели. Постреляют духи откуда-нибудь: из виноградника там или из зелёнки и отойдут. Если видишь их, то далеко, на полтора-два километра – пулей не возьмёшь. В горах днём хорошо видно. Из-за разрежённого воздуха... Да-а. Иногда шли на них. Они видели, что нас больше – разбегались из засад, как зайцы, бросая оружие. В рукопашную сходились редко. Больше так. В кошки-мышки. Да-а...

...а я запомнил свой первый выход пёхом в горы. Жара под 50. Да ещё килограммов пятьдесят полного боевого на тебе. Лезешь со всеми вверх. Ноги чугунные. Лёгкий маскхалат будто гондон – не дышит. От пота вся одежда прилипла к телу, как слизь. Да ещё взводный в задницу всё время пинает. Ты готов пасть и катиться к чёртовой бабушке вниз. На всю жизнь запомнил...

...да какой чай из верблюжьих колючек! Какой там помогал! О чём ты говоришь! У душманов-то трубочки-фильтры были. Итальянские. Американцы снабжали их. Через такую трубку хоть из грязной лужи соси. Ничего не будет! А мы-то – с хлоркой в таблетках. И всё. И как хочешь. Хоть десять их кидай в воду – ни черта не помогали. Вот и цеплял ребят то гепатит, то тиф. Да вон покойного Гришу Зиновьева вспомни. Из Афгана выбрался живой. А дома всё же загнулся. И всё от той, афганской, грязной воды. Здесь она его и достала. Дома...

...а мы воинский устав в Афгане частенько нарушали. Когда уже пообтёрлись там. И командиры смотрели на это сквозь пальцы. К примеру, рота вышла из операции, из боёв, к примеру, из Панджшера. На отдыхе мы теперь. Или где-нибудь в охранении. Складов там, военных объектов. Ты теперь часовой. По уставу обязан стоять возле склада или ходить вдоль него. И ты ходишь, как дурак, от одного угла к другому. Или круги вокруг склада даёшь. Это в Союзе хорошо по уставу ходить. Где-нибудь в Туркестанском военном округе. В Афгане так не получалось. Местность часто открытая, пустая, и ты виден как на ладони. Казалось, и сам видишь всё вокруг хорошо. Никто к тебе скрытно не подойдёт. Но это твоя ошибка. Душманы, прежде чем грабить склад, пускали вперёд снайпера. Тот полз и метров с пятидесяти бил тебя. Просто как куклу. Это днём. А ночью и того хуже. Не дай бог, склад освещён по периметру. И ты топаешь опять по уставу от одной лампочки до другой. К тебе просто подползают и снимают тебя ножом. Режут горло. У нас двое так погибли. Мотались вдоль склада по уставу. Поэтому если ты не дурак, сам прячешься где-нибудь возле склада и наблюдаешь. И днём так, и ночью. Тебя не видно, а ты видишь всё. И духи в полной неуверенности: ушла охрана или нет? Так я и встретил один раз неуверенных. Автоматным огнём. Пятеро их было, неуверенных. Все поплясали передо мной и полегли. Прямо возле склада. Правда, один минус в такой маскировке есть. Когда спрятался ночью, лежишь, пялишь глаза – можешь заснуть. А уж тут опять взводный пинает тебя в задницу. Ха-ха-ха! Так что живым хочешь остаться – маракуй. Не по уставу...

Проков курил со всеми, но молчал. Хмурился. Как отец. Опять ребят растащило по всему Афганистану. Мы под Кандагаром. А вот мы в Панджшерском ущелье. Не соберёшь теперь их и не остановишь. Часа на два шарманка будет. Только что поднять руку: всё, ребята, по домам, Общество закрываю... Однако сказать так, одёрнуть никак нельзя. В свой Дом ведь люди пришли. С жёнами-то у себя дома не больно повспоминаешь. Придётся ждать. Пока не наговорятся.

Громышев тоже мало слушал дымные воспоминания. Его медленные толстые пальцы неуклюже ворочались по клавиатуре компьютера. Он зачем-то вносил изменения в свой отчёт. Который инвалиды только что прослушали. Потом прогонял исправленное через принтер.

На время умолкнув, инвалиды с интересом смотрели на скрежещущую машину, сбрасывающую и сбрасывающую листы... И по новой закуривали:

...а вот у нас был случай в Тогапском ущелье...

2.

Собака была привязана поводком за чугунную оградку возле двухэтажного кирпичного здания. Как убитый горем человек, закидывала к небу длинную приоткрытую пасть и плакала.

Сначала перед воющей собакой стояла только девушка. Одна. В лохматой дошке. С циркульно расставленными ногами. Как бы говоря: ну, в чём дело, псина? Кто тебя обидел? Затем остановилось ещё несколько человек.

Женщина в шапке с хвостиками сказала, что собаку просто бросили. Здесь, возле здания городского Архива. Мужчина в пыжиковой шапке не согласился, сказал, что собака наверняка сама потерялась, а кто-то сердобольный привязал её. Может быть, хозяева и найдут теперь. Они ведь, эти собаки-колли, дурные, дома не знают, все длинношёрстные, не поймёшь: то ли кобель перед тобой, то ли сука.

Летящий на всех парах Плуготаренко – резко стал. Из перемётной сумы выхватил фотоаппарат, начал быстро снимать, катаясь вдоль людей и воющей собаки. И вдруг тоже застыл. Точно ударенный кем-то по затылку. Во все глаза смотрел на собаку, не чувствуя пальцами ледяного фотоаппарата.

Собака всё выла. Делала короткие передышки. Словно чтобы побольше набрать воздуха. Снова закидывала узкую морду, закрывала глаза и плакала.

Странная, не ожидаемая никем, тихо подъехала скорая, похожая на компактный катафалк. К дверям здания быстро прошла белая врач с медицинским баулом и два санитара со сложенной каталкой и носилками.

Никто ничего не мог понять. Смотрели то на воющую собаку, то на дверь, за которой скрылись врач и санитары.

Через какое-то время врач с баулом вышла обратно и направилась к машине. С двух ступенек крыльца санитары скатили расставленную каталку. На носилках лежала старуха с закрытыми глазами. После оживляющих действий врача она казалась растерзанной – пальто и две кофты остались расстёгнутыми, теплый байковый халат ниже живота тоже разъехался, – были видны старухины панталоны, её простые чулки со съехавшими старомодными резинками. Суетливым санитарам почему-то в голову не приходило, что женщину нужно прикрыть, хотя бы поправить халат – прямо такой, раскрытой, жалкой начали толкать её с носилками во чрево скорой. Сложили каталку, сами полезли. Захлопнулись. Не спеша, так же беззвучно, скорая поехала.

Когда старуху вывозили, вой собаки резко усилился, полетел в запредельную вышину. Но она словно не видела ничего – не тронулась с места, не дёрнулась за хозяйкой. Зрителей это уже словно бы раздражало, смотрели на неё с укоризной. Мол, что же ты? Хотели, видимо, чтобы собака сорвалась, чтобы бежала за скорой и с воем прыгала на неё, как на гроб.

Плуготаренко хотел подъехать, отвязать её и попытаться увести с собой. Но его опередил какой-то коренастый подросток. Зыркнув зло на бездействующих взрослых, крепеньким плечом оттолкнул в сторону девушку с циркульными ногами. Подошёл к собаке. У пацана светлая лыжная шапка толстой вязки походила на торчливую кукурузу. Он присел к собаке и отвязал её. Легонько дёрнул за поводок. И собака пошла за ним, покралась. Будто после осуждения людей, уже не плача.

Старик, сокрытый драным малахаем, глядя вслед, сказал:

– Смотри ты, сквозь стены увидела смерть хозяйки...

С опозданием выбежала в одном платье на крыльцо молодая сотрудница Архива. В руках у неё была стянутая трюфелем сумка старухи. Несколько женщин и мужчин сразу заторопились, пошли в разные стороны. В том числе и старик, бойко работая костыликом.

Женщина посмотрела на оставшегося растерянного инвалида в коляске. Ушла обратно в здание.

Плуготаренко не помнил, как приехал домой. Увидев дикие его глаза, Вера Николаевна отпрянула от порога: опять турнули! Умчался на «встречу с женой» – часа не прошло. Точно – опять выставили. А ведь сегодня воскресенье, и о н а не работает. Дома.

Прошло почти два месяца, как сын сошёлся с толстухой, а дома у неё был по-прежнему на птичьих правах. На день его в квартире не оставляли, а вечерами почти всегда возвращался домой. Теперь по телефону Зиминым на вопрос о сыне Вера Николаевна всегда отвечала одинаково: а он уехал *на свидание со своей женой*. Ага. Так он её называет. Он ведь не живёт с ней, он только у неё ночует. И то не всегда. Только тогда, когда это ему позволяют. И, изумляя друзей, добавляла жаргоном своих телевизорных ментов и воров: «Он ведь, как там считают, – рамсы попутал. Галя! Миша! Рамсы-ы! Ха-ха-ха!»

Зимины недоумевали: ей бы радоваться, что сын не закрепился у толстухи окончательно, что всё ещё может повернуть назад, а она...

Даже после таких невинных вопросов о сыне у Веры Николаевны начинало саднить душу. Сын в эти два месяца, как ненормальный, везде наплескал языком про себя и Ивашову. Каждому знакомому он радостно говорил: вон идёт с работы моя жена, эти цветы для моей жены, вот еду встречать её, извините, тороплюсь, в другой раз поговорим. То есть он, думали нормальные люди – женился. Поздравляли даже его. И того не ведали, что свадьбы никакой не было. Да какой свадьбы! какой регистрации в загсе! – просто собраться узким кругом, как-то отметить, как-то закрепить положение любовников-сожителей – и то толстуха не желает. А он, дурачок, везде – моя жена! это моя жена идёт!

А сегодня вернулся без лица. Что-то произошло. Что-то серьёзное. Поставили на место? Окончательно разорвали с ним?

Вера Николаевна почувствовала не радость – боль.

Подошла, спросила у закрытой двери:

– Юра, что случилось у тебя?

– Ничего, – глухо донеслось в ответ.

– Может, выйдешь? Чаю попьёшь?

– Нет.

Мать отошла от двери.

Лежал на диване. Голова пылала. Видел всё произошедшее возле здания Архива. Как метался с фотоаппаратом вокруг несчастной собаки и зевак. Как увидел, наконец, главный снимок свой. Его мгновенные версии, варианты. Снимал их из разных точек, положений. Справа, слева, спереди, сзади. А снимок был, собственно, один. Его. Единственный. Под названием «Горе собаки». С сюжетом нескончаемо плачущей брошенной длинношёрстной псины и стоящей перед ней девицы, словно посланницы мутных зевак. С руками в бока, с расставленными, какими-то высокомерными ногами.

Что же ты делаешь, подлец! – словно ударил его кто-то там по башке. И он замер, забыв про фотоаппарат. Смотрел на собаку, нагнетая в себя её вой. Боль всего живого...

Сфотографировать умершую собачью хозяйку, раскрытую всему миру, со съехавшим чулком, с её старушечьей резинкой... просто не смог, не посмел.

Для чего-то пытался вспомнить сейчас, понять, почему он оказался там. Как его вынесло на Карбышева, к Архиву. Совсем в другой стороне от дома Ивашовой.

Он поехал к Наталье специально поздно, около девяти, чтобы дать ей в воскресенье поспать. Ещё полчаса, наверное, гонял по улицам неподалёку от её дома. И вдруг оказался на Карбышева, возле Архива, возле воющей собаки. Кто притащил его туда?

Вскинувшись на локоть, смотрел на мелкомасштабную карту Города, пришпиленную рядом со шкафом. На кособокие жилищные массивы её, с линиями улиц и улочек. Чтобы попасть на Карбышева, нужно было проехать городской парк (мимо Адамова и Сатказина, притом не замеченным ими!), вдоль городского рынка, переехать мост через замерзшую речушку Комендантку, и только тогда выехать на Карбышева, к Архиву, ко второму зданию от угла. Но ведь он не помнил этого! Совсем не помнил, как ехал туда!.. Впрочем, как и обратного пути домой. Память включилась, когда своим ключом открывал дверь, когда увидел пятящуюся мать, её растерянные испуганные глаза.

Сын приехал на кухню обедать. Был он бледен. Пепельно-сер.

Не поднимая глаз, хлебал щи. Мать смотрела, готовая заплакать. Говорила одна. Голос не слушался её, подрагивал:

– ...Юра, ты давно превратился в хвост, которым виляет собака. В хвост, Юра. Где же твоя гордость, Юра?

Сын вдруг закричал:

– Не говори о собаках! Слышишь?! Никогда не говори о собаках!

Лицо его тёмно вспыхнуло, как будто покрылось серой окалиной. С ненавистью смотрел на мать. Бросил ложку, перекинул себя в коляску, поехал к себе.

Вера Николаевна беспомощно заплакала. Сын сошёл с ума. Из-за своей толстухи сын свихнулся.

3.

После душа утром бельё Ивашова надевать не стала. Всё равно стащат, или самой придётся снять. На голое тело вернула махровый синий халат, завязала на бант пояс. Если дёрнет кое-кто короткий конец банта – халат распахнётся, мгновенно явив много мяса. Удобно. Время не нужно будет терять. Да.

В кухне разбила себе яичницу, поставила чайник. Резала хлеб. Достала масло из холодильника, поставила сахарницу. Ждала яичницу, поглядывая на голые стены.

Яичница хлопалась. Сняла сковородку на подставку, на стол. Выключила чайник. Начала есть. Подходило к одиннадцати. Плуготаренко не ехал. Видимо, решил дать сегодня своей любимой поспать после рабочей недели. Выспаться. Чтоб свежая была, чтоб крепче любила. Да.

До сих пор поражала сила его. Физическая сила. Его чудовищные, компенсаторно развившиеся руки. Порой действия инвалида напоминали лихие махи гимнаста на коне. Он запросто делал махи куда угодно. В любую сторону. На стул. На диван. На банкетку. Обратно в коляску. Даже ноги его при этих перелётах не казались безжизненными, а словно бы обретали прямизну и твёрдость протезов, как и положено гимнасту, делающему махи на коне. Это поражало.

Иногда во время близости в полной темноте, Наталье казалось, что он висит над ней. Деликатно. Чтобы не доставить ей неудобства. Поколыхивается как ангел. Неземной. Куда в это время исчезали его ноги – было непонятно. Он просто висел. Он казался неимоверной силы йогом, стоящим на руках. Всё тем же гимнастом, застывшим над конём. Приходилось даже сдёргивать его с «высоты». Чёрт знает что!

На стене тикали красивые, в виде ромашки, часы. Единственное украшение в кухне, оставленное Кругловым. Всё поснимал со стен и окон и аккуратно сложил в кладовочку. На полочки. А Таня думает, что муж у неё – неприхотливый, беспечный в быту. Ошибается. Запрятал всё.

Однако уже двенадцатый час. Инвалида нет. Странно. И, главное, не узнать. Телефон после приезда из Африки Круглов в свою квартиру не вернул. Хотя и мог бы. Как ведущий хирург в Городе – в любое время. И Таня просила его об этом. Но – нет. Скуповатым оказался Алексей Сергеевич. Хотя платила бы сама вместе с коммунальными. Однако смотрит хирург далеко – когда квартирантка уйдёт, а это случится когда-нибудь, платить придётся ему. В добавление к коммунальным. А зачем? Если он живёт в квартире жены. И там телефон есть. Практичный дядя. Телефонный аппарат тоже запрятал в кладовочку. Чтобы не смущал квартирантку.

Под струёй воды оттирала в раковине подгоревшую сковородку. Мыла вилку, нож и чашку с блюдцем. Думала уже об Плуготаренке.

Как любовник инвалид оказался неуёмным. С темпераментом явно нестандартным. (Куда там бедному Мише.) Ему всегда было мало. Чуть отдохнув, пролупив глаза, он снова домогался. Его голодный выжидающий взгляд Наталья ловила на себе постоянно. Как бы он ни маскировался хихиканьем своим или захлёбывающимися потоками слов.

На её откровенное недоумение, которое можно было бы выразить, наверное, всего тремя словами – откуда ты такой? – он ей однажды признался. В жизни его, оказывается, уже были женщины. Да, Наташа, были. Целых три. Прости. – И он лупоглазо потупился. Как бразильский креол. Виноватый перед *Ла́урой*.

Чисто по-женски Наталья купилась, сразу стала приставать, требовать подробностей. Оказалась, что первая была одноклассницей, с которой однажды заперся в тёмном классе и которая на другой же день его отшила. Вторая была – некая *своя в доску Юлька*. С ней он всё детство прожил рядом в коммуналке. А позже непонятно зачем два раза переспал. Перед армией и в армии (?!). («Ну приезжала она туда ко мне. Один раз».) А третья и вовсе – бухгалтерша, аферистка. После нескольких свиданий бросившая его и удравшая со всеми деньгами Общества инвалидов Афганистана. Не густо вообще-то для мужчины, уже прожившего тридцать пять лет. Наталья могла бы похвастаться гораздо большим. Однако сладкий креол всё опускал большие глаза. Всё томно смущался.

Зачем-то упрямо прождала его ещё час. Затем собралась и пошла к беременной подруге. На Тургенева. Сплошные писатели-классики в Городе. Увековеченные в названиях улиц. Плуготаренко живёт на Лермонтова. Общество его – на Белинского. Сама теперь – на Льва Толстого. А Татьяна с Кругловым – на Ивана Тургенева.

Возле подъезда увидела дымящийся на морозе уазик с красным крестом и синим стаканом мигалки. Сразу поняла – за Таней.

Торопливо, неуклюже взбиралась на четвёртый этаж, хватаясь за перила.

Акушерка скорой уже поставила «диагноз». С баулом в руках хмуро ждала в прихожей. Будто в ожидании благодарности, подношения.

Наталья мимо неё ринулась в комнаты.

Уже в чулках и тёплых панталонах по колено беременная стояла у тахты в присогнутой позе тонконогого кенгуру, собирающегося куда-то прыгнуть. Одной рукой держалась за бок, коротко охала.

Наталья сбросила доху, подхватила подругу:

– Таня, сядь, сядь. Вот, на тахту. Я тебя держу!

– Нет, нет, так мне легче! – Татьяна вцепилась другой рукой в запястье Натальи, продолжая гнуться и охать.

Алексей Сергеевич вбежал, начал быстро накидывать на жену мешочное тёплое платье. Стащил его книзу.

Вдвоём всё же усадили Таню на тахту. Наталья ползала, надевала ей зимние сапоги. Конечно, одну молнию заело. Дёргая, кое-как затащила собачку молнии наверх, оставив голяшку сапога будто распоротой. «Ничего. Сойдёт. В машине не замёрзнет», – бормотал Круглов. Сам уже наматывал ей шаль на голову, а сверху ещё нахлобучивал шапку. Сбегал, притащил её дубовое непрошибаемое пальто. Надели. Повели. Непонятно, когда успели одеться сами.

Осторожно вдвоём спускали Таню по лестнице. Ниже равнодушная акушерка поматывала баулом, точно указывала им путь. Без неё бы просто заблудились.

Еле втащили закутанную охающую тумбу в медицинский уазик. Всю дорогу запястье Натальи сдавливали ледяные пальцы, а при схватках лицо Тани становилось безумным. Изо всех сил Наталья прижимала подругу к себе. Словно стремилась как-то унять, придавить её схватки. Акушерка с баулом сидела равнодушно, смотрела в окошко. Алексей Сергеевич рядом с шофёром весь подался к стеклу, Как ведьма на метле летела и выла где-то гораздо выше машины включённая сирена-мигалка.

Роддом № 1 находился в сравнительно новом, достаточно высоком, но совершенно безликом здании, похожем на увеличенную копию хрущёвской общаги начала 60-х. Такую же голую и серую. Без излишеств.

Алексея Сергеевича как врача, как хирурга в Городе знали многие, а уж врачи, наверное, – все. Однако даже такого знаменитого дальше приёмного покоя не пустили. Оставили с Натальей и ворохами Таниных одежд. Вскрикивающую Таню, уже в белой рубахе, повезли куда-то по длинному коридору.

Хирург с железными нервами беспрерывно ходил, умудряясь ничего не задевать в комнате приёмного покоя. Ни каталок, ни другого медицинского оборудования.

– Может быть, спирльтяги? Алексей Серльгеевич? – прокартавил сидящий за столом дежурный врач, вежливо наблюдая за признанным мэтром. Медсестра с готовностью достала наполненную мензурку.

Круглов даже не услышал картавого. Медсестра разочарованно поставила мензурку обратно в шкаф.

На плоской медицинской кушетке Наталья сидела в обнимку с одеждой Тани. Поглядывала на закрытую мутную дверь в коридор. Чутко вслушивалась. Словно ждала оттуда писка новорождённого. Сколько прошло времени, не представляла.

Зазвонил телефон на столе. Врач схватил трубку.

– Алексей Серльгеевич, у вас сын. Поздрльвляю!

Подал трубку. Круглов закричал:

– Анна Николаевна, это Круглов! Как всё прошло? Какие осложнения? Как шёл? Головкой, ногами? Отлично! Разрывы есть? Очень хорошо! Кровопотеря? Отлично! Спасибо, Аня, спасибо, дорогая! С меня магарыч!

Круглов отдал трубку и тут же поймал на грудь толстуху.

Удерживал её, похлопывал по спине:

– Ну-ну, Наталья Фёдоровна. Не плачьте. Всё позади. Я ведь спокоен, – шмыгал железный хирург.

Его провожали из роддома как дорогого гостя. Чуть ли не под локотки. Старались и дежурный врач, и сестра, и прибежавшая акушерка, принявшая роды. Оттирали толстуху в сторону. Всё-таки уважали хирурга Круглова в медицинском сообществе Города.

Домой шли как с наворованными вещами цыгане. Цыган и цыганка. Практикующий хирург, на дню несчётно раз моющий руки и мылом, и антисептиками, – бельё и одежду жены в общем гардеробе для рожениц оставить никак не мог. Всё завязал в узлы. Сейчас шагал с ними домой. Встречным вертикальным глазам подмигивал.

Дома их встретил брошенный разгром. Женская, да и мужская одежда валялась всюду. Наталья начала было всё собирать, складывать, но Круглов её остановил. Приобняв, повёл на кухню, усадил за стол.

Вместе с бокалами поставил на стол тёмную бутылку. Наверняка молдавского или грузинского вина. Выдернул пробку и налил. Сначала Наталье, затем себе. Поднял свой бокал:

– Ну, Наталья Фёдоровна, давайте выпьем за Таню и за моего родившегося сына.

Чокнулись, начали пить. Круглов прервался и зачем-то пояснил – словно бы только бокалу. С сожалением:

– ...Родившегося на пятьдесят четвёртом году моей жизни.

Наталья поперхнулась. Значит, он старше Татьяны на... на девятнадцать лет. Вот это да-а. Наталья не узнавала Круглова. Он всегда казался лет на пять только старше Тани. Солидный мужчина сорока лет. Розовощёк и свеж, как младенец. А это, оказывается, – Танин папа стоит сейчас перед ней. С пустым бокалом, задумавшись. С грустью вспоминает прожитые годы. Которые пролетели непонятно как. В которых ничего, кроме работы, не было. Ведь он и женился даже на ходу. По необходимости. Потому что не пустили бы обратно в Африку. То есть, опять же – не пустили бы работать. Не заметил, как привязался к худенькой некрасивой медсестре, согласившейся стать его женой. И она вот родила ему сына. Странно это всё...

Проникнувшись задумчивостью хирурга, его улыбчивой ностальгией, Наталья тоже молчала. Уже испытывала неудобство. Как всегда рядом с чужим мужчиной. Поднялась. Стала прощаться.

Договорились встретиться завтра в роддоме. В удобное обоим обеденное время. Наталья принесёт молочное, а Алексей Сергеевич фрукты. Ну и обязательно – сливочное печенье, которое так любит Таня.

В прихожей, подавая Наталье доху и шапку, Алексей Сергеевич уже смеялся:

– В обед, Наталья Фёдоровна, родильный дом наш со стороны напоминает здание тюрьмы царских времён. С прилипшими к окнам заключёнными и их родными и близкими внизу. Которые задирают головы, машут руками и кричат, не слыша, не понимая, что им кричат за стеклом в ответ сидельцы. В казённых халатах и рубахах. В общем, жду вас завтра. Покричим, потолмачим Тане. Всё ей будет веселее. В этой, так сказать, тюрьме... народов.

Смотрел на Наталью и смеялся.

Наталья опять удивилась: хирург-то не без юмора. Только юмора чёрного. Роддом – тюрьма *народов*. Смотри-ка ты. Циничный врач. Услышала бы Таня. Она б ему дала «народов».

Только на улице вспомнила, что хотела от Тани позвонить Плуготаренке...

Остановилась возле телефона-автомата. Смотрела на оледенелую железную коробку с выбитыми стёклами. Трубка висела на крючке. Не оборвана. Ощутила вдруг её холод на своём ухе. Трудно пошла. Наверное, она пустая, эта трубка, не работает вовсе. И мелочи вот в кошельке нет. Боялась почему-то обернуться. Опять увидеть будку с разбитыми стеклами.

А может быть, возле подъезда он? Давно ждёт? На морозе?

Тяжело, сосредоточенно побежала.

– Куда прёшь? – скакнул в сторону вездесущий старикашка в малахае. – Паровоз пыхтючий!

Старикашка глядел вслед.

А женщина всё бежала. Смотрела вниз. Как будто столбы вбивала.

4.

– ...Она даже ключ не хочет сделать. Второй ключ, чтобы дать ему. Миша, Галя! Он как цуцик дрогнет у её подъезда. Почти каждый день. Как бездомный цуцик!

Зимина удерживала ледяную вздрагивающую руку подруги. Неряшливая, давно не крашенная седина плачущей Веры резала душу. Беспомощно Зимина Галина поворачивалась к ходящему по комнате мужу. Однако тот вдруг подбежал к расстроенной Вере и въедливо спросил:

– Ты когда отстанешь от него? Перестанешь лезть в его жизнь, а?

Голова его тряслась, бляха ожога налилась кровью.

Кричал прямо в лицо женщины:

– Дашь ты ему жить или нет?! В конце-то концов!.. Ты же не мать... ты же...

Зимин пошёл в другую комнату, хлопнул дверью.

Побледневшая Вера Николаевна молча начала вылезать из-за стола.

В прихожей так же молча одевалась. Глаза её мгновенно высохли, стали дикими.

Галина Павловна не знала, что делать. Робко трогала подругу за плечо:

– Вера, дорогая, прости ты его, дурака. Прости, Вера! Слышишь?

Вера Николаевна была уже в шапке, застёгивала пуговицы пальто. Дико посмотрела в комнату на богатую люстру Зиминых, перевела взгляд на их красивый терем на стене. Откуда, как на заказ, пошла куковать отвальную кукушка.

Вышла.

На улице слёзы опять застлали глаза. Ничего не видела. Как тощий пересохший хлопок, навстречу шли искривлённые фонари с кусками ваты вместо света.

Её кто-то остановил:

– Вера Николаевна, что с вами?

Упала на грудь Уставщикову как на землю обетованную. Плакала, скулила.

– Ну-ну, Вера, успокойся. Что случилось? Пойдём, пойдём, дорогая.

Сидели в каком-то кафе. От света бумажной лампы на столе – с бронзовыми скифскими лицами. Уставщиков не забывал подливать в бокалы. Веру Николаевну будто прорвало, говорила и говорила. Но словно бы только для себя. Торопилась рассказать себе всю свою жизнь.

Когда что-то грохотало с эстрады и начиналась внизу толкотня – останавливалась. Непонимающе смотрела какое-то время, привыкая к помехе, и вновь говорила.

Уставщиков гладил её руку, слушал.

После кафе провожал Веру Плуготаренко домой. Шли всё тем же парком, где когда-то случилась у них близость. Только теперь парк был зимним, блеклым, с сонными фонарями. Мужчина и женщина шли рядом. Молчали. Они помнили всё.

Возле подъезда, поглядывая на теплящееся окно первого этажа, Уставщиков Герман Иванович сказал:

– Знаешь, Вера, у меня ведь тоже не сложилось. Жена после развода укатила с новым мужем в Москву. Детей тоже сманила. Один я теперь... Так что если что...

Он быстро написал, вырвал из блокнота листок и протянул:

– Вот мой адрес и телефон.

Вера Николаевна крепко обняла его и поцеловала.

Вошла в подъезд.

Через два дня, когда сын был в ванной, позвонила:

– Герман Иванович, это я, Вера. Добрый вечер.

5.

Склонившись над ванночкой с проявителем, Плуготаренко ждал. Не трогал, не шевелил утонувшую фотобумагу пинцетом. Как в омуте начала проступать закинувшаяся плачущая собачья пасть. Затем расставленные длинные ноги девицы в чёрном обтягивающем трико, её лохматая шубка, её насмешливое высокомерное лицо... Плуготаренко напряжённо рассматривал. Словно ждал на снимке новых и новых деталей.

Сидел, закрыв глаза, покачивался. Рука сама сгребла в ванночке снимок и мокрым комком опустила в ведро.

Вылил в раковину проявитель.

Пытался отмыть руки от химикатов. Кожу щипало. Руки были как после ожогов.

– Что у тебя опять с руками? – спросила мать, когда возил в тарелке утреннюю манную кашу. – Возьми мои резиновые перчатки, в конце концов. Если разучился проявлять. Как кур воровал. Все руки в пятнах.

Плуготаренко молчал. Вера Николаевна хмурилась, искала рукам занятия на столе. Сын не едет к своей «жене» уже три или четыре дня. (А та, похоже, не очень-то страдает от этого.) Каждое утро он

запирается теперь в ванной. Что-то проявляет там. А что проявляет? – непонятно. После Нового года вообще ничего не снял. Фотоаппарат так и провисел два месяца на гвозде.

– Германа Ивановича недавно встретила. Уставщикова. (Глаза и руки у Веры Николаевны забегали. Руки по столу, а глаза в черепушке.) Он просил тебя заехать к ним. В редакцию. Им пришло из Москвы оповещение. Для тебя и Жулева. Там опять выставка намечается.

Сын молчал, загребал ложкой.

– Слышишь?

– Слышу. – Сын посмотрел на мать: – Передай привет Герману Ивановичу. Уставщикову.

Вера Николаевна нахмурилась.

Мать ушла, наконец, на работу. Снова поехал в ванную.

В красном свете опять колдовал с водой в ванночке и химикалиями. На этот раз всё делал чётко. Без закидонов. Пинцетом вынимал снимки из ванночки и пинцетом же полоскал их в закрепителе. Затем развешивал их на веревку, прихватывая специальными прищепками.

Со снимков капало. Снимки были будто в сукровице. Висели как попало. Некоторые перевёрнутыми. Хотелось поправить сюжет с собакой. Развесить его так, каким он был на самом деле возле здания Архива... Не стал.

Выключил красный свет. Выехал в коридор и закрыл дверь.

Работать, клеить коробки не мог. С фотоаппаратом сидел перед окном.

Тёмным бесом летел февраль. Люди в свинцовой вьюге походили на вертящиеся веретёна. Машины слепли от снега, ползли вроде луноходов. С лучами во все стороны.

Не сделал ни одного снимка.

В двенадцать часов зазвонил телефон:

– Юра, куда ты пропал? Что случилось? Юра! Я волнуюсь. Нельзя же так!

Плуготаренко сказал, что болел. Как прогульщик в школе. Без всякой фантазии. Припёртый к стенке. Температура была. Чтобы не потребовали справку – кашлянул. Два раза. В трубку.

Наталья уже извинялась:

– В то воскресенье Таня надумала рожать, мы отвозили её в роддом. Понимаешь? Она благополучно родила. Сына. Поэтому ты и не дождался меня. Замёрз, наверное. Вот и простудился. Прости меня.

– Меня не было в тот день возле твоего подъезда. Я простудился в другом месте.

Однако Наталья явно чувствовала свою вину:

– Юра, я поговорила с Кругловым, мужем Тани, хозяином квартиры, если помнишь. Он не возражает, если я закажу вторые ключи. Тогда ты не будешь мёрзнуть у подъезда. А ждать будешь меня дома. В тепле. Как тебе такое?.. Почему молчишь?

Плуготаренко давился смехом, отстраняя трубку от лица.

– ...Юра!

Взял себя в руки:

– Спасибо. Но это лишнее. До свидания, Наташа. Я дам о себе знать, когда совсем поправлюсь.

Первым положил трубку. Уже не было смешно. Смотрел на аппарат. Нет, мать права. На сто процентов права. Всё именно так, как она говорит. Но отчего же тогда саднит душу? Тут ещё собака эта...

Поехал к себе. Чтобы лечь там и лежать. Изредка вскидываясь на локоть. Будто находясь в водной среде. С глазами водолазными. Словно не мог понять в этой водной среде, почему его так ударила собака, потерявшая хозяйку. Вышибла из головы всё. Другие спокойно пошли себе дальше. Посмотрели, и ладно. Почему его-то это так зацепило? Да так, что не может прийти в себя до сих пор?

6.

Наталья неверяще отстранила от уха телефонную трубку. Тукающую гудками. Такое пренебрежение! Однако обнаглел. Полезла наружу из той самой разбитой будки, в которую несколько дней назад не решилась войти.

Брошенная будка сразу на ветру засвистела. Вьюга лупила Наталью в спину, толкала вперед. Встречные люди сгибались, крылато парили.

Вот и предложила человеку ключи. Если бы только знал обо всём обидчивый инвалид.

Два дня назад Круглов Алексей Сергеевич изобразил удивление: «Вы ведь сейчас хозяйка квартиры, Наталья Фёдоровна. И вам решать, кому давать ключи. Тем более что я знаю, кому вы их дадите».

Вот именно – знает. Ничем не рискует – надёжный человек Плуготаренко. Ничего не испортит, не утащит.

В свою квартиру приходит теперь хозяин тайно. Зная точно, что Наталья на работе. Все полочки свои пронюхает. Всю кухню. Ванную. Надежда остаётся, что только в постель не залезет. А так – везде. Как кэгэбэшник, почти не оставляет следов. Знала бы Таня, с кем живёт. Хирург. Агент под прикрытием.

«Вы только, пожалуйста, когда стираете, вот этот шланг больше не перегибайте. Пришлось его заменить новым». Понятно. Расходы. «И с ножами, пожалуйста, на столе поаккуратней». Понятно. Пришлось новую клеёнку купить и постелить. Опять расходы.

«А у Юрия Ивановича какая квартира?.. Трёхко-омнатная? Да что вы говорите». Полное удивление.

Из роддома домой сквозь летящий снег ехали на такси. Таню вывели к машине настолько закутанной и громоздкой, что сама держать сына в салоне такси она не смогла. Завёрнутого в тёплое одеяльце новорождённого рядом удерживала в обхватку Наталья. Она всё время приоткрывала кружевное оконце и быстро улыбалась лупоглазому младенцу. То ли умиленно, то ли пугающе. Не давая ему, младенцу, свободно разреветься. У Алексея Сергеевича, сидящего впереди, душа, по-видимому, пела, безостановочно нёс какую-то весёлую чепуху, смеялся, поворачивался к жене, однако в нужные моменты чётко, как навигатор, указывал шофёру верный путь.

На ветру у машины сдёрнул с себя дублёнку, накинул на Наталью и младенца (тем самым погрузив их в вонькую козлиную темноту), повёл сквозь пургу к подъезду. Татьяна, словно всё ещё беременная, откинуто торопливо переваливалась следом.

Перед тем, как убежать обратно в свою хирургию, Круглов по-быстрому показывал двум неумехам, как правильно купать ребёнка. Вот детская ванночка, промытая содой. Горячая вода, остуженная до 36-37-ми градусов. Проверять не локтем, как это делают бабки, а градусником. Вот он, видите, плавает. Два кристаллика марганца бросаем в воду. Осторожно – под головку и попку – берём и медленно опускаем купальщика в воду. Вот, даже не пикнул. Пупочную ранку ни в коем случае не трогаем водой, зелёнку не смываем. Поколыхиваем купальщика в воде, чтобы привык к бассейну. И приступаем к омовению. На первых порах без всякого мыла. Головка лежит на сгибе моего локтя. Видите?

Осторожно моем волосики. Темя не давим. Мозг нам нужен не сплюснутым, а нормальным, умным. Личико не трогаем. Дальше оглаживаем водой всё тельце и ножки. На первый раз достаточно. Где полотенце, черт побери! Да не это – махровое! Так. Хорошо. Заворачиваем купальщика в полотенце, кладём на стол и начинаем промокать. Ни в коем случае не растираем. Дальше его вот на эту тёплую пеленку. Так. Крест-накрест вяжем подгузник (никаких памперсов) и пеленаем. (Круглов быстро, жёстко, как сестра из роддома, пеленал ребёнчишку.) Всё. Готов. Ну а теперь – я побежал.

Да-а, уникальный мужик, покачивала головой, приходила в себя Наталья, когда хлопнула дверь. Схватилась даже за ванночку на столе. Как выплывшая из пучины и уцепившаяся за спасительную лодку.

Гордящейся мадонной Татьяна уже подсовывала младенцу грудь.

Вечером муж и жена спорили о том, как ребёнка назвать. Каждый протаскивал своё имя. Взывали к Наталье-арбитру. Однако та (опять между двух огней) боялась даже слова пролепетать. О ней тут же забывали и снова спорили. В конце концов, лежащий и пялящийся непонятно куда младенец стал Вячеславом. Славой. «Ах ты маленький Славик!» – увидел он вдруг перед собой не одну, не две, а целых три сверлящие козы!

Глава тринадцатая

1.

...Ну как живёшь, Снежная Баба? Молотовник Аделаида лезла прямо к глазам. Молотовник Аделаида была пьяна. Её спутник – тоже. Они выламывались перед Готлифом, сидящим на заснеженной скамье. Смотри, Гена, вот из-за этого пидора я чуть не поссорилась со своим родным дядей. Прикинь! Михаил Янович смотрел вниз, остановив ручку в блокноте. На прощание его резко хлопнули по завязанной большой шапке. Пока, полудурок! Дро... свои стихи! Поволоклись в обнимку, вопя своего

«бухгалтера», который «вот он какой! такой простой!» С палкой вдруг стали гоняться за белкой. Чуть было не прибили. Но та увернулась, взлетела на дерево. Тогда начали дубасить по дереву. Где ты там, стервозка! (Помогите! помогите! – попискивал, звал на помощь Михаил Янович.) Бросили палку, снова поволоклись по аллее, цепляясь друг за друга и вопя «бухгалтера». Готлифа трясло на скамье будто в припадке. Кое-как поднялся. Прибежал пионер. В такой же громадной завязанной шапке. Дядя Миша, я милицию сейчас вызову! Из пальто выдернул походную большую мобилу с усом, выданную ему как внештатному сотруднику Живого уголка парка. Начал тыкать кнопки. Не надо, Женя, остановил его Готлиф. Их уже забирают. Смотрел вместе с мальчишкой, как Молотовник возле парка отбивалась от двух милиционеров, тащащих её к глухой машине, подмаскированной красными крестами. А там из высокой распахнутой дверцы её уже встречали растопыренные пьяные руки кореша. Помогали ей, втаскивали. «Вот ты какой! Такой простой!» Готлифа всё потрясывало, он потирал грудь. Бесчеловечная мерзавка! Площадная дрянь! Вкладывал блокнот во внутренний карман пальто. Руки дрожали, совали мимо. От зверинца закурлыкал для белки пищак на обед. Белка сразу запрыгала с дерева на дерево, руша снег. Пионер Женя попрощался и тоже побежал к зверинцу. Чтобы рассказать служителям о двух недоумках. Которые чуть не убили белку. И вообще разработать с коллегами стратегию борьбы со всякими выродками. Пошёл к выходу, наконец, и Михаил Янович. Отряхивал с пальто снег. Как рассказать о пережитом Наташе. Мало того, что на твоих глазах чуть не убили белку, тебя бьёт по голове средь бела дня проклятый трансвестит! Разве расскажешь про такое. Останавливался, вынимал руку из варежки, сдёргивал запястьем слёзы. Тем не менее Коткин Лев Зиновьевич не узнал своего подчиненного, смело севшего на стул. Большое лицо почтальона просто не вмещалось в наглухо завязанной шапке. От ехидства, от пшыкающего смеха. Что с вами, Михаил Янович? У вас что-то случилось? Это не у меня, а у вас, Лев Зиновьевич. У вас. Что, что такое! Коткин начал подниматься из-за стола. А-а, не скажу! Ни за что не узнаете! Готлиф уже хохотал. Готлиф понёс хохот к двери. В коридоре Зяблова отпрянула от него, смеющегося, в сторону. Оборачивалась, спотыкалась. Юркнула ко Льву Зиновьевичу. Более или менее пришёл в себя на улице. Вытирал слёзы. Другие слёзы. Слёзы злорадства, отмщения. На сегодня осталась ещё одна смерть от преподобной Зябловой. Чёрт бы её побрал совсем! Взобравшись на пятый этаж, стенания и плач прослушал спокойно. С пониманием. Искренне сочувствую. Простите. Ощупью спускался по лестнице. Колено ломило так, что хотелось взвыть. В аптеке покупал лекарства по рецепту. Не для себя, для матери. Сердечный приступ случился у матери месяц назад. 15-го января. Первый в её жизни. Напугавший не столько её, сколько его, сына. Она сползла перед ним по стене на пол и раскинула ножки. Держалась за грудь, коротко дышала, закатывала глаза. Он не знал, что делать. Никаких сердечных лекарств в доме не было. Побежал из квартиры. К Анне Тарасовне Бойченко. Вместе засунули сидящей у стены нитроглицерин под язык. Циля Исааковна открыла глаза, будто из омута вынырнула, стала дышать. Вызвали скорую. Кардиограмма инфаркта не показала. Врачи всё равно хотели везти в больницу. Я сама врач, сказала Циля Исааковна, справлюсь. Тогда сделали три укола и ушли. Только тут Михаил Янович заплакал. Отворачивался, давился слезами. Это что ещё такое! Ну-ка прекрати! Циля Исааковна лежала вверх лицом, сосредоточенно боролась с чем-то внутри себя. Сын присел и взял её за руку. Она руку не отняла. Одного лекарства (*конкор*) в аптеке не оказалось. Пришлось тащиться на Индустриальную. В аптеку № 5. Колено ныло не переставая. От боли передвигался в погоняющем февральском снегу рывками, припадая на правую ногу. Как раненый медведь. Залепленные немые прохожие шарахались в сторону. Домой по лестнице взбирался уже в шестом часу. Делал остановки. Навешивая сумку с продуктами на штыри перил, упорно крутил, выделывал ногой. Уверял себя, что от этого становится легче. Снова взбирался. Открыл дверь своим ключом. Давление мерила? А чего его мерить? Давление и есть давление. И это говорит врач! ТерапЭвт, как она себя называет! У себя переодевался в домашнее. Заверещал на кухне будильник. Следом пришёл поднос с лекарствами. Прими. Время. Да что же это такое! А ты сама? Я для чего ходил в аптеку? Что врач тебе вчера сказал? Что?! Я сама врач. Терапэвт. Ха! Ха! Ха! – терапЭвт! Пока не примешь свои – ни одной таблетки с подноса не возьму! Забастовка. Бессрочная. Мать и сын в разных концах тахты профессионально резко закидывали головы. Каждый закидывал с водой свои таблетки. Хмурый компромисс. Пока мать готовила ужин, сидел-растирал колено дегтярной мазью, вновь подаренной добрейшей Анной Тарасовной. Мазь воняла страшно, сам провонял насквозь, но помогало. Хотя бы на время. Засвиристел будильник. Ну всё у Цили Исааковны по часам! Ужинали. Мать подкладывала гречневой каши. За час до тебя внезапно Коткин приходил. Очень странный. Что вам хозяин за квартплатой. Не раздеваясь прошёл по всей квартире, заглянул за твой диван и ушёл.

Что случилось, Лёва? – спросила я его вслед. Всё в порядке, Циля, ответил он на лестнице. Что ты натворил там опять? Как нам занимать деньги у него на ударно-волновую? Михаил Янович опустил голову. Положил ложку. Спасибо. Пошёл к себе. Куда? А галоперидол с едой? А чай? Лежал, старался не слушать бубню из кухни. *Как живёшь, Снежная Баба?* Так унизить! Вдобавок дать ладошкой по шапке. Чувствовал удушье. Опять водил рукой по груди, Впору самому принимать конкор. Гадина. Из породы телевизионных поганок. С не затыкающимися противными ртами. С Коткиным-режиссёром во главе. А тот сразу прибежал. Почуял неладное. Что-то с любимой племянницей случилось. Думал, что Готлифы спрятали её в диване, по меньшей мере. Раз лез туда. Всю квартиру обнюхал. Видел бы, несчастный, как его любимую племянницу толкают в вытрезвительный автомобиль с красным крестом! Если узнает, что кое-кто и видел это – ни за что не простит. Поэтому рот на замок! Ни-ни, ни звука, уважаемый Коткин Лев Зиновьевич! Чёрт бы Вас побрал совсем с Вашим молотовником! Стало легче. Смог даже взять ручку и блокнот. Сел на диване. Немного подумав, легко начал: *«Я уже писал Вам, Наталья Фёдоровна, об Аделаиде Молотовник. О назначенной мне невесте. И вот представьте, сегодня вижу её в нашем зимнем парке с каким-то хахалем уголовного вида. В распахнутом полушубке, с блатной тельняшкой на груди. Идут, оба в дым пьяные. Меня, естественно, не узнают. Идут, раскачиваются, цепляются друг за дружку, орут «бухгалтер! милый мой бухгалтер!» А у ворот в парк их уже поджидает вытрезвительный автомобиль с красным крестом. И полезли сами в него, как в свой дом, с упорством пьяных продолжая орать одно и то же: «Вот он какой! такой простой!» Представляете?.. А теперь представьте, Наталья Фёдоровна, если бы эта площадная Молотовник и Коткин осуществили бы свой коварнейший план. Женили бы меня на себе. Что сейчас бы со мной было?.. Как говорят у Вас в России – Бог отнёс, Наталья Фёдоровна»*. Перечитал написанное. Вообще-то *Сказки Гофмана*, как сказала бы мама, когда услышала бы беспощадное враньё, но... но пусть Наташа теперь знает, из какого капкана, из какого силка вырвался её Альбатрос. Кто такая эта стервятница Молотовник! Стало ещё легче. Смог даже сесть к рукописи за стол. До самого сна правил её, многое дописывал. В одиннадцать лёг, выключил лампу. Долго думал о далёкой Наташе. Как всё тот же одинокий альбатрос мысленно летел и летел к ней. Задремал, наконец. Во сне почему-то увидел не Наташу... а себя и Молотовник. В высоченном читальном зале публичной библиотеки им. Ленина в Москве. Оба в дым пьяные, они будто бы читают книги. Притом читают – синхронно. То есть, прочитав каждый свою страницу, хохочут, одновременно вырывают эти страницы и отбрасывают. Так синхронно работают, машут косами косари. К вытрезвительной машине их тащит милиция. И Михаил Янович упорно орёт песню, превзойдя даже Молотовник: «Вот он какой! Так-кой туп-пой!»... Михаил Янович проснулся. Сел. Весь в холодном поту. Унимал сердце. Слушал, как мать роняла что-то в тёмной столовой. Поднялся, пошёл, чтобы измерить ей давление и дать лекарство. В зависимости от величины давления – или конкор, или более действенный препарат – каптоприл. В больницу нужно, мама, ложиться, в больницу, подтыка́л он ей одеяло после всего. Отстань! Циля Исааковна злилась. Злилась не на сына. На себя. Как так можно легко попасться? Не заметить у себя болезнь? ТерапЭвту? ТерапЭвту высшей категории! Принеси будильник. Зачем? «Зачем-зачем»! Пульс сосчитаю. Указательный и средний пальцы держала у себя на запястье. Маленький будильник фосфоресцировал в темноте. Злорадно скалился. Унеси обратно!..

2.

И в январе 23-го, и в феврале сын волшебным образом пособие себе приносил сам. Вернее, приезжал с ним домой. Где-то в районе 12-ти дня. И Вере Николаевне, не дождавшейся толстой кассирши, не выразив ей своего восхищения, приходилось ни с чем отправляться на работу. Значит, правильно думала она, сын получает теперь деньги в другой квартире. На Льва Толстого. Будто бы непосредственно в Госбанке. Говорит кассирше «большое спасибо, до свидания» и едет с деньгами домой. Госбанк за ним закрывают на ключ, ключ кладут в карман или сумочку и тоже идут по своим делам. Госбанк опять днём на замке, никто в него не проникнет. Ни мёрзнущие всякие бобики, ни всякие мёрзнущие цуцики.

За два эти месяца Вера Николаевна несколько раз заходила в почтовое отделение №4, но ни разу кассиршу там не обнаружила. Ни в одном из окон операционного зала. По-видимому, та ползала в это время под столами.

Однако где бы ни скрывалась от свекрови новоиспечённая сноха, а встреча двух женщин обречена была случиться непременно.

Был пасмурный серый день. Метель уснула, валялась под ногами. Широкими лопатами её безжалостно сгребали с тротуаров дворники.

Вера Николаевна шла по Ленина на работу. После обеда дома. Наталья шла с работы домой. На обед. Сошлись возле центрального гастронома.

Пропустив хмурое приветствие Ивашовой, Вера Николаевна сразу закричала в своей всегдашней манере, словно чтобы быстрее собрать небольшую толпу:

– Вот и прекрасно! Вот и встретились! Давно пора поговорить! Отлично!

Дальше сразу начала о том, что некоторые сперва заманивают, а потом выкидывают, что сын человек, а не бездомная мерзнущая собачонка, что...

Неожиданно Наталья сердито прервала её:

– Я не заманивала вашего сына. (Чуть не сказала – он сам лезет.) Я предлагала сделать ему ключи. Он отказался.

– Конечно, если относиться к нему как к коврику у порога, тогда – конечно. Какие уж тут ключи? О чём вообще тогда говорить!

Наталья молча пошла дальше. Вера Николаевна задохнулась от такой наглости. Тоже пошла. Ничего не соображала. Весь разговор длился минуту, полминуты, несколько секунд. Два ветра столкнулись, перемешались и вновь разлетелись в разные стороны. Да что же это такое! Да как она смеет!

Сидела и говорила в «Снежинке». Герман Иванович ел солянку. После разрыва с Зиминьми он один только слушал её. Давно без жены, без домашней еды, он обедал здесь каждый день. Его все тут знали. Вера Николаевна торопилась, говорила, забывая про кофе, который он ей заказал. Он предлагал и ей пообедать, но она отказалась, сказав, что уже дома поела. Он был замечательным человеком. Он слушал. Вера Николаевна посматривала по сторонам, рассказывала автоматом. Она хорошо знала текст наболевшего.

Договорились встретиться вечером. У него дома.

Кофеварка у Германа Ивановича была стеклянная, прозрачная. Закипая на газу, напоминала лабораторный опыт. Вера Николаевна опасалась, что она может лопнуть. Уставщиков успокоил: огнеупорная.

Плуготаренко пришла сюда в третий раз. Но ничего, кроме кофе и печенья, хозяин опять не предложил. Готовит ли вообще что-нибудь? Подмывало заглянуть в холодильник.

– А зачем, Вера? Он отключён.

На подносе понёс чашки с кофе и печенье в комнату. Вера Николаевна пошла за ним.

Сидели напротив друг друга за столом. Отпивали из чашек. Женщина непроизвольно оглядывала комнату. Никак не могла привыкнуть к холостяцкому разбросу и неразберихе. Даже книжный шкаф был забит чем попало и как попало. Один только длинный скользкий ряд фотографий на стене являл собой хоть какой-то порядок.

– Тебя всё это ждёт, Вера, – следя за женщиной, посмеивался мужчина. – Только твоих рук.

Потом она опять говорила о своём. Больном, неразрешимом. Куда она загнала себя сама. Что делать, Гера? Как жить дальше?

Он гладил её руку.

– Переезжай ко мне. И всё сразу решится. Поверь.

– Я не могу сейчас, Гера. Я не готова, – мучилась женщина, чуть не плача.

Домой пришла в девять.

Избегая глаз сына, снимала тёплую кофту.

Сын смотрел. Тонкие губы женщины были подкрашены. Напоминали забытого снулого червячка.

– Тебе звонили. Зимины. Два раза.

Пультом выключил телевизор, поехал к себе.

Вера Николаевна опустилась на стул.

Увидела себя в зеркале. Изменилась в лице. Торопливо начала стирать помаду с губ. Не жалела белый носовой платок.

Плуготаренко лежал. Странно. У матери любовная связь. Она и Уставщиков. Молодец мама. Не отстаёт от сына. Тоже теперь будет мёрзнуть у чужих подъездов. Только ведь вроде женат. Что-то

Валька Жулев говорил. Точно. И дети есть. Двое. Один раз видел его с ними на улице. Давно, правда. Все трое как отштампованные монеты. Только разного номинала. Двадцатик, десятик и пятачок. И куда законную теперь девать? Да, мама, молодец.

Потом думал о Наталье. Как только вспоминал последнюю близость с ней – в груди сразу начинало сжиматься, обмирать. Ни разу не было такого. Вулкан. Извержение вулкана, поглотившее его. Он не верил потом. Он не чувствовал себя. Как не чувствует себя освобождённый ветер, летающий пух.

Через пять минут уже одевался в прихожей. «Поеду, прогуляюсь». Хлопнул дверью.

Летел под фонарями на Льва Толстого.

Как только переехал через порог – женщина обняла, прижала его голову к груди.

Это была фантастика! Счастье!

3.

Вагон дёрнулся, поехал. На ночном перроне, как нищие, оставались светить для самих себя станционные фонари. С дощатым вокзальчиком за спиной и с палкой флажка в руке проплыл железнодорожник в фуражке и душегрейке. С летящими снежинками протянуло заблудившуюся оглядывающуюся собаку. Перрон оборвался, и поезд, стуча словно бы на месте, начал вязнуть в заснеженной темноте.

Михаил Янович увёл взгляд от окна.

В притемнённом купе смотрел на жестоко храпящего старика, борода которого вздымалась, как дым. Покачивался с вагоном, доставал платок, вытирал глаза. Вновь слушал бомбящий храп. Вздыхал.

Циля Исааковна упала на лестнице. На площадке между третьим и четвёртым этажами. Разбился, хлынул кефир, три-четыре апельсина поскакали по лестнице вниз.

Михаил Янович в это время писал за столом в комнате.

Когда раздался звонок – удивился: мать всегда открывала дверь своим ключом.

От двери попятился – двое мужчин натужно потащили в квартиру Цилю Исааковну в пальто, будто в мешке.

Остановились, удерживая ношу на весу. Спросили у сына:

– Куда?

Но сын онемел. Вытаращенными глазами смотрел на сливовое лицо матери, съехавшее вниз. На лицо будто пьяной женщины.

Повернулся к Анне Тарасовне. Та, оттолкнув его, распахнула дверь в спальню: сюда!

Цилю Исааковну протащили и положили на диван сына.

Точно грузчики, выполнившие работу, мужчины хмуро пошли на выход.

Михаил Янович разучился говорить. Хотел что-то им сказать, остановить. Вдруг ноги его подкосились, и он свалился на пол, сдёрнув со стола скатерть.

– Миша! Миша! – хлопали его по щекам. – Очнись! Скорую надо. Срочно беги ко мне. Вызывай!

Михаил Янович сел.

Как сам гремел с лестницы, прежде чем схватить телефонную трубку Анны Тарасовны – не помнил.

Сидел на краю дивана, не спускал глаз с лица матери. Казалось, что мать еле-еле дышит. Но приехавший врач скорой сразу склонился, что-то потрогал у матери на шее. Потом распрямился и сказал: «Умерла». И, не обращая внимания на завывшего сына, сел писать какую-то бумагу...

Вагон всё время дёргали, словно будили, не давали спать. Старик на время прерывал храп. И вновь разражался.

Михаил Янович по-прежнему сидел у окна.

Под темнотой ползли заснеженные сизые поля. Мигали огоньки украинских деревенек. В стакане колотилась чайная ложка. В темноте всё возникало и возникало опущенное лицо матери, казавшееся ушедшим само в себя.

Михаил Янович опять доставал платок, вытирал глаза, сморкался.

Как разъяснили ему потом на русских поминках в кафе, у матери была тромбоэмболия. Оторвался тромб. В легочной артерии. Мгновенная смерть. «Спасибо! Спасибо!» – рыдал он как бегемот, уводимый от всех Коткиным и его женой.

Сейчас было немножко стыдно. Такая несдержанность. Совсем не мужская.

В высоченном Киевском вокзале в Москве попрощался с храпливым стариком. Крепко пожал ему руку. Пошёл к высоким квадратным часам и встал под ними в очередь к нужной кассе. До Города оставалось ехать ещё двенадцать часов.

Из-за стекла назвали сумму за билет. Приготовленных в руке денег не хватило. Начал торопливо расстёгиваться, искать деньги Анны Тарасовны. Да что же это такое! Ни там ни тут. Снова искал по всем карманам.

– Долго вы? – поталкивали в спину, в рюкзак.

Нашёл, наконец, деньги Анны Тарасовны! Ещё в Украине обмененные на русские рубли. Начал развязывать узелок на платке. Зубами старался, зубами.

– Вот баба! Честное словно! – не унимался мужичонка за спиной.

Готлиф совал деньги за стекло:

– Вот, вот, пожалуйста.

Вышел из очереди – весь рассупоненный, как кучер. Взмахнул билетом и деньгами:

– Дальше едем!

4.

В тот вечер звонок в прихожей раздался около восьми. Татьяна кормила Славика в комнате. Алексей Сергеевич трещал у себя на машинке.

– Алексей, открой! Наталья, наверное.

Круглов пошёл.

Однако на площадке стоял совершенно не знакомый, странно одетый мужчина.

Был он в форменном синем пальто с золотыми пуговицами, в шапке с завязанными ушами. А на ногах серые валенки с наплывами брюк. Интересный субъект. Почтового или железнодорожного ведомства.

– Простите, здесь раньше жила Ивашова Наталья Фёдоровна, – полувопросительно спросил мужчина.

– Правильно – жила, – согласился Круглов. – Пройдите, пожалуйста. Я дам вам адрес.

Круглов на тумбочке в прихожей стал писать.

Готлиф поздоровался с женщиной, кормящей ребёнка. Та кивнула. Затем её как-то воздушно подняло и перенесло с ребёнком куда-то в глубь квартиры:

– Алексей, можно тебя на минуту?

– Извините.

Круглов пошёл к жене.

Вскоре вернулся. Стал надевать пальто:

– Я вас провожу. Знаете, ночь. Долго будете искать нужный дом. Номера, как правило, у нас тёмные по ночам. Не освещены.

Шли на Льва Толстого. Готлиф говорил, кто он такой, откуда, зачем приехал в Город. Торопливо объяснял:

– ...Понимаете, Наталья Фёдоровна моя давняя добрая знакомая. Мы с ней вместе читали книги в библиотеке. И вот, как говорится, будучи проездом в вашем городе, я решил навестить её...

Мужчина шёл, молчал.

– Простите, а она не замужем?

Готлиф торопился, заглядывал в хмурое лицо.

– Нет, не замужем, – ответил мужчина. И добавил странно: – Не успела.

У подъезда сказал:

– Подождите, пожалуйста, здесь. Её может не быть дома.

Вернулся через минуту:

– Вас ждут. Квартира номер три.

Торопливо взобравшись по лесенке первого этажа, Готлиф увидел Наталью в раскрытой двери.

Наталью трясло, она плакала, смотрела вверх, словно не видела Готлифа.

Михаил Янович бросился. Прямо с рюкзаком на горбу рухнул на колени, обнял женщину за ноги и тоже заплакал.

Как сводник, сделавший дело, Круглов закрыл распахнутую дверь, стал спускаться к подъездной двери.

Во дворе увидел едущего к подъезду Плуготаренко. Тут же юркнул в подъезд обратно и забежал на второй этаж. Потом на третий.

Слышал, как инвалид позвонил.

Представил вдруг, как толстуха кинулась, выключила свет. Как прижала медвежью голову к груди: «Тише! Тише! Сейчас уйдёт!»

Инвалид ещё звонил.

Потом входная дверь хлопнула.

Да чёрт бы вас всех побрал! – спускался по лестнице и хлопал по ноге слетевшей шапкой Круглов. Словно выбивал ею своё малодушие. Ну, Таня, как говорится, погоди!

5.

Плуготаренко увидел их сам. Возле Главпочты. По широкой лестнице они взбирались к двери переговорного пункта. С пригнувшимися спинами, очень похожие. Тяжёлые и задастые, как городовые. Только на мужчине были валенки. Он предупредительно раскрыл перед женщиной дверь.

Вот и пришёл конец, спокойно сказал себе Плуготаренко.

Не чувствовал ничего. Передвигал рычаги, не торопясь двигался в сторону дома.

Зачем-то заехал в Общество. Улыбаясь, посидел в плавающем дыму афганцев. Будто в веселящем газу.

Умный Громышев с испугом смотрел на лыбящегося Плуготаренку.

Проков раздетым выбежал на улицу:

– Юра, что случилось? Что ты хотел сказать?

– Всё в порядке, Коля. Всё хорошо, – успокоил его Плуготаренко.

Приехав, раздевался в прихожей. Из комнаты летело: «Стоять! К машине! Руки на капот!»

В телевизоре два жирных братка в чёрных длинных пальто побежали с растопыренными руками к своему автомобилю. Побежали вперевалку. И сами шмякнули руки на капот. Что тебе оладьи на сковородку.

Плуготаренко устало смотрел на экран:

– Неужели не надоело за столько лет?..

Вера Николаевна словно растворилась в комнате, замерла.

Сын поехал к себе.

Когда мать ушла на работу – позвонили в дверь.

Открыл.

– Вера Николаевна дома?

– Нет. И будет поздно. Что передать?

Баннова томно поглядывала на инвалида. Сказать или нет?

Плуготаренко встречал эту женщину. На площади, в сберкассе. Но не знал её фамилии. И вдруг понял – Баннова! Пресловутая Баннова! С азартом, во все глаза смотрел на Женскую Сладостную Сплетню, пришедшую вот прямо к нему в дом. Словно бы говорил ей: «Ну, ну, давай, говори, говори скорей! Не томи! А то ведь я ещё ничего не знаю!»

Однако сплетница всё так же томно оттанцевала от двери и спустилась по лесенке на улицу.

Ездил по квартире. Дышал не воздухом – золой.

Часа через два ещё позвонили. Теперь уже по телефону:

– Юрий Иванович, здравствуйте. Это Зуева говорит. Татьяна Зуева, если помните.

– Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Слушаю вас.

– Наталья просила передать, чтобы вы больше не приходили к ней.

– И почему же это? – Железный Плуготаренко, несмотря ни на что, улыбался.

– К ней приехал мужчина, любимый мужчина, как она говорит, и она с ним уедет на Украину. Она уже уволилась с работы. Она мне подруга, но... но плюньте на неё и разотрите. Не стоит она вас. Простите меня за этот подлый звонок, Юрий Иванович.

– Ну что вы, Татьяна Васильевна! – Железный Плуготаренко, несмотря ни на что, уже смеялся: – Передайте большой привет от меня Наталье Фёдоровне, счастливого ей пути!

Положил трубку. В глазах потемнело. Чуть не выпал из коляски.

Торопливо поехал из комнаты, словно чтобы выпасть из коляски в спальне...

Время остановилось. Два или три дня он лежал у себя, отвернувшись к стене. Когда мать начинала говорить, сжимал веки. Когда склонялась к нему, трогала – дёргал плечом: уйди!

Ночью он ехал на кухню и пил воду. Много воды. Ничего не ел. Вера Николаевна заметила только, что убавился сахар в сахарнице.

Вера Николаевна ходила по квартире, плакала в открытую. Звонила Зиминым. Потом вроде бы в психбольницу. Просила какого-то Бориса Ивановича срочно приехать, помочь, спасти сына.

По всхлипываниям, по благодарным словам её он чётко понял – машина с красным крестом приедет за ним завтра. Прямо с утра.

У него оставалось мало времени.

Глубокой ночью он поел. В кухне. Завернул в тряпку длинный кухонный нож. Который так любил точить. Выводить как саблю. Без которого теперь – никак.

Потом одевался.

Мать обморочно спала у себя.

Тихо выехал из квартиры. Ключом, без щелчка, закрыл дверь.

6.

Чтобы отправиться на вокзал в предварительную железнодорожную кассу, Михаил Янович вышел из подъезда утром, когда было ещё темно. Наташа в это время должна будет сходить на работу (на бывшую теперь), чтобы получить окончательный денежный расчёт. Поезд отправляется вечером. В девять.

Увидел едущего к дому инвалида в коляске.

Инвалид вдруг остановился. Спросил, который час. Готлиф повернул к фонарю запястье с часами – сказал.

Инвалид не уезжал, большими, какими-то радостными глазами смотрел на Готлифа. Улыбался. Готлифу стало не по себе.

– Мы с вами знакомы?

– Нет! – выкрикнул инвалид.

Готлиф неуверенно пошёл, а инвалид всё так же продолжал смотреть.

Потом поехал к подъезду. Остановился у закрытой двери, стал поджидать толстую женщину. Он что-то бормотал себе. Он сжимал под накидкой из брезента длинный кухонный нож. Ручка ножа была шершавой, крепкой. Сейчас наступит освобождение...

Ивашова вышла из подъезда:

– Юра! Ты?!

Женщина попятилась.

Плуготаренко схватил её длинной рукой. Держал за ворот дохи, не отпускал, точно выкручивал. Два раза взмахнул рукой с ножом. Словно примеряясь половчее ударить. Отпустил.

Потом отъехал, отвернулся от женщины и полоснул себя по горлу...

В то зимнее тёмное утро люди, шедшие на работу, останавливались: какая-то толстая женщина в дохе неуклюже бежала мимо фонарей. Прямо по проезжей части дороги. Точно чтобы не упасть, взмахивала длинным ножом и вскрикивала:

– Ой!.. Ой!.. Ой!..

Встречные машина увиливали от неё, зло сигналили.

Её поймали. Отобрали нож и повели, крепко держа за руки. Женщина безумно выкрикивала в небо:

– Ой!.. Ой!.. Ой!.. Ой!..

Ольга БАЖЕНОВА

МАЛЫЕ ВЕТКИ

***

Ветки ушли за мелеющий лес.
Немедленно – на далекий мел,
на черную мель,
направился в тварный мир –
за деревьями наблюдал, как
ветвяна́я вода немеет, потом летит.
Малые ветки – горят на корабле
в своей коре, свербят в сердцах –
за вечный час,
за смертный чат и речь
успев пробресть
реку и море: на сердце, на ребре
(всегда?) одно и то же,
их рост не отворим,
мороз не говорим.

Сейчас и дальше.

Весь воздух – кожа, и весь воздух – грим.

...Жил ли здесь хотя бы червь сна?.. –
Под камнем – норд.

Июнь 2014, 5-6 января 2015

***

копают соль как лед чиста
как лед невинных мук

лед земли

вдосталь – лица́
что розовое пламя – и цветок его – ум?
(не вдосталь)

день – над котельною
текущий мимо
мрамор дыма
дымящиеся жилы – в счет и в сторону весны

наоборот деревья четки как в шкафу
не все вороны в них равны

Ольга Баженова родилась в 1979 году в Чите, выросла в Туле, жила в Санкт-Петербурге. Стихи публиковались на сайтах «Новая Камера хранения», «Цирк «Олимп» + TV», «Полутона», в журналах «Волга», «Новый берег», «Воздух». Живет в Туле.

одежки дней разнесены
по плечикам
река в шкафу
неба соль на них застыла

не все вольно́ –
весть от лица пластмассы скал
и трава его – тоска

и море –
черный глаз и ласты нерп
редкоземельный вязкий серп
моря цериевый блеск
и звери за

ночь –
уж там за нами – только празем
сладкий лук для нежных глаз

26 января – февраль 2015

***

не все вольно́
и только лапа лав
что судорогой сведена
сгребет тебя как клатч
и унесет на бал

кристальные ручьи промчат
свой день почти невидимый
на солнечных лучах
иль пепел
на плечах негаснущих
осядет
мне неведомо

13 марта 2015

***

густая лень насыпана с тобой
с тобою с лишком –
густая лань
но не она
ни тени

ни ели острые не спят
ни ступленные тени
что? все-то це́лят
не целя́т?
да нет целя́т
в то время ищешь камешок
в то время каменный мешок
либо вольный вздох пустынный

7 апреля 2015

***

цериевый блеск горбов морских:
царский ветер скифов,
и валких нецинкованых гробов,
и плах морских
(и не слабо́!) –

в море умащённое тоски (море масленое)
зыблемых немирных скирд
не плавит,

время царско,
знать, не платит

27 апреля 2015

***

громоздких якорей поковка –
и – дня холодная подковка,
в тусклящей зелени лежать
оставленная, пылиться,

углы, уставленные тополями,
мглы нечитаемые поля,
и текст в столбцах – вали́тся,
тесный дым – пальцы разжав,
деревья оставшегося на *вы* – огня –
с зельем детской своей листвы –
выросшие от земли-травы,
(чайных)
типсов дым, щадящих чай

конец апреля – 14 мая 2015

***

слышен
ветер, голос –
сухой бесплотный бросок ветра,
вычерствевшего по мере воли, –

выбравший кирпич и лесок,
все легкое поле,
летную кость, плотную ость,
держащий легкую черствую пропасть,
иногда на ее свинцовом дне – солнце,
чаще – ничего, только легкость, легкость:

ни крошки ее черствого вина
(а каково оно –
как лес, как леска?
как мех вершин деревьев?),

хотя ничто здесь – не по вере моли,
что превращается – и не грызет

9, 16 июня 2015

***

шорох вернулся с дождя –
осторожно поворачиваясь в комнате,
не натыкаться на вещи:

зрячие руки отвыкли,
пробыв на дожде –
крапинах, кратках,
кратких;

роза – его разворот,
рожь его существа,

редочь, мелочь, гуща

август 2015

***

шорох раздался с дождя,
дождь питал его?
а он все так же сух
…

сверка прозрачных страниц
надо всем,
над каждой вещью?
или прямо касается дождь
всего,
шорох – дождя
прямо касается?

можешь осязать
слухом,
применить –
неизвестно
(что происходит),

свод лицевой –
изнаночный –
близко к лицу
всего

не видно
(есть ли они,
или их нет,
в любом случае),
есть ли они,
матовые
сворачиваются, но не как небо

и кто там
ошую, одесную,
недолгую зорю лесную
услышишь,

накрапывает

9–21 июля 2016

Станислава МОГИЛЁВА

***

вот лодка /не переставая/
в лодке трава и цветы
под лодкой воды лежат спокойные:
не ждут, не торопят

облако нависает над входом в лес
левитирует ум, погружённый в форму
обходится данным /поданным, подданным:
в них трава и цветы, как в лодке/

укоренено: транспозиция
ракурса, условное обозначение
разговор, густо увитый тенями
если или когда

прибывают лучи
по земле по прямой
паданцы, обращение
поищем ещё

***

для удобства
я сделаю это видимым
как мало всего
переключить внимание
/великое облако, опыт удара,
дробь текущего и дробно текущее
свечение предполагаемых линий –
оставлю здесь/ презумпция неочевидна
сломанный бегунок лежит на стуле
солнечный свет лежит на стене
on the edge к утру ритуал устанет
разъединять простые вещи
на сложные вещи
вкус воды одинаковый
в руке и в стакане
станет /по слухам/ легче

***

вдоволь настали доноры blind
громоздкие руки замерли на столе, думают:

Станислава Могилёва родилась в 1983 году в Норильске. Училась в Ленинградском университете им. А.С. Пушкина на факультете психологии и педагогики и в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар Евгения Рейна). Публиковалась в журнале «Воздух», в сетевом журнале TextOnly, на портале «Полутона». Участник Фестиваля свободного стиха (2015, 2016) и Фестиваля новых поэтов (2016). Живёт в Санкт-Петербурге.

безопасные места больше небезопасны
ты должен а/нет ты не должен, по косой
неожидаемый ключ падает в светлое небо ночи
дождевая вода собирается в ведра и ямы,
чтобы всаднику дать, чтобы копыта увязли
/вызволяй из подполья наёмников зримых,
послушных, вызволяй безотказную форму,
обозначай синим пунктиром триумфальное эхо/
преграда ли это, травенеет колено руин,
каменеют потомки в цветках эдельвейсов,
стада шагов мягко бродят по перевалу
ты слышишь? слышишь?
здесь в раю мы зовём тебя адом

***

скорая у общаги в доме напротив
не реже трёх раз в неделю, бывает
чаще, книга стихов на сумму сто рублей
в виртуальной корзине, изучение гайда
вслепую по форме черепа, по отпечатку
укуса, истекает утро, не оборачиваясь, во
мне не нуждается /эн. простит малыша,
обнимет его и забудет, на дне оставит/
соблюдение трезвости в одиночестве,
каждодневное гадание на собственных
внутренностях, ахатины живая подошва
вязнет в субстрате мартиролога, вот мясо
моим зубам испытанное, заповедное,
осваивать интерес неподдельный, идти по ниточке

***

и др.
важное или главное
кто это там с тобой
бэкграунд проверен, надёжен
лисичка смотрит в пол
трусцой пересекает комнату
где празднуют пир господень
цитаты и сноски, деревянные
куклы, пустые внутри
расстояние равно время
/это течение в одну сторону/
прозревает прошлое
ночной уличный шум
в скале вода ледяная, ржавая,
воздух кругом холодный
постепенно выходим из медитации
смотреть трудно

***

многократное увеличение
с-це не разрывается

д-ша на месте
б-г не предаёт

/речи не может быть/

рука обнимает

ничего такого
сколько дней прошло с того дня
ни одного

если боишься
переверни страницу
или возьми другую книгу

***

1
голое от пустого

2
ты помнишь? – нет, не помню
выбираюсь из плена
самоидентификации
то, что никак нельзя передать
когда было иначе
пересказывать почву слогами

3
переливами возбуждённый позор собирал,
восстанавливал примитив ненастный,
молчал прилюдно, подходил к окну,
открывал окно, говорил: утону

4
этот разлом идеален
безупречны руины
данное интуитивно
спрячем подальше
в аллелях опровержений
насытиться невозможно
не но не напротив не потом
а: ребёнок это ты

5
сдавать в h&m два пакета ветоши:
солдатскую форму, балаклаву, ремень, тельник

6
остатки

имена героев изменены

4.0
вызывает затруднения
озноб гаснущий

следование замыслу
пульсирующая скверна
прядёт нить
зашивает рты
за лесами гора, дыра
слагает покров

на плече обезьянка
коробочка с несохраняемым
в руках

этого не достаточно

/читать снизу вверх построчно/

4.1
укромная тишина кромешная
говорит моя мама
я боюсь остаться одна говорит она
нет не так чтобы когда все например разошлись
и ты сидишь в комнате в кресле отдыхаешь
думаешь ох как же хорошо
нет это не страшно это наоборот такое счастье
я боюсь остаться одна как моя мама
говорит мне моя мама
когда ходишь по дому туда сюда
туда сюда все переделаешь
поешь отдохнёшь ещё поешь
польёшь фиалки почитаешь
книгу сходишь в магазин
от нечего делать почистишь зубы
потом на часы глазом прыг
а впереди ещё полдня

4.2
разваливаются или обнажают себя
под землёй в земле над землёй
на хруст на рык на нептичий щебет
укрытые периферией приливы

волхвы деталей, фрагментов; бархатцы волн
одушевлённые постояльцы племенного тотема
в пенную оторопь током ссыпаются
белые гривы вкладывают в снега
как старые люди /у порога замершие светлячки/
в окрике незнакомца мерцающие /точки, мушки/

и в любое время суток в плену
или в пламени предрождения
бьющееся внутри животное
бьющееся повсюду животное

– два аленьких текста про нефть
– как ухаживать за письмом

– найти полотенце учитель
и последняя новость:
– в Ире расцвёл удумбара

4·3
на днях в чукотском заповеднике
были обнаружены изуродованные тела
девятнадцати тихоокеанских моржей
убийцы оставили нетронутыми туши
животных, вырезали клыки и бакулюмы

бакулюм бакулюм сладкий цветок
место пустое в груде мясной

бакулюм – это пенисная кость
для поддержания эрекции если эрекции нет
среди местных жителей бытует поверье:
бакулюм приносит удачу его обладателю,
способствует улучшению качества сексуальной жизни
надень на шею бакулюм положи его под подушку
спрячь в карман подари на юбилей лучшему другу
да будет вечная радость
да будут телки
да будут вечные телки

мы больше не убиваем, чтобы выжить
это слишком скучно
убийство во имя красоты
убийство во имя удовольствия
убийство во имя убийства
убийство во имя
кто тут у нас самый сильный?
чей бакулюм крепче?

также существует версия /перепроверить/
о происхождении девицы евы
не от ребра адама, а от той костяной штучки

наполнить свой бакулюм кровью желания, страсти,
насытить свою ненасытную кровь волшебной животной кровью

бакулюм бакулюм сладкий цветок
место пустое в груде мясной

“незаконная добыча водных биологических ресурсов” –
всё, что останется от того,
кто очутился однажды в теле моржа

4·4
в семнадцать пятнадцать господь вседержитель
милостивый милосердный шива заедет за мной
в открытом авто в упряжке его сирены морены клубки моллюсков
я жду его на балконе в тигровой шкуре подёргиваю хвостом
нетерпеливо в руке моей бокал хеннесси парадиз
/райский напиток: врачует желудок, проясняет ум/

в руке моей аналоговый микрофон /хранит днк
слюны элвиса джима майкла и может быть тома/
когда мой господь появится за горизонтом многоэтажек
жилого комплекса северная долина я запою ему
на языке незнакомом кометы каталины в созвездии девы
стерильным голосом небесного тела в тысячу мегагерц
он услышит мой зов, не опечатается, не промажет
я оставила дверь приоткрытой на порог положила помаду
по ногам несёт когти скребут по бетону по рукам движутся тени
переговариваются между собой врастают в пустые вены
печень моя распахнута шире сердца и качает не хуже
печень моя подаёт мне сигналы как подаяние но я не слышу
я стою на балконе двигаю плавниками подёргиваю хвостом
продираюсь сквозь гущу и глину вод околоплодных
захлебываюсь амниотической жидкостью
в гуле перверсии кто не даст мне упасть облом окаянный
или господь вседержитель или вопль брачный тоскливых
приматов я слышу поглощение я разгадываю
слияние я соблюдаю потерянные соединения
я слышу ваш голос но не знаю как туда попасть

4.5
обломки героев
в раскрытом теле вождя
хоботками дёргают
карабкаются по насыпи
ищут вход в лес
мордочками тычутся
в колючки кустов
в кору древесную
в ночь чужую
без ядра, без края

ты говоришь:
не бойся
если что мы умрем раньше и от другого

4.6
1.
сегодня такой день
семь месяцев как
потом ещё два и пять
сорок дней недавно
через неделю ты да

2.
размер носков женских и тёплых
цвет женских и тёплых
можно не я приеду

3.
это называется:
справиться без тебя

4.7
в заброшенном доме в городе кстове
что-то накатило на меня слышишь
метапарение в ядерном соке /война/
дрожание потока равнозначное обрыву
или семнадцати ножевым несмертельным
или самому незначительному, мелкому
фигуры двигаются наугад, чёрные лесорубы
в заведомой уязвимости, в нужде блеют
инистрация мечется ищет родную нору
на десерт бананы под шубой слышишь
стой, не беги, это лучший из окопов
вот здесь прямо в сердце /эхо: война, война/
кораблей язвы нетрезвые вылизывает волна
вакуум выплёвывает, вкладывает в дыру
уклоняющийся пунцовый

4.8
/автосохранено незадетое взглядом/
ты ли это?

в поисках действующих триггеров
в поисках схлынувшей истории

слабое движение эшафотов, пустующих в замкнутом милосердии
арьергарды оплетённых печалью, скользящих за пределом видимости,
скользящие сверху вниз: по коже, мгновенно становящейся гусиной

/всё заживёт/
как тебе быть другим?

ладонь на затылке
на пальцы накручены волосы
по поверхности зеркала разлиты волосы
волны волос
волнение волос
вечные победители
/“как тебе быть другим” и
“ты ли это”/
кротки и смирны

зыбью да рябью
клочки да барашки
скрип и треск королевства, узлы,
подлинность

Андрей КЛЕПАКОВ

ОПЕКУН

Повесть

Мне позвонили и предложили оформить опекунство. Иначе, сказали, девочку отправят в детский дом.

Минут пять я не мог понять, что за девочка. После довольно долгого разговора с инспектором опекунского совета выяснилось, что умерла моя двоюродная сестра. И у нее осталась дочка, а я единственный имеющийся в наличии родственник.

Надо же, – подумал я, – Ирка умерла.

Последний раз я видел ее десять лет назад на ее свадьбе. И вот, здрасьте, померла.

– Ну, – спросил я, – а отец ребенка тоже умер?

Отец исчез, объяснили мне.

Точно! Я теперь вспомнил, муж Ирки развелся с ней лет через пять, кажется, и пропал. Затерялся на необъятных просторах нашей родины, а возможно, что и на просторах всего мира. Ирка подавала на алименты, но эти, как их, судебные приставы папашу беглого найти не смогли. До меня доходили тогда глухие слухи об этом.

Больше про Ирку я ничего не знал. Наши родители умерли, а сами мы, когда выросли, контактов никогда не поддерживали. В детстве, понятно, виделись часто. На одной даче летом жили. И вот теперь – пожалуйста, померла. Блин!

Я осторожно спросил, что значит опекунство. Объяснение было долгим и неприятным. Самое дерьмовое, как я понял, что ребенок должен жить со мной. Минимум до шестнадцати, сейчас ей было девять. Жопа! Я уже набрал воздух, чтобы сказать, сдавайте в детский дом... и не смог. Спросил, что надо делать, поинтересовался, от чего умерла Ира и где сейчас девочка.

Ирина умерла от рака, девочка в больнице, ее положили на время, пока не решится вопрос с детдомом или опекунством. А ехать мне надо к ним в управу, начинать оформлять документы. Оказалось, на другой конец Москвы. Блин!

Я положил трубку и длинно и витиевато выругался. Ирке на том свете, наверное, икнулось.

Две недели ушли на сбор справок: НД, ПНД, собственность, доходы, моральный облик. И через месяц я с инспектором опеки поехал забирать девочку.

Внутренне я смеялся, Господь нашел-таки способ всучить мне ребенка. Женат я был три раза, но без детей. Разводился, и из-за расхождения взглядов на этот самый вопрос демографии тоже.

В фойе больницы мы ждали, когда приведут девочку. Я разглядывал жизнерадостных зверушек на стенах больничного вестибюля и ряды машинок и кукол в стеклянных шкафах.

– Наверное, надо ей каких-нибудь игрушек купить? – повернулся я к инспектору.

Та пожала плечами,

– Наверное. Съездите потом на квартиру, ключи я вам дам, заберете там, что нужно, вещи ее, игрушки. Да и еще наследство надо будет оформлять, это тоже на вас ляжет.

Я вздохнул.

– В школу переведете поближе к вашему дому, – сказала инспекторша. Я кивнул. Я уже знал, что Маша, так звали девочку, последние полгода в школу почти не ходила. Ухаживала, как могла, за умирающей матерью.

Андрей Клепаков родился (1955) и живет в Москве. Окончил медицинский институт. Поменял множество работ от медицинских до дворницких, в настоящее время на пенсии. Публиковался в журнале «Этажи» (2016).

– В какой класс? – спросил я.

– Она училась в третьем, должна была пойти в четвертый, но лучше посоветоваться с учителями. Много пропустила, может быть, ей лучше опять в третий. И так уже почти весь сентябрь прошел.

Я снова кивнул.

К нам подошла молодая женщина, миленькая, в очках. В пальцах она крутила визитную карточку. Поздоровалась с инспекторшей, улыбнулась мне:

– Здравствуйте, это вы Машу Кузнецову забираете?

– Я.

– Меня зовут Алена Николаевна, я психолог.

– Здравствуйте. Сергей, – представился я.

– Я бы хотела с вами поговорить.

Я в очередной раз кивнул.

– Можем пройти в мой кабинет, – предложила психолог.

Я оглянулся,

– А можно здесь? Вон там, например, – я махнул рукой в сторону двух тяжелых кресел, обитых коричневым кожзамом. – А то девочку скоро приведут, не хотелось бы заставлять ее ждать.

Легкое недовольство мелькнуло в глазах девушки, но она согласно кивнула. Мы прошли и сели. Кресла оказались неудобными. Я развалился и утонул, психолог с выпрямленной спиной села на край. Строго на меня посмотрела,

– Маша сложная девочка. Вы знаете, что она два раза пыталась убежать из больницы?

– Да, мне сказали. Алена, я могу вас так называть? – спросил я. Девушка кивнула. – А куда она хотела бежать? Ведь кроме меня у нее вроде никого нет.

– В том-то и дело, что бежать ей некуда. Не буду углубляться в психологические дебри, но это попытка убежать не из больницы, а от травмирующей ситуации. Слава богу, что ее поймали. Страшно представить, в какую беду могла бы попасть, – девушка выразительно на меня посмотрела. – Уход отца, смерть матери, – продолжила она. – Девочка находится в сильной депрессии. Сейчас она очень замкнута, почти неконтактна. Вам будет с ней непросто.

Я пожал плечами:

– Но деваться мне теперь некуда. Племянница все-таки.

– У вас ведь своих детей нет? – спросила Алена Николаевна. – И опыта педагогического тоже?

– Нет. Но я думаю, что если девочку не обижать, в угол не ставить, строго не воспитывать, то мне удастся найти с ней общий язык.

– Вы терпеливый человек?

– Да, – соврал я.

– Хорошо. Потому что терпения вам понадобится много. Сказки на ночь рассказывать умеете? – вдруг спросила Алена.

– Что?

– Сказки на ночь. Самый простой путь к сердцу ребенка. Только нескучные и без тупой морали. Сумеете?

– Не пробовал, но думаю, что сумею, – самонадеянно заявил я.

Психолог вздохнула, протянула визитку:

– Звоните, не стесняйтесь, всегда проконсультирую. Если что, звоните сразу, не доводите ситуацию до открытого конфликта.

Алена встала, я с трудом выбрался из кресла. Мы попрощались. Психолог ушла, я поискал глазами инспекторшу, та куда-то делась, и снова провалился в кресло. Закинул ногу на ногу и попробовал представить себе Иркину дочь.

«А что если девчонка глупая или толстая?» – вдруг испугался я.

Напротив меня очень полная мамаша успокаивала ревущего бегемотика. Развернув сникерс, мать совала шоколадку бегемотику в рот.

– Бли-ин, – подумал я обо всей авантюрности своего решения.

Потом увидел свою девочку. Ее, цепко ухватив за руку, вела инспекторша. Девочка была худенькая, даже тощенькая, светленькие волосы собраны на затылке в конский хвост. Клетчатое платье си-

дело кривовато, коричневые колготки пузырились на коленках. Она шла, глядя куда-то вбок и вниз. Сердце у меня екнуло, и я этому удивился.

Рядом шла врач со стетоскопом на шее и спортивной сумкой в руке. В другой руке она держала бумаги.

Я выскочил из кресла и сделал несколько шагов навстречу. Все остановились, врач поставила сумку на пол.

– Вот, Маша, познакомься, – сказала инспектор, – теперь ты будешь жить с этим дядей.

– Это мой папа? – спросила девочка, мельком взглянув на меня и снова уставившись в пол.

Инспекторша вопросительно посмотрела на меня. Я присел перед девочкой, пытаясь поймать ее взгляд. Безуспешно.

– Нет, я не твой папа. Меня зовут дядя Сережа. Я двоюродный брат твоей мамы. Тебе придется жить со мной, это лучше, чем попасть в детский дом, – сказал я, выпрямляясь.

Маша никак не прореагировала.

Врач передала мне документы, список рекомендованных препаратов, потрепала девочку по плечу. Напутствовала ее бессмысленной фразой типа «будь хорошей девочкой» и попрощалась с нами.

Я поднял сумку, и мы вышли из больницы.

Спускаясь по ступенькам крыльца, Маша пробурчала под нос:

– Все равно сбегу.

– Куда? – спросила инспектор.

– Ты колобок? – удивился я.

Маша промолчала. Когда мы уже подошли к машине, девочка вдруг сказала:

– Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя и подавно уйду.

Поставив сумку в багажник, я хлопнул крышкой:

– А чего время зря терять? Поехали сразу к лисе. И бегать никуда не надо будет.

Предупредив мое предложение подвезти, инспекторша сказала:

– Я сама доберусь, езжайте.

Было понятно, что ей хотелось побыстрее от нас отделаться.

– Садись впереди, пристегнись только, – велел я Маше. Мне совсем не светило следить, как она будет на поворотах перекатываться по заднему сиденью. Езжу я быстро.

Когда я сел в машину, девчонка открыла дверь и попыталась выскочить, я прыгнул и успел поймать ее за ногу. Она упала, наполовину вывалившись из машины, лягнулась свободной ногой, больно попала сандалией мне в лицо и отчаянно заорала:

– Спасите, помогите! Меня дядька чужой увозит!

Заслышав крики, инспекторша оглянулась, замерла на секунду и бегом бросилась к нам. Прохожие начали останавливаться, одна женщина достала мобильник.

Ухватив вторую брыкающуюся ногу, я смог втащить орущую девчонку обратно.

– Не волнуйтесь, – кричала на бегу инспекторша. – Я сотрудник опекунского совета! Эта девочка сирота, она в шоке, мужчина ее опекун. Все в порядке! Не обращайте внимания.

Около машины она остановилась и, порывшись в сумочке, достала удостоверение и, раскрыв его, показала самым любопытным.

Я ловил мельтешащие руки и ноги. В меня летели слюни и сопли.

– Дверь закройте! – крикнул я инспекторше. – Мне ее не удержать!

Хлопнула дверца, я ударил по кнопкам, блокируя двери. Девчонка вывернулась, куснула меня за руку и ткнулась в закрытое окно машины. Мне вдруг стало смешно, и я заржал. Девочка перестала биться и удивленно на меня посмотрела.

– Я поеду с вами, – закричала инспекторша. Я чуть приспустил стекло.

– Не надо, – все еще смеясь, ответил я. – Думаю, что справлюсь.

Маша сидела тихо и только строила страшные рожи.

– К лисе не поедем, – перестав смеяться, серьезно сказал я. – Ты ей пасть порвешь. Животное жалко.

– Я же говорю, все равно сбегу, – гордо ответила Маша.

– Может, и сбежишь, – согласился я, – только вот, смотри, – я достал смартфон и включил «Навигатор». На экране расползлось зеленое пятно.

– Видишь, эта точка внутри зеленого круга, это ты. Пока ты была в больнице, тебе в тело вшили чип. И теперь всегда видно, где ты находишься. Это карта, вот больница, – я ткнул в экран, – а это – вон тот дом, – и показал пальцем на дом, перед которым стояла машина. Ирина, судя по всему, жила небогато, и вряд ли девочка была знакома с работой «Навигатора».

– Ты все врешь! – выкрикнула Маша. – Ничего мне не вшили!

– Вшили, – спокойно сказал я. – Под наркозом и вшили. Ты ничего не почувствовала. А что было делать? Ты же убегала, а как тебя ловить? Вот и вшили. Теперь и у меня, и у милиции маяк стоит. Тебе же надо в школу ходить, а не по просторам бегать.

– Врешь, – уже не так уверенно возразила Маша. – Шрам бы остался, и болело бы.

– На спине где-нибудь вшили, чтобы не видно было. А не болело, потому что таблетки давали. Батарейки на два года хватит, – для пущей убедительности добавил я. – Потом менять надо, меня предупредили.

По стеклу, привлекая мое внимание, постучала инспекторша.

– Я позвонила, сейчас придет доктор, укол ей сделает, доедете нормально, на ходу не выскочит.

Маша поерзала на сиденье. Я поднял глаза. К автомобилю подходила врач, у нее в руке под салфеткой угадывался шприц.

– Ну, – спросил я девочку, – будем колоть, или ты спокойно поедешь?

– Не хочу укол, – сказала она.

– Разумно, – согласился я. – Выбирай. Прокатишься на машине или проспишь всю дорогу.

Маша молчала. Подойдя, врач сказала:

– Держите девочку, я ей в руку колоть буду. Только крепче держите, она у нас бойкая.

– Ну? – спросил я. – Колем или пристегиваемся?

– А по правилам нельзя ребенка на переднем сиденье возить, – уходя от ответа, сказала Маша.

– А мне плевать. Я люблю всякие правила нарушать, – заявил я, жестом предупредив врачиху, чтобы чуть подождала. – Ты ведь тоже любишь? Нарушать правила? – спросил я.

Девочка молчала.

– Ну, значит, будем нарушать вместе, – и я взялся за ремень безопасности.

Маша дала себя пристегнуть. Я заблокировал стеклоподъемник.

– Спасибо, – улыбнулся врачу, – вроде мы договорились.

– Может, ее лучше назад посадить, – предложила врач.

– Сзади мне будет труднее ее контролировать. Еще удавку на шею накинет, – засмеялся я.

Доктор покачала головой.

– Удачи, – сказала она. – Телефон мой у вас записан, звоните, если что.

Я еще раз поблагодарил врача, улыбнулся инспекторше и завел машину.

Прокатиться не удалось. Пробки. Тачка еле ползла. Мы заскучали. Оба.

– Мне надо в туалет, – торжественно объявила Маша.

– Пять минут терпишь? – абстрактно поинтересовался я, прекрасно зная ответ.

– Нет, – радостно прозвучало. – Я сейчас описаюсь.

– Хорошо, – кивнул я, останавливаясь во втором ряду и включая аварийку. Сзади засигналили. Я вышел из машины, злорадно ухмыльнулся и показал средний палец вставшему за мной фольксвагену. Водитель зашевелил губами и включил поворотник. Как говорится: «Слов не слышно, но по губам видно – оскорбляет». Обойдя тачку и вынув из нее девочку, я сказал:

– У тебя два варианта: или ты писаешь прямо здесь, на газоне, под деревом, или мы идем к метро. Видишь голубые кабинки? Это туалеты. И ты писаешь там.

– Мне нужен нормальный туалет, в торговом центре.

– До торгового центра полчаса тащиться. Ты не доедешь, точно описаешься.

– Не описаюсь.

– Думаешь, оттуда легче сбежать? Как в кино? – Я достал телефон и включил «Навигатор». – Вот она – ты, – сунул смартфон девочке в нос. – Ты сбегаешь, я звоню в полицию. Тебя ловят с собаками. Знаешь, какие теперь у ментов собаки умные? Они смотрят на экран и бегут за движущейся точкой. У них на специальном ошейнике перед мордой устройство закреплено. А когда собаки тебя догоняют, они очень больно кусают за попку. Гораздо больней, чем укол. Зубы-то у них – милицейские.

Маша молчала. Я опустился перед ней на корточки:

– Я могу тебе что-нибудь купить, о чем ты мечтала? Барби, например, или домик для Барби? Или Барби с домиком?

– Шестой айфон, – ответила девочка и с интересом посмотрела на меня. Вот оно – поколение некст! Дети индиго. Я думал секунду.

– Знаешь, – сказал я, – шестой тебе будет неудобно держать. Он очень большой, давай купим пятый. Или пятый «S»?

– Ты врешь, – недоверчиво проговорила Маша.

Я кивнул.

– Я вру часто, почти всегда. Но не сейчас. Поедем, купим.

– Правда? – в потухших глазах девочки что-то зажглось.

– Садись в машину. Если описаешься – не купим.

До торгового центра было две остановки на метро. Мы ехали двадцать пять минут. Еще пять я крутился по стоянке, искал место.

Про туалет Маша больше не вспоминала.

Когда мы снова сели в тачку, девочка не отрываясь смотрела в айфон и самозабвенно нажимала кнопки. Я самодовольно улыбался.

– Привет, – сказала она кому-то в телефон. – Ага, я. Это мой новый номер. Запомни. У тебя какой скайп? Сейчас наберу. Жди. Хочу картинку показать. Не, пятый.

– Класс. Я-то думал, она в шарики играет, а она в скайпе зарегистрировалась, – покачал головой я.

Маша подняла айфон, взяла панораму, вид из окна, мой вид, и снова поднесла телефон к уху.

– М-да, с «Навигатором» я, пожалуй, пролетел.

– В мерседесе. Не, не папа, дядя. Ну, пока, позвоню еще.

– Это не мерседес, – сказал я, взглянув на девочку. Она сидела, сжав бедный айфон так, что у нее побелели костяшки пальцев. Ее глаза были полны слез.

Я отвернулся, делая вид, что ничего не заметил, и подумал, – какие, однако, страсти в девять-то лет.

– На обед пиццу будешь? – спросил я.

– Пиццу? – девочка задумалась. – Не знаю, буду, наверное.

– Ты, что пиццы никогда не ела?

– Не-а, – беззаботно ответила Маша.

Я позвонил в «Папа Джонс», заказал большую, морскую на тонком тесте. До дома оставалось уже недалеко, и, несмотря на пробки, были все шансы приехать раньше, чем ее привезут.

– Тапочки у тебя есть? – Маша топталась на коврике у двери.

– Тапочки? Нет, тапочек нет. Вытри ноги и проходи так. На улице сухо, особой грязи нет.

Девочка продолжала стоять как приклеенная. Я задумался, вспоминая.

– Подожди, щас поищем.

Залез в тумбу для обуви и в глубине нашарил пару зайчиков. У одного было оторвано ухо.

– Вот, померяй, от девушки одной остались.

Тапочки оказались почти впору.

– В ванную заходи, руки мыть.

Я отрегулировал воду. Маша стояла рядом и крутила головой, разглядывая душевую кабину.

– Ручки давай, – сказал я.

Девочка протянула руки. Я намылил их жидким мылом.

– Ты что, мне будешь руки мыть? – удивленно спросила она.

– Ну, да. Всем моим девушкам очень нравилось, когда я мыл им ручки. На этом, собственно, они и горели, – мечтательно улыбнулся я.

– Они что, маленькие были? Только маленьким руки моют.

Вода с рук девочки текла почти черная.

– Я бы не сказал, что они были маленькими, обычные девушки, взрослые.

– Глупость какая, не понимаю, чему тут нравиться.

– Доживешь до двадцати лет, поймешь, – усмехнулся я, вытирая ладошки и пальчики. – Ногти надо подстричь, черные все.

– А вот ногти на правой руке стричь не умею, – призналась Маша.

– Подстригу, – успокоил я.

Раздался звонок в домофон. Привезли пиццу.

Маша съела половину, и смотрела еще на кусок. Я положил ей на тарелку. А я-то надеялся, что останется и на ужин. Ладно, поужинаем в кафе под домом. Других вариантов все равно не было. Одинокий, холостой мужчина, я как-то не особо склонен к занятию кулинарией.

– Ну, пошли устраиваться, – сказал я после обеда.

Для Маши была выделена спальня.

– Это будет моя кровать? Какая огромная.

Я кивнул. Таких, как она, на кровати могло комфортно поместиться штук шесть.

– Туалетный столик и пуфики уберу, купим обычный компьютерный стол. Пока заниматься будешь в другой комнате. В школу устраиваться пойдем завтра. Часть полок в шкафу уже освободил, можешь сейчас разложить свои вещи, я помогу. Потом съездим к тебе, заберем зимнюю одежду и что тебе еще понадобится.

Я оглядел комнату,

– Телевизор ночью не смотреть. Дом панельный, звукоизоляция плохая, соседи прибегут. Курить только на балконе, даже зимой.

– Я не курю, – пораженно ответила девочка.

– Сейчас не куришь, а что будет года через три, никто не знает.

– Ты разрешишь мне курить?

– Я тебе все разрешу. Терпеть не могу что-то запрещать.

Девочка долго молчала, потом сказала:

– Но ты же запрещаешь смотреть ночью телевизор.

– Да, – согласился я. – Противоречие. Но жизнь и состоит из сплошных противоречий.

– Ты странный, – задумчиво сказала Маша.

– И желающий странного, – кивнул я. – Пошли в другую комнату.

В другой комнате стоял диван, на котором теперь мне придется спать, пара глубоких кресел, фальшивый камин с электрической подсветкой, наследие одной из моих жен, и компьютерный стол со старым стационарным компьютером.

– Комп отдам тебе, когда купим новый стол, – ткнул я пальцем в монитор. – Можно бы перетащить и этот, но он слишком здоровый, в комнате будет не повернуться.

На кухне зазвонил телефон.

– Твой, – сказал я Маше. Девочка опрометью бросилась бежать. Я прислушался. Ее разговор оказался коротким: «Привет. Я потом перезвоню».

– Приятель звонил? – спросил я, когда она вернулась в комнату.

– Подружка. В соседнем подъезде живет. Вместе в школу ходим, – объяснила Маша.

– Та, которой ты из машины звонила?

Девочка кинула.

– В одном классе учитесь?

Маша кивнула снова.

– Она не очень хорошая подружка, правильно?

– Да, не очень, – согласилась девочка.

– Но другой нет?

Маша промолчала.

– Хочешь, можем съездить к ней в гости?

Маша промолчала снова, а потом спросила:

– А ты разрешишь мне не ходить в школу?

– Я-то разрешу, – пожал я плечами. – Но в нашей стране обязательное среднее образование. Поэтому восемь классов тебе придется закончить. Хоть чучелом, хоть тушкой.

– Почему чучелом? – удивилась девочка.

– Анекдот такой есть про попугая.
– Расскажи.
– Расскажу, потом.
– Почему потом? Расскажи сейчас.
– Ты не поймешь, придется много всего объяснять. А мне лень.
– Это нечестно! – насупилась девочка.
– Конечно, нечестно, – кивнул я. – Я вообще очень нечестный.
Маша замолчала. Потом спросила:
– Ну?
– Что ну?
– Ну, почему нельзя в школу не ходить?
– А, – ответил я, – потому что я опекун, и тетя, которая сегодня была с нами – из опекунского совета, и она будет приходить и проверять, как ты у меня живешь. Ходишь ли в школу, хорошо ли питаешься, не обижаю ли я тебя. Если ответы будут отрицательными, тебя у меня заберут и отдадут в детский дом. А там уж от школы не отвертишься.
Маша нахмурилась, что-то обдумывая.
– Значит, если я на тебя нажалуюсь, меня заберут?
– Да, – кивнул я.
– А тебя накажут?
– Не знаю, думаю, что нет. Хотя, в зависимости от того, что буду делать. Если ты в школу ходить не будешь – то просто заберут. Если я тебя голодом буду морить – накажут.
– А зачем?
– Что зачем? – не понял я.
– Зачем ты меня взял?
– А что было делать? Не отдавать же тебя в детский дом?
– Почему?
– Ну, ты моя племянница.
– Ну и что?
– Ну, у меня только одна племянница. Ты, – улыбнулся я.
– А если бы было много?
– Я бы взял только одну.
– Почему одну?
– А на фига мне много племянниц? – засмеялся я.
Маша пожала плечами и пробурчала под нос: «А на фига одна?» – и уже громче спросила:
– Про попугая расскажешь?
– Расскажу, на ночь, вместо сказки.

На ночь, после ужина в кафе и душа в душевой кабине (Учились правильно крутить краны. Научились. Наводнения не было.), я рассказал анекдот. Маша не поняла. Пришлось долго объяснять, когда она, наконец, въехала, то не смеялась.
– Попугай умер? – спросила она.
– Нет, – ответил я. – Он улетел.
– Куда?
– Как куда? В Израиль, – ответил я и заржал. – Хоть чучелом, хоть тушкой. Спи давай, – и, поцеловав девочку в нос, погасил свет и вышел из комнаты.

Утром меня разбудил звон разбившейся на кухне посуды. Я посмотрел на часы. Безумное время, семь тридцать.
– Чего ей не спится, – пробормотал я, вставая и надевая халат.
На кухне стояла Маша с совершенно белым лицом и трясущимися губами. На полу валялись осколки разбитой кружки.
– Что случилось? – зевая спросонья, спросил я.
– Я кружку разбила, – прошептала девочка.

– Черт с ней, – равнодушно заметил я. – А что тебя в такую рань подняло?

– Я хотела приготовить тебе завтрак и разбила кружку.

Слеза медленно ползла по щеке девочки.

– Твою любимую, с драконами. Ты вчера говорил.

«Странно, – удивленно подумал я, – вчера сбегала, сегодня завтрак готовит. Или у детей это норма? Столь быстрый переход от ненависти к любви. Чуть пригрел ребенка, рассказал анекдот, сделал подарок – и готово? Доверие и любовь уже завоеваны?»

Я пожал плечами и шагнул ближе. Маша зажмурилась.

Я кашлянул. Девочка открыла глаза.

– У меня есть еще любимая, вот эта, с собачкой, – сказал я, снимая с полки кружку. Поднял ее повыше и отпустил. Осколки разлетелись по всей кухне. Маша, не понимая, смотрела на меня.

– Знаешь, я думаю, что без блюдец кружкам будет скучно, – я достал пару блюдец и одно протянул девочке. – Давай кидай, – улыбнулся я.

– Что кидать?

– Блюдце. К кружкам до кучи, чтоб не скучали, – и я шмякнул свое об пол. Брызнули осколки. – Давай, давай, смелее. Чего ты боишься? Посуду никогда не била? Давай. Привыкай.

Я взял блюдце из ее руки и бросил на пол. Девочка вздрогнула.

– А тарелки? – я взял тарелку и протянул Маше. – Тарелку сама, я посмотрю.

Маша выпустила тарелку из рук. Ударившись о керамогранитную плитку, тарелка раскололась на две половинки.

– Ну, кто же так посуду бьет, – протягивая девочке следующую, возмутился я. – Поднимаешь повыше и с силой об пол. Давай, я посмотрю.

Маша робко улыбнулась.

– Давай, тренируйся. А то с таким навыком замуж выходить нельзя. Тебя же проверять будут, как ты посуду умеешь бить.

Девочка высоко подняла тарелку, зажмурилась и со всей силы грохнула об пол. Звон разбившейся тарелки слился с трелью дверного звонка.

– Молодец! – сказал я и пошел открывать, недоумевая, кого это черт принес в такую рань.

В дверях стоял сосед снизу в майке, с сигаретой и мусорным ведром в руке. Я поморщился, сосед торопливо затушил сигарету о ведро и бросил окурок внутрь.

– Привет, Борь, – поздоровался я. – Ты чего с утра пораньше?

– Привет, – ответил он. – Да вот, пошел мусор выносить и слышу, у тебя посуду колотят. Чего, жена вернулась?

– Нет, племянница.

– Ну, да? Крутая девушка, познакомь.

– Заходи, – посторонился я.

Борис оставил пустое ведро за порогом и прошел на кухню.

– Ути, господи! – воскликнул он, увидев Машу, стоящую среди осколков. – Это все твоя работа? – обвел он глазами кухню.

Маша смущенно пожала плечами.

– Правильно, – кивнул Борис. – С ним так и надо. А то у него бабы не держатся. Ты его вот так держи, – и Борька сжал кулак, показывая, как надо меня держать.

– Ну, привет, – выходя с кухни, ткнул он меня в плечо. – Не буду мешать вам развлекаться.

– Молодец, – сказал я Маше. – Видишь, Борьке понравилось, как ты посуду бьешь.

– А кто это? – спросила девочка.

– Наш сосед снизу. Ну, давай, теперь подметать.

Когда осколки были убраны, а пол на кухне и в коридоре даже пропылесосен, я спросил:

– А что ты хотела приготовить на завтрак?

– Яйца, – ответила Маша. – У тебя яйца есть?

Я прикусил язык, чтобы не пошутить.

– Должны быть. Посмотри в холодильнике, – предложил я.

Девочка открыла холодильник. Отсек для яиц помещался на самом верху дверцы.

– Высоко, мне не достать.

– Встань на стул.

Маша пододвинула стул к холодильнику.

– Омлет умеешь готовить? – спросил я.

Взобравшись на стул, она кивнула.

– Бери тогда четыре.

Маша двумя руками ухватила четыре яйца. Последнее, пятое, почему-то начало падать. Девочка качнулась, пытаясь его поймать. Я кинулся ловить Машу. Я сумел, она нет.

– Ну, – спросил я, держа испуганно глядящую на меня девочку, – бьем остальные?

– Нет, – неуверенно улыбнулась она, – есть будет нечего.

– Правильно, – я снял Машу со стула. – Готовим яичницу, омлет не получится. Молока нет. Сковородка в плите. Масло вот, – я достал из холодильника масленку. – Сейчас уберу разбитое яйцо и умоюсь, ты готовь пока.

Пока я чистил зубы и брился, Маша гремела на кухне посудой.

– Кофе варить умеешь? – спросил я, выйдя из ванной.

– Нет, мама не пила кофе, – ответила девочка, раскладывая чуть подгоревшую яичницу по тарелкам.

– Я сварю. Будешь кофе? Или лучше чай?

– Лучше чай. Я где у тебя хлеб? Я не нашла.

– В холодильнике. Я редко дома ем, чтобы не сох быстро. Чай какой, черный, зеленый?

– Обычный чай.

– Из пакетика пойдет?

– Пойдет.

Я сунул два куска хлеба в тостер, пакетик «Липтона» залил кипятком и сел за стол.

– А кофе? – спросила Маша.

– Потом сварю. А то яичница твоя остынет.

После завтрака пошли в школу. Устраиваться. В кабинете директора посмотрели наши документы, поспрашивали Машу по программе. На какие-то вопросы она ответила, на какие-то нет. Решили взять в четвертый класс, но мне настоятельно порекомендовали с девочкой позаниматься дома. И вообще первое время обязательно контролировать выполнение домашнего задания. Я согласно кивал, Маша болтала ногами и озиралась по сторонам.

Я отменил не очень важную встречу и из школы повез Машу в зоопарк. Ничего оригинальнее придумать не смог. В зоопарке Маша была один раз и очень давно, как она выразилась, в детстве. Я приблизительно тогда же. В общем, ей понравилось. Мне, в общем, тоже. Пообедали в центре в ресторане. По дороге домой заехали в книжный, купили целую кучу учебников и прочей школьной фигни. Список я получил у директора.

Попыток сбежать девочка больше не предпринимала. Процесс приручения лисенка вроде шел успешно.

Остановив машину у подъезда (нашлось место), я увидел, что Маша благополучно спит. Видимо, сказалось нервное напряжение последних дней.

Отстегнув девочку и подобрав валяющийся на сиденье айфон, я пристроил ее у себя на плече. Нагруженный книгами и девочкой, с трудом сумел ткнуть ключом в домофон. Дверь навстречу мне распахнулась, я еле увернулся от удара. Из подъезда вышла соседка по этажу.

– О, Сергей, оказывается, у тебя девочка. А ты и не говорил никогда. Дочка?

Пришлось ответить:

– Племянница, сирота. Теперь будет жить со мной.

Маша проснулась, зашевелилась, и я спустил ее с рук.

– Как тебя зовут, милочка? – наклонилась к ней соседка.

Маша набычилась и промолчала.

– Катя, – ответил я. – Просто стесняется немного.

Маша удивленно подняла на меня глаза.

– А сколько тебе лет, Катенька? – умильно спросила соседка.

– Найн, – то ли по-английски, то ли по-немецки гавкнула Маша.

– Ничего не поняла, – выпрямилась соседка.

– А что вы хотите, – я улыбнулся и развел руками, – поколение некст, – и мы с Машей вошли в подъезд.

– Ах, Сережа, какой ты молодец. Сироту взял, – донеслось в спину, и дверь щелкнула, закрывшись.

– Почему ты сказал, что меня зовут Катя? – спросила у лифта Маша.

– Для нее и Катя сойдет. И вообще, не фиг всяким бабкам лезть к моей девушке.

– А кто это?

– Соседка по этажу. Противная старушенция. С детства не люблю. Она меня, впрочем, тоже.

– На бабу-ягу похожа немного, – задумчиво заметила Маша.

– Она и есть баба-яга, вполне настоящая. На помеле летает и детишек маленьких крадет.

– Ну да? – Маша даже рот открыла.

Я кивнул.

– Ты поосторожней с ней. Не расслабляйся, сопрет – только так.

– Да ну. Ты опять врешь. Никто на помеле не летает.

– Может, и не летает, – легко согласился я. – Но ты все равно поосторожней.

– А как ее зовут? – спросила Маша.

– Ягвида Станиславовна.

Маша хмыкнула.

– Поэтому ты ее бабой-ягой и зовешь?

– В детстве звал тетей Ягой. Ей очень не нравилось.

– Ты здесь с детства живешь?

– С самого-самого. Я здесь родился.

Мы вышли из лифта и подошли к двери.

– На, попробуй открой дверь, – протянул я Маше ключи. – Может быть, придется приходить из школы, когда меня не будет дома. Я все-таки работаю. Иногда.

Маша, высунув от напряжения язык, крутила ключом в замке. Замок щелкнул.

– Молодец, теперь второй, – я показал, как вставляется нижний ключ. Дверь открылась.

– Бабкам-ягам и всяким другим Кощеям, добрым молодцам и красным девицам дверь не открываешь, конфет не берешь, ключи не даешь и советов и предложений не слушаешь, в машины не садишься, а сразу посылаешь... Ну, сообразишь, куда послать? – спросил я, входя в квартиру и забирая у Маши ключи.

– Соображу, – важно кивнула девочка.

– Что будешь отвечать особо настырным?

– Отвянь, педофил, – презрительным тоном произнесла Маша.

Я заржал и покачал головой.

– Супер!

– А я твоя девушка? – спросила Маша.

– В смысле? – кашлянул я.

– Ну, ты сказал, что не фиг всяким бабкам лезть к моей девушке.

Секунду-другую я молчал, заглатывая назад все непрошенные шутки и ассоциации,

– Ну, раз ты не юноша и живешь у меня, то по-любому получается, что ты моя девушка, – улыбнулся я.

Маша удовлетворенно кивнула.

«Блин», – подумал я и, уходя от скользкой темы, спросил:

– Учебники сейчас посмотрим, или ну их на фиг до школы?

– Сейчас.

До школы оставалось два дня. Я договорился с директором, что приведу Машу в понедельник. Разглядывая учебники, чесал в затылке, какую программу для ребенка придумать на выходные. При-

думал. Заказал билеты. На субботу в театр Образцова на «Лампу Аладдина», на воскресенье в Останкино на башню. Погоду вроде обещали хорошую. Правда, билеты на телебашню оставались только на девять утра. Но все равно, теперь придется привыкать вставать рано. Убил бы того, кто придумал начинать уроки в школе в восемь тридцать.

Вечером после душа Маша лежала в постели, я сидел рядом и рассказывал сказку на ночь. Весь ассортимент известных мне сказок оказался знаком и Маше тоже. Чтобы не повторяться, пришлось придумывать по ходу.

– Это сказка про двух девочек – двух принцесс, которые потерялись во времени, перепутались и поменялись местами, – начал я.

– Как так? – раздалось с кровати.

– Ну, как? – сказал я. – Одна была настоящая принцесса, жила в замке, в сказочной стране, все как положено. А другая в нашем времени, в Москве, обычная девочка и принцессой была давно, в какой-то своей прошлой жизни.

– Прошлая жизнь? Разве это не враки? – последовал вопрос.

Пришлось рассказывать про прошлые жизни. История получилась увлекательной, и принцесс мы отложили на следующий раз. А пока договорились, что Маша постарается во сне увидеть свою прошлую жизнь, а я свою, и завтра мы поделимся приснившимся.

– Спи, – шепнул я, выключив свет и поцеловав девочку на ночь.

Утром ребенок чуть не плакал от разочарования. Прошлая жизнь не приснилась. Я успокаивал, как мог, аргументируя, что мне тоже не приснилась, и что сразу и не приснится, но надо стараться. И каждую ночь, ложась спать, надо хотеть, чтобы приснилась, и тогда когда-нибудь обязательно приснится. Сначала прошлая, потом позапрошлая, ну, и так далее в глубь веков, до египетских пирамид.

Про пирамиды Маша знала.

– А до пирамид? – спросила она.

– До пирамид были Ур и Элам.

Про этих Маша уже не слышала.

Пришлось рассказывать. Шумеры, боги Энлиль и Энке и царь Гильгамеш.

Однако пора было собираться в театр, и я предложил рассказать про Гильгамеша на ночь.

Но нет, на ночь были затребованы принцессы.

– А тебе снились твои прошлые жизни? – уже в машине спросила Маша.

Я кивнул.

– Снилось кое-что.

– Ур и Элам?

– Знаешь, мне трудно сказать, Ур это был или Элам. Там таблички при въезде не было. Но судя по тому, что я видел и чувствовал, скорее всего, действительно эти времена и это место.

– Расскажи.

Я рассказал. Закончил, как раз подъехали к театру. Маша плакала. Я улыбнулся:

– Ну, не расстраивайся, это же было так давно, и я потом еще сто раз родился. А в следующей был фараоном и дожил до ста лет. Пошли про Аладдина смотреть.

– Пошли, – всхлипывая, сказала Маша.

В общем, Week-end прошел вполне по-уикэндски. На Аладдине смеялись и хлопали, на башне на стеклянных плитках пола визжали и боялись.

В воскресенье вечером позвонила Ольга. Спросила, забрал ли я племянницу, и предложила приехать. Я отвечал, что племянница у меня уже три дня, и, покосившись на Машу, добавил, что девочка хорошая, а вот с приездом попросил подождать. Пусть ребенок получше привыкнет, ей пришлось много пережить, да и характер у нее сложный, и у нас только-только начали выстраиваться отношения. И сейчас сталкиваться с чужим человеком ей совсем ни к чему.

– Это я чужой человек? – сразу последовал вопрос.

– Ну, для нее и я чужой человек, а ты уж и подавно.

В трубке засопели, холодно ответили: «Ну, как хочешь», и послышались гудки отбоя.

– Это твоя девушка? – спросила Маша

– Это моя женщина. Чувствуешь разницу? – сказал я.

Маша не ответила и перевела разговор на принцесс.

Маша уже лежала в постели, а принцессы вовсю путались, когда послышался звук поворачивающегося ключа в замке, хлопок закрывшейся двери, и по плиткам пола процокали каблучки. Дверь в комнату отворилась, на пороге стояла улыбающаяся Ольга. В одной руке она держала торт «Панчо», в другой большую коробку с нарисованной на ней Барби верхом на мотоцикле.

– Привет, ребенок, – сказала она Маше, быстро кивнув мне. – Вылезай из кровати, будем торт есть. Ты любишь торт?

Маша молча смотрела на нее.

– Смотри, что я тебе принесла, Барби на мотоцикле. У тебя есть такая? – Ольга улыбалась.

– Он же сказал, чтобы ты не приезжала. Я слышала.

Улыбка медленно сползла с лица Ольги. Она вопросительно посмотрела на меня. Я развел руками и пожал плечами.

– Все уже так серьезно? – спросила меня Ольга.

– Поколение некст, – усмехнулся я. Потом потрепал Машу по плечу:

– Это тетя Оля, давай не будем ее обижать, раз уж она приехала. Вставай, пойдем торт есть. И Барби тебе замечательную привезла. С мотоциклом.

– Терпеть не могу Барби, дуру эту, – Маша отвернулась.

Я наклонился к девочке и шепнул в самое ушко:

– Она же не знала, хотела как лучше. Давай не будем тетю обижать, это ведь моя тетя. И торт вкусный. Вставай.

Я поднялся.

– Пошли, – повторил я. – Зубы второй раз можно будет не чистить.

– А сказка? – подняла на меня глаза Маша.

– Обязательно сегодня дорасскажу, – кивнул я.

Маша вздохнула и откинула одеяло. Ольга тоже вздохнула и, оставив коробку в комнате, с тортом пошла на кухню. Я поднял девочку с кровати и отнес на руках.

Сев на стул, я пристроил Машу у себя на коленях. Ольга включила чайник на девяносто пять градусов, достала из сумки и сунула в холодильник бутылку «Ахашени», полазила по жестянкам с чаем, выбирая какой заварить, расставила чашки и тарелки, разрезала торт и разложила по тарелкам.

Маша зевала, сидя на моих коленях. Ольга села за стол напротив нас и спросила девочку:

– Ты чего, как маленькая, на коленках у дяди сидишь?

Маша промолчала, только крепче прижалась ко мне. Тут, отключившись, щелкнул чайник, Ольга встала, сполоснула горячей водой фарфоровый заварник, насыпала чай, налила воду и уронила крышку от чайника. Крышка зазвенела по полу, но не разбилась. Ольга сказала: «Блин!», подняла крышку, накрыла чайник салфеткой и повернулась к нам.

– А ты умеешь бить посуду? – спросила ее Маша.

– А ты разве не знаешь, что к взрослым надо обращаться на вы? – посмотрела на нее Ольга.

Маша промолчала.

– Ну, если тетя Оля хочет, чтобы ты говорила ей «вы», то проблем никаких, будешь говорить ей «вы». Правда? – пришел я на помощь Маше.

Маша, очередной раз зевнув, равнодушно кивнула.

– А как ты зовешь дядю Сережу? – спросила Ольга.

– Просто Сережа, – ответила девочка.

– Мне кажется, что все эти «вы» и «дяди» слишком формально. Она как-то сразу стала мне говорить «ты», я не возражал.

– Хорошо, можешь звать меня просто Олей без тёть и на «ты», – сделала шаг к сближению Ольга. – А почему ты спросила, умею ли я бить посуду?

– Она нечаянно разбила кружку, пришлось поиграть в битье посуды, чтобы научиться бить правильно, – снова встрял в разговор я.

– Научились? – подняв брови, спросила Ольга.

– Вполне, – кивнул я.

– Борьке понравилось, – сказала Маша.

– Какому Борьке? – удивилась Ольга.

– Соседу с пятого этажа, – пояснил я.

– Ну, ты даешь, – вставая, покачала головой Ольга. Разлив чай по чашкам, она пододвинула тарелку с куском торта ближе к Маше. Та потянулась к торту, и рукав пижамы оказался в чашке с чаем.

– Ой! – сказала Маша. Ольга взяла полотенце и отжала в него край рукава.

– У тебя есть, во что ее переодеть? – спросила она меня.

Я проинспектировал мокрый рукав.

– Ничего. Не сильно промок, пока чай выпьем – высохнет.

– Он тебе мыл ручки? – спросила Ольгу Маша.

– Не поняла вопроса. Почему он должен был мыть мне руки? – удивилась та.

– Он мне сказал, что всем своим девушкам он мыл ручки. Чтобы они в него влюблялись. Мне тоже моет. Каждый день.

Ольга хмыкнула, рассмеялась, взглянула на меня, снова хмыкнула и, ничего не сказав, принялась за торт.

– Раз уж мы играем в маленьких, давай я тебя покормлю, – предложил я Маше, – пока посуда цела и все не промокли окончательно.

Девочка с готовностью открыла рот. Я взял вилку.

Когда кусочек торта оказывался у Маши во рту, глаза ее закрывались. Как в рекламе «Даниссимо». Торт был действительно вкусным.

– Пойду, покурю, – сказала Ольга, – пока идет это кормление детей и зверей.

Ольга вышла. Глаза у Маши не открывались уже и между кормлениями. Ее голова упала мне на грудь.

– Пошли спать. Вот глотни чая и пошли, – сказал я, поднося чашку к ее губам.

Маша выпила чай, так и не открыв глаз. Я отнес ее в спальню. Моего поцелуя она уже не почувствовала. Принцессы могли спокойно отдыхать до завтра.

Я вернулся на кухню. Ольга разливала вино по бокалам.

– Слушай, я какой-то джипарь подперла. Сделай милость, переставь мою тачку. Не хочу, чтобы он поднял нас завтра часов в шесть.

– Ты хочешь остаться на ночь?

– А ты нет?

– Да нам завтра в школу первый день. Мне надо ее отвести. Уроки в восемь тридцать начинаются. Чума просто. Это ж во сколько вставать надо? Я даже не считал еще.

– Ты так возишься с этим ребенком. Хочешь, я рожу тебе твоего собственного?

– Спасибо, не надо. Этот уже почти готов, осталось чуть-чуть помучиться. А свой – это с нуля. «Уа-уа» орать будет.

– Я и смотрю, как ты мучаешься. В тебе просто кладезь отцовства. Никак не ожидала такого увидеть.

– Я и сам не ожидал.

– Ну? – спросила Ольга, держась за ножку бокала. – Так мы пьем, или мне уехать?

– Давай ключи, – вздохнул я. – Только не высовывайся из комнаты, пока мы не уйдем завтра. Видишь, девочка ревнует. Чего ей лишний стресс создавать.

– Это я, блин, ревную, – зашипела Ольга, – отец-одиночка, блин! Вот ключи.

– Давай выпьем за любовь, – сказал я, сгребая ключи со стола, – а то ты дерганая сегодня какая-то.

Ольга подняла бокал.

– Вообще не понимаю, как такой эгоист, как ты, мог взять чужого ребенка на воспитание!

– За любовь, – сказал я, мы чокнулись.

– Это потому, что ребенок – девочка, хорошенькая и умненькая, – ответил я, ставя бокал на стол.

Ольга замерла с открытым ртом.

– Ну, ты козел! – услышал я в спину.

– А то! – тихо, чтобы не разбудить Машу, заржал я, выходя из квартиры.

Когда, переставив Ольгин «пежик», я вернулся, то застал ее в душе. Раздевшись, я залез к ней.

– Дверь в кабину закрой, а то потоп устроим, и твой Борька снизу прибежит, – сказала, обнимая меня, Ольга.

Утром я проснулся за пять минут до будильника. Ольга безмятежно спала, уткнувшись носом в спинку дивана. Одевшись и тщательно закрыв за собой дверь, я прошел в ванную. Соорудив завтрак для Маши, отправился ее будить.

Девочка уже сидела на кровати.

– Вставай, умывайся. Завтрак на столе, – объявил я.

Себе я развел ударную дозу растворимого кофе. Варить нормальный не было сил, есть тоже.

Хоть школа и была во дворе дома, мы вышли за полчаса, потому что я еще хотел купить цветов.

На пороге класса, отдавая букет в руки девочки, я шепнул ей в ухо:

– Учительницу зовут Елена Сергеевна. Ты сирота, и у тебя есть я. Это много круче, чем обычные родители, как у всех. Тем более что у половины пап нет.

Маша оглянулась на меня, улыбнулась и толкнула дверь в класс. Я постоял несколько секунд, зевнул и пошел домой.

Когда я вернулся, Ольга спала, естественно. Я задумчиво посмотрел на диван, но не лег, а пошел в душ. Позавтракал, выжал сок из двух апельсинов для Ольги. Она по утрам не ест. Сварил себе чашку кофе и стал ждать. Чего? Когда проснется Ольга, или когда вернется Маша? «Как, мои девочки, стерпится – слюбится, или станете конфликтовать?»

Кофе был черен, крепок и горек, как последний поцелуй, – вспомнил я Талейрана. Усмехнулся.

«Как же так получилось, что эта девочка забралась в мою жизнь? И так быстро, – думал я. – Никогда не хотел ребенка, и вдруг, как Ольга сказала, “кладезь отцовства”. Откуда? Почему мне нравится мыть ей ручки и рассказывать сказки? Бред какой-то», – я потер лицо руками. «А если Ольга не сумеет построить интерфейс с ребенком, что я буду делать? Девчонка-то, правда, не подарок. А ведь мне плевать, что не подарок и воспитывать ее “в правилах” я не хочу, мне нравится в нее играть», – удивился я собственной мысли.

– Дочки-матери, блин, – проговорил я вслух.

«Избалую ведь, превращу в чудовище».

Я вспомнил детство, родителей. «Меня тоже баловали сильно, но чудовищем вроде не стал. Или стал?» – снова усмехнулся.

Ольга проснулась в десять. Мне как раз начали звонить клиенты. Я поставил перед ней стакан сока и ушел в комнату разговаривать.

Когда, приблизительно через час, вернулся на кухню, Ольга красилась.

– Ты как сегодня? – спросил я ее.

– А ты? – прозвучало в ответ.

– Мне надо с Машей съездить к ней домой забрать ее зимние вещи.

– Зима близко? – усмехнулась Ольга.

– Ну, осенние, и вообще, посмотреть, что там из барахла ей может понадобиться.

– Обязательно сегодня?

– У тебя есть предложения?

Ольга оторвалась от зеркала и посмотрела на меня.

– Ну, мы могли бы провести сегодняшний день вместе.

– С Машкой? – спросил я.

– Ну, как теперь без нее, – вздохнула Ольга. – Личная жизнь, как я понимаю, закончилась, осталось только семейное счастье.

– Ты же хотела ребенка. Вот получите, в качестве тренировки, – пожал я плечами.

– Я замуж хотела. И хочу, – Ольга в упор посмотрела на меня.

– Думаешь, четвертая попытка будет удачной? – усмехнулся я.

– Должен же ты утихомириться когда-нибудь, – Ольга вернулась к покраске глаза. – Тебе сколько лет, сорок?

– Тридцать девять, я еще молодой.

– На день рождения подарю календарь дожития.

Я заржал.

– А что у тебя завтра? – отсмеявшись, спросил я.

– Завтра перевожу.

– Блин. У меня завтра сделка, я хотел тебя попросить с Машкой посидеть.

– Никак, – Ольга развела руками. – У меня два дня синхрон.

– Ладно, какие у тебя предложения на сегодня?

– Может, пойдем, погуляем где-нибудь? Погода хорошая, золотая осень.

– В парк?

– А правда, поехали в Коломенское. Сегодня понедельник, народа будет не много. И днем без пробок проскочим.

– Хорошее место, – кивнул я. – Только там для ребенка ничего интересного нет.

– Ну, в зоопарк тогда.

– Были уже.

Ольга качнула головой и внимательно на меня посмотрела.

– В Парк культуры, на аттракционы.

– Там не припаркуешься ни фига. Вечно все забито.

– Под мостом, по-моему, платная есть.

– О, придумал. Встанем на Ленинском, у Нескучного. Там спортивный на углу. Купим ей велосипед. Пусть она катается туда-сюда, а мы пешком пойдем. Там до аттракционов полчасика прогуляться. И кафе – хренова туча. Найдем, где перекусить.

– Хочешь купить ей велосипед? А вдруг у нее есть, и только забрать надо.

– Ну, как вариант. Да и какой у нее может быть велосипед, так, старье какое-нибудь. Ладно, решили.

– А как ты потом велосипед домой попрешь? Он к тебе в тачку влезет?

– Купим такой, чтобы влез. Ей все-таки детский нужен. Складной можно.

– Ну, хорошо, – пожала плечами Ольга. – Покупай.

Зазвонил мой мобильный. Звонили по поводу завтрашней сделки. Как обычно, в последний момент возникли осложнения. Пришлось утрясать нюансы, искать компромиссы, уговаривать клиентов. Я часа два вел челночные переговоры. Матерился про себя, ругал идиотов контрагентов, но сделку вроде спас. Если, конечно, завтра очередная шлея не попадет под хвост очередному придурку.

Вышел на кухню, где Ольга, уткнувшись в свой ноут, готовилась к переводу.

– Кофе будешь? – спросил я.

– Угу, – промычала Ольга.

Я взялся за джезву, и в этот момент ожил домофон. Взглянув на часы, понял, что четыре урока закончились.

Я открыл дверь. Маша влетела в квартиру.

– Я получила пятерку! – закричала она с порога. Увидела вышедшую в переднюю Ольгу, замолчала и остановилась, словно налетев на стену.

– Молодец, – улыбнулась ей Ольга, – а по какому предмету?

– Она здесь всегда живет? – повернулась ко мне Маша.

Я кашлянул.

– Приезжает погостить иногда. Так по какому ты получила пятерку?

– По чтению, – буркнула под нос Маша. Ольга покачала головой и ушла на кухню.

– Пошли ручки мыть, – открыл я дверь в ванную.

В ванной Маша с готовностью протянула мне руки. Я включил воду.

– Сейчас перекусим и поедем в парк кататься на аттракционах, – сказал я, намыливая девочке руки. – Ты кушать хочешь?

– С ней? – спросила Маша.

Я кивнул.

– Зря ты так. Она хорошая.

Маша вздохнула.

– Ты ей ручки моешь?
– Нет, – улыбнулся я.
– А раньше мыл?
– Нет. Но я ее люблю.
Маша снова вздохнула.
– Хорошо, поехали, – сказала она.
– Извинись, пожалуйста, перед Ольгой.
– За что? – вскинула она на меня глаза.
– Когда она спросила тебя про пятерку, ты не ответила. Очень невежливо.
Маша промолчала. Я тоже промолчал, только вздохнул. Постарался потяжелее.
Когда мы вошли на кухню, Ольга нарезала хлеб и терла сыр. Она делала горячие бутерброды.
Зазвонил мобильник. Маша дернулась. Звонил мой. Я взглянул на экран и пошел в комнату доругиваться по сделке.
Когда вернулся, бутерброды были готовы. Ольга налила Маше чай и пододвинула тарелку. Для меня был приготовлен кофе.
– У тебя велосипед есть? – спросил я Машу.
– Нет, – с набитым ртом ответила она.
– Кататься умеешь?
– Угу, – кивнула Маша.
Дальше еда проходила в молчании. Когда все поели, Ольга поставила посуду в мойку и сказала:
– Вы пока собирайтесь, а я пойду, покурю.

– Она на балконе курит? – спросила Маша, когда Ольга вышла.
– Нет, на лестнице.
– А мне можно будет на балконе курить?
– Я надеюсь, что ты вообще не будешь курить, – улыбнулся я и продолжил: – Не будешь курить, пить, ругаться матом, делать татуировки, вставлять в нос пирсинг, нюхать кокаин, глотать колеса, гнать герыч по венякам. Не начнешь в тринадцать лет тра... – тут я остановился. Маша сидела, открыв рот.
– А будешь хорошей девочкой и извинишься перед Ольгой, – закончил я.
– А мне не будет тогда скучно жить?
Я подавился.
– Если извинишься перед Ольгой? Не будет, – нашелся я.
Маша молчала.
Я молчал тоже. Не знал, что делать. Не хотелось на нее давить и не хотелось позволять ей хамить.
Так мы и домолчали до возвращения Ольги.
– Вы готовы, наконец? – спросила она.
– Я-я, – вполне по-немецки ответил я. – Поехали, – кивнул я Маше.

В спортивном магазине Маша, конечно, была удивлена покупкой велосипеда. Купили складной, легко помещающийся в багажнике шестидесятой вольво. К выбору цвета девочка отнеслась индифферентно. Больше выбирали мы с Ольгой. Продавец отрегулировал седло и руль по росту Маши, и железный конь был торжественно вкачен под золотую листву деревьев в парке.
А дальше выяснилось, что кататься Маша не умеет. Совсем.
Дорожки и аллейки Нескучного сада, по которым в детстве гонял в казаков-разбойников, я теперь пробегал рысцой, держа велосипед с Машей одной рукой за руль, другой за седло. Велик кренился, Маша падала, я ловил. Мы смеялись и кричали. Ольга с мрачным видом шла и курила или впереди нас, или далеко отстав.
Когда мы наконец добрались до аттракционов, то были взмокшие, уставшие и голодные. И я предложил сначала поесть.
Обед был слегка испорчен кислой Ольгиной физиономией. Как я ни старался вовлечь ее в беседу, шутил, говорил комплименты, настроение ее не улучшалось. Зато Машка была очень довольна. У нее начало немножко получаться кататься. Она рассказывала, что отлично умела гонять на трехколесном, и сказала наконец, за что получила сегодня пятерку.

«Вот ведь, господи, человека еще нет, девять лет всего, – думал я про нее, – а какая уже женщина, блин. Вот уж сучье племя, воистину».

После десерта Ольга сказала, что ей неплохо было бы поехать позаниматься перед завтрашним переводом. И что мы можем спокойно догулять, а она и сама отлично доберется на такси. Мне еле удалось уговорить ее остаться.

На аттракционах Ольга с нами не каталась. Единственно проехала кружок на колесе обозрения. Мы с Машей прокатились дважды. Велосипед мы оставили у дежурного. Потом на велике сидела Ольга, ожидая, пока мы накатаемся на очередных каруселях или американских горках.

Когда мы, наконец, засобирались назад к машине, Ольга сказала:

– Нет, ребят, давайте вы одни. Пока вы до тачки доберетесь, я уже дома буду.

И я не стал ее удерживать.

Однако добрались мы быстро. Машка устала, и ехать на велосипеде не могла. Она ехала на мне, а велик я катил рукой.

Как я и ожидал, Ольгиного пежо на стоянке у дома уже не было. На столе на кухне она оставила записку: I'll be back. И нарисовала кулак с поднятым большим пальцем.

– Можешь прочитать? – спросил я Машу. Английский она учила уже два года.

– Я буду взад, – с запинкой перевела она.

Я заржал, не удержался.

– Нет, – смеясь проговорил я, – она не будет в зад. Она просто вернется. У тебя на завтра уроки есть?

– Поназадавали, – вздохнула Маша.

– Сейчас делаем уроки, потом ужин, душ и спать. И никакого телевизора, – составил я программу на вечер. – У тебя завтра непростой день. Когда ты вернешься из школы, меня дома не будет. У меня работа, поэтому обедать будешь сама. Если захочешь, можешь потом пойти погулять. Только от дома далеко не уходи, чтобы не заблудиться. И телефон с собой не забудь. Если что, звони мне. Потом еще поучимся дверь отпирать-запирать.

– А у меня ведь нет никакого чипа, правда? – спросила Маша.

– Конечно, нет. Я шутил, – улыбнулся я.

Маша кивнула.

– Ничего, я и так не потеряюсь, – пробурчала она себе под нос.

– Да, вот еще что, – продолжил я давать ценные указания. – Когда у тебя в школе сопрут айфон, а сопрут его обязательно...

Маша испуганно на меня взглянула.

– Не пугайся и не расстраивайся. Купим новый.

– Не сопрут, – уверенно сказала она.

– Хорошо, – не стал спорить я. – Давай теперь, что у тебя с уроками?

Ольга приехала через три дня. Я был рад ее видеть. Маша нет, и это тоже было видно.

– Оль, у нас с Машкой проблема, – сказал я, когда, после ужина и полученной порции принцесс, девочка была ингибирована в кровати. – Мы ездили к ней домой, там одежды для нее никакой нет. Или мала стала, или такая страшная, что на ребенка не наденешь. Давай мотнемся по магазинам, купим ей. Ты все-таки лучше в этом понимаешь.

Ольга поморщилась, но согласилась.

– Когда? – спросила она.

– Завтра пятница, давай на выходных.

– В субботу. В воскресенье иду к маме.

– В субботу если только с утра, потом дороги забьют, – теперь поморщился я.

– А что мешает? Я могу у тебя до воскресенья побыть. Заодно и обедом нормальным пару раз накормлю.

– По субботам Машка учится, бедные дети. Ладно, пусть у ребенка будет праздник, не пойдет в школу.

– У нее и так сплошной праздник с таким папой, – проворчала Ольга. – Лучше, небось, чем с родной мамой было.

– Конечно, лучше, – согласился я. – Мама у нее от рака умирала.

В субботу поехали в «Рио» на Севастопольском. Провели там полдня, и это были очень плохие полдня. Машке купили кеды и джинсы. Все. Вся остальная одежда была отвергнута. Нет, Маша не падала на спину и не кричала, что такое она носить не будет. Она с молчанием соглашалась на любое предложение. Но ее молчание было столь красноречиво, что сразу становилось понятно: она сирота, и выбирать у нее права нет, но эту модель, или этот цвет может предложить только человек с полным отсутствием вкуса и воображения.

Когда измученная Ольга пыталась добиться от нее, чего же та хочет сама, то ответом ей было молчание и пожатие плечами.

– Ладно, – сказал я, когда мы, наконец, выбравшись из торговой зоны, сидели в ресторане, – завтра поедем в «Мегу», может, там чего купим.

– А смысл? – спросила Ольга. – Магазины те же самые. Мне кажется, здесь дело не в барахле, а в чем-то другом, – и она внимательно посмотрела на Машу.

Та с безразличным видом ковыряла вилкой в тарелке.

Однако, когда на следующий день я все же повез девочку в «Мегу», то результат оказался совершенно иным.

Да, магазины были в основном те же самые, как, соответственно, и вещи, продававшиеся в них. И я, помня, что вчера выбирала Ольга, предлагал Маше приблизительно такое же. И Машка, зараза, с горящими глазами мерила, кивала и просила купить то, что еще вчера пренебрежительно отвергалось.

Мы накупили кучу барахла и на осень, и на зиму, и на каждый день. Мне даже пришлось несколько выйти за границы выделенного бюджета.

На мой вопрос: «А фигли ж тебе вчера это не нравилось?», Машка пожимала плечами и без малейшего смущения отвечала: «Ну, вчера не нравилось, а сегодня понравилось», и добавляла: «Очень».

Вечером позвонила Ольга, я ей рассказал про наш поход, она хмыкнула:

– Ну, папаша, готовься. Девчонка задаст тебе жару, когда подрастет. Мало не покажется.

Я вздохнул и подумал, что Ольга права. А потом подумал, что если мне придется выбирать, то с кем из них двоих я захочу остаться. А еще я подумал, что Машка, пожалуй, изведет любую мачеху. Придумать, что ли, ей сказку про хорошую мачеху и плохую падчерицу? А то принцессы мне начали уже немного надоедать.

Ольга предложила приехать, у нее был перерыв в работе, и она сказала, что могла бы несколько дней пожить у меня. У меня же, наоборот, работы вдруг привалило, пошли звонки, и я предположил, что придется бегать по просмотрам, показам, авансам и сбору всяких справок.

Я имел долгий превентивный разговор с Машей, объясняя, что, так как у меня сейчас много работы и меня часто и подолгу не будет дома, то у нас поживет Ольга, что она хорошая, и с ней вполне можно дружить. И что Ольга типа к Маше со всей душой, а она поворачивается к ней задом и разговаривать не хочет. В конце я сказал, что Оля тоже отлично умеет рассказывать сказки, и даже может рассказывать их по-английски. И предложил, вообще, делать английский вместе с Ольгой.

Маша согласно кивала, но молча, и только спросила, буду ли я по-прежнему рассказывать ей сказку на ночь, или теперь это будет делать она.

Я успокоил, что рассказывать буду, а про себя подумал, вот ведь противная какая девчонка, даже по имени называть Ольгу не хочет. И что ж она так ее невзлюбила-то с первого дня?

Ольга прожила у меня до выходных. Неделя, как я и думал, выдалась суматошной. Я все дни проводил в бегах и разъездах. Видел своих девочек только вечером. Я спрашивал, как они прожили день, и в ответ слышал, что хорошо. Что они не ссорились, даже вместе готовили обед. И обе улыбались и мне, и друг другу.

– Как английский? – спрашивал я Машу. Начала ли Ольга заниматься с ней?

– Да, начала, – кивала та, – но говорит так быстро, что я ничего не понимаю.

– По-русски или по-английски быстро, – спрашивал я.

– И по-русски, и по-английски, – звучал ответ. – Да ну ее, давай лучше про принцесс.

– Ну что за девчонка, – жаловалась мне в постели Ольга. – Что я ей сделала? Мне иногда кажется,

что она вообще, не совсем в адеквате. Может, ее психологу показать? Все понимаю, смерть матери, отца нет, к тебе привязалась. Но я-то тут причем? Целый день молчит, что ни спрошу – как не слышит.

– Так она мне сказала, что вы обед вместе готовили.

– Ну, готовили. То, что я просила ее сделать, овощи там помыть или порезать, посуду сполоснуть, делала. Я видела, что старается. Но все молча. Ни одного вопроса не задала. Вообще со мной не разговаривает. Словно я пустое место. Не была бы она твоей дочерью, точно ей бы влепила.

– Ты чего? Она мне не дочь! С ума сошла? – воскликнул я.

– Извини, просто крыша уже едет.

– А английским? Ты с ней занималась?

– Как можно заниматься чем-то с человеком, который молчит? Пыталась, но безуспешно.

– Она мне сказала, что ты быстро говоришь, и она тебя не понимает.

– Да, прямо быстро! Все она понимала. Я прошу ее текст почитать – читает. Упражнения, заданные в школе, делает. Я ей что-то объясняю – молчит. Ну, думаю – поняла. Спрашиваю – молчит. Что по-русски, что по-английски – молчит.

– Да, странная девочка, – согласился я. – Ну, в больнице убегала – понятно все. Ко мне быстро привязалась, тоже понятно. Сказок-то ей, поди, никто не рассказывал. Но чего она к тебе-то так? Странно. – Я помолчал. – Мне в больнице телефон детского психолога дали. Может, позвоним, проконсультируемся?

– Давай, – согласилась сначала Ольга, потом вздохнула и добавила: – А впрочем, чего консультироваться? И так все понятно. Обычная бабская ревность.

– Какая ревность? Она ребенок! Ты че городишь?

Ольга вздохнула еще раз.

– Не хочет она тебя со мной делить, папаша. Жадная очень. А жадность чувство плохое, разрушающее. Ты бы с ней построже, чтобы у нее мозги на место встали.

– Куда построже? Всего неделя прошла, как я ее взял. Девочке ласка и внимание в первую очередь нужно. Чтобы не убегала, чтобы ко мне привыкла, полюбила меня, в конце концов.

– Успокойся. Она уже полюбила, и это очень хорошо видно. Не убежит. Клещами не оторвешь. Она сама как клещ.

– Ну и хорошо, что не убежит, легче будет ее воспитывать...

– Ну, так воспитывай, воспитатель! А ты ей все с рук спускаешь. Ты не воспитываешь, а балуешь. Неделя прошла – айфон, велосипед, шмотья больше, чем на полтинник. Посадишь себе на шею. Играешь в нее как в игрушку, в куклу Барби, только без сисек.

– Оль! Ну, ты чего говоришь-то.

– Я говорю, что свой тебе ребенок нужен, а не суррогатный.

Я помолчал и вздохнул:

– Да ладно, Оль, ну ее на фиг. Поздно уже. Давай мы перестанем обсуждать девчонку, а обсудим лучше что-нибудь более интересное. Сиськи. Например, твои.

– Козел, – сказала Ольга, садясь на диване. – Я покурю? В туалете у тебя. Не погонишь же ты меня сейчас на лестницу?

– Конечно, кури, – поспешно согласился я. – Вытяжку только включи, и посмотри в холодильнике остатки «Ахашени».

Вино мы допили из горлышка и о Маше больше не разговаривали. Мы вообще ни о чем не говорили...

На следующий день Маша попросила у меня пилу.

– Зачем? – удивился я.

– Нам велели на труд принести маленькие пилки. Чего-то пилить будем.

Я удивился еще больше.

– Чего вам там пилить? Может, нужна пилочка для ногтей? Ты просто не поняла?

– Нет, учительница сказала, что нужна небольшая пила. Размером с линейку.

– Где ж я тебе такую найду? – почесал я затылок. – Да и никто не найдет. Это специально покупать надо.

Маша пожала плечами,

– Елена Сергевна сказала, что все не принесут, но хотя бы несколько человек. Можно пилить по очереди.

Я со словами «Пилите, Шура, пилите» полез в ящик с инструментами.

– Во! – сказал я, доставая полотно ножовки. – Такая подойдет?

– А как ее держать? – спросила Маша.

Я вставил полотно в ручку.

– Длинная очень, – с сомнением покачала головой девочка.

Я сломал полотно и вставил в ручку обломок.

– Только решетку в тюрьме пилить, – усмехнулся я. – Подойдет?

– Подойдет. – Маша благодарно кивнула.

Замотав пилу в полиэтиленовый пакет, я протянул ее Маше.

– Осторожно только. Не оцарапайся. Чего-то у Елены Сергеевны вашей не все в порядке с техникой безопасности, – проворчал я.

Еще через день Ольга, выйдя из квартиры и не дойдя до лифта, свалилась с лестницы. Хорошо, я был дома. Услышав грохот, я выскочил за дверь. Ольга лежала внизу лестницы и стонала. На ступеньках валялись туфли со сломанными каблуками.

Оказалось, что она сломала руку.

– Вот черт, – удивлялась Ольга в скорой, – ну, бывает, каблук ломается, и то не на ровном месте. Но так, что оба сразу? И фирма приличная – «Патриция Дини». Что за фигня?

Я не стал ей говорить, что, подобрав туфли, обнаружил, что металлический стержень в шпильке был перепилен. На обеих туфлях.

Когда я вернулся, Маша уже пришла из школы. Я стоял в прихожей и молча смотрел на нее. Туфли со сломанными каблуками валялись на полу у входной двери. Маша тоже молчала.

– Ольга упала с лестницы и сломала руку. Могла сломать шею, – спокойно сказал я.

Маша долго смотрела на меня, потом опустила голову и спросила:

– Ты отправишь меня в детский дом?

– Нет, – ответил я, – все останется как было. И я не стану тебя наказывать, я даже буду и дальше рассказывать тебе сказки на ночь. Я просто перестану тебя целовать и улыбаться тебе.

Маша вскинула на меня глаза. Они расширились и заполнились слезами. Губы задрожали и рот исказился. Хлынули слезы, ребенок зарыдал.

Маша бросилась ко мне, обхватила руками, ткнулась мокрым лицом в живот и, прерывающимся от плача голосом, закричала:

– Я не хотела! Прости меня, я больше не буду-ууу!

Я неподвижно стоял столбом. Мне ужасно хотелось подхватить плачущую девочку на руки, прижать к себе, расцеловать и успокоить. Но. Это означало бы не дать осуществиться воспитательному процессу. И я стоял молча и молча слушал завывания:

– Прости-и! Я не бу-уду-у! Па-жа-лу-ста-а!

Не видя с моей стороны никакой реакции, Машка потихоньку поднимала обороты. Вой и плач постепенно усиливались.

Когда у меня стало закладывать уши от пробивающихся ультразвуковых ноток, а свитер на животе окончательно промок от соплей и слез, я погладил девочку по затылку и сказал:

– Ну, все, кончай плакать. Я не сержусь. Ты обедала?

– Не-е-ет, – сквозь рев с трудом разобрал я.

– Все, все. Ты хорошо плакала. Молодец. Я верю, что ты не хотела убить Ольгу. Просто пошутила. И надо сказать, шутка удалась. Я оценил. Давай обедать, я тоже еще не ел. Теперь Ольга обед не скоро нам приготовит, – и ломая весь воспитательный момент, я заржал.

Машка резко перестав плакать, отшатнулась, и задрав голову, недоуменно уставилась на меня.

– Пошли я тебя умою, а то в соплях вся.

– Если захочешь еще пошутить, – сказал я, умывая всхлипывающую девочку, – покажу тебе, где у Ольгиной машины проходят тормозные шланги. Если их перерезать, эффект получится больше, чем от каблуков.

Я взял полотенце, но Маша заплакала снова.

– Да не расстраивайся ты так, это тоже не наверняка, – я снова включил воду. – Движком затормозить можно, подушки безопасности сработают. Сморкайся давай. Я умою. Стопроцентную гарантию может дать только стрихнин. Но стрихнина у меня нет, – я наклонился к девочке и обнял ее.

– Что такое стрехнин, – прижимаясь ко мне и продолжая всхлипывать, спросила Маша.

– Яд такой, с ним на акул охотятся.

– Как можно с ядом охотиться? Акулам что, дают выпить? – удивилась Маша и даже перестала шмыгать носом.

– Нет. Из ружья стреляют ампулами с ядом. Ну, пошли есть.

– Ты правда больше не сердишься? – не отлипая от меня, спросила Маша.

– Правда. Но Ольга, правда, не заслужила таких шуток. Я очень за нее испугался.

– Прости меня, пожалуйста. Я, правда, больше никогда не буду.

– Так много правды. Конечно, простил.

– Ты меня поцелуешь?

Я погладил девочку по спине и поцеловал ее.

– Ты ведь будешь мне улыбаться? – тревожно спросила она.

Я снова поцеловал ее. Маша ткнулась губами мне в щеку.

– Пойдем обедать, – поднялся я. – Не бойся, я Ольге не скажу, что это ты.

После обеда Машка ушла учить уроки, я на кухне мыл посуду и думал, насколько я не прав, что оставил девочку безнаказанной. А как надо было ее наказать? Выпороть? Перестать разговаривать? Отправить на какое-то время в детский дом? Последнее вообще организационно невозможно, а навсегда в детдом я Машку не сдам никогда.

– Черт! – я замер с мокрой тарелкой в руке. «Я же ее люблю, – поразила меня неожиданная мысль. – И, наверное, люблю больше, чем Ольгу. Во дела!»

Перелом, слава богу, был несложный, без смещения, и только одной лучевой кости.

Но болеть Ольга поехала не ко мне, а к маме. На следующий день я съездил, отогнал ей пежо.

– Как ты одной рукой водить-то будешь? – спросил, отдавая ключи.

– Нормально, рука левая, да и передачи мне переключить не надо. Я же не ты, чтоб на механике ездить. Потихоньку. Да и не так много мне сейчас мотаться придется. В поликлинику если только.

– Ну, осторожней смотри, одной рукой руль перехватывать неудобно, аккуратней. А лучше звони, я приеду, отвезу.

– Сереж, я чек от туфель нашла и вот, как раз, хотела попросить тебя в магазин съездить, рекламацию им написать. Два каблука сразу! С них еще и денег стрясти можно будет.

– Ой, Оленька, я, блин, не сообразил и туфли твои выкинул уже, – очень достоверно растерялся я.

– Вот черт, – расстроилась Ольга, – а я так обрадовалась, когда чек нашла.

– Да фиг с ними. У меня сделка закрылась, я комиссию получил. Съездим, купим новые, от меня подарок будет, – сказал я, целуя и осторожно обнимая девушку.

– Как ребенок? – вспомнила про Машу Ольга. – Довольна, что меня нет?

– Нет, она переживает, жалеет тебя, заплакала даже, когда узнала, – почти не соврал я.

– Ну-ну, – с сомнением покачала головой Ольга, посмотрела на меня и спросила:

– Может, ты останешься сегодня?

– Оль, это нечестно, – вздохнул я. – Во-первых, у тебя рука. И хоть она в гипсе, но лучше не рисковать, а во-вторых... – начал я и замолчал.

– А во-вторых, тебе сказку рассказывать надо, – закончила за меня Ольга. – Ладно, езжай давай, а то твои любимые пробки начнутся, – вздохнула она.

– Да, хрена мне пробки, – я засмеялся. – На метро поеду, я же без тачки.

Ольга молчала. Потом вдруг как-то неожиданно и серьезно спросила:

– Сереж, а ты меня любишь?

– Очень. Очень-очень, – закрывая ей рот поцелуем, мгновенно отреагировал я. Все-таки опыт трех жен за спиной.

– Врешь ты все, – грустно сказала она. – Сволочь ты, – и вздохнула. – Променял меня на куклу.

– Оль! – воскликнул я. – Какая кукла! Я тебя люблю. Я...

– Женись.

Я осекся.

– Вот видишь, – улыбнулась Ольга. – Не хочешь.

– Оль.

– Ладно, езжай. Правда, поздно. Ребенок один там. Позвони вечером.

Когда я вернулся домой, Машка встретила меня рыданьями. «Да что ж такое? – подумал я. – Второй день плачем и плачем».

– Что случилось? – спросил я, обнимая подбежавшую ко мне девочку.

– У меня украли айфон.

– Ну, – удовлетворенно протянул я, – а чего плакать? А же говорил, купим новый. Ты информацию на комп скидывала?

– Они... сказали... что... украла я... аа-а-а, – сквозь плачь с трудом разобрал я.

– Че за бред? Сама у себя, что ли?

– Тебя... в школу... вызывают... у-уу.

Я обнял девочку покрепче и, целуя мокрую щеку, сказал:

– Давай перестанем плакать, успокоимся и расскажем все толком. Потому что все айфоны мира не стоят одной-единственной слезинки моего ребенка.

Маша вдруг перестала плакать и удивленно спросила:

– Все?

– Ну, по крайней мере, два. Тот, который сперли, и тот, который надо купить, – сказал я, доставая носовой платок.

– Три-и-и, – снова зарыдала Маша.

Я засмеялся:

– А откуда третий?

– От Белявской...у-у.

– А кто такая Белявская?

– Ирка...а-а.

– Хорошо, и что про нее?

– Ду-ра-а...

– Не сомневаюсь. Третий айфон причем?

– Ее-о-о...

– Так, Маш! Посмотри на меня. Перестань рыдать!

Маша подняла голову, я начал платком вытирать слезы.

– Все фигня. Успокойся, пожалуйста. Все проблемы с айфонами мы решим. Пошли на кухню попьем водички. И ты мне все расскажешь. Ты же знаешь, я тебя не наказываю. Чего плакать-то? Вон Ольге руку сломала, туфли испортила, и то прокатило.

Зря я это сказал. Рыдания возобновились с удвоенной силой.

– Бли-и-н! – прошипел я, вскакивая и хватаясь руками за голову. – Машка! Стоп! – заорал я и упал перед нею на четвереньки. – Залезай!

– Куда-а-а?

– Мне на спину.

– Зачем?

Плач стал меньше.

– Сейчас узнаешь. Конетерапию делать будем.

– Это как?

– Скакать будем. Залезай, залезай, не бойся.

Маша, перестав плакать, забралась на меня верхом.

– Держись крепче, – сказал я. И мы галопом дали два круга по квартире. Машка визжала. На кухне я встал на дыбы, поймал падающую девочку. Налил воды из фильтра и протянул ей стакан.

– Попей, пожалуйста.

Маша попила, икнула, снова попила. Я сел за стол, посадил ее на колени, вытер не успевшие высохнуть слезы, и сказал:

– Ну, что за фигня с этими айфонами. Рассказывай.

Оказалось, что во время урока физкультуры, когда все вещи оставались в классе, у Маши пропал айфон. На перемене она полезла по портфелям искать, кто взял. Ее за этим занятием и засекли. А так как у Иры Белявской тоже в этот же день пропал айфон (в классе было только два айфона), то обвинили в этом Машку.

И поэтому меня на завтра вызывают в школу. Разбираться.

– Фигня, – махнул рукой я, – если бы у тебя нашли чужой айфон, а так у тебя украли, у девочки этой украли. Ты ни при чем. Разберемся.

– Я им это же и сказала, они не верят, говорят: «воровка».

– Плюнь, Маш. Я схожу в школу, и все будет нормально.

В школе царил театр абсурда. Машку действительно обвинили в том, что она сперла телефон. Требовали, чтобы вернула, или чтобы я компенсировал потерю. Маразм!

А вот в то, что пропал и ее собственный, нам не особо поверили.

Машка, боясь, что украдут, никому свой айфон не показывала и доставала только где-нибудь в укромном уголке. Никто и не знал, что у нее он был. Конспиратор, блин. Однако незадача, сперли все равно.

В общем, была война, но мне удалось отбиться от обвинений этой учительско-родительской своры, и поле боя мы покинули с высоко поднятыми головами.

Сразу же из школы пошли и купили новый. Тут уж было дело принципа.

Вечером позвонила тетка из опеки и сказала, что хочет нас навестить. Мы договорились на завтра, на время, когда Маша вернется из школы. Я объяснил, как добраться, мог бы, конечно, предложить встретить у метро, но мне было лень.

До прихода опекунши я покормил Машку обедом в кафе под домом, сам есть еще не хотел. Мы купили торт и стали ждать инспекции.

– Как в школе? С айфоном больше не приставали? – спросил я, положив перед Машей гроздь винограда.

– Не, – лаконично ответил она.

– Как Ира Белявская? Злится на тебя?

– Не знаю, – Маша пожала плечами. – Я с ней не говорю.

– А с другими девочками? Ты совсем ни с кем не дружишь?

Маша выплюнула косточки, но промолчала, снова пожав плечами.

– А мальчики? – автоматически спросил я, в общем-то, понимая бессмысленность вопроса. Мала еще.

– Мальчишки просто дураки, сиротинушкой дразнят.

– Так ты и есть сиротинушка, чего обижаться-то? – засмеялся я.

Маша молча ела виноград.

– У тебя скоро день рождения. Хочешь, мы устроим праздник для твоих ребят? – высказал я пришедшую вдруг в голову мысль.

– Это как? – удивилась Маша.

– Ну, есть разные варианты, – по ходу соображал я. – Можно просто принести в класс после уроков пирожные, пепси, там, конфетки-бараночки. Можно даже мелочевку какую-нибудь купить и каждому подарить. Машинки, куколки, игрушки какие-нибудь. Можно в кафе всех позвать, там праздник устроить. С шариками, песнями и плясками. Можно не всех, а только кого ты пригласишь. Можно дома все это сделать. Вариантов много. Главное, чтобы ты захотела. Можно Чебурашку и Крокодила Гену позвать, чтоб развлекали вас.

– Живых? – виноградинка выкатилась из открывшегося рта ребенка.

– Ну, актеров, понятно. Живые-то они только в мультике.

Маша подобрала ягоду, сунула в рот. Проживала, выплюнула косточки:

– Бабла, наверное, до хрена будет стоить, – задумчиво произнесла она.

Я заржал в голос.

– Ну, не так уж и много, – отсмеявшись сказал я. – Не коньяком же вас поить надо.

Тут зазвонил мобильный. Инспекторша заблудилась где-то рядом с домом. Я объяснил, как найти, и включил чайник.

Когда инспекторша позвонила в домофон, чай был готов. Я помог ей снять плащ и провел по квартире, показал, где спит, где занимается девочка.

Маша на кухне разливала чай и раскладывала по тарелкам торт.

– Я поговорю с девочкой? Вы не возражаете?

Я широко развел руками,

– Конечно, нет, – улыбнулся я.

– Ты помнишь, как меня зовут? – садясь за стол, спросила Машу инспекторша.

Та отрицательно помотала головой.

– Татьяна Андреевна.

Маша кивнула.

– Ты уже сегодня обедала? – спросила Татьяна Андреевна.

Маша снова кивнула.

– А посуду уже успели помыть? – оглядела кухню инспектор, – или у вас посудомойка? – вопросительно взглянула она на меня.

– Я в кафе обедала, – сказала Маша.

– У нас кафе под домом, – объяснил я. – Вполне приличное. Мы там часто едим. Я не очень люблю готовить, поэтому и посудомойки у меня нет.

– А виноград это ты не доела? – кивнула на тарелку с недоеденной гроздью и горкой косточек инспекторша.

– Я, – ответила Маша, – потому что вы пришли.

– А ты часто ешь фрукты?

Маша пожала плечами, –

– Не знаю. Ем.

– А вот вчера, какие ты ела? – продолжила допрос Татьяна Андреевна.

– Вчера? – Маша задумалась. – Ну, персики, виноград, яблоко еще. А еще утром он мне делает апельсиновый сок, – вдруг встрепенулась она, – каждый день, вот.

– Да нет, голодом не морю. Все в порядке у нас, – улыбнулся я.

– Да, вижу, девочка поправилась по сравнению с тем, что было, – кивнула инспектор. – А вы дома совсем не готовите? – спросила она меня.

– Не люблю очень, признаюсь честно. Иногда ко мне девушка приезжает, живет по нескольку дней. Вот тогда у нас полноценный обед из трех блюд, – я улыбался.

– А, понимаю, – Татьяна Андреевна тоже улыбнулась. – Жениться не собираетесь?

Я сделал крайне неопределенный жест.

– Не знаю пока.

– А ты что-нибудь умеешь готовить? – спросила она Машу.

– Она отлично умеет жарить яичницу, – сказал я.

– Я еще умею печенье печь. Меня мама учила, – гордо сказала Маша.

– Ну, молодец, – улыбнулась инспекторша. – Ты давай, помогай дяде. Знаешь, какие мужчины беспомощные? Учись у тети, когда она у вас бывает. Как она тебе, нравится?

– Нравится, – кивнула Маша. – Английским со мной занимается.

Я только крякнул внутренне.

– Замечательно, – снова кивнула инспектор. – Принеси, пожалуйста, твой дневник, я хочу посмотреть, как ты учишься.

Маша убежала.

– Ну, я вижу, у вас все хорошо. Пятерку вам поставлю. Осталось только выпить чай и съесть торт.

Маша принесла дневник и тетрадки. Отметки были вполне приличные. Только пара троек по математике, остальные хорошие. Ну, и большая запись красным, что меня срочно вызывают в школу.

– Давайте я свежий чай налью, – сказал я, вставая. – А то остыл совсем.

– А это что такое случилось? – инспекторша показала мне дневник.

– Да, ерунда, недоразумение. Телефон в классе украли, подумали на Машу как на новенькую. Разобрались, все в порядке.

– Ну, хорошо, – кивнула Татьяна Андреевна. – Распишитесь, вот здесь, пожалуйста, что я вас посетила, – протянула она мне официального вида бумагу. – Теперь приблизительно через месяц приду. У нас тоже график, – улыбнулась она.

Следующие два дня мне пришлось мотаться в Балашиху. Проклятое богом место. Пробки туда, пробки обратно, пробки всегда. Возвращался вымотанным полностью. В самой Балашихе время проводил тоже не в ресторане с цыганами.

Предполагая поздние возвращения, я познакомил Машу с официанткой из кафе под домом. Дал официантке денег и договорился, что она два дня будет Машку в своей забегаловке кормить, чем получше.

Когда, оставив Балашиху за спиной, по крайне мере, на неделю, и облегченно вздохнув, я ступил под отчий кров, то в нос мне ударил сладкий дым отечества.

– Машка! Горишь! – крикнул я с порога.

– Я уже окно открыла, – раздался из кухни Машин голос.

– А что творишь? – раздеваясь, спросил я.

– Печенье испекла, – гремя посудой, ответила Маша.

– Ну, супер! Сильно сгорело?

– Не, чуточку.

– О'кей, ставь чайник, – крикнул я уже из ванной.

Когда я вошел на кухню, на столе стояло большое блюдо с горой печенья. Маша заваривала чай.

– Вот только сахарная пудра у тебя какая-то не очень сладкая, – Маша оглянулась на меня от кухонного стола.

– Какая сахарная пудра? У меня сроду никакой сахарной пудры не было, – удивился я.

– Как не было? Да вот же она, – Маша показала на стоявшую на столе банку темного стекла из-под химических реактивов. На банке, на куске приклеенного лейкопластыря моим корявым почерком было написано: «Сахарная пудра».

Я упал на стул и тут же вскочил. Схватил Машку за руку, посчитал пульс, заглянул в глаза, тревожно спросил:

– Голова не кружится, не тошнит, ты себя хорошо чувствуешь? Ты много попробовала? Не вдыхала? Не нюхала?

– Да нет, – недоуменно ответила Маша. – Не тошнит, не нюхала, чуточку попробовала. Все нормально.

– Пойди, рот прополощи на всякий случай, – немного успокоившись, велел я.

Вдруг глаза девочки расширились,

– Это стрехнин? – испуганно спросила она. – Я умру?

– Нет, не бойся, ничего с тобой не случится, – сказал я, сгребая ее в объятия. – Это не стрихнин, но тоже дрянь хорошая. Поэтому пойди, ротик прополощи.

Моя молодость пришлась на лихие девяностые. Моралью и нравственностью мое сознание в то время отягощено было не слишком. Способ зарабатывания денег оценивался исключительно по степени эффективности.

Мы торговали кокаином.

Настоящий колумбийский кокаин, конечно, очень дорогой. И для продажи готовилась смесь, где самого кокса было не больше десяти-пятнадцати процентов. Остальное составляли веронал или мединал, сахарная пудра и еще кое-какие ингредиенты.

Я тогда, после института, работал в биохимической лаборатории и веронал-мединаловый буфер готовил литрами. Так что веронал нам не стоил ничего. Я его просто крал.

Конечно, нельзя сказать, что торговля у нас шла в промышленных масштабах, но на жизнь хватало.

Однако мы не собирались останавливаться на достигнутом и разрабатывали планы по производству еще более дешевого крэка.

Мне повезло. Когда ребят перестреляли, я с девушкой отдыхал в Коктебеле. Там тогда еще было дешевле, чем в Турции.

Вернувшись и обнаружив, что нашей преступной группировки больше не существует, я ссыпал остатки «товара» в склянку vitra nigra с притертой крышкой, спрятал в глубине шкафа и забыл про этот бизнес.

Женился. Потом женился еще раз. И еще. Ни одна из моих жен кулинарных книг не читала, про Белонику и Джейми даже не слышала, пирогов не пекла, и банка с «Сахарной пудрой» оставалась никем не побеспокоенной. Даже Ольга, любившая и умевшая готовить, до нее не добралась. И вот, пожалуйста – Машка. Худший вариант.

Пока Маша полоскала рот, я опрокинул блюдо с печеньем, посыпанным кокаином, в мусорное ведро.

– Бедный ребенок, – подумал я. – Столько труда пропало. Конечно, правильно бы ей желудок промыть, но не хочется мучить девочку. Вроде обошлось. Не травануло. Если чего и попало, то самый минимум.

– Пошли, что-нибудь сладенького купим. Компенсируем утрату, – сказал я вышедшей из ванной Маше.

– Пошли, – согласно кивнула она. Девочка казалась не столько расстроенной, сколько испуганной.

– Да не бойся ты, – успокоил я ее. – Для жизни угрозы нет. Люди бешеные бабки платят, чтобы нюхнуть этой дряни. Одевайся. Заодно и поужинаем.

Банку с коксом выбрасывать я не стал. Мало ли, что в жизни понадобится, как говорится, никогда не говори «никогда». Просто перепрятал сало, чтобы никто уже точно не нашел.

К Машкиному дню рождения у Ольги сняли гипс. До этого я несколько раз к ней ездил, выполнял разные поручения ее самой или ее мамы. Водить машину в гипсе Ольга все-таки не смогла, и ко мне она пока не приезжала. И вообще, после ее перелома что-то сломалось и в наших отношениях. Вроде, все оставалось как прежде, но чего-то неуловимого не стало. Игры, что ли, какой-то. Яснее сформулировать мне не удавалось.

Но на Машин день рождения приехать согласилась.

Делать детский праздник с одноклассниками Маша не захотела. На день рождения решила позвать только одну свою старую подружку из прежнего дома – Аню.

Эта та девочка, с которой она разговаривала по телефону. Мы пару раз ездили к Ане домой, и я познакомился с ее родителями.

На день рождения заказал столик в детском кафе на Ленинградке, поближе к Аниному дому. А в качестве культурной программы пригласил «Больничных клоунов».

Обычных массовиков-затейников а-ля новогодний Дед Мороз мне звать не захотелось, я опасался вымученной и скучной халтуры. А эти ребята выступали в больницах, часто перед детьми с тяжелой онкологией, и я надеялся, что у них хватит вкуса и такта придумать что-нибудь по-настоящему смешное и веселое для наших девочек.

И действительно не ошибся. Праздник удался. Вместо договоренных двух часов, ребята отыграли почти четыре. В действо оказались вовлечены все находившиеся в кафе. Дети скакали, визжали, кричали, хлопали, бегали и смеялись. Взрослые, державшиеся вначале отстраненно, постепенно тоже включились в непрекращающуюся импровизацию. И я был среди них первым. Ольга тоже смеялась и качала головой.

В конце у артистов брали контакты и телефоны все: и администрация кафе, и посетители.

Машка казалась довольной и счастливой. Я слышал, как Аня шепнула ей, что ей повезло, что я крутец как крут, и звала Машу к себе в гости еще раз. Родители Ани сердечно с нами попрощались и тоже нас всех троих приглашали в гости.

В машине Ольга с Машей сидели вместе сзади. В зеркало я видел: Машка смотрела в окно и улыбалась, у Ольги глаза были полны слез, и она, не отрываясь, смотрела вперед на дорогу. Я морщился и вел машину аккуратней, чем обычно.

К Новому году наши отношения с Ольгой уже трещали по всем швам. Ольга еще приезжала ко мне, но с каждой неделей все реже. Машка на нее давно не кидалась, была приветлива и любезна. Видимо, чувствовала, что соперница повержена.

Новый год Ольга встречать со мной отказалась, осталась с мамой. А я на зимние каникулы увез Машку к морю, в Эмираты.

После возвращения с Ольгой больше уже не виделся. Никаких разговоров с выяснением отношений у нас не было. Я не позвонил, она не позвонила, и все как-то само собой сошло на нет.

«Ну вот, четвертую попытку тоже можно считать неудавшейся, – чуть грустно улыбался я. – Ах, Машка, Машка», – и качал головой.

В наших вечерних сказках принцесс сменили бравый кавалергардский поручик и барышня-смолянка.

В школе у Маши тоже все было в порядке, училась хорошо без напряга. Вот только подружек в новой школе у нее так и не появилось. Оставалась одна-единственная Аня. Ольгину Барби мы ей и подарили на Новый год. Девочка была очень рада.

Несколько раз мы ездили к ней в гости, несколько раз я брал билеты в театр для обеих девочек. Однажды Аню ее отец привозил к нам. Пока девочки играли, мы с ним выпили какое-то безумное количество кофе. Я бы предложил чего покрепче, но ведь ему надо было везти дочку домой.

В феврале прошло полгода после смерти Машиной матери, и я начал потихоньку собирать справки для оформления наследства. На четырнадцатое февраля получил от Машки огромную валентинку с признанием в любви, и мы отметили праздник свадьбой сказочных поручика и смолянки.

А на следующий день позвонила Татьяна Андреевна из опеки и радостно сообщила, что объявился Машин отец.

– Сергей Владимирович, – сказала она, – я вас поздравляю, ваша вахта закончилась. Вернулся отец Маши. Он вчера приходил к нам, я дала ему ваш телефон, он будет вам звонить. Да, и наследство тоже можно не оформлять. Это теперь его дело.

Пережив первый шок и помолчав несколько секунд, я спросил:

– Пардон, а какое отношение бывший муж имеет к квартире? Ирина получила ее от родителей по наследству, и Машин отец тут ни при чем. А с него самого неплохо бы получить алименты за пять лет.

– Все так, – согласилась опекунша. – Только вот Ирина Александровна так и не оформила с ним развод, и он официально до сих пор ее муж, в смысле, вдовец, и наряду с девочкой полноправный наследник первой очереди.

– Ну, ладно, пусть звонит, – вздохнул я и повесил трубку.

– Пипец, – подумал я. – И чего теперь делать?

Машке я пока ничего говорить не стал.

Отца ее звали Аркадий. Отчество-то Машино я знал. Он позвонил мне, и мы договорились первый раз встретиться на нейтральной территории, где-нибудь в ресторане.

– Давно в Москве не был, – сказал Аркадий. – Вот ресторан «Пушкин» знаю. Не возражаете?

«Выпендрежник, – подумал я. – Не люблю выпендреж».

– Хорошо, – согласился я, – Пушкин так Пушкин. Только я бы предложил кондитерскую там.

– Ок, – ответил Аркадий, – кондитерская так кондитерская. Мы вообще могли бы на лавочке в парке встретится.

– Да, если бы не зима. В ресторане созвонимся.

– О, меня легко узнать. Я лысый и с бородой. И еще попросил бы вас захватить ключи от квартиры. В опеке мне сказали, что есть только один комплект, и он у вас.

– Хорошо, принесу, – сказал я, и мы попрощались.

Я не стал выеживаться и говорить, что ключи отдам только после вступления в наследство. Предварительно я уже пообщался со знакомым адвокатом. Он мне сказал, что никаких шансов ни по квартире, ни по девочке нет.

Войдя в полупустую кондитерскую, Аркадия узнал сразу. Он сидел за столиком в центре зала и пил кофе. Бритый череп и шкиперская борода делали его похожим на моджахеда, еще и загар резко выделял из бледной московской публики.

– Из Сирии или из Афгана, что ли, – подумал я.

Я подошел и представился. Он привстал, улыбнулся и протянул мне руку. Улыбка у него была открытой, а рукопожатие крепким.

Блин, – подумал я.

– Сереж, а давай сразу на ты, – предложил он, как только я сел.

– Давай, – кивнул я. На вид Аркадий был на несколько лет моложе меня.

– Спасибо тебе за дочку, – начал он. – В опеке сказали, что ей у тебя хорошо. Сок ей по утрам делаешь.

– Пожалуйста, – пожал плечами я, – а ты где пять лет пропадал? Даже жену не похоронил.

– Плавал, – Аркадий сделал глоток кофе. – Третий день как в Москве. Только здесь про Ирину и узнал.

– Плавал? В смысле? – спросил я.

– Помощником главного механика на сухогрузе ходил. Почти три года в море.

– Круто. Но ты вроде давно семью бросил? Чего сейчас про дочку вспомнил? Плавал бы и дальше.

– Тяжело, надоело, – Аркадий откинулся на спинку стула и изучающее смотрел на меня. – А тут дочка растет.

– И квартира в Москве, и жены нет, – понимающе кивнул я и заказал чашку кофе подошедшему официанту.

– Ты женат? – спросил Аркадий.

– Был.

– Ну вот, должен меня понимать. Жена одно, ребенок совсем другое.

– Понимаю, – снова кивнул я. – Ты когда Машку хочешь забирать?

– Через неделю где-нибудь, если не возражаешь. Мне вещи еще должны из Мурманска придти.

– Не возражаю.

Помолчали.

– А если снова в плаванье уйдешь? Машку куда, в интернат?

– Не уйду. Отплавался. Устал.

– А чего делать будешь?

– Не знаю пока. Осмотрюсь, подумаю. Деньги на первое время есть. Может, ты чего посоветуешь?

Я пожал плечами.

– Ты через пару дней зайди ко мне. С дочкой познакомишься, чтоб для нее не как снег на голову. Пусть чуть привыкнет, что у нее теперь папа есть. Сразу не забирай, все шок поменьше будет.

Аркадий кивнул, официант принес кофе, Аркадий заказал себе еще чашку. Я молча пил свой.

– А может, вообще забирать не будешь? – предложил я. – Будешь приходить в гости, водить ее в цирк и в зоопарк. А живет пусть со мной. Тебе же спокойней. А я ей сок буду делать. Даже денег на содержание не попрошу. Не хочешь подумать?

Аркадий удивленно уставился на меня.

– А тебе-то на фига такое счастье?

– Ну-у, – неопределенно протянул я. – Своих детей нет, а к твоему привязался.

Аркадий пожал плечами.

– Тебе что, сто лет? Женись, заведи своего. Дело нехитрое.

– Жена одно, ребенок другое – сам же говорил. Подумай все же.

– Нет, – Аркадий покачал головой. – Совсем не по-людски, чтобы при живом отце ребенок с чужим человеком жил.

– Да ладно тебе. Вон, живой отец пять лет не вспоминал, а плавал бы дальше, то еще пять лет не вспомнил бы.

– Но вспомнил же. Чего теперь?

– Да ничего, я так, на всякий случай. Вот ключи, – я положил связку на стол. – Соберешься ко мне, позвони. Я Машку подготовлю, – я махнул официанту. – Счет, пожалуйста.

– И мне тоже посчитай, – кивнул Аркадий.

– Препятствие, – подумал я, садясь в машину. – Что делать, если ни обойти, ни сломать не получится?

– Маш, а ты папу своего помнишь? – мы сидели на кухне и пили чай после ужина.

– Нет.

– Совсем-совсем не помнишь, даже смутно?

– Не-а. Я маленькая была.

– А мама что-нибудь про него говорила?

– Говорила, что он бросил нас. Про то, что он летчик, не говорила.

– Почему летчик? – удивился я.

– Ну, знаешь, детям лапшу вешают, что папа геройский летчик, или моряк, или разведчик и выполняет важное задание, вместо того чтобы сказать: папа нашел другую тетю и ушел к ней.

– А твоя мама говорила, что он нашел другую тетю?

– Нет, вроде. Говорила, просто ушел и больше с нами жить не будет. Да я уже плохо помню, маленькая была.

– А ты не хотела бы его увидеть?

– Нет.

– Почему? Это все-таки папа.

– Говно это все-таки.

– Фу, Машка! Как ты говоришь!

– А почему ты спрашиваешь? Ты никогда не спрашивал про него.

– Ну, так, на всякий случай. Вдруг он захочет тебя увидеть.

Маша пожала плечами,

– А чего ему меня видеть?

Я тоже пожал плечами.

– Ну, все-таки папа.

Маша болтала ложкой в чашке, вдруг она резко выпрямилась на стуле.

– Он, что, появился? – несколько секунд она молчала. – Ты же меня не отдашь?

Я промолчал.

Машка медленно сползла со стула, обошла стол и подошла ко мне. Губы у нее дрожали.

– Ты не отдашь? Не отдавай меня, пожалуйста.

Она прижалась ко мне и обняла.

– Не отдавай! Пожалуйста! Я тебя люблю!

Я посадил ее к себе на колени.

– Я тоже тебя очень люблю, – вздохнув, я обнял ее.

– Пожалуйста! Я все-все буду делать. Обед, пылесосить. Не отдава-ай! – Маша уткнулась мне в грудь и заплакала.

– Если бы я был богат, увез бы тебя за границу, и все. Нас бы не достали.

– Мы же ездили за границу, – Машка подняла голову.

– Это всего десять дней. Мне же работать надо, а там мы просто умрем с голода.

– Лучше с голода-а, – она снова заплакала.

– Ну, не так все страшно. Мы будем встречаться, будешь приходить ко мне в гости, будем вместе куда-нибудь ходить. В театр, в парк погулять. Мы часто будем видеться.

– Не хочу! Не хочу! Не хочу! – сквозь рыданья повторяла Маша.

Я обнял ее покрепче.

– Он твой отец, я ничего не могу сделать.

Я гладил ее по спине и целовал в макушку и затылок.

– А когда ты вырастешь, то снова сможешь жить у меня. Если захочешь, конечно.

– Когда-а?

– Через восемь лет.

– Долго-о.

– Совсем недолго, ты даже не представляешь, как недолго.

– Когда-а?

– Что когда? – не понял я.

– Когда он меня заберет?

– Через две недели, – сказал я, надеясь, что еще неделю я выторгую, а две недели для ребенка достаточно большой срок.

Маша больше ничего не говорила, только плакала, прижимаясь ко мне.

Я обнимал ее, пытался успокоить, и мне почему-то вспоминалась Ольга.

С Аркадием мы договорились, что он придет на следующий день, вечером.

Услышав мужской голос в домофоне, Машка бросилась в свою комнату и захлопнула дверь. Я покачал головой и пошел открывать.

– Привет, Аркаш, проходи, – пожал я протянутую мне руку.

– Ну, и где эта моя дочь? – спросил Аркадий, раздевшись.

Я качнул головой в сторону закрытой дверь в спальню.

– Вон, баррикаду строит.

Из-за двери раздавались звуки передвигаемой мебели.

– И что? – удивленно спросил Аркадий. – Мы не можем войти?

– Дверь внутрь открывается, кроватью она не припрет, слишком тяжелая. Можно попробовать.

Я подошел к двери,

– Маш, твой папа пришел, выйди, пожалуйста.

Тишина.

– Маш, он тебя не тронет, просто познакомитесь, – из-за двери послышался грохот. Машка уронила что-то тяжелое.

Я надавил на ручку, дверь чуть приоткрылась, я попытался заглянуть в щель.

– Маш, – позвал я. Дверь с шумом захлопнулась.

– Маша, я тебе подарок принес, – сказал Аркадий, доставая из пакета коробку с Барби.

– Да что ж вы все, сговорились, что ли! – воскликнул я. – Убери и не показывай, только хуже будет. Она эту Барби терпеть не может.

Аркадий пожал плечами и сунул куклу назад в пакет.

– Маш, придут менты и вскроют эту дверь, как консервную банку, – крикнул я.

– Может, не надо девочку полицией пугать? – предположил Аркадий.

– Щас, – хмыкнул я, – ментов она испугалась. Как же.

Я предпринял еще несколько попыток выманить Машку. Безрезультатно.

– Долго она там сидеть будет? – спросил Аркадий, когда убедился, что переговоры не эффективны. – Может, надоест и сама выйдет?

Я пожал плечами,

– Пошли пока кофе пить. Дверь-то сломать мы всегда успеем.

– Не, дверь ломать ни к чему. Лучше подождать.

– Да, деваха, – качал головой Аркадий, пока я колдовал с кофе. – Не ожидал даже.

– Характер у девочки непростой, – кивнул я и рассказал, как состоялось наше знакомство.

– Так ты ей айфон купил? – спросил Аркадий.

– Я до хрена чего ей купил, – сказал я, разливая кофе по чашкам.

– Ну, ты это, напиши список, я деньги отдам.

– Не смеши и не думай даже, – фыркнул я. – Я не тебе покупал, а ей. Не возьму.

– А чего ты так к ней прикипел-то? – недоуменно спросил Аркадий. – Прямо, как будто... – он замолчал, быстро на меня взглянул и смущенно продолжил. – Ну, не обижайся только, как будто, этот, ну...

– Педофил, что ли? – засмеялся я.

Аркадий, не глядя на меня, кивнул.

– Тогда бы она не от тебя, а от меня бы бегала, – я открыл и положил на стол коробку конфет.

– Мир давно сошел с ума. Ну, может, ей нравится... – и Аркадий покраснел.

– А это уже другим словом называется, – я покачал головой. – Нет, Аркаш, не выдумывай. Все чисто. Хочешь сливки к кофе?

– Нет, – он помолчал. – Чего ж она так к отцу-то? – Аркадий посмотрел в сторону коридора.

– Аркаш, ну какой ты ей сейчас отец? Это я отец. А ее у меня забрать хотят. Конечно, она бесится.

– Блин, – сказал он. – А давай ты ей скажешь, что я ушел, она выйдет, я на нее посмотрю хоть.

– Нет, – сказал я. – Врать не буду. И тебе не советую. Вообще, лучше никогда ей не ври... Давай так. Приходи завтра, пока она в школе. Она придет, а тут ты сидишь, – я усмехнулся шутке. – Какая-никакая встреча состоится. А там уж по обстановке.

– А ты чего? Не работаешь? Целыми днями дома, – удивился Аркадий.

– Нет, работаю. Просто у меня работа такая, что больше время дома сижу. Как клещ, в позе ожидания, – еще раз усмехнулся я, откусил конфету и запил кофе, – Машку против тебя обещаю не накручивать. Наоборот, постараюсь убедить, что ты отец родной, а не зверь какой. Но и ты обещай, что мешать не будешь потом нашему с ней общению.

– Да нет, – Аркадий пожал плечами, – общайся, сколько хочешь.

– О'кей, – я кивнул, – только тебе сильно потрахаться придется, завоевывая ее расположение. И куклой тут не обойдешься. Будь готов. Конечно, если для тебя это важно.

– Хорошо, – Аркадий поднялся, – во сколько мне завтра приходить?

– Давай часам к двенадцати.

Когда за Аркадием закрылась дверь, я подошел к спальне.

– Все, Маш. Ушел твой папашка. Выходи.

Маша не ответила.

– Маш! – крикнул я, – Он ушел, открывай.

Опять тишина.

Я громыхнул кулаком по двери изо всей силы,

– Машка! – заорал я. – Чего молчишь?

– Ой, – послышался заспанный голос, – я уснула. Он ушел?

– Ушел, ушел. Вылезай из берлоги.

В спальне что-то загремело, дверь приоткрылась, в щели показался Машкин нос.

– Тут всего навалено, я открыть не могу.

Я засмеялся.

– Балкон открой, я с кухни залезу.

Я спрыгнул на балкон и вошел в комнату. Машка бросилась ко мне.

– Мы победили? – спросила она.

– Нет, Машунь, нам не победить, – я обнял ее. – Но побороться за лучшие условия сдачи – очень полезно.

Я принялся разбирать Машкину баррикаду.

– Мы с ним договорились, что он придет завтра, когда ты будешь в школе, и дождется тебя дома.

– Я вообще домой не приду!

– Не, Маш, это без толку. Правда, ночью с ментами придут и заберут тебя. Тут игра хитрее должна быть. Пусть лучше думает, что я на его стороне и пусть советы мои слушает. Ты, пожалуйста, приходи нормально, как всегда. А вот вести себя с ним можешь, как хочешь, хоть дураком назови.

– А матом можно?

– Машунь, матом говорит человек, у которого совсем нет вкуса.

– Ну, ты тоже иногда в машине на дороге шепчешь. И иногда даже громко. Я слышала.

Я крякнул.

– Вкус, Маш, вещь очень тонкая, и иногда он может изменять человеку. И мне тоже, – я улыбнулся.

Маша подошла и обняла меня.

– Мы ведь будем бороться? – спросила она.

– Обязательно, – я сжал ее так, что у нее хрустнули кости.

Аркадий пришел точно к двенадцати, с собой он принес бутылку коньяка и торт.

– Спасибо, Аркаш, только вот пить сегодня не могу, мне вечером ехать надо. Давай до следующего раза? – предложил я.

Он вздохнул.

– А мне, чувствую, не помешало бы, перед встречей.

– Налить? – я взялся за пробку.

– Не, не надо. Чего я один буду, давай кофе лучше.

Не успели мы выпить по чашке, как пришла Маша.

Я вышел в переднюю, встретить.

Взглянув на ботинки Аркадия, стоявшие на коврике у двери, она тяжело вздохнула. Посмотрела на меня и громко спросила:

– Ты ручки мне будешь мыть?

– Пошли, – улыбнулся я и открыл дверь в ванную.

– Какая ты большая и красивая, – сказал Аркадий, когда мы вошли на кухню. – Я даже с трудом тебя узнал.

– Это твой папа, – представил я. – Садись. Торт будешь?

Машка стояла, держала меня за руку и молчала. Посмотрела на стол, на торт, на коньяк. Потом, ни на кого не глядя, сказала:

– Здравствуйте, – и села за стол.

Аркадий улыбнулся ей и спросил:

– Ты совсем меня не помнишь?

Маша вопрос проигнорировала. Я налил ей чай, отрезал и положил кусок торта. Она взяла в руки чашку, сделала глоток.

– А тортик? – спросил Аркадий. – Прага, вкусный.

– Мне с ним надо будет жить? – Машка подняла глаза от чашки и посмотрела на меня. – Не айс, – вынесла она приговор.

– Почему не айс? – искренне удивился я. – Твой папа моряк, проплыл все океаны от белых медведей до пингвинов...

– Все-таки моряк, – покачала она головой.

– Ну да, моряк, – кивнул я. – С пиратами сражался, с сомалийскими.

– А ты откуда знаешь? – и Маша первый раз посмотрела на отца.

– Вчера рассказывал, когда ты в комнате пряталась. Да и борода у него вполне пиратская.

Аркадий удивленно взглянул на меня.

– Рассказывал, – Маша снова уткнулась в чашку. – Ты мне тоже каждый вечер сказку рассказываешь.

– Я правда моряк, три года на сухогрузе ходил. Про пингвинов Сергей преувеличивает, в Антарктиде не был, а белых медведей правда видел. И с пиратами инцидент был.

– Еще поплывете? – вдруг с надеждой спросила Маша.

– Нет, – улыбнулся Аркадий. – Смотри, что я тебе привез, – и он вынул из пакета сверток. Развернул и положил перед ней удивительной красоты перламутровую раковину.

– Красивая, – равнодушно мазнула по раковине глазами Маша.

– Папе можно говорить «ты», – сказал я.

Маша продолжала пить чай.

– А торт? – спросил я. – Почему торт не ешь?

Маша допила последний глоток чая, поставила чашку на блюдце и, не глядя ни на кого, сказала:

– Нам уроков много задали. Можно я пойду?

– Конечно, иди, – ответил я. Аркадий промолчал.

– Ну, вот, – сказал я, когда Маша вышла. Прогресс налицо. Уже не прячется.

Аркадий покачал головой,

– Да, выросла. Правда, еле узнал. И бука, конечно.

– Ничего, привыкнет. Только давить на нее не надо. И с раковиной ты хорошо придумал. Намного лучше, чем Барби. Надеюсь, не выкинет.

– А что? Может?

– Она и убить может, – хмыкнул я. – Серьезная девушка. Я первое время ее на заднем сиденье возить боялся. Что удавку накинет.

– Шутишь.

– Шучу, конечно. Но, как говорится, в каждой шутке. Давай так, – предложил я, – сходим в воскресенье куда-нибудь вместе, я придумаю и тебе позвоню. Если события сильно не форсировать, привыкнет. Ко мне же привыкла.

На этом оптимистическом предположении мы с Машкиным отцом и расстались.

Совместный поход в цирк оказался тягостным и нервным. В машине по дороге туда Машка то тяжело вздыхала, явно собираясь заплакать, то злилась и ругалась вполголоса.

– А ведь он мог утонуть на своем корабле? – спросила она, когда я парковался у цирка.

– Маш, да что ты такое говоришь! Он ведь твой папа.

В ответ она только негодующе фыркнула.

Я промолчал.

– Но ведь не утонул же, – сказал я, когда мы уже вышли из машины. – Значит, придется как-то с этим жить.

– Не хочу! – Машка топнула ногой. Попала в лужу, брызги разлетелись веером.

– Блин! – сказал я, глядя на ее колготки и полу своей куртки. – Машка, зараза! Что ж ты творишь-то!

Она, не извинившись, повернулась спиной и шагнула на тротуар. Я взял ее за руку.

– Вон он, – мрачно сказала Маша.

Аркадий курил на крыльце, завидев нас, он бросил сигарету и спустился на несколько ступенек.

– Привет. Ты куришь? – удивился я.

– Привет. Иногда, – ответил он. – А так, вроде бросил.

– Здравствуй, – улыбнулся он Маше и попытался погладить ее по голове. Машка вывернулась, прижалась ко мне и вместо приветствия зло сказала:

– Только не надо меня трогать!

– Маша! – воскликнул я. – Скажи папе «здрасьте». Тебе что, пять лет? Так отвечаешь.

– Десять, – буркнула Машка под нос и еще тише сказала: – Здрасьте.

– Что? – спросил я. – Ничего не слышно.

– Здравствуйте! – глядя на меня, громко и почти по слогам произнесла Маша.

– Ну, вот, молодец. Сразу видно, вежливая и воспитанная девочка, – похвалил я.

Машка фыркнула, а Аркадий только бровью повел.

В цирке я посадил Машу между нами, она демонстративно взяла меня за руку. В середине первого отделения Машка громко зевнула и сказала:

– Да ну, фигня какая-то. Может, пойдем отсюда?

– Подожди, – ответил я, – во втором отделении тигры и слоны, давай посмотрим.

В антракте Аркадий попытался угостить нас в буфете. Он взял целую тарелку бутербродов с красной икрой. Машка вяло сжевала один, половину второго недоела, сказав:

– Икра плохая, к зубам липнет.

Икра, действительно, была чуть подсохшей. Со вчерашнего дня, что ли, осталась.

– Капризная девочка, – сказал Аркадий, когда Маша ушла в туалет, и мы остались одни. – Такое впечатление, что ты ее не воспитывал, а баловал, как мог.

Я кивнул.

– Как мог, – и развел руками. – А что было делать? Сирота, кто ж ее еще баловать-то будет.

Аркадий промолчал, а я продолжил.

– А вообще она приколистка. У нее в школе было задание нарисовать своих родителей. Так она нарисовала меня с ремнем в руках. Я в жизни ее не то что ремнем, подзатыльника не дал. Просто мы видели «Ералаш», там отчим в качестве угрозы повесил ремень на стену, на гвоздь. И когда Машка что-нибудь набедокурит, я всегда кричал: «Где ремень?»

Я усмехнулся.

– Она говорит: «Я просто пошутила». Приколистка, блин, – повторил я. – В школу вызывали, в опекунский совет сообщили. Еле оправдался, хорошо, что у меня с инспектором отношения неплохие сложились. Защитнички детей, блин.

– С Татьяной Андреевной? – спросил Аркадий.

– С Татьяной Андреевной, – кивнул я.

– Она мне говорила, что Маше с тобой повезло. Только я сомневаться начинаю. Так баловать тоже, наверное, неправильно.

Я пожал плечами.

– Как сумел. Может, у тебя теперь лучше получится.

– А ты, вообще, ее как-нибудь наказываешь? – спросил Аркадий.

– Знаешь, нет. Она повода не дает. Идеальный ребенок. Сирота же, – улыбнулся я.

Прозвенел третий звонок, появилась Маша, и мы прошли в зал.

Тигры оказались неинтересными. Ходили по кругу, прыгали с тумбы на тумбу да через обруч. А слоны произвели впечатление, особенно когда уже уходили с арены, и последний шел на задних ногах – прямо динозавр получился. Мы с Машкой оценили.

Но это было единственным позитивным моментом. Представление Маше не понравилось. На отца она внимания не обращала, демонстративно висла на мне. Аркадия это раздражало, он нервничал и злился. Я пытался сгладить углы, но тоже не особо получалось. В результате мы расстались недовольными друг другом. С Аркадием договорились созвониться в ближайшее время, пока без конкретных планов.

В машине я дергался. Несмотря на воскресенье, трафик был плотным, близилось восьмое марта, а мне надо быстро забросить Машку домой и ехать на показ. И я уже опаздывал.

– Все-таки он козел, – задумчиво сказала Машка.

– Кто? – автоматически спросил я, подрезая тачку на перекрестке и втискиваясь в дырку.

– Папка мой.

– А я подумал, тот хюндай, что на зеленый тормозить начал. Козел.

– Мне обязательно с ним жить надо?

– Не, Маш, он не козел. Нормальный мужик, обычный.

– Я хочу жить у тебя.

– Ничего, Машунь, я постараюсь тебя перехватить. Сейчас он в тебя попробует поиграть, хватит фунт лиха, и начнет чесать затылок, так ли ему все это надо. Потом женится и приведет бабу. Бабе ты, понятно, ни на... э-э, ни на фиг не нужна. Да и возраст у тебя начнется переходный, вообще с катушек слетишь. А баба, чтобы удержать, может и своего ребеночка родить. В доме ад начнется: младенец орет, титьку просит, ты с наушниками на голове рок кидаешь, школу прогуливаешь, учиться не хочешь, куришь потихоньку, и хорошо, если только сигареты. Ни отца, ни мачеху в грош не ставишь. А с мачехой еще и в открытых контрах. Стресс, однако, хоть снова в море беги. Он может и пить начать.

И есть мужик, готовый все проблемы взять на себя, да еще и денег за это не попросить. Да, баба эта его гипотетическая на меня молиться будет. Не, Машунь, я думаю, есть неплохие шансы, что года через два-три, ну, максимум четыре ты снова у меня окажешься.

– Три года это меньше чем восемь.

– Значительно, – согласился я.

– А вдруг он не женится?

– Женится, Машунь, сто пудов женится. Через год где-нибудь и женится. Чтоб не жениться, ущербным должен быть, а он вполне адекватен.

– А ты тоже женишься?

Я хмыкнул

– Вряд ли. Я три с половиной раза был женат, мне надоело.

– Как это, три с половиной? – удивилась Маша.

– Ну, если за половину считать Ольгу, – улыбнулся я.

Маша замолчала. Потом, когда мы были уже у самого дома, она спросила:

– А когда я вырасту, ты на мне сможешь жениться?

«Опаньки, – подумал я. – А вот и он, кто крадется незаметно».

– Машунь, – сказал я, помолчав, – я тебя очень люблю, люблю как родную дочь и я буду счастлив, если ты полюбишь человека, лучше подходящего тебе по возрасту, и выйдешь за него замуж.

– Причем тут возраст? – искренне удивилась Маша.

– Машунь, мне сорок лет. Когда тебе будет двадцать, мне будет пятьдесят. Это еще хоть как-то. Но, когда тебе будет тридцать, мне стукнет шестьдесят, а это уже критично. А сорок и семьдесят вообще не монтируются.

– Не понимаю, – пожала плечами Маша, – я тебя люблю, и мне все равно, сколько тебе лет.

– Маш, давай так. Сейчас мы забудем про этот разговор. А когда ты вырастешь, мы вспомним. И если будем живы и здоровы, то продолжим его. О'кей?

– А когда я вырасту?

– Через восемь лет, – сказал я, останавливаясь у подъезда.

– Я буду ждать, – очень серьезно объявила Маша.

– Хорошо, – я кивнул. – А сейчас беги домой, а мне еще надо по делам съездить. Ключи с собой?

– С собой, – Машка погремела ключами в кармане.

– Ну, беги.

Блин, – думал я, сдавая задним ходом вдоль дома. – Надо перестать ее целовать. У девчонки скоро половое созревание начнется, как бы не замкнуло. Может, к счастью этот Аркадий нарисовался?

Через день позвонил Аркадий и в довольно категоричной форме сказал, что хочет забрать Машу. Я не возражал, спросил только, когда. Аркадий сказал, что вещи его пришли, он заказал бригаду из клининговой компании – убрать квартиру, и через два дня готов приехать за дочерью.

– Бригаду надо заказывать не из клининговой, а из ремонтной компании, – усмехнулся я. – Там ремонта лет тридцать не было. Хоть обои в Машкиной комнате смени. И сантехнику. Унитаз течет, душ изолентой замотан.

– Нет, – сказал Аркадий, – сейчас ремонт делать не буду. Работу найду, тогда. Денег у меня не так много.

– Хочешь, я дам на косметику? На неопределенный срок. Вернешь когда-нибудь, – предложил я.

Аркадий помолчал секунду-другую.

– А сколько косметический ремонт может стоить? – спросил он.

– Если окна не менять и все по минимуму, то в трешке тысяч в двести-триста уложишься. Если сам будешь делать, то дешевле естественно. Сам-то умеешь?

– Что-то умею, что-то нет.

– Могу помочь, вдвоем недели за три сделаем. Максимум за месяц.

– Я подумаю.

– Думай.

На том пока и расстались.

Однако у Аркадия взыграла гордость, и он от моей помощи отказался, и от финансовой, и от физической. Позвонил и сказал, что завтра забирает Машу.

Я целый день мучился, язык у меня не поворачивался сообщить новость. Только после ужина решился.

– Машунь, завтра в школу не пойдешь, будем собирать твои вещи. Днем папа приедет за тобой.

– Завтра? – Маша побледнела. – Ты ничего не можешь сделать?

– Нет, – я отрицательно покачал головой.

Вечерняя сказка не придумывалась. На душе скребли кошки. Дракон уносил поручика и смолянку в волшебную страну, где они смогут быть счастливы, но хэппи энд не получался. Нам обоим хотелось плакать.

Я уже лежал в постели, когда открылась дверь. На пороге стояла Маша.

– Я не могу там спать одна. Можно я у тебя?

Я вздохнул и подвинулся на диване.

– Подушку только свою возьми.

Машка плюхнула подушку рядом с моей головой, залезла под одеяло, я ее обнял. Сначала она плакала, потом все же уснула. Я лежал без сна, смотрел в потолок, Машины волосы щекотали мне щеку, я вдыхал ее запах.

«Господи, – удивлялся я, – почему расставание с этим ребенком для меня превращается в трагедию? Она мне не дочь. Так, десятая вода на киселе. Бред какой-то».

Утро было хмурым. Мы вяло ползали по квартире, собирали Машкины вещи. В ее сумку все не помещалось, пришлось достать с антресолей чемодан. Маша провела по нему рукой.

– А хорошо было на море, – грустно сказала она. – Ты меня еще туда свозишь?

– Обязательно. Постараюсь с Аркадием договориться, думаю, он не будет возражать.

Потом мы на кухне пили чай. Потом позвонил Аркадий, сказал, что едет.

Я поднял свою чашку.

– Давай разобьем на счастье.

Маша подняла свою. Мы грохнули их одновременно. Машка с ревом кинулась мне в объятия.

Приехал Аркадий. Машка заперлась в туалете.

– Сейчас она выйдет, – ответил я на его недоуменный вопрос. – Давай я пока помогу спустить вещи.

– Велосипед еще влезет? Складной? – спросил я таксиста, когда вещи были в машине. Тот кивнул, и я перегрузил велик из своего багажника в такси. Потом мы с Аркадием поднялись в квартиру за Машей.

Машка одетая стояла в передней. Когда я наклонился к ней, чтобы поцеловать, она меня ударила. Потом размахнулась и ударила другой рукой. Шагнула к Аркадию. Он попытался взять ее за руку. Маша вырвала руку и, не оглядываясь, вышла из квартиры. Аркадий удивленно взглянул на меня и молча вышел вслед за ней.

Я с пустотой в голове вошел на кухню. Машкин айфон лежал на столе. Схватив его, я скатился по лестнице. Такси медленно отъезжало задним ходом. Я догнал, стукнул ладонью по капоту, таксист тормознул. Дернув дверь, я протянул Маше айфон.

– Ты телефон забыла.

Машка взяла телефон и зашвырнула его далеко на газон.

– Дура! – крикнул я. – Там мой номер, позвонить не сможешь!

– Я наизусть помню, – и она захлопнула дверь.

Машина снова тронулась. Я стоял и смотрел ей вслед. Потом достал из тающего сугроба айфон и вошел в подъезд.

Дома налил себе коньяка. Не помогло.

Аркадий позвонил через два дня.

– Слушай, – спросил он, – чего делать? Она молчит. Вообще со мной не разговаривает.

– Она ест?

– Не понял.

– От еды не отказывается?

– Нет. Завтрак, обед и ужин. Все нормально.

– Хорошо. Одевается, умывается без проблем?

– Да. Это ты ее приучил каждый вечер в душ лазить?

– Днем чего-то делает? Не сидит, глядя в одну точку?

– Нет, нормально все, книжку читает, телевизор смотрит.

– В школу пошла?

– Сегодня первый день.

– В тот же класс, где раньше училась?

– Вроде да.

Я вздохнул.

– Ну, депрессухи у нее вроде нет. То, что молчит, внимания не обращай. Она долго молчать будет. Не лезь к ней. С вопросами не приставай, все равно, сейчас отвечать не станет. Молчит и пусть молчит.

– Блин, как же так?

– Аркаш, у нее сейчас очень тяжелый период, почти, как когда мать умерла. Ее выдернули из комфортной среды. Дай ей время...

– Ты, значит, ей комфортную среду создавал, а я, значит, счастье ребенку разрушил!
– Аркаш, не кипятись. Я понимаю, ты тоже ее любишь и хочешь, чтобы ей хорошо было...
– Хочу!
– Ну, и оставь ее в покое! Молчит – пусть молчит. Заговорит через неделю. Или через месяц. Не лезь к ней и не ори на нее, только хуже будет.
– Спасибо за консультацию. Помог, блин.
– А какую книжку читает?
– Не знаю.
– Посмотри, потом скажешь, мне интересно.
– Ладно, – буркнул Аркадий и повесил трубку.
Я посмотрел на телефон и нажал кнопку вызова.
– Да, – сказал Аркадий.
– А чем ты ее кормишь? Обед, ужин.
– Я готовлю.
– Ты умеешь? – удивился я.
– Долго один жил. Научился.
– Молодец. И как она, нормально ест?
– Нормально, рожу не корчит.
– Ну, хорошо, спасибо.
– За что?
– Что голодом не моришь. Шучу, не обращай внимания, я тоже нервничаю. Звони.
– Хорошо, пока.
– Пока, – и я повесил трубку.
– Жалко тебя убивать, но, видимо, придется, – проговорил я под нос.

Я полез в Машкин айфон и нашел телефон Ани. Позвонил ей со своего.
– Аня, здравствуй, это дядя Сережа, Машин дядя, – начал я.
– Ой, здрасьте, – обрадовалась она, – а Маша опять в нашу школу ходит.
– Да, я знаю. Ее папа вернулся. Она теперь с ним будет жить.
– Жалко. Нет, то есть хорошо, конечно, но с вами прикольней было. Ей нравилось.
– Маша дома забыла телефон, и я хотел бы его тебе для нее передать.
– А чего так сложно? Ей самой и передайте. Или вам теперь видеться не разрешают?
– У нее телефона нет, я ей позвонить не могу.
– А... ну, конечно, передам.
– Ты номер своей школы знаешь?
– Да, шестьсот первая.
– Хорошо, когда я смогу подъехать, я тебе позвоню, и мы договоримся встретиться. О'кей?
– Так можно сразу с Машкой и встретиться. Вы после уроков приедете?
– Да, правильно. В общем, я тебе позвоню, и мы договоримся. Я думаю, к последнему уроку и подъеду. Ты мне скажешь, когда он кончается.

Я решил позвонить дня через два. Аня наверняка ей скажет о моем звонке. А что там сейчас в голове у обиженного ребенка, можно только догадываться. И я хотел, чтобы Машке пришлось немного подождать, подумать и понять, хочет она меня видеть или нет.
На следующее утро с Аниного телефона Маша позвонила сама.
– Приезжай скорее, – попросила она.
Я прыгнул в тачку и через сорок минут был у школы. Послал Ане эсэмэску, что я подъехал. Как я понял, окончания занятий Машка дожидаться не стала. Минут через пятнадцать она уже появилась в дверях школы. Увидев машину, побежала к ней. Я вылез из тачки и подхватил на руки прыгнувшую на меня девочку.
Потом мы сидели в машине и обнимались. Пару минут мы не могли оторваться друг от друга. Машка не плакала.

Я услышал, как что-то стучит по колесу. Я поднял голову. На тротуаре рядом с машиной стояли два мужика. Оба в длинных старомодных пальто и шляпах. Один был с бородой и держал в руке трость, ею он и стучал по колесу. Другой, похожий одновременно на поэта Бродского и английского премьера Уинстона Черчилля, опирался на длинный, сложенный зонт. Мужика с бородой я сразу узнал по портретам, это был доктор Зигмунд Фрейд.

– Мне так нравится, когда ты меня целуешь, – сказала Маша, – у меня даже живот дрожит.

Фрейд согласно кивнул и сделал круговое движение рукой, чтобы я опустил стекло. Я нажал на кнопку, стекло поползло вниз, доктор заговорил по-немецки. Я вопросительно взглянул на второго. Я уже догадался, что это писатель Набоков. «Надо же, – удивился я, – при жизни писатель доктора не любил, считал шарлатаном, а тут вместе».

Набоков презрительно усмехнулся, очевидно, уровню моей образованности, и сказал:

– Доктор рекомендует вам ознакомиться с его работами по детской сексуальности, – и подмигнул мне самым непристойным образом.

Я показал господам средний палец.

– Идите к черту. Ей только десять, даже Аде было двенадцать.

Они рассмеялись. На стекло упали первые капли дождя, писатель раскрыл зонт и взял доктора под руку. Призраки великих повернулись и пошли прочь от машины, доктор при этом легкомысленно поигрывал тросточкой.

– Суки, – прошептал я.

– Что? – не поняла Маша.

– Ну, как он? Жить с ним можно? – спросил я.

– Можно, – кивнула Маша, – скучный только. И сказок не рассказывает. Да он и не умеет, наверное, – помолчав, добавила она.

– Я твой айфон привез. Возьмешь?

Маша протянула руку, взяла айфон и сунула в карман.

– Когда ложишься спать, можешь звонить мне, я тебе по телефону буду сказку рассказывать.

– Ой, правда? – обрадовалась она.

Я кивнул.

– Денег на телефон тебе всегда положу. Ну, куда поедем? – спросил я, заводя машину и включая дворники. – Дождь, особо не погуляешь.

– Только не домой, – торопливо сказала Маша.

– Хочешь в кино? – предложил я.

– Нет. Я с тобой хочу побыть, а не кино смотреть.

– В кафе?

– Можно в кафе, – равнодушно согласилась она.

– Знаешь поблизости что-нибудь приличное? – автоматически спросил я.

Она на меня только удивленно взглянула.

– Нет.

– Ну, да, – кивнул я и достал смартфон. – Сейчас поищем. Вот, «Шоколадница» за углом. Пойдешь?

– Пошли. Какая разница.

Мы сидели в «Шоколаднице». Маша, с трудом справляясь с ножом и вилкой, ела блинчики с шоколадным соусом. Я пил свой неизменный кофе.

– Он тебя не обижает, не кричит на тебя? – спрашивал я.

– Нет.

– Он жаловался, что ты с ним не разговариваешь.

Маша пожала плечами, прожевала и проглотила кусок блина.

– Да неохота мне с ним разговаривать.

– А что у тебя в школе? Как ребята, удивились, что ты опять здесь учиться стала?

– Удивились. А так, пофиг всем. Аня, она обрадовалась. Ей скучно было одной в школу ходить.

– А учителя? – спросил я.

– А что учителя? Учителя учат. Да, у нас одна учительница. Это на будущий год много будет. Нам говорили.

– Ну, да, конечно.

Разговор не клеился. Вдруг Маша спросила:

– А ты можешь мне сейчас сказку рассказать?

– Сказку? Могу, наверное. А про кого ты хочешь?

Маша пожала плечами,

– Ты же придумываешь, а не я.

– Хочешь про Емелю, который на печи ездил?

На стене вместо «Шоколадницы» Лиотара была почему-то изображена русская печь. Наверное, раньше здесь было кафе «Му-му».

– Про Емелю я все знаю, про Емелю неинтересно, – разочарованно протянула Маша.

– Ничего ты не знаешь, – возразил я, заказывая еще чашку кофе. – Вот ты думаешь, что щука просто волшебная была?

– Ну, – кивнула Маша.

– Ни фига. Сама подумай, зачем волшебной щуке идти в кабалу к Емеле и выполнять все его идиотские желания. Она что, сама не могла от дурака избавиться? По щучьему велению, по моему хотению.

– А кто была щука? – уже с некоторым интересом спросила Маша.

– Инопланетянкой. И на щуку только похожа. Даже и не особенно похожа. Негуманоидная форма жизни. Скорее, на ящерицу похожа была. Рептилоид.

– А почему Емеля сказал, что щука?

– Она была в скафандре, ей тут у нас не айс. Температура, влажность, давление – все другое.

– А...

– Ее корабль потерпел аварию, угодил в речку и утонул. От всего оборудования только пара антигравов и осталось. А «По щучьему веленью, по моему хотенью» просто звуковой код, который их активировал.

Инопланетянка... а скорее всего, это был инопланетянин. Просто по-русски – раз щука, значит, «она». Так вот пусть будет рептилоид.

Рептилоид застрял на Земле в сломанном корабле на дне речки. На берегу появился Емеля с ведрами. Инопланетянин вступил с ним в телепатический контакт и попросил найти для него какие-то материалы, необходимые для ремонта корабля. Золото и серебро, например, или свинец и олово. Неважно. В качестве благодарности рептилоид дал Емеле два антигравитационных двигателя. Сам же Емеля на просьбы рептилоида забил и один антиграв вделал в сани, другой в печь. И начал гонять по деревне и окрестностям, пугая честной народ.

Я махнул официанту и заказал третью чашку кофе.

– Так вот, Емеля заработал репутацию крутого колдуна.

Ну, и местный князь решил своего сына отдать к нему в обучение.

Дальше пошла история про обучение княжеского сынка. Машка слушала. Я обратил внимание, что две девушки за соседним столиком тоже прислушиваются.

– Через год князь вызывает сына с Емелей показать результаты учебы.

Ну, Иван, так княжича звали, на санях демонстрирует проезд на скорости через узкие ворота, объезд препятствия на скользкой дороге, управляемый занос, полицейский разворот...

– Это как?

– Ну, тачка, в случае Ивана – сани, едут задним ходом, потом на месте разворачиваются и едут дальше, но уже передом.

– Ты так умеешь?

Я кивнул.

– Покажешь?

– Как-нибудь на пустой дороге. Дальше рассказывать?

– Давай.

– Тебе чего-нибудь взять? Сок не хочешь?

Маша кивнула. Я заказал апельсиновый фрэш.

– В общем, Иван ездил красиво, но бесполезно, – продолжил я сказку. – Князь спрашивает у Емели: «А еще таких саней наделать можешь?» Тот руками разводит – только печь и сани. Больше нет. Вместо саней телегу можно, но это не принципиально.

Князь тогда и говорит: «Еще год тебе даю, если за год княжич ничему не научится, только коров пугать, ты сядешь». «В тюрьму?» – спросил Емеля. «Нет, на кол», – ответил князь и нехорошо так улыбнулся.

– Ужас какой, – сказала Маша.

Я украдкой взглянул на девушек, те слушали. Павлиний хвост распушился сам собой. Емеля в страхе перед князем сбежал, Иванушка попал к рептилоиду на корабль.

Сказка превратилась в маленький фантастический рассказ.

Ребенок слушал.

– А рептилоиды на самом деле бывают?

– А черт его знает, чего там в космосе бывает. Я думаю, до фига чего бывает, и рептилоиды тоже. А вот ты домой не опоздаешь?

– А как можно домой опоздать?

– Ну, уроки, наверное, уже кончились, тебе пора дома быть, а ты со мной в кафе сидишь. Отец ругаться не будет?

– Не будет, скажу, к Ане зашла, у нее и поела.

– А Аркадий дома сейчас или ходит где?

– Когда как. То дома целый день, а то нет его, и приходит поздно. По-разному.

Я достал телефон и взглянул на часы.

– Давай, еще пятнадцать минут, и домой поедем.

– Давай.

Еще пятнадцать минут инопланетного контакта. Лук из композитных материалов с самонаводящимися стрелами. Меч-кладенец: вольфрам, титан, ванадий. Атомарная заточка. Не тупится, не ржавеет, не ломается. Год жизни Иванушки в затонувшем корабле при полуторном G...

– Что такое «G»? – спросила Маша. Девушки заулыбались.

– Сила тяжести, – пояснил я, укоризненно взглянув на девушек. – В мире рептилоида все тяжелее в полтора раз. Ванюшка поначалу еле ноги таскал, потом привык, освоился. За год мускулатурой оброс, на Шварценеггера похож стал.

– Все, Машунь, дальше – звони вечером, по телефону расскажу.

Машка сначала скорчила недовольную рожу, потом сказала:

– Хорошо, что ты приехал. Ты ведь будешь ко мне приезжать?

– Обязательно, Маш. Видишь, не все так и страшно.

Маша вздохнула:

– Ну, да, нестрашно.

В двенадцать часов от Машки пришла эсэмэска: «Я в кровати, давай рассказывай».

Я тут же ей позвонил, она взяла трубку, но голоса не подала.

– Машка! – строго сказал я в телефон, – ты с ума сошла! Двенадцать часов, а ты только в кровать залезла. Ты уже час, как спать должна. Звони завтра в пол-одиннадцатого.

Машка отключилась, и сразу телефон звякнул эсэмэской:

«Ну, пожалуйста!!!!!!!!!»

Я снова набрал номер,

– Ладно, первый и последний раз так поздно.

Рептилоид на починенном корабле полетел в космос. Иванушка побежал махать космомечом и стрелять из космолука...

Маша кашлянула. Я спросил:

– Что, неинтересно?

Она кашлянула два раза.

– Ну, извини, – сказал я, – принцессы, княжны и прочие особи женского пола появятся позже. Сначала описание перса, скиллы, оружие, количество жизней. Потом там все развернется.

Маша кашлянула снова.

– А может, вообще, уже спать будешь? Поздно.

Отключившийся телефон показал, что Машка согласилась спать.

– Спокойной ночи, – прошептал я в молчащую трубку.

Утром позвонил Аркадию, предложил сводить ребенка на выходных в дельфинарий. Он хоть и убогий в Москве, но Машке может быть интересно. Аркадий не возражал, сказал только, что Маша ночью кашляла, как бы не заболела.

Через пять минут он перезвонил.

– Знаешь, идите вдвоем. Я не хочу. Опять, блин, начнется демонстрация: дядя Сережа хороший, а я плохой. Если она вдруг заболеет, а предупрежу, конечно.

Когда я собрался заказывать билеты, выяснилось, дельфинарий закрыт, ремонт.

Я позвонил Машке.

– Машунь, привет. Я выторговал у Аркадия наш с тобой поход в дельфинарий, но он сейчас не работает. Я все равно тебя в воскресенье заберу. Просто погуляем. Не пропадать же возможности. Да, и скажи мне, в какой комнате ты спишь? Почему он слышал, как ты вчера кашляла?

– В своей комнате, в той, которая самая маленькая. Почему он слышал? Может, мимо двери проходил. Я специально кашляла, а не говорила, чтобы он не догадался, что ты мне сказку рассказываешь. А сегодня будешь рассказывать?

– Обязательно, только ложись не так поздно.

– Угу, – ответила Маша.

Я, правда, не понял, это было согласие или сарказм.

Я повез девочку в «Ресторан в темноте», благо, он недалеко от ее дома. Видимо, сработал стереотип ухаживания за девушками. А куда еще можно везти десятилетнего ребенка? Только в кабак.

Уже по дороге запоздало догадался спросить, не боится ли она темноты. Пока Маша жила у меня, вроде не замечал.

Машка отважно заявила, что никакой темноты не боится, но, оказавшись в ресторане в полной тьме, струхнула. Я это понял по тому, как она ухватила меня за руку, и по ее изменившемуся дыханию.

Нас подвели и посадили за столик. Машка уселась, не отпуская моей руки.

– А как же официанты, – громким шепотом удивленно спросила она, – они что, в темноте видят?

– Они слепые, привыкли и отлично ориентируются в темноте.

– А повар тоже слепой? В темноте готовит?

– Нет, повара обычные и на кухне светло. Темно только в зале. Попробуй догадаться, какую еду тебе принесут. И есть можно прямо руками, потом помоешь.

– А ты знаешь, что нам принесут?

– Очень приблизительно. Знаю, что морепродукты, но без деталировки.

В общем, успех был полный. Машка шумно нюхала, пробовала, почти ничего не отгадала, свалила стакан с напитком. Стакан не разбился, наверняка был пластиковый. Однако сразу же появился служитель и убрал лужу на полу. А может, не убрал, а только грязь размазал. Темно же.

Когда мы вышли, обнаружилось, что часть еды осталась на Машкиной одежде. Выданная ей перед обедом салфетка не спасла, видимо, оказалась потерянной в процессе.

Машкины попытки почиститься в туалете только усугубили ситуацию.

– Ладно, – кивнул я, – посмотрим, как Аркаша прореагирует на испачканный свитер.

В машине я включил прихваченный из дома ноут.

– Вот, посмотри запись выступления дельфинов. Вдруг папаша спрашивать будет, что ты видела.

Вечером позвонил Аркадий.

– Привет. Ты где с моей дочерью сегодня был?

– А что такое? – спросил я, сразу поняв, что прокололся.

– В дельфинарии?

– А дочь твоя что говорит? – я пытался сообразить, что известно Аркадию.

– Дочь говорит, что в дельфинарии, только вот он на ремонт закрыт. И только через год откроется.

– Ну, да, мы приехали. Он закрыт. Посидели в кафе, и я привез ее домой. Какие проблемы?

– А проблемы, что Машка с воодушевлением рассказывала, какие классные дельфины, и какое классное было представление. Только вот я на сайт зашел, посмотреть, во сколько оно заканчивается, и обнаружил, что дельфинарий не работает.

– Ну, видишь, ты жаловался, что она с тобой не разговаривает. А она тебе про дельфинов все рассказала.

– Зачем ты учишь ее врать? Что, нельзя было мне сказать, что этот долбанный цирк не работает?

– Ну, извини, ты прав, надо было сказать.

– Она и сейчас не сознается. Говорит, что были в дельфинарии. Я ей сайт показал, она говорит, может, в другом каком. Она же не знает, куда ты ее возил. И грязная вся, словно вы салатами кидались.

– В кафе были, она испачкалась случайно. Ничего страшного.

– Что испачкалась – ничего страшного. А то, что ты ее отцу врать заставляешь – очень страшно.

– Ну, Аркаш, ну я был неправ...

– Я залез в ее телефон. Вы каждый день по ночам по сорок минут говорите. Ей спать нужно, а не разговоры разговаривать. Ты, блин, взрослый человек, а ведешь себя, словно тебе пятнадцать.

– Ну, Аркаш...

– Значит так. Телефон этот я у нее забрал. И встречаться с тобой ей больше не позволю. Все! До свидания! – и он повесил трубку.

– Блин, – сказал я вслух. – Пипец, Сереженька. Так проколоться!

Ну, ладно, – думал я, – помешать мне встречаться с Машкой у тебя не получится. В наш век телефонии и интернета это невозможно. Дома же в светелке ты ее запереть не сможешь? Не сможешь. Ей, по крайней мере, в школу ходить и гулять надо.

Телефон забрал. Дерьма-то, новый куплю, – думал я дальше. – А если ты по-серьезному что-то предпринять постараешься, то это война. Монтекки, Капулетти, блин. Нет, причем тут Джульетта? – я даже недоуменно потряс головой. Попытался вспомнить произведение, более подходящее к ситуации по сюжету. Но ничего, кроме конфликта между отцом и бабушкой Лермонтова, мне не вспоминалось.

– Так, я кто? Бабка или папка? – усмехнулся я.

Машка позвонила около половины девятого. С Аниного телефона, естественно.

– Он у меня телефон забрал, – быстро сказала она.

– Не страшно. Куплю тебе новый. Сегодня после уроков подъеду.

– У меня сегодня четыре, – и Маша дала отбой.

Я зашел в салон и купил дешевенький телефон. Я выбирал исключительно по размеру, самым маленьким оказался «Самсунг». По дороге к Маше остановился у Курского вокзала. Купил у метро левую симку, подумал и купил еще одну.

Через полчаса я занял наблюдательную позицию напротив дверей школы. Как прозвенел звонок, было слышно даже в машине. Через несколько минут я громко и грубо выругался. Из дверей вышел Аркадий, он держал Машу за руку.

Я завелся и быстро убрался из пределов видимости. В зеркало успел заметить Машкин взгляд мне вслед.

Отъехав за пару домов, я позвонил Ане.

– Ань, – сказал я, – тут у нас детектив намечается. Я сейчас возле школы стою. Ты далеко?

– Нет, только вышла.

– Ты мою машину помнишь?

– Помню.

– Я слева от школы, аварийкой мигаю. Видишь?

– Вижу.

– Подойди, пожалуйста.

Через минуту Аня села в машину рядом со мной.

– Здрасьте, – поздоровалась она. Глаза ее светились любопытством.

– Привет, – сказал я. – Я купил Маше новый телефон, передай ей, пожалуйста. Завтра, а лучше, если сумеешь, сегодня, – и протянул Ане «Самсунг».

Увидев аппарат, девочка ойкнула и покачала головой.

– А что с ее айфоном?

– Разве она не говорила? Она же утром с твоего звонила.

– Она сказала, что дома забыла, а позвонить срочно надо.

– Могла забыть, могла и потерять, – оценив конспирацию, сказал я. – Вот, купил на всякий случай, передай, пожалуйста.

– А почему детектив? – спросила Аня, засовывая телефон в карман.

– Ты Машиного папу сегодня в школе видела?

– Да. Он ее почему-то встречать пришел. Так бы мы с ней вместе домой пошли, а теперь мне одной тащиться.

– Я подвезу.

– Правда? Класс! – обрадовалась Аня.

– Он не хочет, чтобы я с Машей часто виделся. Имеет право, – вздохнул я. – Он папа, я дядя.

– И вы будете встречаться тайно? Ой, здорово! – Аня даже хлопнула в ладоши. – Дядя Сережа, я на вашей стороне. Машка жаловалась, что папа у нее скучный. А вы нет.

– Ну, хорошо, поехали, – я включил передачу. Чтобы не столкнуться с Аркадием, я повез Аню вокруг. Она вертела головой.

– Первый раз на переднем сиденье еду, – довольным голосом сообщила она.

По новому телефону Машка успела позвонить всего пару раз. Аркадий нашел, отобрал и на глазах ребенка выбросил в окно. Нашим вечерним сказкам пришел конец. Контакты мы теперь могли поддерживать только через Аню. Иногда, когда Аркадия не бывало дома, Маша звонила по домашнему.

Потом я купил ей новый телефон, и Машка домой его не носила, прятала в укромном месте в подъезде. Но уже недели через две телефон пропал, очевидно, его кто-то нашел.

Чтобы встретиться со мной, Машка начала прогуливать уроки. Скрепя сердце я соглашался, хоть и понимал, что это, конечно, не дело.

Машка похудела, стала нервной, часто плакала, начала хуже учиться.

Аркадий, словно ревнивый муж, следил за нами. Иногда выслеживал. Он несколько раз обращался в опекунский совет с жалобами на меня. Говорил, что я плохо влияю на его дочь, и требовал оградить девочку от моих попыток встретиться с нею. Обращался даже в милицию. И мне как-то раз оттуда позвонили, и пригрозили судебным преследованием. Намекнули на возможно мое некое особое отношение к девочке.

Я злился, ругался и думал, что предпринять.

Однажды Аркадий позвонил и предложил встретиться, чтобы, как он выразился, поставить все точки над «и». Естественно, я согласился.

Мы сидели в той же «Шоколаднице» недалеко от его дома.

Я успел выпить две чашки кофе, выслушивая претензии. Когда Аркадий закончил, я сказал:

– Ты лучше бы работу искал, а не за дочерью следил.

Он взвился, обвинив меня в том, что ему приходится тратить время, бороться с моим влиянием вместо поиска работы. И что работу он уже нашел, но не может на нее пойти, потому что боится оставить Машку без присмотра.

– Что ты хочешь? – спросил я.

– Ты отлично знаешь, – ответил он, – я хочу, чтобы ты оставил ее в покое.

Я помолчал, сделал вид, что размышляю, и что решение дается мне непросто.

– Хорошо, считай, что мы договорились. В конце концов, разрывать девочку неправильно. Пусть у нее будет один отец, настоящий.

– Я рад, что ты оказался способным принимать взвешенные решения.

Аркадий поднялся,

– Спасибо, – он протянул мне руку.

Я приподнялся и пожал,

– Счета дождусь и тоже пойду, – сказал я.

Аркадий ушел, и я позвонил Ане.

– Анют, привет. Маша там далеко? Дай ей трубку, пожалуйста.

– У нас урок, – шепнула Аня, – на перемене позвонит.

Я сидел, пил очередной кофе и ждал звонка. В голове крутились слова из саундтрека к «Ночному Дозору»:

И треснул мир напополам,
Дымит разлом.
И льется кровь, идет война
Добра со злом.

«Где добро, где зло, хрен разберешь», – думал я.

Наконец, Машка позвонила.

– Машунь, – сказал я, – я тут кое-что придумал. Но нам надо будет неделю – дней десять не встречаться. Я Аркадию обещал, что больше с тобой видеться не буду. Пусть он успокоится немного...

– Но мы ведь будем видеться? – испуганно спросила Маша.

– Конечно, будем.

– Ты не обманываешь?

– Ни в коем случае. Я думаю, что если все получится, ты снова ко мне переедешь.

– Ой! Правда? – раздался грохот, потом Машка сказала: «Черт». Мне показалось, что она уронила телефон.

– Телефон уронила? – спросил я.

– Ага. В ладоши хлопнула, он и упал.

– Цел?

– Даже не отключился. А когда я к тебе перееду?

– Если все получится, то я думаю к лету.

– Супер!

– Но от тебя тоже потребуются усилия... В общем, тебе будет непросто.

– Ничего, я согласна, а что надо будет делать?

– Терпеть, – вздохнув, сказал я.

– Что терпеть?

– Потом расскажу. Пока на две недели перерыв, звонить можно только от Ани. Из дома не звони.

– Ты же сказал, что на неделю.

– Ну, да, посмотрим, может, неделей обойдемся. Ты сейчас сначала с Аркадием не разговаривай, вроде обиделась, потом оттаешь.

– Когда?

– К концу недели.

– А за что обиделась?

– Ну, как же. За то, что он нам встречаться не дает.

– А... Ладно.

Машка помолчала, потом спросила:

– А как там Иванушка и Емеля? Давно их не было.

– Хочешь, – вдруг сообразил я, – напишу и «ВКонтакте» скину?

– Комп сломался, а он не чинит.

– Господи, как же ты занимаешься?

– Неудобно, конечно, у Ани кое-что делаю.

– Он тебя к Ане спокойно отпускает?

– Да, спокойно. Звонит только иногда на домашний, проверяет, там ли я.

– Хорошо. А гулять днем отпускает?

– Да, но в шесть я должна быть дома.

– В шесть будешь. А телефона у тебя так и нет?

– Нет. Иначе я бы тебе сто раз позвонила.

– Ладно, может, это и к лучшему. Не отследит.

Я начал готовиться к войне. Купил очередную левую симку. Снял на месяц квартиру рядом с Машкиным домом. Взял напрокат дешевенькую авео, чтобы не светить свою тачку. Мало ли кому можно попасться на глаза. Лучше перестраховаться.

И наконец, встретился с Машей.

– Ой! У тебя новая машина? – удивилась Машка, залезая в тачку. – Какая маленькая.

– Взял напрокат, пока моя в ремонте, – я не стал объяснять истинные причины маскарада. – Но Ане не надо говорить, что я на другой машине езжу.

– Почему?

– Не надо и все. Так лучше.

– Как скажешь, – пожала плечами Маша.

– Есть еще одна новость, – улыбнулся я. – Я тут рядом квартиру снял, поехали, посмотришь.

– Зачем?

– Зачем поехали, или зачем снял?

– Зачем снял.

– Приедем – расскажу, – я все никак не мог решиться посвятить Машку в свои планы.

Квартира Маше не понравилась. А чему там нравиться? Не для того снималась.

– Давай, Машунь, поговорим о делах наших грешных, – сказал я, когда чай был выпит и торт был съеден.

– Давай, – кивнул ребенок и полез было ко мне на колени.

Я не пустил.

– Не, Маш, разговор серьезный, не до обнимашек. Потом обниматься будем. После победы.

– Ну, – сказала Машка и внимательно на меня посмотрела.

Я откашлялся.

– Машунь, чтобы ты снова жила у меня, тебя надо отнять у Аркадия, – в разговорах с Машей я как-то всегда избегал называть его ее папой. Предпочитал просто по имени.

– Причем, отнять официально, по закону, – продолжил я.

– Это можно? – оживилась она.

– Можно, но сложно, – проговорил я. – Чтобы тебя снова отдали мне, его должны лишить родительских прав. И ты тогда опять становишься как бы сиротой.

Машка молча смотрела на меня.

– А родительских прав лишают за плохое, или даже очень плохое обращение с детьми.

– И что он должен делать?

– Самое простое, он должен тебя бить.

– Он не бьет.

– Я знаю, – сказал я и замолчал.

Машка сидела молча, я тоже молчал. Потом она спросила:

– Мы должны наврать и сказать, что он меня бьет?

Я кивнул.

– А нам поверят?

– Поверят, если у тебя будут следы от побоев.

– Ух ты, – сказала она и замолчала.

Через минуту я спросил:

– Хочешь еще торта?

Машка покачала головой. Я включил чайник, налил себе чая, сделал несколько глотков, наконец, она спросила:

– А кто меня будет бить?

Я промолчал.

– Ты? – спросила она.

– Я.

– А скажем, что он?

– Да, – кивнул я.

– Это подло, – сказала Маша и даже покраснела.

– Это очень подло. И нас никто не заставляет так поступать.

Машка молчала, я допил чай.

– Или ждать восемь лет? – спросила она.

– Как вариант, – кивнул я.

– А за восемь лет ты можешь меня разлюбить, – задумчиво сказала она.

– Я не разлюблю, – улыбнулся я, – а ты сможешь. Восемь лет долгий срок для ребенка.

Машка вскочила и все-таки залезла на меня, я не сопротивлялся.

– Нет, нет, я никогда тебя не разлюблю! Ни за восемь, ни за сто восемь.

Я обнял ее.

– Значит, ждем восемь лет.

Машка сидела, прижавшись ко мне.

– А их можно нарисовать?

– Кого? – спросил я

– Следы.

– От побоев?

Машка кивнула.

– Нет. Их врачам надо будет показывать.

Машка молчала,

– Чума, – сказала она.

Я кивнул.

– Ты для этого квартиру снял?

Я кивнул снова.

Машка так долго молчала, что я даже подумал, что она уснула.

– Ты очень плохой человек, – тихонько сказала она.

– Я знаю, – сказал я и поцеловал ее.

– Ты со мной так же не поступишь?

– Никогда. Я скорее умру.

Машка заплакала. Она плакала долго. Я молчал. Маша перестала плакать, и я сказал:

– Нас никто не заставляет это делать. Давай не будем и просто забудем про это, как страшный сон. Ты ведь меня не разлюбишь за то, что я придумал такое?

– Не разлюблю-ю, – и слезы снова потекли из ее глаз.

– Ну, все-все, – погладил я ее по спине. – Забыли. Давай лучше еще чаю с тортиком.

Глотки чая перемежались всхлипами, торта Машка почти не съела.

Потом она положила ложку, быстро взглянула на меня и, опустив глаза, сказала:

– Я согласна.

– Нет, нет. Забыли, это была плохая идея.

Машка покачала головой, посмотрела на меня и повторила:

– Я согласна. Я люблю тебя.

Чувствуя себя полным подлецом, я сказал:

– Будет больно.

– Я потерплю.

Я усмехнулся.

– На суде будет еще больнее. Очень трудно чувствовать себя негодяем. Ты можешь не выдержать и признаться, что мы все придумали. Тогда меня посадят.

– Куда? – встревожено спросила Маша.

– Ну, не на кол, естественно. В тюрьму, за клевету. Лет на пять, наверное.

– Не признаюсь, – твердо сказала Маша.

– Хорошо, – кивнул я, – но это еще не все.

– Господи! Еще-то что? – она даже всплеснула руками.

– Если он тебя побьет один раз, никто его родительских прав не лишит. Всякое может случиться между отцом и дочерью. Он должен бить тебя долго и часто. У тебя на теле должны быть следы от старых побоев, которые уже проходят, а сверху них новые, свежие. Тогда точно прав лишат.

Машка с удивлением смотрела на меня,
– Ты сколько меня бить будешь? Неделю?
Я кивнул и обнял ее.
– Чума, – вздохнула Маша.
– Чума, – выдохнул я.

– Сейчас? – Машка высвободилась из моих объятий.
Я развел руками и виновато улыбнулся.
– Можно сейчас.
Машка слезла с моих колен.
– Хорошо.
Я кивнул.
– У Аркадия ремень есть? – спросил я.
– Есть, вроде.
– Широкий, узкий?
– Узкий, на брюках.
– Хорошо, пошли. Хотя ничего хорошего.

В комнате я постелил простыню на кровать.
– Простыня чистая, из дома. Раздевайся. Трусы тоже.
Машка послушно разделась. Легла. Ее кожа покрылась пупырышками. Я сжал зубы и взмахнул ремнем.
Закричали мы одновременно. Попку перечеркнула вспухающая багровая полоса. Я уронил ремень, упал на колени, стал дуть.
– Сейчас подую, меньше болеть будет.
– Больно, блин, – прошептала Машка. – Еще надо? – оглянулась она на меня. Я кивнул.
– Давай, побыстрее только.
Я встал, включил телевизор, нашел музыкальную программу и прибавил звук.
– Если мы так орать будем, соседи прибегут.
Снова взял ремень.
Господи! – подумал я. – На что только ни готовы женщины ради любви. Даже такие маленькие.
Машка больше не кричала, только вздрагивала, мычала и двигала ногами.
Про себя я говорил после каждого удара:

– Твоим узким плечам...
– Под бичами краснеть...
– На морозе гореть.
– Ну, а мне за тебя...
– Черной свечкой гореть...
– Да молиться не сметь.

Эстет! Блин.
– Все, – я бросил ремень, схватил спрей с лидокаином и залил ей всю спину. Маша вздрогнула.
– Сейчас легче станет, это анестезия.
Когда я покупал два флакона, аптекарь с пониманием на меня посмотрел. «Знал бы ты, для чего я его покупаю», – подумал я тогда.
Я накрыл Машку толстым махровым полотенцем.
– Больно, – сказала она и спросила: – Завтра опять?
– Послезавтра, пусть подживет хоть чуть-чуть.
Маша повернулась на бок.
– Вроде поменьше болит.
Полотенце начало сползать, я поправил. Сел рядом на кровать и стал носовым платком вытирать ей лицо.

– Анестезия будет держаться примерно час, потом опять заболит, но уже не так сильно.

Машка подобралась поближе ко мне, положила голову мне на колени. Я погладил ее по волосам, поцеловал в макушку.

– Надо ехать, пока анестезия действует.

Я откинул полотенце, слизнул выступившие кое-где бисеринки крови. Помог Машке одеться.

Утром она позвонила из школы.

– Как ты? – нервно спросил я.

– Ничего, сидеть только больно. Анька спрашивает, что со мной, я сказала, что отец побил. Она в шоке.

– Хорошо, много только не болтай. Раньше времени шум нам не нужен.

– Хорошо. И душ, конечно, вчера – просто инквизиция. Я помыться не смогла.

– Сегодня постарайся. Завтра приходи на квартиру, я буду ждать.

– Угу.

– Ну, пока. Целую.

– Пока. Подожди!

– Да?

– Я тебя люблю.

– Я тоже тебя очень люблю, солнышко.

– Мы ведь победим? Ты ведь меня заберешь?

– Не бойся, заберу. Скоро на море поедем.

– Пока.

– Пока, Машунь. Подожди!

– Что?

– Постарайся пару двоек получить. А то и бить тебя не за что.

– Ну, двойка не пятерка, это запросто. А по какому?

– По любому предмету.

– О'кей, целую.

Я засмеялся,

– Я люблю тебя, солнышко.

На следующий день я старался не попадать по поврежденным местам. И у Машки пострадали плечи и ноги.

В третий раз Машка легла на спину.

– Давай спереди. Там болит все.

Я испуганно затряс головой.

– Нет, это вообще невозможно. Если по ногам только.

Я накрыл ее сложенным в несколько раз одеялом, чтобы случайно не попасть, куда не надо.

Когда экзекуция закончилась и Маша начала одеваться, я с изумлением увидел, что ее чуть приподнимающиеся над кожей груди соски явно были затвердевшие. Где-то далеко впереди замаячили кожаные трусы и лифчик, наручники и плетка.

Боже! Так, наверное, мазохизм и формируется, – испуганно подумал я.

– Все, Машунь, больше не надо. Этот кошмар закончился.

– Слава богу, я бы больше и не выдержала, наверное, – Маша прижалась ко мне. – Все спрашивают, что со мной. А он вообще решил, что у меня месячные начинаются. Прокладки купил.

– Заботливый, – сказал я.

Маша промолчала.

– Тебе его не жалко? – спросил я.

Машка пожала плечами.

– Он ведь меня не отдаст?

– Нет. Я с ним разговаривал. Не отдаст.

– А что с ним могут сделать?

– Могут в тюрьму посадить.
– За то, что он меня бьет?
– За это – не уверен. Но если у него найдут нашу сахарную пудру, то точно посадят.
– А что такое сахарная пудра?
– Наркотик.
– Ух ты! А откуда у тебя наркотик?
– Торговал когда-то.
– Так ты преступник? – удивленно воскликнула Маша.
– Был когда-то, – кивнул я. – А теперь, наверное, снова буду.
– Ну, ни хрена себе! Круто! – Машка явно была поражена. – А что же делать? – спросила она.
– Можем обойтись без наркотиков, но тогда не сто процентов, что тебя снова отдадут мне.
– А с наркотиками сто процентов?
– Да, – кивнул я. – Но папу твоего посадят в тюрьму.
Машка долго молчала, потом спросила:
– А как у него найдут наркотик?
– Ты подложишь.
Машка снова замолчала.
– Как в кино, – сказала она через минуту.
– Да уж. Тот еще детектив, – согласился я.
– А мы можем попробовать без наркотиков, а если не получится, то тогда да?
– Можем, но лучше сразу.
– Я не хочу, чтобы его посадили в тюрьму.
– Я тоже, но тогда все останется как сейчас.
– Черт! – сказала Машка.
– Согласен, – кивнул я и осторожно обнял ее. Машка закрыла глаза. Мы долго сидели молча.
– И я снова буду жить с тобой? – спросила она потом.
– Да, – кивнул я.
– И ты снова будешь рассказывать мне сказки?
– Конечно.
– А как я подложу наркотик?
– Просто принесешь банку домой и спрячешь.
– А дальше?
– А дальше я позвоню в милицию и скажу, что в этом доме есть наркотики. Они приедут, найдут и заберут папу с собой.
– И все?
– Да, я приеду и увезу тебя. Все.
– А когда это надо делать?
– Пока не сошли следы от побоев. У нас есть пара дней.
– Ужас.
– Да, ужас, – кивнул я.

На следующий день операция вошла в завершающую стадию.
– Где мне надо спрятать банку? – спросила Маша.
– В кино прячут в бачке унитаза. Упакуем в полиэтиленовый пакет и засунем в бачок. Пошли в туалет, я покажу, как снять крышку бачка и куда поставить банку, чтобы работа унитаза не нарушалась.
Унитаз в съемной квартире был доисторический, еще советских времен. Как я помнил, в доме у Маши такой же.
– Ой, а у нас теперь другой туалет, он поменял, – воскликнула Маша, остановившись на пороге.
– Теперь не вверх дергать, а на кнопку давить? – спросил я.
– Да, и кнопка из двух частей. Когда по-маленькому и по-большому.
– Пошли, в кафе сходим, там будет что-то вроде вашего.

Ближайшим кафе была все та же «Шоколадница» недалеко от школы. Мы зашли в туалет. Я показал, как отвернуть кнопку и снять крышку, Машка пару раз попробовала, получилось.

Когда мы вышли, какая-то женщина сказала Маше:

– Что же ты, уже такая большая девочка, а с папой вместе в туалет ходишь.

– Он мне не папа, – буркнула на ходу Машка.

– Она мне не дочь, – подмигнул я тетке. Та, вытаращив глаза, уставилась на нас.

На улице, в машине я продолжил давать инструкции.

– Вот тебе банка, – я протянул четырехсотграммовую банку из-под джема в прозрачном пакете. – Поставишь ее где-нибудь в таком месте, чтобы она ему мешала, перед телевизором, например, или еще где. Нужно, чтобы он ее взял и просто переставил. Ты потом возьмешь эту банку, принесешь ее мне, я насыплю туда кокаин, упакую банку, и ты спрячешь ее в бачке. Голыми руками банку не трогаешь. Работаешь только в перчатках или берешь ее через пакет. Это понятно?

– Да, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

– Молодец. Отпечатки должны быть только его. Вот перчатки, – я дал ей несколько пар латексных перчаток. – Перчатки потом выбросишь.

Завтра утром я буду в машине дежурить у дома. По дороге в школу ты отдашь мне банку. Аня нас видеть не должна. Ты пойдешь в школу или раньше ее, или позже. Если так не получится, проходишь мимо. Банку тогда можешь выкинуть, найдем другую.

Если все пройдет нормально, то когда он уйдет из дома, ты позвонишь мне по телефону, по домашнему. Если он останется дома на весь день, то ничего страшного, мы все переносим на завтра.

Он тебя продолжает встречать из школы?

– Иногда. Не каждый день.

– Хорошо. Если он банку не тронет, тоже не страшно. Нет отпечатков и не надо, главное, чтобы на ней наших с тобой не оказалось. Тогда мне придется зону топтать, – и я засмеялся. – Все, Машунь, иди домой, я ближе не поеду. На всякий случай. Завтра я буду стоять вон у тех мусорных бачков, – я махнул рукой на зеленые контейнеры.

– Я боюсь немножко, – Машка жалобно на меня посмотрела.

– Не бойся, Маш, мы можем остановиться в любой момент. Пока тебе надо только принести мне банку с его отпечатками пальцев, не поставив своих. Давай поцелуемся и иди.

Маша ушла, я сидел и смотрел ей вслед. Она шла не оглядываясь.

«Извини, Аркаш, – подумал я, – ничего личного. Просто ты не вовремя про дочку вспомнил. Плавал бы себе и плавал. И ничего бы не было. Или хотя бы палки мне в колеса не совал. И я бы спокойно ждал эти долбанные восемь лет. А так... Как там? “Тварь ли я дрожащая или право имею?” – я засмеялся. – Права я никакого не имею и, скорее всего – действительно тварь. Но вот точно не дрожащая».

Я вышел из машины. Ночевать я сегодня намеревался на съемной квартире. Кокаин был у меня с собой.

На следующее утро я следил за домом из своего наблюдательного пункта. Я поставил тачку так, чтобы она была не видна из окон квартиры.

Вот появилась Аня. Она прошла с недовольным видом, не обратив на меня никакого внимания. Минут через десять из дома вышла Маша. Она была бледнее, чем обычно, и походка у нее была очень напряженной.

Я опустил стекло. Проходя мимо, Машка сунула в окно пакет и шепнула:

– Он брал, – пройдя еще несколько шагов, она побежала.

Я включил музыку и налил себе кофе из термоса.

«Жаль, не курю, – подумал я, – сейчас точно бы закурил».

Покончив с кофе, надел перчатки, расстелил на пассажирском сиденье кусок полиэтилена, достал из бардачка кокаин и осторожно пересыпал в банку, принесенную Машкой.

Банка оказалась почти полной.

«Сколько же здесь бабла! – по старой памяти подумал я. – Ничего, Аркаш, для тебя не жалко. Хранение в особо крупных размерах».

Особо крупный размер – это всего от одного грамма кокаина, независимо от наличия примесей. Здесь же было больше полкило.

«Пипец!» – прочитал я приговор.

Я аккуратно свернул полиэтилен, запихнул его в пустую банку из-под кокса.

«Выброшу не здесь, где-нибудь подальше», – решил я.

Конечно, я мог сам подложить кокаин. Но не хотел заходить в квартиру. Обязательно какая-нибудь сука заметит. Нет, лучше уж не рисковать, слишком много поставлено на карту.

Четыре часа ожидания пролетели незаметно. Аркадий из дома не выходил. Уже захотелось в туалет. Поглубже натянув на голову капюшон от куртки, я словно бомж помочился за мусорными бачками.

Вскоре появилась Маша. Она шла вместе Аней и тщательно отворачивалась от моей машины. От Ани я нырнул под приборную панель, на всякий случай.

Еще через полчаса из дома вышел Аркадий. Не глядя по сторонам, он быстрой походкой направился к метро. Почти сразу же позвонила Машка:

– Он ушел. Что мне делать?

– Возьми что-нибудь, все равно что, хоть банку, хоть книжку. Оденься, выйди на улицу и выброси в мусорный контейнер. Банка для тебя стоит на земле рядом с левым баком. Она в пакете, внутри еще пакет. В том ее в бачок и опустишь, его уже голыми руками не трогай.

Прошло еще несколько минут. Из подъезда выбежала Машка, она была без шапки, в расстегнутой куртке. Она тащила пустую трехлитровую банку. Даже из машины было видно, что банка очень пыльная.

– Где она ее нашла? На балконе, наверное, – подумал я.

Банка дзинкнула, разбившись в контейнере.

Машка подобрала пакет и, не взглянув мою сторону, быстрым шагом пошла домой.

Через несколько минут зазвонил телефон. Я снял трубку.

Машка взволнованным голосом сказала, что не может снять крышку бачка. Кнопка не отворачивается.

– Черт! Мое упущение, этот момент дома не отработали, только в «Шоколаднице».

Я открыл дверцу машины, замер на мгновение и снова захлопнул.

– Ничего страшного, Машунь. Черт с этим бачком. Спрячь просто в книжный шкаф за книжки. Только не в своей комнате.

– Так можно?

– Можно, можно, только не высоко, чтобы собаке было удобнее нюхать.

– А что, собака придет?

– Может.

Машка дала отбой.

Еще через пять минут перезвонила,

– Я засунула в шкаф, в глубину. Спереди книжки.

– Хорошо, будем надеяться, что ему не приспичит почитать на ночь. Все, Машунь, молодец, теперь иди гулять, или к Ане зайди. Дома только не сиди.

– Мы правильно делаем?

Я секунду помедлил.

– Я считаю, что правильно. Я хочу, чтобы ты жила со мной. Поэтому и делаем.

– Я тоже хочу жить с тобой.

– Хорошо. Перчатки выбросить не забудь. Целую, солнышко.

– Я тоже тебя целую.

Теперь мне показалось, что я просидел целую вечность. Взглянул на часы. Прошло всего десять минут, как Машка перебежала из подъезда в подъезд. Пошла к Ане.

Я нервно побарабанил пальцами по рулю, вздохнул и достал телефон. Заменил симку на левую, набрал 02, дождался, когда ответит девушка оператор и включил запись, сделанную на Курском вокзале.

Сам звонить в полицию я не хотел. Черт его знает, какие у них возможности идентификации голоса. Поэтому мне наговорила текст заявления в ментуру бомжиха с вокзала. За штуку. С третьего

раза ей удалось сносно прочитать с бумажки на диктофон. По крайней мере, адрес хаты, где хранятся наркотики, был слышен достаточно четко.

Запись закончилась, я снова поднес телефон к уху. Оператор потребовала, чтобы мой диктор представилась. Я усмехнулся и нажал отбой.

Потом удалил запись, вытащил симку, протер носовым платком (уже паранойя), открыл окно и щелчком отправил симку в помойку.

Все. Теперь оставалось только ждать, клюнут менты или пошлют мой донос нах.

Я завелся и поехал домой. На душе не кошки скребли, динозавры. Было одновременно и страшно, и очень противно.

– Бедный ребенок, – думал я, – ей-то каково сейчас.

Мне уже хотелось, чтобы менты не прореагировали.

Но они клюнули. Машка позвонила в четыре утра и задыхаясь от плача сказала, что папу забрали в полицию. Потом в трубке послышался мужской голос, представился каким-то капитаном, я не запомнил, и спросил меня, знаю ли я такую-то девочку. Я ответил, что это моя племянница.

Капитан предложил мне приехать сейчас и забрать ее, потому что ее отец только что задержан по подозрению в хранении наркотических средств. И что потом со мной свяжутся и скажут, что делать дальше.

Спать я не ложился и через полчаса уже был у Машиного дома.

Машка бледная и с красными от слез глазами одетая сидела на кухне. Рядом с ней на полу стояла спортивная сумка. Кроме нее в квартире находился мент в камуфляже без знаков различия и с автоматом.

Я представился. Он посмотрел мои документы, удивился, как быстро я долетел, и велел написать заявление, что я готов временно взять ребенка к себе. Он записал мои координаты, я подхватил Машку на руки. Мент закрыл и опечатал дверь, предупредил, что, пока идет следствие, в квартиру без разрешения заходить нельзя.

На мое робкое предположение, что это какое-то недоразумение, кивнул, сказав, что разберутся, еще раз напомнил, что со мною свяжутся, и благородно помог донести сумку до машины.

В вольво Машка начала рассказывать.

– Было очень страшно. Они пришли, я только легла спать. Их было много, с автоматами, и собака была. Сразу зажгли везде свет. Банку нашли быстро, говорили, что собака унюхала, я слышала. Соседей зачем-то приводили. Потом еще долго чего-то искали, всю квартиру перевернули. Ты в комнаты не заходил, там черт-те чего делается.

Папа ругался, кричал, что ничего не понимает, что это не его, что его подставили. Потом успокоился, они что-то долго писали, разговаривали спокойно.

Спросили у меня, с кем я могу остаться, я сказала про тебя. Мне велели тебе позвонить. Потом все ушли, увели папу, со мной остался только один.

Это все? Все кончилось? – спросила Маша.

– Нет, конечно, еще много всякой фигни будет, но самое главное, ты снова со мной. Поехали домой, – и я завел машину.

Ехали молча. Дома я отправил Машку в душ, чтобы хоть чуть смыла с себя весь этот кошмар.

Уложив Машку, зевая постелил себе на диване. Уже светало. Будильник я отключил к чертовой матери. Только разделся, открылась дверь, вошла Маша в обнимку с подушкой.

– Я не могу одна там, мне страшно. Можно я с тобой?

– Можно, – кивнул я.

Машка легла, прижалась ко мне, я ее обнял, она пару раз всхлипнула и через секунду уже спала. Я осторожно высвободил руку из-под ее шеи и чуть отодвинулся.

Черт, у меня почти полгода не было женщины, и мой организм вдруг решил мне об этом напомнить.

– Нашел время, козел, – сказал я ему и принялся вспоминать английские неправильные глаголы. Помогло.

Утром, вернее уже днем, меня разбудила Машка.

– Сереж, – позвала она, – я вся в крови, и у меня ужасно болит живот.

– Началось, – подумал я, – все одно к одному.

Я вскочил, дал Маше капсулу «Нурофена» и побежал в аптеку за прокладками.

Завтракать Машка не стала, выпила только сок. Свернувшись в клубочек, она лежала на диване, я сидел рядом. Маша прижимала мою руку себе к животу.

– И что? – она открыла глаза. – Так теперь будет каждый месяц?

– Тяжелая женская доля, – свободной рукой я погладил ее по волосам. – И это одна из ее составляющих.

– Да, блин, умеешь утешить, – простонала Машка, пошутив как-то очень по-взрослому. – Лучше бы я была мальчиком.

Я представил на ее месте мальчишку. Усмехнулся, наклонился и тихонько поцеловал в ухо.

– Нет, лучше девочкой, – шепнул я.

– Ой, как же болит, – протянула Машка.

– Машунь, нам еще к врачу сегодня, кровь из носа.

Машка укусила меня за ногу.

– Про кровь лучше не говори!

Я зарылся носом в ее волосы.

– Машка! Как же я тебя люблю!

– Я тебя тоже, – сильнее прижимая мою руку к животу, выдохнула она.

После второй капсулы «Нурофена» Маша оказалась способной доехать до поликлиники. Предварительно я позвонил в опеку, рассказал нашу историю Татьяне Андреевне. Та поохала, конечно, и мы договорились, что после медицинского освидетельствования я с Машей приеду к ним.

В поликлинике Машку осмотрели, отфотографировали и написали заключение, что девочка постоянно, по крайней мере, в течение последних десяти дней подвергалась периодическим избиениям.

В опеке Татьяна Андреевна повела нас к начальнику. Рассматривать фотографии и читать заключение сбежалось пол опекунского совета. Я рассказал еще и про наркотики и арест.

– А за что он тебя бил? – спросила Машу инспектор.

– Да за все, – пожала плечами Маша. – Чашку разбила, двойку получила, посуду не помыла.

– Вот ко... – Татьяна Андреевна закашлялась. – А таким порядочным казался. На вас еще последнее время постоянно жаловался. Говорил, что вы плохо на девочку влияете. А сам еще и наркоманом оказался. Кошмар.

– Татьяна Андреевна, я бы хотел, чтобы Маша со мной навсегда осталась, что мне надо для этого делать? – спросил я.

– Маша, а с кем тебе больше хочется жить, с папой или с дядей? – спросила начальник опеки.

– С дядей, конечно, я его люблю.

– Сейчас я сделаю копии с фотографий и заключения. В прокуратуру мы сами сообщим. Я думаю, что материала для лишения родительских прав вполне достаточно. Еще и наркоман, или торговал, а это еще хуже.

По дороге домой мне позвонили из полиции, попросили подъехать. Я рассказал про избиения и про медицинское освидетельствование. Там крякнули и сказали, что свяжутся позже.

Через четверть часа позвонили снова, пригласили на завтра к пятнадцати ноль-ноль.

Я ответил: «Есть!» и взял руку под козырек.

Машка подвывала рядом и просила ехать быстрее. Я старался как мог, то и дело выскакивая на выделенку. Расположение камер на Ленинском я помнил наизусть.

Дома Машка влетела в ванную, включила душ, а потом заорала мне, чтобы я принес ей чистую одежду и прокладки. Дверь она предусмотрительно не заперла.

– Бедная девочка, – подумал я. Потом подумал: – Бедные женщины.

Потом вспомнил одно свое женское воплощение: Средние века, Арабский Восток, невысокое социальное положение, Аравийская пустыня, обильные месячные и полное отсутствие воды. Вот была чума! До сих пор дрожь пробирает. И кроме этого, про ту жизнь я ничего и не помнил. Видимо, это воспоминание оказалось самым ярким.

Господи! – подумал я. – Спасибо тебе, что я мужчина.

Машка вышла из ванной и сразу спросила меня про обед. Живот у нее болел много меньше. Я еще раз подумал: «Спасибо, Господи!» теперь уже про Машку, и мы спустились вниз, в кафе.

На следующий день в три часа я был в ментуре. Следователем оказался тот самый капитан, который говорил со мной в первый раз, когда позвонила Маша.

Мы долго разговаривали. Я довольно подробно описал все события с момента оформления опеки над Машей. Ничего плохого про Аркадия не говорил. Сказал, что сам оказался в шоке, узнав, что тот стал бить дочь. Удивился, что Маша терпела и не пожаловалась раньше. Может быть, боялась, предположил я.

Про наркотики – вообще жесть. Я закончил, сказав, что вся история кажется мне странной, и что Аркадий производил на меня впечатление вполне нормального человека.

Следователь покивал, предупредил, что с Машей тоже захотят побеседовать и попросил никуда из Москвы не уезжать.

– Блин, – сказал я, – а я как раз хотел девочку недели на две к морю отвезти.

Капитан оказался на удивление нормальным, подумал пару минут и разрешил мне уехать. Попросил только согласовать с ним сроки. Я горячо поблагодарил его.

Уже подписывая мне пропуск, он внимательно на меня посмотрел и сказал, что девочке очень повезло, что у нее оказался такой заботливый дядя.

В ответ я улыбнулся:

– Ну, не повезло с папой, так пусть повезет с дядей.

– Конечно, – теперь улыбнулся следователь, – только вот так редко бывает, – и, прощаясь, добавил. – Очень.

Я только развел руками и улыбнулся снова.

Еще через пару дней я возил Машку к дознавателю. Я был удивлен такому названию. Со времени моего последнего общения с милицией в ней много чего изменилось.

Дознавателем оказалась приятная молодая девушка, правда, высказавшая желание побеседовать с Машей наедине. Ее приятность сразу уменьшилась.

Я сделал удивленное лицо.

– А разве допрос несовершеннолетних может проводиться в отсутствии их родителей или опекунов? А я вроде как опять выполняю эту функцию? – поинтересовался я.

– Это вовсе не допрос, просто беседа, протокол не ведется, – девушка обворожительно улыбнулась. – И только с вашего согласия. Маше ведь нечего скрывать?

– Хорошо, – я пожал плечами, – я не возражаю. Скрывать нам нечего.

За Машку я не боялся, знал, что девка – кремень.

– Расскажешь тете правду, всю правду и одну только правду, – напутствовал я ее и подмигнул. Машка фыркнула и пошла с дознавателем в кабинет, я остался ждать в коридоре.

Приблизительно через час дверь открылась, и они вышли. Машка была красная и злая. Дознаватель мне мило улыбнулась.

– У вас очень хорошая девочка, – сказала она. – Мне было интересно с ней разговаривать. Вас любит. А вы мне кажетесь очень необычным и интересным человеком.

Я раздвинул губы, имитируя улыбку,

– Спасибо. Маша вам еще понадобится, или можно считать, что показания с нее сняты?

Дознаватель кивнула.

– Я думаю, что мы закончили. Возможно, только на суде ей зададут пару вопросов.

– Я был бы чрезвычайно вам признателен, если бы ее от этого избавили. Все-таки отец, хоть они и мало общались. Да и общение оказалось не слишком приятным.

– Ну, до суда еще далеко. Пока идет следствие. Вас тоже еще вызывать будут.

– О, если у меня будет такой очаровательный дознаватель, я готов ходить на допросы хоть каждый день, – легко выдал я комплимент.

– Нет, – девушка улыбнулась, – у вас будет другой. Я работаю только с детьми.

Я скользнул взглядом по ее руке, постаравшись сделать это заметно.

Как я и ожидал, кольца не было.

– В таком случае, Машке повезло, – широко и по-доброму улыбнулся я. – До свидания.

– До свидания, Сергей... Владимирович, – улыбнулась дознаватель.

– Сучка, – проговорил я под нос, когда мы с Машей вышли на улицу.– Ну, рассказывай, – спросил я в машине, – о чем вы говорили?

– Глупости какие-то. Она спрашивала, нравятся ли мне мальчики, спрашивала, что я люблю кушать, какие книжки читала, хожу ли в кино. Была ли я в театре и если была, то когда и что смотрела. Есть ли у меня друзья в школе и в Интернете. В общем, много всякой фигни спрашивала. Про него почти ничего и не спросила. Спрашивала про маму, про тебя тоже мало.

Я вздохнул.

– Говорю, точно сучка. Ладно, будем надеяться, что пронесет. Какие, однако, менты продвинутые стали.

Все, Машунь, едем на море. Дней через десять.

– Ух ты! – обрадовалась Маша. – А школа? – спросила она потом.

– Какая школа может помешать нашему счастью? Забей. Или ты боишься пропустить контрольную по чистописанию?

– У нас нет чистописания, – засмеялась Машка.

– Поэтому вы и писать не умеете. Только на клаве набирать.

– А куда мы поедем?

– Мы поедем в рай.

– Это куда? На тот свет, что ли? – удивился ребенок.

– Нет, Машунь, на том свете, я думаю, для нас апартаменты в другом месте готовят. Мы поедем на Сейшельские остова, в Индийском океане. Райское место, говорят.

– Супер, – сказала Машка, но по голосу чувствовалось, что она не впечатлена.

– В инете посмотри, по какой-то версии считается, что Эдем, где гуляли Адам и Ева, был именно там. Там еще орехи на пальмах растут, похожие на попку. Райский плод называется.

– Почему райский плод похож на попку? – спросила Маша.

– Намек. Потому что, когда вкусишь от райского плода, жизнь такой и становится.

– Как жопа, что ли?

– Машка! – я засмеялся. – Что ж ты такое говоришь!

– А что? – пожала она плечами.

– Ничего. Грубо, просто. Но в целом ты права. Адам и Ева не знали, в какую задницу они попадут, сожрав то яблоко. Иначе поостереглись бы, конечно.

– А мы вкусили райского плода?

– Нет, но скоро вкусим, надеюсь, что не подавимся.

– Через восемь лет?

Я дернул рулем.

– Нет, Машунь, я другое имел в виду. Ту кашу, которую мы заварили.

Машка замолчала, только у самого дома она спросила:

– А когда мы поедем?

– Билеты и гостиницу закажу и поедем.

Машка кивнула.

Я боялся, что будет безумно дорого, оказалось вполне по средствам. Если лететь эконом «Туркменскими авиалиниями» с долгой пересадкой в Ашхабаде, и номер в четырехзвездочном отеле, одноместный с дополнительной кроватью для ребенка. И не прямо у воды, а пройти метров двести надо. В общем класс «В –» или «С +».

Но главное же не отель. Главное же океан и райский плод.

Эдемский плод на Машку особого впечатления не произвел. Кокос и кокос. А было время, за один орех целое княжество отдавали. В пятнадцатом веке считалось, что эти здоровенные кокосовые орехи могут наделить человека долгой и райской жизнью или, по крайней мере, обеспечить хорошей потенцией.

Но в целом две недели оказались счастливыми и вполне райскими.

Машкины побои прошли, она быстро загорела. Еще она явно подросла за это время, прямо на глазах. Когда мы уезжали, обнаружилось, что джинсы стали ей коротки. Она научилась плавать. В Эмиратах не успела. И я подумал, что в Москве надо будет походить с ней в бассейн. Да и мне для пресса неплохо будет.

Мы лежали на пляже, Машка провела пальцем мне по животу и спросила:

– А почему у всех дядек есть животы, а у тебя нет?

– Потому что я не пью пиво, а пью апельсиновый сок.

– Нет, правда. Все дядьки толстые, а ты нет. Почему?

– Маш, ты чего? Все люди разные, есть толстые, есть худые. Я худой.

– Есть и худые, но с толстыми животами. Вон, посмотри, стоит, – недалеко от нас действительно стоял мужик со стаканом и что-то тянул через соломинку. Вид у него, правда, был довольно карикатурный.

– Ножки тоненькие, как у тебя, а пузо, как из арбуза, – сказала Машка.

– Маш, ты с ума сошла, пальцем показывать.

– Он не видит.

– Маш, ну не все же такие. Вон, посмотри, сколько с нормальными фигурами.

– Они молодые.

– А я, значит, старый? Я тоже молодой.

– Ну, – как-то не очень уверенно протянула она. – А почему тогда у тебя нет квадратиков на животе? Вон, парень стоит с квадратиками. Вон, рядом с полосатым зонтиком.

Я повернул голову.

– Это культурист, он только квадратиками на животе и занимается.

– Зато девушкам нравится. Посмотри, все тетки вокруг на него пялятся. И не только тетки, – хихикнув, добавила она.

– Ага, – фыркнул я, – а я люблю военных, красивых, здоровенных.

Я напряг пресс.

– У меня тоже квадратики, они просто под кожей и не видны. Ткни пальцем, попробуй.

Машка потыкала пальчиком мне в живот.

– Правда, твердый, – удивленно заметила она. Потыкала кулаком. – А если стукнуть?

– Валяй, – самонадеянно разрешил я.

Машка размахнулась. Я, вспомнив давние занятия карате, с резким выдохом напряг пресс. Девчачий кулачок ударил и отлетел вверх.

– Больно! – воскликнула она, облизывая край ладони. – А если я встану?

– Вставай.

Машка осторожно наступила мне на живот одной ногой.

– Вставай, вставай, – подбодрил я ее.

Машка встала и зашаталась, ловя равновесие. Она пошевелила пальцами.

– Щекотно! – закричал я. – Пальцами не царапайся.

Машка специально поелозила по мне ногами.

– Зараза! – крикнул я, из-за смеха с трудом напрягая живот.

– А попрыгать?

– Прыгай, только не щекочись.

Машка подпрыгнула. Я принял удар, но было не в кайф. Она подпрыгнула еще раз, я ловко вывернулся, и Машка приземлилась на песок. Я вскочил, сгреб ее и закричал:

– Так я, значит, старый и больной, и меня девушки не любят? Ща проверим!

Я поволок Машку в воду, уронил в пену прибоя. Машка визжала.

– Не любят? – спрашивал я, бултыхая ее в брызгах волн.

– Любят, любят, – кричала Машка, выныривая и отплевываясь.

Я плюхнулся рядом. Она сразу залезла на меня, схватила за шею.

– Очень любят, – и макнула мою голову в воду. Я чуть не захлебнулся. Вскочил, врезался спиной в какую-то тетку. Тетка заверещала по-немецки.

– Гитлер капут! – крикнул я и потащил Машку на глубину.

– Русиш швайн! – донеслось мне в спину. Машка висела на мне.

– Очень любят, – повторила она, отцепилась от меня и крикнула: – Я к берегу.

– Маш, я быстренько до буйков и обратно.

Она согласно махнула рукой, я поплыл.

«Ду, дид, дан, райт, роут, риттен», – выдыхал я в воду, загребая кролем.

«Квадратики тебе нужны, – думал я, плывя обратно. Вспомнил о гантелях, закинутых за диван. – Будут тебе квадратики. Через полгода будут».

Возвращаться в Москву не хотелось до слез. Две недели пролетели в три дня.

– Мы ведь поедем на море еще? – сто раз на день спрашивала Машка.

– Обязательно.

– Сюда же?

– Зачем сюда? В другое место. Мир большой, морей и океанов много, смысл в одно и то же место ездить? Придумаем куда.

– Я хочу сюда, здесь очень клево.

– Машунь, хочешь сюда, поедем сюда. No problem.

В Москву Машка заставила тащить этот огромный орех.

– Машунь! На фига нам нужна эта черная задница? Давай не попрем, – просил я.

Ребенок был неумолим,

– Хочу райский плод.

– Какой, на фиг, райский. Обычный кокос. За него пошлину платить надо.

– Хочу!

– Блин!

– Хочу!

– Черт с тобой. Покупай.

– Вот этот, – Машка ткнула пальцем в самый большой.

– А-а! – закричал я.

– Сертификат для таможни, – протянул нам красивую бумагу улыбающийся продавец.

– Еще за перевес платить, – вздохнул я.

Москва встретила холодом и дождем, весна была поздней. После пляжа это было особенно противно.

Пока ждали багаж, я заказал такси. Потом мы сидели в кафе, я пил чашку кофе, Машка зевала рядом, обнявшись со своим кокосом. Перелет был, конечно, утомительным. Вдруг Машка чихнула.

– Не заболела бы ты у меня в таком холоде, – подумал я.

Я только поставил пустую чашку, как позвонил таксист и сказал, где стоит машина.

В такси Машка заснула, я тоже клевал носом и думал об Аркадии. На душе было погано.

Машка все-таки заболела. Горло, сопли, кашель, температура.

Я поил ее горячим молоком с «Боржоми», чаем с медом и малиной, натирал спину и грудь барсучьим жиром. Таблеток не давал. Я вообще за немедикаментозное лечение. Мы полоскали горло содой с йодом, страдали, болели, слушали мои сказки. И постоянно лезли ко мне обниматься и целоваться.

Позвонили из школы. Спрашивали, куда пропала Маша. Не уехала ли она снова к отцу. Я объяснил, что заболела, и вызвал врача, так как в школе потребовалась справка.

Врач послушала, посмотрела горло, поставила ОРВИ, выписала кучу таблеток. Таблетки мы проигнорировали, а через неделю Маша была здорова.

Еще через неделю был суд. Я надеялся, что они обойдутся без Машки, но ее все же вызвали.

Машка держалась молодцом. Ответила на все вопросы. Четко следовала нашей легенде, выдержала все крики Аркадия, что он ее пальцем не тронул.

Только была очень бледной и на отца старалась не смотреть.

Аркадий все отрицал, и побои, и наркотики, обвинял меня в клевете и подставе. Я только пожимал плечами да разводил руками.

Зачитали приговор. Аркадия лишили родительских прав за жестокое обращение с дочерью и дали семь лет за хранение в особо крупном размере.

Я подумал, что никогда в жизни не забуду его затравленного взгляда, брошенного на меня из-за решетки. Понадеялся, что Машка на него в этот момент не смотрела.

Но она смотрела. И она сломалась. Все-таки она совсем маленькая.

Машка вскочила и звонким голосом крикнула:

– Он ни в чем не виноват! Это мы все придумали и подстроили!

В суде мгновенно установилась мертвая тишина. Я тоже зачем-то вскочил, зажмурился и прошептал:

– Ах, Машка, Машка, что же ты наделала.

Начавшая уже вставать, судья снова опустилась на место.

– Что значит подстроили? Объясни, пожалуйста.

– Это я подложила наркотик.

– А где ты его взяла? – в полном недоумении спросила судья.

– Сережа дал.

– А побои? Кто тебя бил?

– Он и бил. А я терпела. Потому что люблю его и хочу с ним жить, а не с ним, – и Машка показала пальцем на Аркадия.

Тот, глядя на меня, вцепившись в прутья решетки, закричал:

– Я так и знал, что это твоих рук дело! Сука!

Машка вдруг закрыла ладошкой рот, вскрикнула, схватилась руками за голову и прошептала:

– Что же я наделала.

Она бросилась ко мне, я подхватил ее на руки, Машка закричала:

– Прости меня!

Я прижал ее к себе,

– Ничего, Машунь, может быть, это лучше, чем всю жизнь носить в себе.

– Прости! – кричала Машка. Потом она вдруг обмякла, глаза ее закатились. Обморок – понял я.

Кто-то закричал:

– Врача!

– Она спит, – сказал я, – не надо ее будить, пусть спит.

Я понимал, что обнимаю свою девочку последний раз.

Появился врач с нашатырем, и Машу у меня забрали. Она открыла глаза, обвела взглядом помещение суда и закричала. Она кричала не останавливаясь. Опрокидывая стулья, я бросился к ней, схватил, прижал к себе. Машка сразу замолчала, ее только била крупная дрожь.

Девочку снова вырвали из моих рук. Меня держали несколько человек. Машка опять начала кричать. Врач, засучив ей рукав, пыталась сделать укол, Машка билась в чужих руках.

– Дайте ее мне! Она сразу успокоится! Ты ей так руку пропорешь! – крикнул я.

– Ничего, и не таким кололи, – спокойно сказала врач, изловчилась и вогнала шприц в плечо ребенка.

Мы с Машкой вскрикнули одновременно. Доза, наверное, была лошадиная, потому что Маша затихла и повисла на руках державшего ее солдата.

Меня задержали в зале суда. Я молча смотрел, как уносят Машку, когда почувствовал, как защелкнулись наручники на моих запястьях.

Но ничего особо страшного не произошло. В СИЗО меня долго не продержали. Повезло. «Да здравствует советский суд – самый гуманный суд в мире!» Мне дали трояк. Условно. И выпихнули вон. Собственно, у них и предъявить мне было особо нечего. Машка с ума не сошла, от всех показаний отказалась и замолчала. Я тоже молчал. Все отрицал и молчал, не давая никаких объяснений происшедшему. В конце концов, банку с коксом нашли не в моем доме и не с моими отпечатками. И еще, у меня был очень хороший адвокат.

По поводу побоев, Машка оказалась в положении унтер-офицерской вдовы. Я даже позволил себе пошутить на эту тему.

В сухом остатке: Аркадия выпустили за недоказанностью. Мне в судебном порядке запретили встречаться с Машей. И предупредили, что любая зафиксированная попытка встретиться с ней автоматически переведет мой срок из условного в реальный.

Телефон, интернет и скайп мне оставили, понимая, что здесь с контролем, ну, ваще никак. И наши вечерние телефонные сказки продолжились.

Маша долго никак не могла поверить, что я на нее не сержусь. Поверив, наконец, сказала, что я супер, и что восемь лет это такая ерунда, и даже не восемь, а всего семь с половиной. Я только посмеялся.

На мои вопросы, как с ней обращается Аркадий, отвечала, что хорошо, телефон больше не отнимает.

– И вообще, он делает все, что я скажу. По-моему, он теперь меня боится, – засмеялась она.

На лето у Аркадия хватило ума и денег снять дачу, а не держать Машку в Москве на асфальте. И я к ней сто раз приезжал и на арендованной тачке, и на электричке. Как шпионы, мы прятались по задворкам и в лесу. Прошло без последствий.

Сейчас до осени осталось две недели, Машке скоро в школу. Будем ли мы видеться в Москве? Конечно, будем, и плевал я на все санкции. А что дальше? Ну, семь лет не такой уж и большой срок. Даже и с половиной.

Он сунул мобильный в карман. Позвонил клиент, сообщил, что опаздывает минут на сорок. Пробки.

«Блин, – подумал Сергей, – центр города, пятница, да еще тринадцатое, и дождь – и дураку понятно, что пробки».

– На метро ездить надо, и не будет пробок, – сказал он вслух и нажал на кнопку зонта. Зонтик со щелчком раскрылся, Серей шагнул под дождь,

– Блин, целый час ждать, потому что за сорок минут ты не успеешь ни фига.

Чашка кофе в торговом центре по соседству была выпита за пятнадцать минут. Сергей вздохнул.

– Что-нибудь еще? – спросил официант.

Сергей собрался заказать вторую, но вдруг заметил вывеску книжного магазина напротив кафе.

– Нет, спасибо. Посчитайте.

– Ну, что нам предложит печатное слово? Минут на тридцать, – проговорил он, входя в магазин.

Его внимание привлек букинистический отдел, расположенный рядом со стойкой контроля. Наклонив голову набок, лениво пробежал взглядом по корешкам книг, ничего заинтересовавшего не обнаружил и перешел к полке с антикварными изданиями.

– О! – воскликнул Сергей, увидев среди темно-коричневых, с истершимся золотым тиснением дореволюционных переплетов толстый фолиант. Название гласило: «Трактат о ядах».

– Покажите, пожалуйста, – попросил он продавца.

Положив на прилавок не успевший высохнуть зонтик, Сергей осторожно принял в руки тяжелый том.

«Амбруазъ Паре “Трактатъ о ядах”, переводъ со старофранцузского. Изданіе Брокгаузъ-Эфронъ С-Петербургъ 1907», – прочитал он.

– Сколько стоит?

– Тысяча восемьсот, – ответил продавец.

– Чего-то дешево для девятьсот седьмого года, – удивился Сергей.

– Библиотечная и без титульного листа, – объяснил продавец.

– Беру, – кивнул Сергей, чему-то усмехнулся и сказал. – Только упакуйте получше, на улице дождь, а я без машины.

Аркадий вошел в комнату дочери. Вздохнул. Постель не убрана, комп мигал плавающей надписью «Windows», одежда вперемежку с книжками разбросана по всей комнате. Покачал головой.

– Девочка ушла в школу, – вслух сказал он. – Эх, драть тебя некому. Я бы выдрал, да руки связаны, – добавил он.

Аркадий застелил откинутое одеяло, поднял валявшийся на кровати свитер. Под свитером обнаружилась открытая толстая книга. Аркадий взглянул на пожелтевшие листы. Шрифт был дорево-

люционный с ятями. Аркадий закрыл книгу, заложив пальцем разворот, и увидел обложку: «Трактат о ядах».

– Сумасшедшая девка, – подумал он. Присел на кровать и начал читать:

«Яды “горячие” вызывают сильную боль, разъедание кожи, воспаление, лихорадку, бред, красноту и опухание глаз, большое беспокойство, бессонницу. Яды “холодные”, напротив, вызывают глубокий сон, но сильная боль может разбудить больного, он испытывает страх и дрожит всем телом, его сознание мутится, и речь похожа на речь пьяного или безумного, потом все тело больного холодеет, цвет лица становится бледным или свинцовым, рвота и мокрота липкие, кровь стынет. О наличии в организме “сухого” яда говорит сухость языка и гортани, неутолимая жажда, ибо яд, сообщаясь с телом по венам, артериям и нервам, сушит и повреждает “естественную влажность”, происходят запоры и задержка мочи, сильная боль во всем теле и смерть. “Влажные” яды вызывают глубокий, непреодолимый сон, расслабление всех нервов, даже глаза иногда вылезают из орбит».

Аркадий захлопнул книжку и резко встал.

– Ненормальная! Где же она взяла сей трактат? – воскликнул он. Потом в очередной раз вздохнул и подумал: – Увозить ее отсюда надо. Иначе этот козел совсем ей мозги снесет.

– На физру не пойду. Скажешь физруку, что живот сильно разболелся, и я домой пошла. Ладно? – шепнула на уроке одна девочка другой.

– Скажу, конечно, – кивнула другая и, в свою очередь, сочувственно шепнула: – У тебя месячные?

– Нет у меня ничего, просто свалить надо.

– А... Завтра на днюху ко мне придешь?

– Дурацкий вопрос, конечно, приду.

– Кузнецова, Томилина, кончили трепаться. Перемена для этого есть, – раздался строгий голос учительницы.

Девочки замолчали, и дальнейший разговор продолжился после звонка в школьном коридоре:

– Я мальчишек пригласила, предки в конце свалить обещали, так что побесимся.

– А кто у тебя вообще будет?

– Ну, я, ты, Смирнова, Белошицкая и Ленка Ковалева из пятого «А».

– А эта-то тебе зачем?

– Да я с ней вместе английским занимаюсь. К учителю ходим. Мама велела позвать. Да она нормальная девчонка.

– Ну, твое дело. А ребята кто?

– Петька, Пуля, Джофри, Ко́зел еще, его Шицик просила позвать.

– Белошицкой Ко́зел нравится?

– Ну, да, раз просила. А тебе кого позвать?

– Да никого.

– А Пуля тебе не нравится? А то Петька попросил его пригласить, говорит, что он в тебя влюблен до смерти. Только я тебе ничего не говорила.

– Пульковский мне пофиг.

– А кто не пофиг?

– Да че-то все пофиг, – пожала плечами девочка.

– Так чего, Пулю не звать? – спросила Аня.

– Да нет, зови. Мне же пофиг, – усмехнулась Маша.

Сергей сидел в машине, стекло было опущено, рядом стояли двое мужчин. Лил дождь, один из мужчин держал большой зонт. Такой большой, что вода не попадала в открытое окно машины. Второй время от времени постукивал тростью по переднему колесу.

Мужчина с тростью говорил по-немецки, с зонтом переводил.

– Доктор сказал, что у девочки формируется комплекс Электры, хоть доктор и не любит этот термин, и употребляет его исключительно потому, что он знаком и понятен вам.

Доктор говорит, что вашем случае этот комплекс весьма причудлив и крайне необычен. Вам в этой архетипической ситуации отводится роль утраченного отца, а настоящий отец замещает властную, подавляющую свободу дочери мать.

Девочка проецирует свой анимус на вас и после стресса, пережитого в суде, блокирует свою психическую энергию. Результатом может стать страх принятия решений и совершения поступков. Еще: в будущем у девочки могут развиться проблемы с восприятием собственного тела и своей сексуальности...

Хлопнула пассажирская дверь, доктор замолчал на середине фразы, Сергей повернулся.

– Чего это за дядьки? – спросила Маша, забравшаяся в машину.

– Ты их тоже видишь? – удивился Сергей, посмотрев вслед удаляющимся фигурам.

– Ну, да. Странные какие-то. Как из кино про Шерлока Холмса.

– Фиг с ними. Ты с чего сбежала? – Сергей протянул к девочке руки.

– С физкультуры, – ответила та, потянувшись к нему и подставляя лицо для поцелуя.

– Машка, ты чего такая мокрая? Зонтик дома забыла? – обнимая и целуя девочку, засмеялся Сергей.

– Я вообще его не беру. Люблю дождь.

– Промокнешь, простудишься, заболеешь и умрешь. Что я тогда делать буду?

– Тоже умрешь, что тебе еще делать останется?

– Маш, один зонтик и два трупа. Не слишком?

– Не-а. Слушай, книжку ты мне классную притащил. В ней есть хоть одно слово правды? Я почитала немного – обхохочешься.

– Про яды?

– Ну да.

– Аркадий не спрашивал, где взяла?

– Нет, он еще не видел.

– Положи где-нибудь на видном месте и выпиши на листочек рецепт попроще и попонятней.

– И посмотреть на выражение его лица, когда найдет? – девочка засмеялась.

– Типа шутка, – кивнул Сергей. – Ты голодная?

– Опять кафе? Придумай что-нибудь интереснее.

– Что, солнышко, можно придумать на полтора часа?

– Не знаю. Ты же взрослый.

– Хочешь в кино на мультики?

– Дурак, что ли?

– Машка! Где уважение?

– Я тебя не уважаю, я тебя люблю. Чувствуешь разницу?

Сергей улыбнулся и провел рукой по щеке девочки. Маша схватила его руку и поцеловала ладонь. Сергей руки не отнял, он взял руку девочки и по очереди поцеловал каждый пальчик, приговаривая при этом:

– Я тоже, очень, сильно, люблю, тебя.

– А давай убежим на фиг.

– Как колобки? – улыбнулся Сергей и снова прижал пальцы девочки к своим губам.

Маша откинулась на сиденье, посмотрела на Сергея, потерла руками свои виски.

– Жалко, что тебе больше не надо меня бить. Когда ты меня бил, было, конечно, больно, но и еще как-то странно. Приятно, что ли. Мне нравится это вспоминать.

Сергей поперхнулся, потом закашлялся.

– Не, Машунь, ерунда какая-то. Не вспоминай, пожалуйста. Это жуть была, у меня руки до сих пор трясутся, как вспомню.

– Жалко. Я бы еще согласилась.

– Машка! Перестань.

– А когда ты сможешь на мне жениться? Вроде в четырнадцать можно.

– Машунь, в четырнадцать только с согласия родителей.

– Он не согласится.

– Конечно, не согласится. Выкинь вообще это из головы.

– А без согласия в шестнадцать?

– Да, можно в шестнадцать, но нужны особые обстоятельства.

– Я знаю. Передача такая есть: «Беременная в шестнадцать», я все время смотрю.

– Машка! Ты сумасшедшая! Тебе десять! О чем мы говорим! Я тебе папа, понимаешь! папа! Не муж, блин.

– Ты точно не папа. Папа у меня есть. Лучше не было бы. И мне почти одиннадцать.

– Невелика разница, – фыркнул Сергей.

– Ты ведь не сбежишь от меня через пять лет?

– Глупости какие. Почему я должен от тебя сбежать? Я тебя люблю. Вон в тюрьму чуть не сел.

– Ты сбегал от всех своих женщин. И от Ольги тоже.

– Машенька, ты не моя женщина... – начал Сергей.

– Знаю, я твоя девушка, – перебила его Маша.

– А вот про Ольгу не надо, девушка, – Сергей не дал ей говорить дальше. – Кто ей тормозные шланги перерезал?

– А, – успела сказать Маша.

– Бэ, – ответил Сергей. – С Ольгой все просто. Я ее не любил. Ну, то есть любил, наверное, но не сильно, – вдруг он замолчал, потом засмеялся. – Машка, у нас с тобой семейная сцена, как в сериале.

– Я домой хочу. Сереж, отвези меня домой, – очень серьезным тоном сказала Маша.

Сергей растерялся.

– Куда домой?

– Ну, к тебе, конечно. Куда же еще? Не к нему же. Я хочу домой. Я хочу, чтобы ты мне рассказывал сказки не по телефону, а вживую, чтобы держал за руку, чтобы мыл ручки. Чтобы целовал на ночь. Когда ты меня целуешь, у меня все в животе переворачивается, тянет так и сладко, и мучительно, и сердце бьется. Я потом уснуть не могу.

– Ой, Машка, Машка, – Сергей неловко обнял девочку. Она подвинулась к нему, но ручка коробки передач мешала. – Не можем же мы убить его, – прошептал он.

– Поцелуй меня по-настоящему, в губы, как Ольгу, – попросила вдруг Маша. – Ну, один разочек, пожалуйста.

Сергей дернулся как от удара, помолчал, потом вздохнул и сказал:

– Машунь, я не могу. Ты маленькая. Я в тебе ребенка вижу, не женщину. Не обижайся. Пожалуйста. солнышко.

Теперь вздохнула девочка.

– Врешь ты все. Я же вижу, как ты иногда на меня смотришь. Боишься.

– Машка!

– Завтра я иду к Аньке на днюху. Там будет Пуля, мальчик такой из класса. Мне Анька сказала, что он в меня влюблен до смерти. Вот с ним буду целоваться.

– Машунь, ну какие поцелуи в десять лет. Вы же просто дети, даже не подростки, маленькие дети.

– Дети – не дети, а Анька уже целовалась со своим Петькой. И Лидка Смирнова целовалась.

– Машунь, врут они все. Никто не целовался. Когда я в школе учился, знаешь, что мы про девчонок рассказывали и про подвиги наши? А ничего и не было, враки одни.

– Ты когда в школе учился? Сто лет прошло, теперь все по-другому. Теперь в детском саду целуются.

– Ну, и как ты собираешься целоваться? Подойдешь к этой пуле и скажешь: «Давай целоваться»?

– Медляк вклю́чат, танцевать будем, тут и поцелуемся.

– Включа́т, – исправил Сергей. – Отцу позвоню, скажу, чтобы не пускал, – внезапно вырвалось у него.

– Что? – расширившимися глазами Маша смотрела на Сергея. Потом вдруг хлопнула в ладоши и счастливо засмеялась,

– Ты меня ревнуешь! Обалдеть! Сереж, ты меня ревнуешь! – и тут же торопливо добавила: – Конечно, я ни с кем не буду целоваться. Нужен мне этот Пуля! Я тебя люблю.

– Ах, Машка, приколистка ты, – улыбнулся Сергей. Про себя же подумал: «О бабы, бабы, чума, да и только. Интересно, а в пять лет тоже уже такие же?»

– А вообще, скучный ты стал. Это можно, это нельзя, как взрослый. Хорошо, еще уроки разрешаешь мне прогуливать.

– Машунь! Ты чего говоришь-то? Я и есть взрослый и понимаю, что можно, а что нельзя...

– Ну, да. Скучно.

Помолчала и добавила.

– Поехали в кафе, что ли.

Сергей завел машину, тронулся. Посмотрел на нахохлившуюся на соседнем сиденье девочку. Дворники смахнули капли со стекла, скрипнули по сухому. Дождь кончился.

Через несколько кварталов Сергей заехал на стоянку у торгового центра. Середина дня – половина мест пустовала. Он доехал до конца стоянки, развернулся и остановил машину.

– Учиться будешь? – спросил он Машу.

– Да я вроде учусь, – удивилась девочка. – Вон, в пятом классе уже.

– Тачку водить учиться будешь?

– Какую тачку? – не поняла Маша.

– Вот эту, – и Сергей слегка ударил по рулю.

– Твою?

– Научишься мою, будешь водить любую.

– А можно?

– Раз я предлагаю, значит можно. Вопрос, хочешь ли ты.

– Конечно, хочу. Дурацкий вопрос.

– О'кей, – кивнул Сергей, – главное, чтобы ноги до педалей достали. Снимай рюкзак.

Скинутый рюкзак свалился под панель. Машка полезла через ручку переключения передач.

– Машунь, тачку обойди, чего ты корячишься-то.

Девочка обежала машину и почти запрыгнула внутрь. Сергей вжался в спинку сиденья, раздвинул ноги, усадил Машу между ними, сдвинул сиденье вперед.

– Ноги до педалей достали? – спросил он.

– Почти, – кивнула девочка, заглядывая под панель. Сергей подал сиденье еще чуть вперед.

– Достали, – крикнула она. Сергей сделал сиденье ниже. – Супер!

– На педали нажимать удобно? Длины ноги хватает?

– Нажать? – спросила Маша. – А она не поедет?

– Жми, не поедет.

Девочка нажала.

– До упора выжимается?

– До упора, – кивнула Маша.

– Берись за руль, – Сергей опустил рулевую колонку вниз. – Удобно?

– Да.

– Все удобно? Сидеть удобно?

Маша поерзала, врезалась спиной в Сергея.

– Почти, места маловато.

– Не выпендривайся. Для твоей худосочной попки места вполне хватает.

Хорошо, что сейчас осень и на нас надето много одежды, – подумал Сергей, поправляя полы куртки и вспоминая соответствующие страницы «Ады» Набокова. – Вот суки! Господа, вы суки! – отправил он мысленный привет доктору и писателю.

Сергей откинул спинку сиденья и сдвинулся еще немного назад.

Дальше учились переключать передачи, заводить машину и трогаться.

Благородный вольво дергался, глох, вздрагивал, и при попытках завести работающий двигатель недовольно скрежетал.

Через час устали все: Маша, Сергей и вольво.

– Ну, что же, – подвел итог мучениям Сергей, – для начала неплохо. Через неделю-другую поедешь. Слезай.

Довольная Машка перевалилась на пассажирское сиденье, оставив грязный след от одной кроссовки на куртке Сергея и наступив второй на свой рюкзак.

– Зараза! Лень тачку обойти было?

– Ой, я нечаянно.

– Ладно, поехали домой. Ну, к тебе в смысле, – вздохнул Сергей.

– Поехали, – девочка тоже вздохнула, потом спросила: – Еще учиться будем? Мне понравилось.

– Обязательно.

Раздался звонок в дверь. Сергей удивился, что не в домофон: «Кто-то из соседей», – подумал он и пошел открывать.

На пороге стояла улыбающаяся Маша.

– Машка! – закричал Сергей, хватая, целуя и затаскивая девочку в квартиру. – Ты с ума сошла! Меня же посодют!

– Никто тебя не посадит. Он на три дня уехал. Наготовил мне еды и уехал.

– А ты? Как ты добралась? Чего не позвонила, я бы забрал.

– Я побоялась, что если позвоню, ты не приедешь, побоишься. А добралась нормально, на метро.

– А от метро-то как? – Сергей поспешно стягивал с девочки куртку.

– От метро пешком, номер маршрутки не помнила.

– Далеко пешком-то.

– Не, не далеко, минут двадцать всего, да я почти бежала.

Сергей развязывал шнурки кроссовок,

– А куда он уехал, ты знаешь?

– Нет, не знаю. Он не сказал, сказал только, что на три дня.

– Хвоста не привела?

– Какого хвоста? – не поняла девочка.

– Лисьего или волчьего, конский-то у тебя свой есть, – улыбнулся Сергей, целуя волосы девочки и вдыхая их запах.

– Он с сумкой уехал. Вряд ли ему с сумкой будет удобно следить за мной.

– Ну, будем надеяться, – вслух сказал Сергей, подумав при этом: «Блин. Жопой чувствую – провокация. Ах, Аркаша, Аркаша, я ведь и убить могу, если что. Хотелось бы, чтобы ты это понимал».

– Я так соскучилась, – Маша повисла у Сергея на шее.

– Ну, пошли лапы мыть.

В ванной, пока Сергей мыл ей руки, Маша изо всех сил спиной прижалась к нему.

– Машка, – Сергей поцеловал ее в макушку, – ты меня сейчас свалишь на фиг. Не пихайся.

– Есть будешь? – спросил он, берясь за полотенце.

– Yes.

– У меня пицца.

– Супер.

После ужина, добив пиццу бутербродами с красной икрой, Сергей повел Машу в спальню...

Они вышли на балкон,

– Вот, Машенька, смотри, – Сергей широким жестом указал на росшую рядом с домом березу. – Эта березка растет так близко к дому, что ее несколько раз хотели срубить. Но не срубили. Причина мне не известна, наверное, та же, по которой сих пор не установили шлагбаум при въезде во двор. Обычная наша неизвестная причина.

Посмотри, Маша, как березка тянет свои ветви к нашему балкону. Протяни ручку, погладь ее тонкие веточки, сорви последний, оставшийся золотой листочек, скажи березке спасибо.

Маша удивленно посмотрела на Сергея.

– Сереж, ты чего?

– Ничего, – Сергей вдруг влез на ограждение балкона, встал, придерживаясь за алюминиевую раму остекления.

– Ой! – испуганно воскликнула Маша.

– Просто мы должны быть благодарны березке и дядям, что по раздолбайству ее не срубили. – Сергей шагнул с балкона и наступил на толстую ветку, рукой ухватившись за другую. Стоя на березе, он развернулся и протянул руку Маше.

– Залезай на балкон, – велел он девочке.

– Зачем? Что ты делаешь?

– Это наш путь отхода, – объяснил он. – Если ночью услышим звонок в дверь, то хватаем шмотки в охапку и валим из дома. Одеваться внизу будем. Ну, залезай. На балконе табуретка стоит. Не бойся, я уже так лазил.

Маша встала на табуретку,

– Ой! – сказала она, глянув вниз.

– Смелей, вниз не смотри, смотришь только на меня. Если испугаешься, сидеть мне три года. В тюрьме. Сейчас тренировка. Чтобы в случае чего – без неожиданностей.

Маша неуверенно наступила на край ограждения, взялась за край рамы.

– Машка! Соберись! – прикрикнул Сергей. – Посмотри, куда будешь наступать. Так, теперь давай руку. Все, не бойся, я тебя держу. «Скалолаза» со Сталлоне смотрела?

– Нет.

– Хорошо, я пошутил. Шагай.

Маша шагнула на ветку, Сергей ее дёрнул, Маша сделала еще шаг, и они оказались около ствола дерева.

– Так, теперь слезаем. Давай я вперед, ты за мной. Я твои ножки буду ставить. Ты когда-нибудь по деревьям лазила?

– Нет.

– Вот сейчас и научишься. Не сложнее, чем на велосипеде кататься.

– Не холодно? – спросил Сергей парой веток ниже.

– Нет, жарко, – сдавленным голосом ответила Маша.

– Страшно?

– Уже нет, сначала было.

– Молодец, мы почти внизу. С последней ветки надо будет прыгать.

– Ой.

– Не «ой», а фигня. Повиснешь как на турнике, руки отпустишь, я тебя поймаю.

Маша разжала руки, Сергей поймал и прижал к груди.

– Молодец, солнышко. Я тебя люблю.

– Я тоже, – ответила девочка, пытаясь попасть губами в губы Сергея.

– Ну, вот, – уворачиваясь, сказал тот, – а теперь посмотрим, не оставил ли я дома ключи.

– Давай бегом, пока не замерзли, – Сергей слегка подтолкнул девочку в спину.

– Наперегонки! – крикнула Маша.

Это были три дня счастья, почти полного. До полного, без «почти», обоим не хватило чуть-чуть.

Но и без этого «чуть-чуть» было очень хорошо. Во-первых, никто их не побеспокоил, ни ночью, ни утром, ни днем. И им не пришлось второй раз спускаться по дереву. Судя по всему, Аркадий действительно куда-то уехал.

Во-вторых, они сходили на выступление дельфинов в новый дельфинарий, только что открывшийся на ВДНХ.

И были еще в-третьих и в-четвертых, и даже в-пятых. Словом, все было как когда-то. Мытье ручек, сказка на ночь, поцелуи в щечку, и в макушку, и в затылок. Скачки верхом на лошади, салочки по мебели. Правда, по мебели скакала и бегала только Маша, Сергей ловил ее на полу.

Были прогулки и шутки, кафе и рестораны, пицца и суши на дом. Уроки вождения и никаких уроков в школе. Про школу даже не вспомнили.

А еще был поцарапанный бампер и разбитый задний фонарь, страх и слезы, смех, лишние поцелуи и утверждение, что на скорость машины фонарь и царапина на бампере повлиять никак не могут, а поэтому нефиг расстраиваться.

Сергей отменил все встречи и дела на эти дни. Брился и утром, и вечером, потому что не пустить или выгнать Машку из своей кровати ему не удавалось.

И лежа в постели и слушая ровное дыхание спящей рядом девочки, уткнувшейся носом ему в плечо, он думал об этом «чуть-чуть», кусал губы и не мог ничего придумать.

Маша тоже думала об этом. Думала и ждала: ну, когда же начнется это «чуть-чуть». Когда же, наконец, она вырастет.

Но три дня кончились, так и не превратившись в вечность. Сергей привез Машу домой. По двору она вела машину сама. И даже за рулем сидела одна, Сергей рядом, на пассажирском сиденье был готов перехватить руль, если вдруг что-то пойдет не так.

Однако все прошло так. Маша остановилась у соседнего дома, заглушила двигатель, дернула ручник и выключила ближний свет. Все по инструкции. Выдохнула и посмотрела на Сергея.

– Поцелуй меня, пожалуйста. Всего один раз. Пожалуйста.

Сергей молчал, глядя на девочку, ее глаза начали медленно наполняться слезами.

– Хорошо. Один раз, – хмуро сказал он.

– А следующий когда? – начала сразу же торговаться Маша.

– Следующий через год.

– На день рожденья.

– У тебя день рождения скоро, не через год.

– Ну, это же день рожденья. А подарка не надо.

– Хорошо, на день рождения, – вздохнул Сергей.

Девочка довольно кивнула и потянулась к нему. Он осторожно коснулся губами ее губ. Маша неловко их поцеловала.

– И это все? – открыв глаза, удивленно спросила девочка. – Вот это был мой первый поцелуй?

Сергей в ответ улыбнулся.

– Фигня какая, я ничего не почувствовала. Давай еще раз.

– Еще раз на день рождения. Мы же договаривались, – серьезно ответил Сергей.

– Ладно, – вздохнула Маша, – надо будет лучше подготовиться.

Она чмокнула его в щеку.

– Завтра приедешь? Давай, я завтра тоже сачкану школу.

– Приеду. Звони утром.

– О'кей, – Маша открыла дверь машины. – До завтра, – улыбнулась она.

Маша шла вдоль дома, оглядываясь через каждые два шага. Сергей стоял у машины и смотрел ей вслед. Наконец она дошла до угла, оглянулась в последний раз, махнула рукой и побежала. Сергей улыбнулся, обошел тачку и сел за руль.

– Ах, Машка, Машка, – прошептал он.

Утром Маша позвонила в восемь часов и, захлебываясь от слез, прокричала в трубку:

– Он сказал, что мы уезжаем в Мурманск. Скоро. Навсегда. Я не пошла в школу. Приезжа-а-ай!

– Ты где сейчас? – спросил Сергей.

– На улице, рядом со школой.

– Зайди куда-нибудь в кафе, что ли. Черт, рано, все еще закрыто. Знаешь, просто спустись в метро. Я буду минут через сорок пять-пятьдесят. Подожди, посиди на лавочке. Лучше у другого выхода, не у вашего, чтобы с Аркадием не столкнуться случайно. Где он кстати?

– Дома-а-а.

– Ладно, не плачь, жди меня.

Выйдя из вагона метро, Сергей сразу увидел Машу, сидевшую на лавочке и уткнувшуюся в свой айфон. Он сел рядом, обнял девочку, та прижалась к нему и заплакала.

– Он сказал, что хочет уехать в Мурманск, потому что здесь не может найти работу, а там сможет работать в порту, а квартиру в Москве сдавать. Сказал, что ездил специально обо всем договариваться. И о работе, и где жить. Все решил, осталось только квартиру сдать, и можно ехать. Недели через две. Ты же не сможешь приехать в Мурманск? Не-ет?

Сергей поцеловал заплаканные глаза девочки.

– Подожди рыдать. Попробую с ним поговорить...

– О че-е-ем? Он все решил. Я не хочу-у без тебя-я.

– Давай так, – Сергей прижал к себе девочку, – ты сейчас позвонишь на домашний. Проверим, дома он или нет. Говорить с ним не надо, просто проверим, снимет он трубку или нет. Если дома, я пойду, поговорю с ним. А ты пойдешь в кино. У тебя на кино деньги есть?

– Е-е-сть.

– Хорошо, вот тебе еще тысяча на всякий случай. Звони теперь.

Маша набрала номер, ей ответили, она нажала отбой.

– Дома, – сказала она.

– Хорошо, я сейчас пойду к нему, а ты после кино сначала позвонишь мне. Сразу домой не ходи. Подумаем, что дальше делать. Все. Пошли, Машунь. – И Сергей встал и поднял с лавочки рюкзак.

– Пошли, – всхлипнула девочка, беря Сергея за руку.

На улице Сергей помог надеть Маше рюкзак.

– Все, Машунь, иди в кино, звони мне. Не плачь, что-нибудь придумаем.

Аркадий открыл дверь, увидев на пороге Сергея, попытался сразу же ее захлопнуть. Сергей в щель подставил ногу. Аркадий распахнул дверь снова.

– Подожди, дверью не хлопай, разговор есть.

– Не о чем нам разговаривать, пошел вон! – выкрикнул Аркадий.

Сергей двумя руками толкнул его и вошел в квартиру.

– Я сейчас в полицию позвоню. Уходи.

Сергей закрыл дверь.

– Сейчас поговорим, и делай что хочешь. Кого хочешь, вызывай. Я ненадолго.

Не раздеваясь, Сергей прошел на кухню и сел за стол. Аркадий остановился в дверях.

– Садись, Аркаш, в ногах правды нет.

– Чуть не сел благодаря тебе. Сволочь.

– Я тоже в СИЗО отдохнул немножко. Садись, я много время не отниму.

– Я почти полгода там провел, никогда тебе не забуду и не прощу, – Аркадий все же прошел и сел на стул.

– Я знаю, ты хочешь увести ее в Мурманск, – начал Сергей.

– Уже позвонила, – хмыкнул Аркадий, – а ты сразу прилетел. Ну да, хочу, – кивнул он.

– О'кей, я не буду говорить про климат, про зиму круглый год, про то, что это не Москва, и что девочке там будет хуже и учиться, и жить.

– Ну? – Аркадий вопросительно посмотрел на Сергея.

– Я понимаю, что не в работе дело, ты хочешь разлучить ее со мной.

– Да, – кивнул Аркадий, – хочу. С тобой, с козлом.

– Ну, да, ее судьба тебя не слишком заботит, главное меня убрать.

– Да, главное тебя убрать. Все понимаешь.

– Слушай, продай мне ее.

Аркадий поперхнулся и закашлялся,

– Как продать? Ты совсем рехнулся?

– За квартиру.

– Какую квартиру? – недоуменно спросил Аркадий.

– Мою, двушку. Ты был, ты видел. Хорошая квартира. Я тебе дарю квартиру, а ты отпускаешь Машку ко мне.

– А ты где будешь жить, если квартиру мне отдашь?

– У меня еще есть. Однокомнатная в Кузьминках. Я ее сдаю.

– Нет, – Аркадий отрицательно помотал головой.

– Подумай, квартиру отдам. Можешь жить в ней, а сдавать эту, можешь наоборот, можешь просто продать. Десять – двенадцать миллионов я тебе гарантирую даже на таком тухлом рынке. Подумай.

Аркадий поднял брови и замолчал.

– Предложение очень серьезное, я не шучу.

– Нет.

– Как хочешь, конечно. Только от меня не избавишься. Я сдам здесь все и приеду в твой Мурманск. Вообще работать не буду, только Машку пасти, – Сергей усмехнулся.

– Я посажу, у тебя срок условный.

– Наверное, сможешь. Только когда выйду, я тебя убью. Так что мой срок и срок твоей жизни вполне могут совпасть. Не так дорого твоя жизнь и стоит. – Сергей пожал плечами.

– Да что ты к ней так пристал? Что тебе в ней? Я вообще не понимаю. Себе готов жизнь сломать, ей и всем вокруг.

– Я ее люблю, и хочу, чтобы ей было хорошо, вот и все. А хорошо ей будет со мной.

– Какая уверенность...

– Если бы ты думал о ней, а не о своих амбициях, то не тащил бы за полярный круг.

– Да пошел ты...

– Я готов. Вон даже за тобой готов пойти на Северный Полюс. Бери квартиру, Аркаш. Все будут счастливы. Я, правда, буду тебе благодарен, если Машку отдашь.

– Да засунь свою благодарность себе, знаешь куда?

– Знаю, Аркаш, я на все готов. Все могу засунуть себе, тебе, мне только Машка нужна.
– Иди в жопу.
– И туда готов. Подумай.
– А если я квартиру возьму, а тебя посажу, что делать будешь?
– Аркаш, я же уже сказал. Я тебя убью. Поверь, не так уж и сложно. Я смогу найти способ.
– Так тебя найдут и посадят, а Машку, о которой ты так печешься, в детский дом отправят.
– Может, и найдут. Но я рискну и думаю, что не найдут. – Сергей встал. – Подумай. – Он вышел из кухни, Аркадий остался сидеть. Услышав, как в передней хлопнула дверь, Аркадий хмыкнул и покачал головой.
– Это просто пипец, – сказал он вслух.

Сергей встретил Машу у кинотеатра.
– Ну? Поговорил? – подбежав к нему, спросила девочка.
– Поговорил, Машунь. Сделал предложение, пусть думает. Но не бойся, если увезет тебя он в тундру, я приеду. Буду жить в Мурманске. Ничего страшного.
– Правда? Обещаешь?
– Правда. Обещаю. Не бойся.

Когда Маша вернулась домой, Аркадий заканчивал готовить обед.
– В школе-то была сегодня? – спросил он, взглянув на заплаканное лицо девочки.
– Была.
– Ну-ну, – с сомнением покачал головой Аркадий, закрывая кастрюлю и выключая плиту. – Приходил твой Сергей, – сказал он и замолчал. Маша тоже молчала и тревожно смотрела на отца. Аркадий вздохнул. – Предлагал мне продать тебя.
– Как продать? – с недоумением спросила Маша.
– Ну, чтобы я тебя ему продал.
– Ну? А ты? – в голосе девочки зазвучала надежда.
Аркадий пожал плечами.
– В милицию, что ли заявить? Если не продам, то сказал, что убьет меня.
Маша помолчала, потом сказала:
– Вообще-то он меня ни разу не обманул. Если сказал, что убьет, значит, убьет, – она пожала плечами.
Аркадий внимательно посмотрел на дочь.
– А книжку эту идиотскую про отраву, это он тебе дал?
– Нет, около мусорки нашла, там кто-то старые книжки выкинул, мне эта понравилась. Читаю сейчас.
– Зачем?
– Интересно. Может, пригодится.
– Вот семейка маньяков. Ну вас к черту, – Аркадия передернуло.
– А за сколько он предлагал меня купить?
– За квартиру.
– А где же мы тогда будем жить? – испуганно спросила Маша.
– Он сказал, что у него еще есть.
– А, ну тогда все в порядке. Продавай. Я согласна.
– Она согласна! – Аркадий негодующе фыркнул. – Я не согласен. Совсем, блин, все с ума посходили.
Маша тяжело вздохнула, посмотрела на отца и сказала:
– Отпусти меня к нему, пожалуйста, – глаза ее были полны слез.
Аркадий вскочил и молча вышел, хлопнув дверью кухни.

Через две недели они уезжали. Часть вещей Аркадий отправил багажом, остальное везли с собой в поезде. Ключи он оставил в риэлтерской компании, которая занялась сдачей квартиры в аренду.
Прощание Сергея с Машей растянулось на целую неделю. Горькая неделя слез, поцелуев и обещаний.
– Машунь, не бойся, я через месяц приеду. Две сделки проведу, квартиру сдам и приеду. Звони, денег не жалей, черт с ним, с роумингом, я всегда положу.

Однако месяц превратился в полтора. Две сделки прошли, и клиенты на аренду были найдены быстро, но тут обратились еще люди, и в работе оказались еще две сделки.

Сергей, понимая, что больше заработать не удастся, и деньги эти последние, не отказал.

Маша звонила по три раза в день, спрашивала, когда же он приедет. Сергей был вынужден кормить ребенка «завтраками», хотя квартира была сдана, вещи собраны, а сам он жил у Бориса, соседа снизу.

На исходе второго месяца ночью позвонил Аркадий.

– Машка упала с четвертого этажа, сломала спину. Приезжай.

– Где она?

– В больнице.

– Когда упала?

– Сегодня днем.

– Она в сознании?

– Вроде да, разговаривает.

– Рефлексы сохранены?

– Что? – не понял Аркадий.

– Что врачи говорят? Спинной мозг цел?

– Говорят, вроде цел, шок пока – неясно.

– У нее что-нибудь болит?

– Говорит, что болит.

– Это хорошо, хуже, если бы не болело. Я завтра буду. У тебя телефон в больницу есть?

– Есть. – Аркадий, запинаясь, продиктовал два номера.

– Как она упала?

– С балкона полезла на дерево.

– Хрена ее туда понесло?

– Она все сбежать грозилась, я ее запирал.

– Блин. Все, завтра буду.

Сергей набрал номер больницы. Долго не отвечали, наконец, по второму номеру он услышал заспанный голос:

– Детская травматология, слушаю вас.

– Сегодня девочка поступила со спинальной травмой, как ее состояние?

– Фамилия как?

– Кузнецова Мария.

В трубке замолчали, некоторое время слышался шелест бумаги.

– Что у них там, до сих пор компьютеров нет? – подумал Сергей. Наконец голос сказал:

– Компрессионный перелом второго грудного позвонка, сотрясение спинного мозга. Состояние соответствует тяжести травмы. Пока больше ничего сказать не могу. Звоните завтра.

И положили трубку.

Сергей чуть перевел дух.

– Ну, компрессионный перелом не самое страшное, и сотрясение, не ушиб. Господи, может, все обойдется.

Невидящим взглядом обвел комнату и начал одеваться.

Когда он в коридоре возился с чемоданом, открылась дверь, и выглянул заспанный Борис.

– Серый, ты чего? Куда среди ночи ломанулся? Что случилось?

– У Машки перелом позвоночника, я в Мурманск поехал.

– О Господи! А самолет когда? Ты расписание смотрел?

– А? Самолет? Не, я на тачке поеду, быстрее будет.

– Ты с ума сошел? Какая тачка! Две тыщи километров, или сколько туда.

– Не, Борь, мне сейчас на тачке проще, вроде делаю чего-то, а не тупо в аэропорту рейса жду.

– Подожди, Сереж, я сейчас расписание гляну. Ну, правда, в Мурманск на машине гнать это бред. Давай я тебя в аэропорт отвезу.

– Не надо, спасибо тебе. Бред, не бред, я поехал. Помоги лучше вещи спустить, – Сергей оглядел сложенные в коридоре чемоданы. – Нет, я все забирать не буду. Пусть пока у тебя полежат. Не возражаешь? Потом разберусь.

– Ладно, пусть лежат, – кивнул Борис. – Позвони, как доберешься. И поосторожней гони.

Сергей кивнул и вышел.

Кинув чемодан в багажник, Сергей задумчиво посмотрел на свой вольво, потом достал отвертку и снял номера.

Проехав пару кварталов, завернул во двор и открутил по номеру с двух первых попавшихся автомобилей. Один номер поставил вперед, другой назад.

– Для прикола, – сказал он вслух. – И хрена мне теперь ваши камеры.

МКАД прошел за двадцать минут: сто шестьдесят – сто семьдесят. Свернул на Ленинградку. Заправился. Купил бутылку воды, две банки «Адреналин Раш» и каких-то плюшек.

О, благословенна платная дорога, так и не ставшая еще платной, – подумал Сергей, проскакивая мимо завернутых в полиэтилен поднятых шлагбаумов.

Здесь вольво полетел за двести, потом Сергей вспомнил, что уже поставил зимнюю резину, а она только до ста восьмидесяти. Поморщился и сбросил до ста девяноста.

Наверняка конструкторский резерв километров десять, а то и больше, – решил он.

Вольво медленно объезжал машины, которые стояли на ста сорока – ста пятидесяти.

Ночь – полночь, а тачек полно. Хоть пробок нет, – думал Сергей.

Рассвет он встретил у Питера на объездной. Еще часа три, и он остановился в Петрозаводске на заправке. Здесь было подобие кафе. Два стаканчика кофе, перекус, и вольво полетел дальше.

Дорога стала хуже, попадались участки, где скорость падала до ста тридцати, а панорамное, салонное зеркало недовольно дребезжало на зажимах. И здесь уже лежал снег. Однако шоссе было пустым и среднюю скорость в сто пятьдесят Сергею держать удавалось.

Последние пятьсот километров дались уже нелегко. Сергей несколько раз останавливался на заправках, пил кофе, где он был, или глотал купленные раньше энергетики.

Около пяти вечера он остановился на въезде в Мурманск. Поменял номера и набрал Аркадию.

– Привет, Аркаш, я в городе, как тебя найти?

Аркадий назвал адрес, Сергей вбил его в «Навигатор».

– Как Машка? К ней пускают?

– Пускают, а ты чего так поздно? Билетов не было?

– Я на тачке.

– На машине, что ли, приехал?

– Да.

– Ну, ты даешь, блин.

Еще через полчаса вольво остановился у кирпичной пятиэтажки. Сергей набрал номер.

– Аркаш, я внизу, спускайся, к Машке поедем.

Маша лежала на кровати на скелетном вытяжении. К локтевому сгибу шел шланг капельницы. Поломанных девиц в палате было четверо.

Увидев Сергея, виновато улыбнулась.

– Ну, приколистка, парашютистка, как ты? – спросил тот, садясь на стоявший у кровати стул. Аркадий остался стоять за спиной Сергея.

– Вот, упала, – пожала Маша плечами.

Сергей взял ее за руку, нагнулся, поцеловал ладошку.

– Ноги чувствуешь?

Маша отрицательно покачала головой.

– Писаешь сама?

– Нет, через трубочку.

– Ну, пока рано. Еще шок не прошел. Врач сказал, что перелом не тяжелый. Все должно восстановиться.

– Ты меня заберешь?

– Пока тебя трогать нельзя, вот поправишься, а потом... – Сергей оглянулся на Аркадия, тот кивнул. – Вот видишь, папа не возражает. Потом заберу.

– В Москву?

– Машунь, мы все решим. Все будет в лучшем виде, – Сергей снова поцеловал ее руку.

– Расскажи мне сказку.

Сергей снова оглянулся.

– Аркаш, ты не подождешь меня? Я полчасика с ней посижу?

Аркадий вздохнул, качнул головой, улыбнулся дочери, погладил ее по одеялу и молча вышел из палаты.

Сергей рассказывал самую веселую историю, какую смог придумать. Маша улыбалась, соседки по палате смеялись.

Пришла сестра, поменяла капельницу. Минут пять постояла, послушала. Еще через четверть часа зашел врач, этот вежливо попросил Сергея, сославшись на процедуры.

Когда Сергей с врачом вышли из палаты, одна из девочек спросила:

– А кто этот дядя? Он же не твой папа? Папа другой.

Машка мечтательно посмотрела на потолок, улыбнулась и ответила:

– Это мой любовник. Я с ним живу уже два года.

Девочки замерли с открытыми ртами.

Наконец, другая девочка спросила:

– А папа? Он знает?

– Конечно, – серьезно ответила Маша, – он же меня и продал.

Снова в палате повисла тишина. Потом все четыре девочки заговорили одновременно:

– Ты врешь.

– А за сколько продал?

– Любовник! Он тебе сказки рассказывает. Любовники другим занимаются.

– Охренеть! Продал! Так ты рабыня!

– А у тебя был секс? – спросила первая девочка.

– С крыши упала, вот у тебя головка и поехала, – высказала предположение другая.

Вошедший врач помешал дальнейшему обсуждению.

Сергей тер виски, сидя на кухне квартиры, которую снимал Аркадий. Тот после ужина разливал по чашкам крепкий чай, почти чифирь.

– Тебе бы поспать сейчас, все-таки две тыщи верст отмахал.

– Да, лягу. Вот только боюсь, как бы ты подушкой не придушил, – Сергей взял чашку, пригубил.

– Это мне бояться надо. Ты же меня убить обещал, – усмехнулся Аркадий, помолчал, потом спросил:

– Как думаешь, она ходить будет?

– Вроде должна, – Сергей пожал плечами. – Я же не специалист по спинальной травме. По идее, отек пройдет, все восстановиться должно. МРТ делали, повреждений спинного мозга не обнаружили. Сам перелом не опасный, осколков вроде нет, мозг не травмирован. Должно обойтись. Недели через две, если восстановление начнется, значит, проскочили.

– В Москву повезешь?

Сергей поднял голову, удивленно посмотрел на Аркадия.

– Если отпустишь. Да и не стоит сейчас загадывать.

Аркадий вздохнул.

– Отпущу, наверное. Она же пока тебя не получит, не успокоится. Чего ж мне врагом на всю жизнь становиться. Пусть сама себе шишки набивает, хоть и мала, конечно, совсем.

– Почему шишки? Я ее люблю.

– Сереж, она же не дочь тебе. Наиграешься и бросишь, или еще чего хуже с ней сделаешь.

– Аркаш, мне за нее умереть, что плюнуть. Неужели ты еще не понял?

– Если инвалидом останется, возьмешь?

– Конечно, возьму. Дурацкий вопрос.

– И будешь всю жизнь за ней горшки выносить?

– Лучше меня никто этого делать не сможет.

Аркадий пожал плечами,

– Ладно, пошли спать. Мне завтра рано, надо хоть на полдня на работу попасть.

Утром, после врачебного обхода и всяких процедур, одна из девочек, та, у которой была сломана только одна рука и которая была вполне ходячей, почти вбежала в палату со словами:

– Я все узнала, этот ее любовник просто ее дядя, и все. Брат ее матери. Всего делов-то. Я у тети Жени узнала.

– А кто такая тетя Женя? – спросила Маша, выглядывая из-за задранных к потолку ног.

– Это наша медсестра. Она все про всех знает, – объяснила другая со сломанной ногой. – Так правда, дядя? – спросила она.

– Сами видели, что не тетя... – Маша пыталась сообразить, что бы такое ответить, чтобы не уронить рейтинг. Сообразила. – Что может знать какая-то тетя Женя о моей интимной жизни, – сказала и демонстративно пожала плечами.

Девочки снова замолчали.

Тут появился и сам предмет разговора. В палату вошел Сергей.

– Я сегодня сама писала, – радостно приветствовала его Маша. Девочки захихикали, Сергей улыбнулся.

– Замечательно, значит, все восстанавливается, – сказал он, садясь рядом на стул и суя руку под свисающее с ног девочки одеяло. – Здесь что-то чувствуешь? – спросил он, дотронувшись до ее ноги.

– Нет.

– А здесь?

– Тоже нет, – Маша покачала головой.

– Здесь тоже?

– Угу.

– А здесь?

В лице девочки что-то дрогнуло:

– Не-ет, – протянула она.

Сергей поднял бровь:

– Машка! Коварная. Здесь ты чувствуешь. Не ври.

– Чуть-чуть, – выдохнула Маша и закрыла глаза.

Сергей убрал руку.

– Ладно, Машунь, не так все страшно, как могло быть. Мы с тобой по деревьям еще полазаем.

Маша открыла глаза.

– Я ведь буду ходить? Я не стану калекой?

– Да, нет, Машунь, не бойся, все восстановится. Долго, правда. Месяца два в койке, потом реабилитация. Зато в школу ходить не надо.

– А то девочки сказали, что после перелома позвоночника люди часто ходить больше не могут.

– По-всякому бывает, но у тебя перелом без осложнений. Просто вопрос времени, за сколько поправишься. А девочки пугают тебя немножко. Да, девочки? – Сергей обвел взглядом притихших на своих кроватях пеструшек.

Три промолчали, одна ответила:

– Ничего мы не пугаем, нам врач говорил, что у нее тяжелая травма и чтобы мы с ней были поаккуратней.

– Вот видите, доктор предупреждал, а вы пугаете, девушки. – Сергей пододвинулся на стуле ближе к Маше, погладил ее по лицу. – Не бойся, солнышко, все пройдет.

– А вы – ее дядя? – вдруг спросила другая девочка.

– Да, дядя, – Сергей кивнул.

– А почему вы чаще приходите, чем ее папа, – прозвучал следующий вопрос.

– Да она только вчера в больницу попала. Чаще, реже, еще статистика не набралась, – Сергей удивленно посмотрел на спросившую девочку. – Потом ее папа работает, а я специально приехал.

– Из Москвы?

– Из Москвы, – кивнул Сергей, – а что за допрос?

– Да она нам такое про вас сказала, – подключилась к разговору третья, – хоть стой, хоть падай.

– Ну, стоять, как я понимаю, у вас не у всех получится. Так что же она сказала? – Сергей посмотрел на Машу.

– Она сказала, что вы ее любовник, – выпалила первая девочка.

Сергей поперхнулся, потом рассмеялся в голос.

– Ну, Машка, ну, ты даешь, приколистка, – он наклонился и поцеловал Машу. – Люблю тебя, честное слово. Нет, девочки, вы не поняли, – сказал он, выпрямляясь, – она имела в виду, что я ее люблю. И папа ее любит. Но такого сюрреализма нет, конечно. – Сергей усмехнулся еще раз. – Вы знаете, что такое сюрреализм? – оглядел он девочек.

Кто-то кивнул, кто-то промолчал.

– Ладно, потом как-нибудь расскажу, если пугать ее не будете.

Маша пошевелилась на кровати.

– А это может быть мне за Ольгу? – вдруг спросила она.

Сергей снова поперхнулся. Помолчал.

– Типа, карма? – спросил он.

Маша кивнула.

– Не думаю. С Ольгой-то все в порядке, тем более тогда все быстро пройти должно.

– А как она, кстати?

– Все хорошо, замуж выходит.

– Прости меня, ладно?

– Машунь, – Сергей снова поцеловал девочку, – все хорошо, забудь, сколько времени прошло. Давай, я тебе лучше сказку расскажу.

Когда сказка кончилась, настало время процедур и Сергею пришлось уйти, одна из девочек спросила:

– А кто такая Ольга, и что с ней случилось?

Маша посмотрела на нее, фыркнула и ответила:

– Так я вам, дурам, и сказала.

– Сама дура.

– Девочки, не ругайтесь, – строго заметила медсестра, перестилая кровать.

Восстановление пошло действительно быстро. Спинной мозг поврежден не был. Ножное вытяжение заменили петлей Глиссона подмышки. Маше начали делать массаж ног.

Уже через три недели разрешили встать. Назначили лечебную гимнастику. Маша или ходила, или лежала, сидеть пока ей не позволяли. Сергей торчал в больнице постоянно, Аркадий заходил каждый день.

Обсуждалась возможность перевода девочки в Москву. Еще через неделю решили отправить ее на реабилитацию в ЦИТО санитарной авиацией.

На ЦИТО выходил Сергей, на летчиков Аркадий. У него оказалось знакомство, позволившее договориться. Денег, понятно, стоило немалых, но, в любом случае, несопоставимых со стоимостью рейса.

Когда день вылета был назначен, Сергей спросил:

– Квартиру возьмешь? Я ее сдал, могу отдать вместе с арендаторами. Полтинник в месяц.

Аркадий помолчал, потом сказал:

– А сам где жить будешь? В той однушке?

Сергей кивнул.

– Только ремонт сделать надо. У меня там пять таджиков живет. А может, и больше, – усмехнувшись, добавил он.

– А я свою все не сдам никак. Правда, может, уже и сдали давно, а мне всё мозги крутят. Риэлторов поменять, что ли?

– Так вроде уже не актуально, возвращаемся же?

Аркадий снова замолчал. Потом спросил:

– Кофе будешь?

– Давай сварю, – кивнул Сергей.

Помолчали.

– Знаешь, – сказал Аркадий, когда Сергей разливал кофе по кружкам, – не хочу я ехать с вами. Здесь останусь.

– Здесь? В Мурманске? – удивился Сергей. – Зачем? Мы же Машку вроде не делим больше?

– Не делим, – согласился Аркадий. – У нее завтра день рождения. Что дарить будем?

Сергей пожал плечами.

– Мне кажется, ей сейчас не до подарков. В смысле, она ничему не обрадуется. Ходить может – вот главный подарок.

Аркадий долго размешивал сахар, потом спросил:

– Моя раковина сохранилась, или выкинула?

– Я убрал. Сохранилась.

Аркадий промолчал, пожал плечами, а Сергей вспомнил:

«Больничные клоуны год назад были. Кто бы подумал?» – усмехнулся и предложил:

– Давай купим ей цветов. Много. Чтобы и соседкам ее досталось.

Аркадий снова пожал плечами:

– Хорошая идея. Давай.

– Так ты что? Правда ехать не хочешь? – спросил Сергей.

– Я бы, правда, не поехал. Да у тебя срок. Если с Машкой засекут, и посадить могут.

– Ну, напиши заявление, что не возражаешь против наших контактов. Я проконсультируюсь с адвокатом, как писать, может, срок и скостят. Какие-то деньги у меня еще остались.

– Давай, консультируйся.

– Еще кофе? – спросил Сергей.

– Лучше коньяку.

– Если по чуть-чуть только. Ты же знаешь, не пью.

– Да, выучил уже, – ответил Аркадий, вставая и доставая бутылку из шкафа. Сергей снял с сушилки стаканы. Аркадий плеснул коньяка.

– За удачный полет, – Сергей сделал глоток. Аркадий держал стакан в ладонях, молчал.

Поднял голову, посмотрел на Сергея.

– Вот никак не могу понять, почему ты не пьешь. Вроде нормальный мужик, криминальный даже где-то, а не пьешь. Лечился, что ли?

– Нет, Аркаш, не лечился. Просто состояние опьянения мне не нравится. Очень. Да и добровольно менять свою биохимию кажется идиотизмом.

– Совсем не пил?

– По молодости пил, как все. И из такси выпадал, и в лифте засыпал. А потом как-то само ушло. Удовольствия не получаю. Да и в молодости не получал, мучился только. Может, у меня чего с ферментами не так. Бокал вина, а потом не лезет уже.

– Ну-ну, – Аркадий пожал плечами, залпом выпил коньяк, поставил стакан на стол. – А квартиру я не возьму, – помолчал. – Чего Машку к таджикам селить.

– Какие таджики? – воскликнул Сергей. – С ума сошел? Я, что с таджиками жить буду? Это сейчас им сдаю...

Аркадий поморщился,

– Не кричи, Сереж. Все понимаю. Раз я Машку тебе отдаю, не хочу забирать ничего. А то получится, правда, что продал.

Сергей качнул головой, взглянул на Аркадия.

– Коньяку налей еще.

Аркадий молча разлил по стаканам.

– Она и так меня ненавидит уже, а чем старше станет, тем больше будет. Не хочу. Пусть сама, как хочет. Да и ты не отстанешь.

Выпили. Сергей поморщился, потом сказал:

– За Машку не волнуйся, ей хорошо будет.

– Наверное. Думал иначе, посадил бы тебя.

Снова выпили, снова помолчали.

– Машину тебе оставить? – спросил Сергей.

– В смысле? – не понял Аркадий.

– Ну, тачку могу в Москву не гнать, тебе оставить.

– Себе новую купишь?

Сергей кивнул.

– Не сразу, правда. Кризис. Рынок стоит, с деньгами не очень.

Аркадий промолчал, через минуту ответил:

– Не надо, некуда мне тут ездить. Город небольшой, до работы недалеко. Вам нужней.

– Ну, как хочешь. Понимаешь, что мне не жалко? Мне вообще ничего не жалко.

– Понимаю, – Аркадий кивнул. – Безумие какое-то творится.

Аркадий снова разлил коньяк. Сергей отрицательно покачал головой.

– Не, Аркаш, не могу больше. Извини.

Аркадий кивнул, выпил свой. Сергей сказал:

– Перегонщика найти надо будет. Денег я оставлю.

– Найдем, ребята гоняли. До Москвы четвертной вроде стоило.

– Сейчас дороже, наверное.

– Узнаю, – пожал плечами Аркадий. – Ты вот постарайся квартиру мою сдать.

– Сдам, – согласно кивнул Сергей. – Задумался и сказал: – А давай лучше так. Я свою за полтинник сдал, деньги тебе переводить буду, а в твоей мы с Машкой поживем. Чтобы ей школу опять не менять. Да и вопросов чтоб не задавали лишних. А я и ремонт потихоньку у тебя делать начну. А хочешь, можем и втроем жить. Не самый плохой вариант, между прочим.

Аркадий взялся за бутылку, покачал и поставил.

– Так, с тобой и сам пить бросишь. Нет, я здесь останусь, решил. Живи у нас, – Аркадий кивнул. – Я ее тоже за полтинник сдать хотел. То же на то же получается. Договорились.

– Деньги получу за аренду, сразу тебе пришлю.

– Хорошо.

– Да, Аркаш, все забываю спросить. Ты айфон ее не находил случайно? Потеряла, когда упала. А ей жалко.

– Нет, не видел. Подобрал, наверное, кто-нибудь, там толпа собралась большая. А может, санитары взяли, пока везли.

На следующий день Аркадий написал у нотариуса заявление в суд и доверенность на Машу на перелет, на госпитализацию и, вообще, на все, на год.

– Сдал в аренду, – усмехнулся он.

– На Новый год прилетишь? – спросил Сергей. – Вроде у всех каникулы.

– Постараюсь вырваться на несколько дней. Порт. Работа же посменная, не так просто.

В аэропорт из больницы с Машей поехал Сергей. В полете их сопровождали еще врач и медсестра. Те были совсем не против прокатиться в Москву.

Аркадий на вольво привез вещи. Когда он, загружая сумки в багажник, обнаружил валяющиеся там чужие номера, то только головой покачал, усмехнулся и вслух сказал:

– Ну, Серега, ты, блин, даешь.

Самолет взлетел. Сергей сидел рядом с лежащей на каталке Машей.

– Сереж, – позвала она. – Помнишь, ты обещал на День рождения поцеловаться со мной? В больнице народа было много, я не приставала. Поцелуй сейчас. А?

Сергей воровато оглянулся на врача с сестрой. Те сидели впереди и были заняты разговором. Тогда он наклонился над девочкой... Поцелуй длился долго. Вечность.

Вечером Аркадий сел перед телевизором, откупорил бутылку водки, аккуратно разлил ее по трем стаканам. Нарезал колбаски, сырку, положил на хлеб. Выпил стакан, закусил и стал ждать.

Передавали новости. Вдруг диктор взволнованным голосом объявила:

– Сегодня потерпел аварию самолет санитарной авиации, совершавший рейс по маршруту Мурманск – Москва. Самолет пропал с радаров в районе Петрозаводска. На борту находился экипаж и четыре пассажира, из них один ребенок. Начата поисковая операция.

– А все почему? – подняв палец, спросил Аркадий. – Потому что при посадке в самолеты санитарной авиации не проводится досмотр багажа. Вот и айфончик пригодился, – ухмыльнулся он. – Ну, – Аркадий поднял второй стакан, – за помин душ грешных! – выпил, поставил, закусил и взялся за третий. – И за помин безгрешных. Которые еще не успели, – чуть заплетающимся языком закончил он. Выпил, посмотрел на три пустых стакана и заплакал.

Ольга АНИКИНА

ЖЕНЩИНА ПО УЛИЦЕ ИДЁТ

***

Женщина по улице идет,
у щеки придерживая лёд.
Лёд ее касается лица,
синий, словно лапа мертвеца.

Лёд течет по жилке на виске.
Женщина проходит через сквер,
мимо старых тополиных пней,
мимо фиолетовых теней,

Сквозь зеленый сумрак болевой,
пропадая в небе над Москвой,
в плотных тканях, в черных синяках,
в дыме сером, в тёмных облаках.

***

В иллюминаторе тень луча
распалась на миллиард,
и вдруг исчезла.
«Вам кофе, чай?» –
над ухом сказал стюард

Обозревая, как сюзерен,
вассалов немых ряды,
хозяин этих непрочных стен
и пластиковой еды

пронёс поднос, будто том стихов
сквозь сонную тень веков.
Он был надменен, как Кутенков,
Красив, как Воденников,

он шёл в закат. Через весь салон –
в пылающие ветра.
И восхитительный смит-вессон
чернел у его бедра.

Ольга Аникина родилась в Новосибирске, жила в Москве и Сергиевом Посаде. Закончила Новосибирский медицинский институт. Училась в Литературном институте им. Горького, семинар поэзии Г.И. Седых. Стихи и проза опубликованы в журналах «Сибирские огни», «Дружба Народов», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Южное сияние» и др. Роман «Тело ниоткуда» (2014) стал дипломантом премии им. Н.В. Гоголя в номинации «Вий». Автор четырёх поэтических сборников: «Первоцвет» (2000), «Соло...»(2006), «Жители съёмных квартир» (2013), «Картография» (2016). Живёт в Санкт-Петербурге, работает врачом.

***

Работницу музея на Волхонке
по имени НН – вчера случайно
забыли подменить.
И в зале Конго
она сидела более двух смен.
Текла по залу мутная река.
На ней – пирога медленно качалась,
как мёртвый богомол или кузнечик.
И в белых масках чёрные фигуры,
НН благоговейно окружив,
глядели на её большие ноги,
на конусообразные соски,
на выточенный грубо, деревянный,
с пупком огромным выпуклый живот.
И пахло рыбой, пахло влажным илом,
и копотью, и деревом гниющим.
Подземные вибрировали воды,
и краем уха слышала НН,
как рокот городской низкочастотный,
зевая, мерно склёвывали птицы,
и нёбные согласные разнились
у сонге, хемба, бойо и бембе.

***

Кошка подходит ближе, с точностью геометра
рисует круг и садится, перекатывая в гортани
камень за камнем, и там, в её тёмных кошачьих недрах
рушатся города, закипает вода в Иордане,

читает псалмы убийца, калеча слова губами,
ходят убитые, бьют в свои чёрные барабаны,
трескаются зеркала и в их дымчатой амальгаме
только дисмасы, только гестасы, варавваны,

тяжёлая, древняя дрожь земли, это скачут кони монголов,
стальные машины, рыча, прокладывают траншеи.
и видно еще, как одна из нас перегрызает горло
другой,
и видно, как я молчу, наклоняя шею.

***

Зимой приближаешься к небу, и вот
однажды туда истончается вход,
и ты по-другому глядишь на
дома, обведенные мёртвой рукой,
на чёрные щели с торчащей пенькой,
на реку. Вода неподвижна.

И слышно из кухни, как в мёрзлой трубе
рыдает младенец, скребет скарабей,
бормочет глухая шептуха
такие слова, что святых выноси,

что вспомнишь и Отче наш, иже еси,
и Сына, и Святого духа.

И сядешь у двери, где сиживал дед,
чтоб молча беседовать с тем, кого нет,
его одиночество грея,
и тоненький свет, как монета на дне,
как след сигареты в далёком окне,
мерцает в слепых эмпиреях.

Лодка

Друг твой купит однажды лодку, пойдёт к реке,
по тропе мимо черных ив и кривых осин.
Много места в лодке, но плыть ему налегке.
Много места, но друг твой тронется в путь один.

Ты обнимешь его, пожелаешь ему добра,
позабудешь слова, что отложены на потом.
Человек, от тебя оттолкнувшись концом багра,
уплывёт и исчезнет, как будто в пару густом.

Ты уже не догонишь ту лодку среди реки.
Будет память в ночи чертить ледяную вязь.
У причала наутро найдут тебя рыбаки,
ты не скажешь им ничего, и уйдёшь, смеясь.

***

тому, кто доживает до весны,
награды никакие не нужны:
гремят литавры в солнечной октаве,
и терция – картавящий трамвай,
и прорастает в воздухе трава,
и что ни пропоёшь – выходит «аве».

в саду Никольском или в Бенуа
проспишь полдня почти как на Гоа,
проснешься, чтоб до вечера шататься
среди других весенних горожан,
и затемно вернуться к гаражам,
и Пасху ждать, и, может быть, дождаться.

смотри, зима тебя обобрала,
а ты стоишь, хлебаешь из горла,
глядишь в глаза убитому дракону:
в них мертвый виноградник на скале,
и семена, погибшие в земле.
и никогда не будет по-другому.

Река

Гулко падает плод в протоку, и качается и плывёт он.
Береговое солнце

царапает воздух сухими лучами.
Слушай-слушай говорящую воду, говорящую воду.
Измеряй собой
протяженную боль
языка прощаний.

Вот такие надписи вода оставляет на глине.
Вот так из облака
вечную ноту тянет.
Вот вдоль исчезающих линий
плывет корзина –
плыви, Моисей, дитя моё.

На берегу в зарослях
плачут, торжествуют, скулят и лают.
Раненый леопард
в двенадцать часов
выходит к заводи.
Он не считает, сколько крови впитал песок,
сколько вытекло за день,
он просто убивает и молится, молится и убивает.

Пей же её, слушай
и сам становись водою,
соком плодов, знаками на песке,
кровью мертвого зверя.
Когда почувствуешь час –
приходи и ложись на берег
и опусти свою голову
в её ладони.

Отъезд из Москвы, май 2016

Мне кажется, что нет, дождя не будет.
И нависает облако над Бронной –
горячий воспалительный процесс.
У всех прохожих красные глаза.
И у меня. Мне скоро на сапсан.
Библиотека на Тверском съезжает.
В проплешинах бетонных парк Динамо.
Раскопано Бульварное кольцо.
У Плаховых и то идет ремонт.
Во рту моём строительная пыль.
По переходу девушка бежит
с таким лицом, с каким нельзя в столице.
.....
Всё остальное вымарал редактор,
больной гиббон, сидящий там, внутри.
Он тоже ждёт дождя и смотрит вверх.
Напрасно.

Олег ХАФИЗОВ

ВЫШКА В МОНТЕБЕЛЕ

Рассказ

Осёл, он тот же конь, но менее амбициозный. Конечно, у осла не та стать, не тот скок, не та грива, зато он как-то человечнее. Осёл есть конь неудачников. Поэтому для своего странствия Хаямов решил ангажировать осла.

Ослы в Монтебеле водились. На них приветливые девушки катали малышей по каменистой улочке, когда свет в городке гасили из экономии и прохожие превращались в торопливый цокот каблучков, укромные перешептывания да летающих светляков сигарет. А уж поскольку за деньги в Монтебеле возможно почти всё, а остальное возможно бесплатно, то Хаямов полагал, что и с ослом у него сложится.

Вышло, однако, иначе. Один осёл оказался уже занят катанием. Его вела под уздцы девушка в монашеском капюшоне – мерзлявая, как все местные жительницы, которые начинают утепляться, едва воздух охлаждается на несколько градусов ниже привычной жары. Другой осёл сыскался перед спуском на набережную. Его владелица напоминала одалиску своими газовыми шальварами, бойкими глазами, пышными формами и расшитой феской. Выслушав пожелание Хаямова, она внимательно изучила его лицо, очевидно, на степень опьянения, и ответила:

– Вот же ж!

Что означало отказ.

Когда Хаямов попытался приспособиться к ослу в пункте проката лошадей, его просьба была принята за чрезвычайно остроумную шутку и поднята на смех. И неизвестно ещё, чем бы закончился этот вечер, если бы он пометался по улице, выпил и передумал, как за его плечом раздался хрипловатый голос:

– Куда изволите ехать?

Перед ним стояло щуплое существо – то ли мужиковатая девушка, работающая под парня, то ли женственный юноша, красивый, как девушка. Существо было одето в оранжевые шаровары, узкие в низу и просторные в мотне, и оранжевый балахон с узорами. Смоляные волосы заплетены в многочисленные войлочные косички – дреды. Лицо смуглое, как у мулата, или как у мулатки, а может – сильно загорелое. Ноги босые и грязные. Груди и бедра отсутствуют.

– Мне до вышки, знаешь?

– Как не знать.

Существо мотнуло головой в сторону кривого проулка, в смысле: «Следуй за мной». Хаямов повиновался. Вдруг ему почудилось, что из печной темноты за углом на него обрушатся ослепительные вспышки ударов, но остановиться он отчего-то не мог и не хотел. За углом его поджидал ослик, привязанный к рекламной конструкции.

– Как зовут? – справился Хаямов, почесывая осла за свалявшимся ухом.

Отчего-то это показалось ему важным.

– Сашкой, – отвечало существо.

– Тебя или осла?

– Обоих.

Это имя могло принадлежать как мужчине, так и женщине, как ослу, так и ослице, но Хаямов не собирался придавать этому значение.

Олег Хафизов родился в Свердловске в 1959 году. Закончил факультет иностранных языков ТГПУ им. Л. Н. Толстого, учился в Литературном институте им. Горького. Работал художником-оформителем, переводчиком, специалистом по рекламе, журналистом, телеведущим, редактором, сценаристом ТВ, доцентом на кафедре журналистики ТулГУ. Автор четырех книг прозы. Публиковался в журналах «Волга», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Вестник Европы» и др. Живет в Туле.

– Только я Сашку поведу под уздцы, – сказало существо. – Вы можете упасть, а он ускОчет в горы. Так уже бывало.

– Разумно, – согласился Хаямов. – Сколько я тебе должен?

– Нисколько.

С рекламной конструкции Хаямов взгромоздился на крутобокого Сашку, ухватившись за его сальную гриву, осёл шумно вздохнул, и они тронулись враскачку.

Нынешний Монтебель не имел решительно ничего общего с тем городком, который Хаямов посетил двадцать два года назад. Если бы его переместили сюда с завязанными глазами, раскрутили, а затем спросили: «Где ты?», он бы честно ответил: «Не знаю. В раю». Тогда Монтебель и назывался иначе, хотя по-своему неплохо – ПГТ Улётное, в честь первых отечественных опытов по аэронавтике, которые проводились в этих небесах, где воздушные струи составляют столь благоприятное переплетение, что буквально носят воздушные шары, планеры, парашюты, дельтапланы и иные безмоторные летающие средства.

Название Монтебель представляло собою романизированный перевод с татарского названия поселка, расположенного в этих краях до конца XIX века – Красивая Гора. Это поэтичное название было придумано и закреплено за городком известнейшим из его обитателей, мирискусником Валерианом Кокошиным, который возвел здесь, посреди убогих саклей, свою знаменитую Башню Гениев. Эта Башня символизировала, по замыслу Кокошина, воссоединение язы́ков в их стремлении к Абсолюту, утраченному человечеством в его материалистическом ослеплении. И каждый из многочисленных гениев, охотно посещавших обитель хлебосольного Кокошина, обязан был вклеить в кладку башни свой именной кирпич, способствующий мировой гармонии.

Строительство Башни Гениев, впрочем, довольно приземистой, не прекращалось и по сей день, и экскурсоводы благоговейно демонстрировали туристам кирпичи с автографами Андрея Белого, Брюсова, Максима Горького, Мережковского и других деятелей, которые являлись гениями, либо считались таковыми в период своей земной славы. А попутно сообщали конфиденциально, что в свободное от кладки время декаденты охотно предавались медитациям, радениям, вакханалиям и иным групповым свинствам, столь характерным для богемы Серебряного века, как и всех прочих веков.

Двадцать два года назад Хаямов разбил палатку на диком берегу Голубой Бухты, минутах в сорока ходьбы от цивилизации. Ходили слухи, что все там ходят нагишом, и эти слухи оправдались. Обнаженные юные нимфы сбегали с холмов и бросались в прозрачные волны лагуны, а затем нежились на песке, но под боком у них обязательно бдел дюжий *кортехо*, что не способствовало знакомству.

В компании их было трое: Хаямов, штатный зайчик детского театра Антошкин и Ася, ставшая невестой Антошкина после того, как Хаямов ею пренебрег. Сразу по прибытии путешественники обнаружили, что у них прохудилась керосинка. Хаямов попытался заделать брешь при помощи презервативов, припасенных на всякий случай и, как обычно бывает, не пригодившихся, но горючий газ оказался гораздо въедливей сперматозоидов и проникал сквозь резину. Растительности в горах почти не было – одна сухая трава цвета хаки. Так что в первый день обед приготовили на остатках дров, брошенных у кострищ местными отдыхающими на пикниках. А потом приходилось тащиться пять верст по горам за консервами и водой, оставляя Асю в палатке в качестве Пенелопы.

Путь в Улётное был долог, но приятен. По долинам и по взгорьям друзья как бы проводили обзор всех *неформальных* молодежных течений, какие существовали в стране на тот период. Томные хиппи, буйные панки, вяленые адепты йоги и кожаные *металлисты* в цепях и заклепках, вызывающие благоговейный испуг прессы – все они гнездились по берегам, лежали, бродили и обменивались глубокомысленными идеями. Особенно привлекательно было стойбище хиппи, у которого навстречу им выходили девушки с обнаженными грудями и просили глоток воды или сигарету, на тогдашнем сленге – *аска́ли*.

Вечером делили на троих две банки консервов, бутылку водки и горсть сигарет «Прима», купленных врассыпуху у таксистов, пели, дурачились, решали кроссворды – и это всё. Никаких иных развлечений. Люди вроде интеллигентные, они даже не удосужились посетить знаменитую Башню Гениев или поклониться могилке Кокошина, признанного кумиром передовой интеллигенции. Голенький пупсик Антошкин в одних носках на ошпаренных солнцем ногах лепил из сырого песка куличики,

Хаямов упражнялся в китайской гимнастике тайцзицюань, Ася демонстрировала пограничным патрулям свою щёточку, порхая голая по мелководью.

Однажды на высоком округлом холме Хаямов нашёл сброшенную полупрозрачную кожу змеи, похожую на пупырчатую товарную упаковку. Обозрев синеватый массив Карапет-Дага, напоминающий запрокинутый профиль Джона Леннона с альбома «Представь себе», он начал спуск и впервые обнаружил, что боится высоты. Вернее – боится своего нестерпимого желания броситься с высоты вниз, и эта тяга парализует его ужасом. Кое-как, самым позорным образом, он сполз с горы задом наперёд.

Покидая Улётное, они остановились передохнуть под вышкой, за которой начиналась цивилизация. Эта вышка метров пяти высотой стояла посреди пляжа – слишком далеко от воды, чтобы с неё нырять, и явно не для наблюдения за утопающими дикого пляжа, не имеющими права на государственное спасение. Антошкин предположил, что вышка эта была возведена для младшей группы местной команды ныряльщиков, которые на первых порах отрабатывают технику прыжков без воды, и уж затем выжившие после этого сурового испытания удостаиваются чести нырнуть в воду. Хаямов возразил, что в этом случае пляж вокруг вышки был бы усеян костями ныряльщиков, а не пустыми бутылками и бумажками. Ася предположила, что когда-то, в палеозойский период, с этой вышки действительно ныряли, но с тех пор поверхность мирового океана значительно сократилась, и береговая линия отступила. В разгар этой дискуссии Хаямов услышал сверху прелестный голосок:

– Это летать.

Сегодня, двадцать два года спустя, Хаямов затруднялся вызвать в памяти образ той девушки, который долго стоял перед его глазами после возвращения на пасмурную Русь. Вся она была какая-то воздушная, невесомая, развевающаяся, как Бегущая По Волнам местного писателя Александра Грина, да к тому же на голове её колыхалась медуза широчайшей волнистой шляпы с летящей по ветру лентой. Словом, неземная красота.

– Мы за билетами, – шепнул ему на ухо Антошкин и заговорщицки потрепал друга по гульфику.

Ася и Антошкин с вещами потащились к пристани покупать билеты на пароходик, курсирующий до железнодорожной станции, а Хаямов остался при вышке, зачарованный.

– Вы умеете летать? – нашёлся он наконец.

– Конечно, – отвечала красавица, словно речь шла о танцах. – Могу и вас научить, если вы сюда поднимете.

– Может, лучше вы ко мне? – взмолился Хаямов, с упавшим сердцем вспоминая вчерашнее свое восхождение.

– Как знаете! – отвечала девушка, разводя крылья летящих рукавов в потоках ветра.

Содрогаясь от ужаса, Хаямов сделал несколько шагов вверх по истлевшим деревянным ступеням, несколько дощечек выпало, и через брешь в лестнице пришлось перебираться ползком. Он посмотрел на крошечный белый окурок, лежащий на земле, и весь сжался. В это время со стороны пристани раздался двойной зов Антошкина и Аси:

– Хаямов, пароход отправляется! Ты едешь или остаешься с незнакомкой?

Поспешая к пристани с неудобным рюкзаком за плечами и тяжелой палаткой под мышкой, потный Хаямов дал себе слово вернуться сюда – неважно, через какой срок – и полюбить самую прекрасную, самую воздушную, самую неземную девушку, какая только есть в природе.

На набережной царил какой-то карнавал. Было тесно от прохожих, но все предупредительно расступались перед осликом Хаямова, приветствовали оригинального наездника и фотографировали его. Несколько раз Сашке приходилось останавливать осла для фотосессий с туристами и их детьми. Кто-то сунул в карман Хаямова двадцать гривен, принимая его за платную фотомодель.

А таковых на набережной хватало. Какие-то молодые люди предлагали прохожим погладить мартышку, попугая, питона, белоснежную горлицу и ужасного беркута, а затем сфотографироваться с животными по сходной цене. Чуть дальше можно было сделать фото с двумя лучезарными неграми в набедренных повязках, которые, при малейшем интересе с вашей стороны, подхватывали вас под руки и вопили: «Акуна матата! Мумба-юмба! Барбамбия-киргуду!» И повсюду вас предлагали нарисовать, разрисовать, татуировать, заплести, помассировать.

Вот девушка в костюме клоуна наигрывает на маракасах, а другая клоунесса при помощи полотенца изображает ветер двум изумленным малышам.

– Я думал, думал, но ветер дунул, – говорит клоунесса, колыхая полотенцем, вдруг падает на спину и кубарем катится по набережной. Дети визжат от страха и восторга.

– Купи хренотень, будет девка каждый день, – апеллирует к Хаямову старая матрешка в алой расписной шали до земли и раскидистом венке из каких-то сухих растений, придающем ей сходство с саксаулом. Она пытается всучить наезднику какой-то сероватый веник, обладающий, по её мнению, мощным эрогенным действием.

– Купи букет, стоять будет много лет, – уверяет она и ковыляет дальше, нисколько не смущенная очередным отказом.

На зеленом игровом столе лежит в обнимку с металлической гитарой седовласый старик – то ли мертвый, то ли смертельно уставший от полувекового хиппизма. Невзрачные стражи порядка с надписью МИЛИЦІЯ на спине проходят мимо этого зрелища с полнейшим равнодушием. Они кажутся здесь какими-то лишними и немного печальными – лишенные преступных радостей своих злых российских коллег. Продавщица танцует за прилавком. Пожилой господин в серой шерстяной юбке ниже колен выбирает бусы под цвет своей панамы. Играет на веранде группа Deep Purple, отличающаяся от оригинала только возрастом – музыкантам лет по двадцать. На каждом шагу пиво, вино, коньяк, шашлык-башлык, какие-то восточные яства, сами названия которых неизвестны Хаямову.

Осёл сам собою приостановился подле Башни Гениев, которой Хаямов отчего-то не приметил двадцать два года назад. «Отметиться, что ли, в музее?» – подумал Хаямов, и существо Сашка на его мысль отвечало:

– Нечего там делать.

Напротив Башни возвышался памятник Кокошину, очевидно, позднейшего, постсоветского изготовления. Мирискусник был изображен в длинном хитоне с просторными рукавами и фартуке мастерового. Его длинные кудри были схвачены плетеной повязкой, а широкое бородатое лицо и приземистая фигура придавали ему сходство с пекарем. В правой руке Кокошин держал мастерок, в левой – кирпич для возведения Башни Гениев. «Да он же...» – подумалось Хаямову.

– Типичный масон, – подтвердил ословод, угадывая и эту мысль Хаямова.

Чем глубже по набережной, тем харчевни становились проще, а народ оборванней и вольней. Хаямов начинал узнавать Улётное прежних дней. Они перешли по узенькому мостику какой-то поток, спустились по бетонным ступеням на темный пляж, и Хаямов вдруг вспомнил всё, как бывает после жестокой пьянки, когда ты не можешь понять, кто ты такой, где находишься и что натворил накануне, а затем находишь в кармане женскую заколку, и от её болезненного укола, к твоему стыду, вытягивается вся цепочка вчерашних поступков – диких и непростительных.

Люди на берегу не просто напоминали тех, с которыми Хаямов знался двадцать два года назад. Это были те же самые персонажи, которые, в отличие от Хаямова, сохранились в прежнем возрасте. Девушки точно так же плели, вышивали и лепили какие-то *феньки,* пытаясь их продать, а поскольку покупателей не находилось, дарили так. Оборванные, грязные, засаленные парни, похожие на нищих, как в Ареопаге, кружком обсуждали проблемы бытия, а один, самый грязный и пьяный, скукожился между ними. Две юные девушки, все в косичках и *фенечках,* мирно спали в обнимку посреди всего этого гвалта в ворохе тряпья. Кто-то играл на флейте. Рядом жадно целовались три человека. Вышка стояла на том самом месте, где Хаямов оставил её двадцать два года назад.

Существо Сашка припарковало осла к вышке, под которой сидело по-турецки небольшое общество живописных молодых людей в пыльной одежде. Хаямову предложили стакан ледяного красного вина, от которого приятно вязало зубы.

– Мне кажется, мы с вами встречались, – предположил юноша в полосатом пледе, а скорее – половике, накинутом на плечи. Он говорил с сильным акцентом, угадать который Хаямов затруднялся.

– Если только я вас здесь зачал двадцать два года назад, – сострил Хаямов.

Шутка понравилась. Принесли ещё вина. Юноша в половике расписывал плечо Хаямова приятной холодной кисточкой. Чуть поодаль кто-то зудел на бурятской мембране. Моря совсем не было видно, оно слилось с небом в общую печную сажу. Звёзды сверкали всё ярче и пошевеливали; мир уютно сужался, в груди теплело. Существо Сашка поглядывало на Хаямова с загадочной усмешкой, словно держало на уме какой-то секрет.

– А ты... – обратился к нему Хаямов с вопросом, который давно вертелся у него на языке.

– Мальчик или девочка? – опять догадалось существо Сашка. – Не то и не другое. Я ангел.

– Ах, вот как, – Хаямов не удивился, не такой был день.

– Не пора ли нам полетать? – предложил ангел Сашка.

– Да, разумеется, – покорился Хаямов.

Направляясь к вышке, он предчувствовал, что этого ему не миновать.

Хаямов погладил осла и полез за Сашкой на вышку. Сердце его забилось сильнее обычного, но в темноте сравнения с поверхностью земли не было заметно, и страх не наступал. Оступившись на трухлявой ступеньке, Хаямов вцепился в железный поручень. Вдруг у него мелькнуло, что этот так называемый ангел заманил его на вышку, чтобы спихнуть, а после ограбить его мёртвое тело. Но эта мысль только подстегнула его. Они взошли на скрипучую шаткую площадку, напоминающую марс парусника. Взошла луна, пустившая через морскую рябь сплошную серебряную тропу.

Хаямов присел было посреди площадки, но ангел Сашка настоял, чтобы они расположились на самом краю и могли болтать ногами. Хаямов на полусогнутых подобрался и сел рядом с Сашкой. Страха всё не чувствовалось. Как по волшебству, Сашка извлек откуда-то пластиковый сосуд, в глубине которого тлел оранжевый огонёк, и предложил Хаямову:

– Тяните отсюда.

Хаямов глубоко вобрал из отверстия приторный щекотный дым и задержал его в легких, покуда хватило терпения. Голова наполнилась лёгкостью, как купол воздушного шара, и начала взлетать.

– УЛЁТНОЕ, – вспомнилось Хаямову прежнее название поселка.

Они долго смеялись этой остроумной шутке.

– ВЫЗВЕЗДИЛО, – пошутил со своей стороны и Сашка. И уж от этой хохмы они чуть не надорвались.

Потом взгрустнулось. Хаямов вдохнул ещё волшебной отравы, оперся на отставленную назад руку и запрокинулся. Голова легко кружилась. Перед глазами стояла какая-то молочная мгла, по которой плавали интересные разноцветные узоры, как в детской мозаике. Хаямов разбирал эти узоры до тех пор, пока не почувствовал, что его тело осталось сидеть на вышке, а сам он куда-то пошёл.

Он идет по Монтебелю, безусловно, настоящему, но не нынешнему. Мостовая вымощена отполированными лобастыми булыжниками. Вдоль улочки стоят кирпичные домики в два и три этажа, украшенные башенками и балконами, с нависающими верхними ярусами и шпилями на черепичных крышах. Возле низеньких дверей сидят бородатые бюргеры в красных колпаках и шляпах, с глиняными кружками и трубками в руках. По улице ходят барышни с подносами, в чепцах и широких кукольных юбках до земли. На подносах лежат букетики фиалок. Ног барышень не видно, как будто они передвигаются на колёсиках. На скале над улицей возвышается за́мок с множеством башенок, галерей и бойниц, словно слепленный из сталактитов. С какою-то невероятной зоркостью, словно через подзорную трубу, Хаямов разглядывет каждый кирпичик, каждый узор этого диковинного сооружения, которое, оказывается, находится в Монтебеле.

Дальше, однако, дорога портится. Вдоль земляной улицы, кое-где присыпанной щебенкой, стоят косые темные избы с черными пустыми окнами, похожими на беззубые рты. На дощатом подиуме играет фальшивую пронзительную музыку какая-то гаражная группа, её слушают парни и девки, расположившиеся на засаленной дерюге. Обстановка привычная, нехорошая. И тут ему навстречу выбегает девушка, та самая, которую он искал, но никогда не встречал в жизни. Девушка юная, стройная, гибкая. У неё свежее личико, яркие серые глаза и остренький правильный нос. Девушка с распростертыми руками набегает на Хаямова, как бегут к любимым после долгой разлуки, и бросается ему на шею.

– Урааааа! Наконец-то! Ты откуда? – спрашивает она, обнимая его за плечо.

– Я из Монтебеля, – отвечал Хаямов, обнимая её за талию, гибкую и скользкую под маечкой. В обнимку они идут вниз по улице. Хаямов счастлив.

– А теперь куда? – спрашивает девушка.

– Я на гору.

– Но ты, конечно, попадешь на нее не как все люди?

– Да, сверху, а не снизу.

Сергей СДОБНОВ

ТРИ ИСТОЧНИКА СЕРДЦА

***

после тебя
падает лист

в глубокой реке
не тонет облако
потому что живет недолго

и висит неровно
кроткое слово
готовое

к обмороку

после тебя
падает лист

***

– кровь на красный бежит и
обжигает после огня мочит после воды
как звали это пятно до темноты?

за старшего в доме цвет и цветы

***

в окнах вещи из света закреплены не
ровно
лампа и шнур ее тянутся к горизонту

в этом окне праздник выходит перезвонить снегу

надолго хватит ли полета голубей
переносить оборванные письма

со своей бесконечной войной
иду домой

Сергей Сдобнов родился в 1990 году в городе Иваново, закончил магистратуру РГГУ, живет в Москве. Культуролог, критик, поэт, выпускающий редактор в проекте «Устная история», автор статей о современной культуре для интернет-изданий Rolling Stone, Strelka Magazine, Theartnewspaper.ru, Colta.ru, Теории и практики, Seance и др. Рецензии, статьи и стихи опубликованы в журналах «Новое Литературное Обозрение», «Новый мир», «Воздух», «Зеркало» и др. Длинный список премии «Дебют» (2011, 2012) и премии Аркадия Драгомощенко (2014, 2016). Книга стихов «Белое сердце» (М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2015).

***

лед обещал только таять в наших руках
земля обрастает землей вода просит воды
в наших краях не хватало только беды
покажи это небо глазам собак
бегущих с этой земли
просто так
иди
все уже там

***

родинкой радость задевает лицо
радость ветра

и мы не знали что и делать
с молодостью и молния освещает
первые мысли твои собранные в горсти

колесо в снегу так долго ждет
связи с землей

в походе на время никто не дышит на нас

***

у прямого потомка жизни –
в руках облака

у прямого потомка камня –
вышито на груди

в хлебном переулке
у куста процветает собака

в духовке забыты два яблока
прямые потомки души

***

умеющий быть металлом
и немного железом
руку при встрече в бездне протягивает

сердцу
небу

пока что-то из этого не исчезнет

***

идет состав тех кто идти устал
пар изо рта
нет это мимо бежала собака

быстро шел – внутри оказалась
улица из стекла и светофор для пожара

со всех сторон снег лаял легко
во тьме хорошего
огонь ждет дома молоко

***

на чистых прудах забываешь куда идти
Дождь

кто-то должен остаться с костром в груди
у каждого два таких впереди
и пустота в пути

спотыкаются в темноте
дом улица и шаги

падают и светятся бегают и поют
похожих на посуду на счастье бьют

***

бежит философ жук и поет поэт шваб

знакомят тени своих рук

и шар узнает тебя

и треугольник угол подает

***

кто оставил на этом столе
крошки
чай до огня
в темноте небо делает кружки из наших глаз
забывая в окне меня

кровь закончит любой рассказ
и немного мы все надышали
тут везут человека
на этот раз
он увидит что жизнь большая

***

Переводчик переведи опять
To live – ливень
To be – на груди
белые полосы через дорогу

ларек-москвич убирал эту жизнь за собой
в переходе с того света на этот
воздух отчитывает свет за то что он белый

и поздно пришел и пришлось звонить
да, нить
с чем вечер соединить?

***

когда маленькая бумажка падает со стола
а хотелось бы ниже
на кухне собираются угли понимая что поздно

приходящий за тающим счастьем
пернатый геракл на снегу оставляет угрозу
между рукой и ногой боль находит покой
мы воздух берем с собой выходя из горящего дома

кто забыл здесь небо на небе никто не дышит
только пишет рука по руке простое
ты забыл глаза и давай потише
тут шумит слеза и все изменяет тени

Ирина МАШИНСКАЯ

ИЗ СТИХОВ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

I. In Absentia

Быть одному – великое искусство,
особо к ночи,
с лампой и вином –
держать свой день до точки,
не ронять,
не падать, не склоняться к детективу,
а если и склониться – то пресечь,
не досмотреть, не дочитать,
очнуться
и посмотреть в запретное окно
на озеро замерзшее – и встать

к печи, давно погасшей, как к ребенку,
присесть пред ней на корточки (как он,
гремя заслонкой, так же заглянуть)
и гнутый
еще горячий
вытащить поддон –
он полон звезд
и палочек, торчащих
из пепельной Помпеи до краев –

и медленно, с золой – еще живой,
чуть шевелящейся от моего дыханья –
нажать коленом и толкнуть бедром
дверь на крыльцо,
живущее отдельно,
и вынести на колотый мороз
пылящий и мерцающий, дрожащий,
дымящийся, как плод, квадрат
его золы,
запорошенной лестничкой
вслепую

Ирина Машинская родилась в Москве, окончила географический факультет и аспирантуру МГУ. В 1991 эмигрировала в США. Главный редактор основанного вместе с Олегом Вулфом журнала «Стороны света» и литературного проекта «СтоСвет» (США). Соредактор (совместно с Р. Чандлером и Б. Дралюком) англоязычной антологии русской поэзии, The Penguin Book of Russian Poetry (London: Penguin Classics, 2015). В 2012 г. совместно с Б. Дралюком получила первую премию Спендера-Бродского (Великобритания) за перевод поэзии А.Тарковского. Лауреат первых премий 1-го Волошинского (2003) и сетевого конкурса «Русская Америка» (2001); дипломант Св.-Филаретовского конкурса (2002). Автор девяти книг стихов и переводов. Стихи и эссе переведены на несколько языков и опубликованы в антологиях и журналах США и Европы.

в глазурь луны
нашаривая наледь,
становясь
двумя на каждой,
с ним
к земле спуститься в снег,

но шага не дойдя
до выхваченного, как из кинобудки,
оврага,
вдруг не удержать...
и вывалить на снег
к себе под ноги в тапочках домашних
горячий вмиг погасший темный круг,
что стал землей и лег поверх сугроба.

Быть одному,
и опустив поддон
с забившимся в углы
остатком тусклым с набежавшей искрой,
задрать пустое плоское лицо –
пустой луны январской отраженье –
навстречу разбегающейся, хвойной
набитой светом тьме,

стоять в снегу, высокой ели ровня,
стоять, как равный, звездам отвечая –
один солдат
в своем лесном окопе.

II. Озеро. Сияние

В доме кажется – уже темно, а на озере еще светло и месяц.
Озеро's glistening – стрекозы,
маленькие глиссеры снуют, разве что воды не задевая.

Слой стяжения туманится, над ним
нимб, свеченье вод околоплодных –
перевернутая вниз лицом
гладь лежит, как не живая –
кажется, вот тронешь – и порвешь
и уйдут, уткнутся в ил, июль
дом-топор и гнутый лес-ножовка.

В доме кажется, что ночь, и зажжена
наша лампа с падающим криво
светом, заплетенным под вино,
под его заплечные запасы.
Почему я их еще храню
под висячей лестницей спиральной? –
Ходит ходуном, как подымаюсь
в спальню
где уже я зимовала.

Я иду – в остывшей темноте
подо мной мерцает, провожая,
строй-мальбек с покатыми плечами.
и багровый близится июль.

Близится июль и годовщина.
Мир без Бога в сумерках озерных,
Богом созерцаемый до дна.
К осени, я знаю, опадет,
соскользнет платок – пыльца и ряска,

озеро лежащее в горах,
в лапах,
к осени сожмется,
станет легкой и пустой вода
озера отверстого, и в август
я легко его переплыву.

III. Лесной пожар

Вчера леса окрестные горели –
сегодня не горят.
Я выйду на террасу. Первым утром
(чуть не сказала «помнишь?») как впервые
тащили табуретки за порог,
как завтракали на веранде, говорили
(на *деке,* как тут наши говорят),
как думали, что натащили впрок
лесные дни для счастья и работы.

Закрыть окно над мойкой –
там засада
заката, говорящего сквозь пыль.
Там лес один, там не бывает сада,
Там лес, там заросли, там навсегда пропажа,
древесный мусор, листвяной утиль,
объедки, пни и сброшенные шкурки,
хвощи и мох
и папоротников штиль,
тушканчики, древесные каурки
гонцы вестей
и CNN лесных

Вчера весь день про Принца говорили,
сегодня говорят.
Он был ровесник твой, нет, он чуть-чуть моложе,
но вот вчера он стал ровесник твой.
Why did he die?
шумят по CNN.
Сгрузив посуду в мойку
я щурюсь на закат, покоя нет,
но есть у листьев сон.

Смотри же как я без тебя рулю
как в Комнату спокойно захожу
Но с вечера в гортани оседает,
лесной полувоенный дым идет сюда
и о тебе опять напоминает,
тебя напоминает вся вода.

Как наше озеро в шесть-семь утра сверкает
и как ужасно время после трех.
Как медленно и ярко тяжелеет
пронизанный закатом страшный дом –
прочь из него, бегом –
я еду на помойку,
вот развилка

вот тут тогда чуть не купили дом –
тот синий, на скале
и жили б в нем.

Июль бы миновал
а ты б остался.

Горели б так окрестные леса?

2012/2016

Домой

Тот кто умер домой не летит в самолете со мной
он вернется но только отдельно летит
как ни в чем не бывало встречает
и до смерти рад раскрываемым рамам

Это только в пути он под боком
теряет находит очки
с незнакомой деньгой
ковыряется
ковыляет по кромке вдоль стройки
где двоим не пройти
и дивится
и к речи
прислушивается как чужой
и садится на плечи и делит со мной все нелепые
встречи-невстречи

Он со мной на конечной стоит кольцевой
и блуждает и запах
парадных вдыхает родной
обувной и капустный
и терпит
со мной
не торопит
у обитой изодранной двери
с кем я познакомить тебя не успела
кто нас не дождался и вышел

2016

Андрей РЕЗЦОВ

КОРОТКИЕ ИСТОРИИ

Вчерашняя раскладушка

Нет меня там. Был, но сейчас нет. Раскладушка пуста. Можно лишь угадать-увидеть в провисании брезента, как я там лежал и спал. На боку ли? На какой пынечке установил наклон подголовника? Была подушка или обошёлся пынечками? Сколько раз за ночь дёргался, когда касался холода алюминиевой трубки? Зажимало ли волосяной покров ног в пружине? Если Да, то обеих ли ног? Когда вертелся, как скрипела раскладушка? Тихо и задумчиво, словно ждёт она чего-нибудь от будущего? Или сексуально открыто протяжно, будто я не один на раскладушке, а со спортивно настроенной девушкой? Надеюсь, не противно-чавкающе, словно ест меня эта раскладушка?

Ничего этого нам не узнать, не получить ответы на вопросы. Пришли сантехники из ЖЭКа и забрали раскладушку. Стране нужны алюминиевые трубы, чтобы делать дирижабли. Стране нужны брезентовые полотнища, чтобы делать дирижабли. Стране нужны пружины, чтобы запускать-выстреливать дирижабли в небо. Пынечки тоже нужно отобрать. Вдруг ты попытаешься пынечкой сбить наш дирижабль? А так пилоты дирижаблей буду сами этими пынечками стрелять по врагу.

По телевизору сказали, что в некоторых областях люди прячут раскладушки или уходят с ними в лес, в зелёнку. Не верю в это. Врут наши любимые средства массовой информации. Нет такого тренда, такой движухи. Вот если бы телевизоры отобрали...

выпустил в производство Развернушку

Ринат Барабуллин наконец-то доработал и выпустил в производство свою Развернушку Остронаправленного Гидравлического Удара. Ещё пятнадцать лет назад он разработал и довёл до ума Складывалку Остронаправленного Гидравлического Удара. С самого начала предполагалось, что Складывалка придёт в комплекте с Развернушкой. Но проблемы финансирования, неблагоприятные климатические условия и другие факторы помешали работе над Развернушкой.

Складывалкой оснастили всех и вся. Каждый уважающий себя гидравлик (а особенно – выпускник Университета Гидравлики города Чашки Свердловской области) обладал одной, а то и двумя Складывалками. Повсеместно стало легко складывать бельё после стирки и глажки, запчасти на стеллажи складов, парашюты для прыжков с самолёта, раскладушки после сна и даже... складывать дроби в школах и университетах. Мужчины приходили на свидание с девушками в идеально свёрнутых-завязанных галстуках. После этого им требовалось более трёх суток, чтобы раздеться. Обнажённые девушки мёрзли, но терпели, ждали, умоляя своих ухажёров не использовать Складывалку для других частей своего гардероба. Дети шагали в школу с тяжеленными ранцами, в которых было сложено всё... на десять лет вперёд.

Не хватало Развернушки. Поэтому парашютисты сами вручную развёртывали парашюты. Геологи сами развёртывали свои лагеря на склонах гор. Военные развёртывали свои [Секретно! Вычеркнуто!].

Андрей Резцов родился в 1963 году в поселке Лобва Свердловской области. Окончил мехмат МГУ, кандидат физико-математических наук. Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Вышгород» (Таллинн), «Новый мир». Живет и работает в Сиднее, Австралия.

Если вдруг при ходьбе язычок ботинка завернётся не в ту сторону, люди либо падали и лежали, либо шли дальше босиком. Сам Ринат развёртывал под дождём свой зонтик и ждал, когда же Ринат доработает Развернушку. Недовольство и брожения нарастали. Народ дольше терпеть уже не мог. В некоторых районах стали находить Складывалки, сложенные внутрь себя же.

И вот сегодня со стапелей чашкинского объединения Гидравлика сошли первые двадцать два миллиона Развернушек. Народ развернул свои кошельки и начал их покупать. Баянисты развернули меха своих музыкальных инструментов. Было отмечено несколько побегов из тюрем, где система защиты перестала работать. Несколько банков было ограблено людьми всё ещё в тюремных робах. Дети объелись шоколадом «А ну-ка Разверни», который не надо больше разворачивать. Самолёты Аэрофлота, летевшие через океан в Канаду, тоже вдруг развернулись. Но это ерунда.

Я развёрнуто рассказал о новостях Гидравлики.

украл ещё прошлой осенью

Со вчерашнего дня являюсь обладателем двух велосипедов. Один украл ещё прошлой осенью. Другой вот вчера. У старушки. Корзинку с котятами ей оставил.

Шучу я! А вы и поверили. Так-то вы обо мне думаете. Наплёл я всё, навыдумывал. У меня три велосипеда, а корзинка была пустая.

Сейчас поверили? А зря. У меня четыре ворованных велосипеда и ещё три... позаимствованных. В корзинке был ещё один маленький велосипедишка, грудной. А мне его нечем кормить. Нет велосипедного молока. Только солидол, немного бензина и набор ключей. Оставил в корзинке. Приду за ним через год.

Снова вас облапошил! Я толком не знаю, сколько у меня не моих велосипедов. Они сами сбегают от своих хозяев (обвиняя их в жестоком обращении – ногами пихаются) и сбегаются в мой гараж. На нём так и написано: «Приют “Привет, Велосипед!”».

Часто приходят полицейские, допрашивают. Велосипеды или молчат или скрипят молча. Полицейские уходят, измазанные солидолом. Я их понимаю. Работа такая.

Я всё нежнее и нежнее тебя люблю

Я всё нежнее и нежнее тебя люблю. Задумаюсь, отвлекусь, БАЦ! Ты сразу же выдаёшь мне замечание: «Нежнее надо, товарищ, любить!» Я и татуировку сделал «Любить Нежнее!», и самовнушение освоил. Купаюсь в проруби зимою на Крещенье, плыву, мёрзну, а в голове «Н-н-не ж-ж-жне й-й-е!». Зашёл вчера в книжный магазин и купил все книги о нежности. Одну даже в картинках. На стене у меня висит кумач, а на нём размашисто: «Только люди особой нежной породы могут любить нежно! Карл Маркс». Пью кофе и нежно так втягиваю горячий напиток, чтобы потренироваться в нежности. Ем рыбу копчёную, на газетке её распластав. Руки в жиру, капли капают на газетку. А я нежно выбираю мясо с костей. Марширую на полигоне, скоро стрелять. Вон уже мишени подняли. Я их нежно так положу в десяточку, пусть полежат, дырчатые мои.

философия кутерьмы... заблестели ласково пижамные брюки

философия кутерьмы.
было странно смотреть на народные массы.
заблестели ласково пижамные брюки.
аистов из гнезд выносит снегопадом.

в электричках проверяли на наличие трусов.

если трусы не наличествовали, выдавали солонку по цене детского билета.

на следующий день один молодой хипстер ехал в электричке без трусов, но засунул в штаны воронку. шутки ради.

он был проверен, но отказался получать солонку. решили посоветоваться с самым главным начальством.

прилетела сотня вертолётов и выложила собою в небе «воронка – не солонка!».

хипстер получил солонку и леща.

заслуженный профессор ехал со своей старой перечницей. оба в трусах. ничего они не получили.

из-за проверок движение электричек застопорилось. многие опоздали на службу. всех расстреляли.

почти всех. двоих опоздавших не расстреляли, а наоборот, повысили в звании.

за то, что они прямо в электричке во время проверки разоблачили друг друга.

кое-кто решил идти пешком. догнали и проверили. беструсовым пешеходам выдали по две солонки.

у американского посольства задержали того, кого надо. выдали три солонки.

белАрусы приостановили поставку соли. китайцы ускорили отгрузку солонок.

по просьбе населения все электрички отменили.

бывшая телеведущая призналась во всём. ей выдали четыре солонки.

Переговоры о буферной зоне

Переговоры о буферной зоне зашли слишком далеко. Раньше, до переговоров, Ринат Барабуллин мог, проснувшись утром, радостно посмотреть в сторону кухни, где на столе стояла банка кофе Нестле. Он мог прямиком пойти туда, вскипятить чайник, положить в чашку (не путать с городом Чашки Свердловской области!) пару ложек (с верхом) кофе. Залить кипятком, размешать и пить. Сейчас же (если вскоре договор о буферной зоне будет подписан и ратифицирован) Ринат будет вынужден до пития кофе почистить зубы, умыться (опускаю другие физиологические подробности), выйти на пробежку-зарядку, совершить эти пробежку и зарядку, принять душ, постучать аккуратно в комнату тёщи и пожелать ей доброго утра, выслушать, что она видела во сне и как себя чувствует по этому поводу. И только после этих процедур и действий Ринату разрешено пойти на кухню, вскипятить чайник, положить в чашку пару ложек (с верхом) кофе. Залить кипятком, размешать и пить.

Маленький самовоспроизводящийся изобретатель

Маленький самовоспроизводящийся изобретатель Модерн-Кулибин всегда легко самовоспроизводился, но в маленьком формате, не увеличивался. Дёрнет Модерн-Кулибин за рукоятку маленького самовоспроизводящегося аппарата, задымит аппарат, пустит вонючую струю дыма и смрада. Но, при этом, Модерн-Кулибин легко самовоспроизводится. Удовлетворённо погладит изобретатель Модерн-Кулибин свои самовоспроизведённые телеса, почешет там, где чешется. И вновь он готов самовоспроизводиться. Ухает Модерн-Кулибин, выделяет регулярно жёлтую струю отработанной самовоспроизводильной жидкости, ждёт следующего цикла самовоспроизведения. Бухтят в соседних ангарах деффки, обсуждая успехи в самовоспроизведении Модерн-Кулибина. Деффки зря бухтеть не будут.

вечность и бесконечность

у каждого своя вечность и бесконечность

потому что так надо, а то все ринутся в одну на всех вечность и бесконечность, а они же не резиновые

но беспечность у всех одна на всех, она же беспечная, какой с неё спрос?
беспечно в вечность не попадёшь, хоть вечно беспечно пытайся

Сказка о Принцессе с деревяшкой в башке

Сказка о Принцессе, живущей с деревяшкой в башке. Так уж получилось, что принцесса однажды сильно устала и легла вздремнуть в сарае, где хранились дрова. А дрова эти были не простые, а берёзовые, свежесрубленные. И продолжали они расти. Проснулась принцесса, а у неё в башке бревно. Никто не удивился, так удачно получилось. Решили ничего не менять – ни дрова, ни принцессу.

И принц для неё нашёлся заморский с канделябром в плечевом суставе. Скакал он как-то, участвуя в рыцарском турнире, и зацепил плечом канделябр. Царапина была небольшая, но ранка набухла и чесалась. Долго ли, коротко ли, а выросло из плеча принца канделябровое дерево. Врачи советуют не выкорчёвывать, канделябр может пригодиться, когда случатся перебои с подачей электроэнергии.

И родились у них дети, все с чем-то где-то. Старший мальчик (наследник престола) с умывальником эмалированным вместо мизинца левой ноги. Шьют принцанёнку специальные сапоги в Испании. Но он держится молодцом, играет в футбол за сборную страны. Никто из зрителей не заметил ухудшения игры команды.

Дочка – прЫнцесса, среднее дитя из трёх – полюбила нанотехнологии и сильно в них втюрилась. Посмотришь на неё – нано! Скосишь взгляд вбок – технологии! А на самом деле всё не так уж и плохо.

Младший сын (любимчик родителей да и всего народа страны) дружит со всеми-всеми, а те отвечают ему тоже дружбой. Принца друзья ласково называют Зажим, а также Ноготь. Приедет принц в гости к кому-нибудь, зайдёт вовнутрь, а оттуда лишь слышны вопли радости хозяина и крики принца с друзьями: «Зажим!», «Ноготь!» Уедет маленький принц сотоварищи, а хозяин остаётся, плачет от умиления, ждёт возвращения компании, не спит, не ест.

Мамаша их с бревном в башке навыдумывает разных новшеств, чтобы население плодилось и размножалось, хорошело и не роптало. Из народа от счастья такого радость так и прёт, словно кобыла или боров. А папаша канделябрнутый вроде бы и не злоупотребляет (сами знаете, чем), но держится орлом, молодцом, молотком, а «кровь с молоком» – это тоже про него.

на улицах города сохнущие вёсла

на улицах города — сохнущие вёсла, но рядом нет водоёма. нет ни реки, ни озера, ни моря.
капитаны есть – им нравятся их капитанские фуражки. почти уверен, что все эти капитаны – шарлатаны.
у всех в этом городе морская болезнь. в настолько сильной форме, что она не позволяет забыть об этой болезни, даже когда вёсла и капитаны не видны.
в жаркие дни лета тела капитанов расширяются при нагревании. фуражки саботируют расширяться.
капитаны стараются снять фуражки задолго до начала расширения капитанских тел. без фуражек они смешны.
некоторые фуражки привинчены к голове капитана. их так просто не снимешь. такие капитаны тоже смешны, но по-другому.

Рафаэль МОВСЕСЯН

***

мир начинается с описания,
и предметы глядят в ответ.
что, мол, уставился?
потом рождается рифма,
и через мгновение все обнимаются,
как в индийском кино.
удивляются, что столько лет
жили на свете
и не знали, что братья.

***

спит река. излучина – как локоть.
продавились кистями холмы.
и давай по-вологодски окать
сквозь сонливый паводок весны.

открывает очи в полудреме,
синими на синее глядит.
и в своей темнеющей утробе
красоту движения твердит.

из Екклесиаста

воды питаются хлебом,
который пускают по водам.
реки топорщатся к небу.
реки берутся измором.

месяцы, годы осады.
рыба питается рыбой.
и не заметит утраты.
и не почувствует гибель.

Рафаэль Мовсесян родился в 1987 году в Ереване. Окончил Московский государственный лингвистический университет (иняз) и ВЛК при Литературном институте им. Горького. В 2015 году поступил в аспирантуру Российско-Армянского (Славянского) университета (Ереван) по специальности «Русская литература». В 2016 году поступил в Дипломатическую школу МИД Армении. Публиковался в журналах «Арион», «Волга», «Знамя», «Новая Юность», «Гвидеон», «Радуга» (Киев), «Литературная Армения» (Ереван) и др. Победитель Всероссийского поэтического конкурса им. Николая Рубцова (Москва, 2009), финалист поэтического гала-турнира «Пушкин в Британии» (Лондон, 2013). Живёт в Ереване.

после в уставшие воды
входим по пояс, по шею.
мы им приносим свободу
после минут униженья.

только не выйти отселе.
только не выйти отныне.
воды – как наши постели.
волны – как наши гордыни.

честно, как будто простуда,
и неизбежно, как кашель,
кто-нибудь каждое утро
ищет ракушки на пляже.

кто-нибудь хлеб опускает
в воды все те же – не те же
и поскорей убегает.
и прибегает все реже.

Боже, какая отрада!
Боже, какая же скука!
все, что бывало когда-то
в прошлом осталось как будто.

Ереван, 8. 01. 2016 г.

***

расхристанные облака,
как невеселые кочевники,
бредут откуда-то сюда;
остры их копий наконечники.

мы притаимся под зонтом,
чтоб облака нас не заметили.
июльским прошлогодним днем
здесь были варвары не эти ли?

***

как будто русский снег над Ереваном.
так солнце было ереванским под Москвой.
в пространстве незаконченном и рваном
я заглушаю разницу собой.

с женою нынче клеили мы окна.
мне все казалось – вдруг я упаду,
и на снегу моя спина промокнет,
и я останусь навсегда в саду.

Андрей ФАМИЦКИЙ

***

как ярко вспыхивает спичка
перед кончиною своей,
всем истеричкам истеричка!
уймись, прикуривай скорей.

так пепел падает на брюки,
так дым летит под потолок.
так жадные до света руки
опустошили коробок.

***

струйка дыма и горстка пепла,
вот и все, что осталось от.
жизнь могла быть великолепна,
но теперь и она не в счет.

чаевые официанту,
зажимая в руке обол.
нет на колу и нет на фанту,
но зато посмотрел футбол.

счет ноль-ноль. проиграла урна
сочинений на сто томов.
это очень литературно,
это очень о том, что мертв.

***

пока я кофе варю на кухне,
пока две нимфы за стенкой спят,
в окно луне говорю: «не тухни,
я тоже выйду в вишневый сад».

мы, может быть, не увидим фавна,
но поболтаем о том о сем.

Андрей Фамицкий родился и живет в Минске. Публиковался в журналах «Арион», «Волга», альманахах и электронных журналах. Автор книг стихов «Звезды для одного» (2015), «Хворост» (2015). Главный редактор литературного интернет-портала «Textura.by». Лонг-лист поэтической «Премии Русского Гулливера» (2014), лонг-лист премии «Дебют» (2015), лонг-лист «Русской премии» (2016).

ты в небе светишься триумфально,
а я все думаю о простом.

какие ночи, луна, настали,
нас будто тянет на высоту,
а поменяйся с тобой местами,
весь век провел бы в земном саду.

через мгновенье проснутся нимфы,
а я не помню их имена.
не покидая свои олимпы,
ты улыбаешься мне, луна.

***

фантик среди листвы,
тише, не шелести,
нету твоей Москвы,
хочешь туда – лети.

мерзнуть среди корней
будешь зимою тут,
там – с мостовых камней
в урну к другим сметут.

***

строительство водонапорной башни,
скажи им: «Вавилон», – и не поймут.
а я вчера водил с крестьянкой шашни,
но кажется, мне мал ее хомут.

заметили на сельской дискотеке
мои интеллигентские бока.
вдруг почему-то вспомнились ацтеки,
их жертвенники...
я сказал: «пока».

покачивая перьями на шляпе,
духами и туманами дыша,
встречает незнакомка в книжном шкапе.
сто лет прошло, а как ты хороша!

Воздух

Ф.Ч.

1.
не музыка, но музычка,
хоть и в тебе есть яд –

не с тем ли ядом кружечка
и рюмочка стоят?

звучи, играй на празднике
свободы от щедрот.
мы проиграли в классики,
и воздух вяжет рот.

2.
то ли от воздуха, то ли от водки,
то ли от скрипа осин
снится мне: друг из далекой слободки,
прочь от своих палестин,

в гости приехал, в стране двуязычной
я угощаю его
воздухом пинским и водкой столичной,
скрипом пера своего.

но просыпаюсь, как муха в стакане,
выбитый из колеи,
лишь над его нечужими стихами –
инициалы мои.

***

облако входит в облако,
облаком становясь.
что до стихов – два столбика,
чтобы наладить связь

с облаком, с небом, с космосом,
с теми, кто с нами врозь.
с тем, кто чудесным образом
всех нас прошел насквозь.

Владимир КОРКУНОВ

СЮЖЕТНЫЕ МЕТАХОДЫ В «КАПСУЛЕ ВРЕМЕНИ» МАРИИ МАЛИНОВСКОЙ

Книга, подборка и цикл – три принципиально разные формы высказывания, сходящиеся в одном. Хорошо составленный сборник, равно как и профессионально собранная журнальная публикация, не говоря о единстве цикла – подразумевают законченность, смысловую и художественную общность. Поэтому целесообразно изучать не только отдельные издания поэтов и журнально-газетные репрезентации их просодии (что происходит, к сожалению, реже), но и авторские циклы – из-за единых, происходящих в каждом из этих базисов, процессах. При этом объём авторского высказывания не ведёт к симплификации анализа; напротив, у нас есть возможность нагляднее увидеть и изучить токи, пульсирующие в жилах текста.

Мария Малиновская в последние годы выступает в печати исключительно подборками, каждая из которых эстетически разнится – в первую очередь, в поисках своего уникального голоса и творческого метода. По большому счёту, перед нами создающееся эстетически-художественное пространство, следить за которым минимум любопытно. Если обратить внимание на корпус опубликованных ею текстов[1], заметно уплотнение поэтического пространства (от просто высказывания до насыщенных аллюзиями и внутренними реминисценциями текстов). Смысловой нарратив в последних стихотворениях выстраивается чаще дифференцированно, чем линейно, наконец, место действия, дробясь и наслаиваясь одно на другое, обретает амбивалентную сущность. Эти процессы наиболее характерны для цикла (диптиха) Марии Малиновской «Капсула времени» («Кричащий табор душ-переселенцев ...»)[2].

На мой взгляд, в нём наглядно проявляются элементы идеостиля Марии, находящегося: а) в стадии формирования, б) когда автор находится в поиске идеального для него эстетического и художественного решения творческой задачи (что может в дальнейшем в корне изменить поэтику Малиновской), в) но, тем не менее, сложившегося в данном случае в полноценную художественную реальность.

Архитектонически он составлен из двух частей, первая – написана белым стихом, вторая – с использованием рифмы. Смысловая связь также дискретна, но в то же время едина – переклички и внутренние цитаты связывают как отдельные микросюжеты первой части диптиха, так и находят отражение во второй, в свою очередь состоящей из двух сегментов, которые, впрочем, объединяются на уровне словесного ряда. Визионерство находится над вещностью, тематически цикл вращается вокруг взаимопроникаемых понятий жизни/смерти/убийства/времени. И памяти.

Наиболее глубокая и многослойная часть цикла, снабжённая множеством ключей для толкования, – первая. «Кричащий табор душ-переселенцев/ кочует по телам больных и спящих». Время (жизнь) накладывается на безвременья (души = условная смерть[3]). Общая локация-подпространство: тело-транслятор, в котором собственная душа периодически уходит в тень (или переселяется?), освобождая место для других.

> Наутро просыпаясь не собой,
> подолгу смотришь сквозь чужую память,

[1] Подборки Марии Малиновской, учитывая нашу же оговорку «в последние годы» (примем за них 2014–2016 гг.) публиковались в «TextOnly»,«Урале», «Интерпоэзии», «Гвидеоне» и др.

[2] Диптих опубликован в антологии Массимо Маурицио disAccordi. Antologia di poesia russa 2003–2016. – Maggio, 2016. – P. 288.

3 Мне кажется важным не делать равенство между душой, находящейся в подпространстве, и смертью обладателя души. Так, остаётся открытым вопрос, в какое состояние переходит дух больного шизофренией, когда его телом владеет другая часть сознания? Поэтому я буду придерживаться термина «условная смерть», оставляя возможность для более широкого толкования текста.

где тормоза, удар, звон стекол или
ночь с бледным и тщедушным существом:
бургундское, Годар и пробужденье
в манеже детском с мягонькой пеленкой,
с колючей проволокой, а чуть выше –
с гирляндами веселых погремушек
под напряженьем.

Идентичность, что важно, не потеряна, поскольку фокальный персонаж отдаёт отчёт, что смотрит «сквозь чужую память», значит, остаётся на авансцене, пусть и не солирует. При желании, в отрывке можно усмотреть несколько душ (условных смертей). Одна – обозначенная штрихами – околосмерть: «тормоза, удар, звон стекол» – «выживший». Вторая, отделённая союзом «или» (примем это за аксиому при определении новой сущности), открывает сюжетную «ветку», связанную с «бледным и тщедушным существом». На данном этапе атрибутика каждой из фабульных веток явно недостаточна для толкования. Во втором случае показаны: бургундское (надо полагать, пили), Годар (предположим, смотрели), а что дальше: секс/смерть/жизнь/сон – неизвестно. Наконец, происходит пробуждение, и здесь, если отталкиваться от присутствия первоначальной сущности – протагониста, – следует говорить о третьем сюжетообразующем словесно-образном ряде. Это стоит принять за аксиому, поскольку, если нам явлена амбивалентная реальность (и тогда продолжается линия «существа»), нельзя исключать и пробуждения персонажа во время сна.

Стоит отметить и ряд композиционных переходов: слова «или», «пробужденье», далее – «и заплачешь»; это собственный словесный ряд, целью которого является разделение сущностей. Одновременно он выполняет объединяющую цель, привязывая персонажи-души к «телу-приёмнику».

Итак, протагонист просыпается в детском манеже, отороченном колючей проволокой: «гирляндами веселых погремушек/ под напряженьем» – вполне себе нацистское «веселье», навевающее мысли об Адорно. Впрочем, если представить физическую оболочку как транслятор (или, как мы сказали чуть раньше, приёмник), подобная «клетка духа» вписывается в общий антураж безумия. Тем более что в зачине цикла оговорено, что души-переселенцы приходят к спящим и больным: чем не локация для пациента?

Часть с манежем мне видится ключевой, поскольку в ней прописано раздвоение личности/реальности протагониста:

...смотреть, поджав колени, на боку,
как мечется вдоль проволоки это –
в слезах, кусая пальцы, голышом,
и слушать излиянья своему
истерзанному таинствами телу,

как мученики – собственным иконам,
где им нельзя и опустить глаза.

«Истерзанному таинствами» – лекарствами или потоком чужих душ?[4] «Это» предстаёт в образе собственного духа (вот одна из многочисленных двойственностей: образ в образе образа), отделившегося от тела, но не порвавшего с ним, а значит, не влившегося в поток душ-переселенцев. Мученичество – также многозначно, в нём не только объединяются страдания тела и духа, но и обозначается некий ореол святости, поскольку использовано слово внешнего дискурса: «икона». Протагонист сравнивает себя со священномучеником, а к их лику причислялись, как известно, погибшие за веру.

До сих пор мы пытались осмыслить сюжетные и словесные коллизии линейно. Однако вряд ли в этом заключалась задумка поэта. Слово «пробуждение» композиционно расположено в том же стихе,

[4] При желании, трактовок можно придумать куда больше: это и самоистязания, и тогда «детский манеж» следует воспринимать как метафору; и некая злобная игра, в которой протагонист – заточенный узник и др.

что и бургундское с Годаром, а значит, отчасти продолжает сюжетную линию «бледного и тщедушного существа»[5]. (Предположим, после Годара следовал секс/сон, следом – пробуждение в манеже и – истязания.) Нахождение в «карательной колыбели» можно связать и с последними стихами первой части цикла: «тебе заломят руки сзади двое,/ и вступят голоса и женский крик» – их можно трактовать минимум двойственно (как и всё в этом цикле); в данном случае – как условную стадию сумасшествия.

Композиционное единение протагониста и «существа» говорит об их особом сближении, тем более что сущность проявляется в теле-трансляторе неоднократно (позднее: «через плечо два месяца спустя»)[6].

Следующие строчки воспринимается как развилка: «А можно только плакать. И заплачешь:/ ведь вот она – симфония твоя/ для скрипки и стеченья обстоятельств». При линейном толковании мы остаёмся в теле «мученика за веру» (протагониста), будущее которого в цикле не прописано, но его можно отыскать в другом стихотворении Марии Малиновской – «Если это продолжится, то меня не останется жить...», поскольку «...к тебе придёт музыка...»

(Продолжится что – страдание за веру? впускание в себя чужих – или всё же своих? – душ-переселенцев?)

Линия «симфонии», впрочем, находит развитие и в рамках цикла и относится к сюжетной линии «выжившего» – в финальном отрезке условная жертва сочиняет симфонию на мотив преступления визави и даже поёт: «Ты запел в забытьи. Я не слышал таких мелодий». Это очередной переход от тела-транслятора к душе-переселенцу, выделенный синтагматически. Отличить эту сущность от «существа» позволяет и гендер: если в случае с автором симфонии он и его условный убийца – мужчины, то «существо» – или андрогинно-бесполо, или является женщиной, учитывая её/его антропометрические характеристики и словосочетание «женский крик», который можно принять на его счёт.

Разумеется, и это уже на аверсе, сцену в манеже можно трактовать и как пространство «выжившего», которого условный убийца помещает в подвал – со всей соответствующей «декстеровской» атрибутикой.

Явных намёков, кроме композиционных «обрядов перехода» к единству этого триумвирата – протагонист, «существо» и «выживший», – нет, однако многомерность ткани стиха позволяют увидеть в этом – центральном для первой части – фрагменте *реальность пересечения*, в которой так или иначе объединяются приходящие в тело-транслятор души.

Очевидно, были и другие: «Два месяца ночей в тебя войдут/ и выйдут, каждый раз меняя память», и потому слёзы «существа» («где будет плакать кто-то/ неимоверно бледный и тщедушный») спустя временную перемычку воспринимаются протагонистом-мучеником как нечто отдалённое и полузабытое. Слёзы следует трактовать как ещё один намёк на связь «существа» с протагонистом, чья душа металась «в слезах» вдоль проволоки манежа[7].

Следом Мария показывает гибель души «бледного и тщедушного существа», подчёркивая, что протагонист больше никогда им не проснётся. Смерть, в отличие от «выжившего», – скорее духовная, «под разрыв изношенного сердца/ мелодии»; сродни сумасшествию: «тебе заломят руки сзади двое,/ и вступят голоса и женский крик» (это тоже в какой-то мере симфония, ведь Мария употребляет слово «вступят»).

На этой стадии цикла появляется новый персонаж – дирижёр. Он же – протагонист в указанном выше стихотворении Марии «Если это продолжится...», что усиливает связь образа автора с гешталь-

[5] Есть определённый соблазн объединить все сюжетные линии в одну и представить их как разные стадии распадающейся – когда-то единой – души. Тогда и сущность, попавшая в аварию, и «существо», и протагонист – едины. Это, однако, противоречит зачину цикла о «таборе душ», который кочует, увы, не по телу, а по телам.

[6] Более того, композиционно «существо» сближено и с «выжившим» через связь союза «или».

[7] А если наделять амбивалентным смыслом словосочетание «одновременно всё», то и – «выжившим», который мог находиться в манеже.

том «бледного и тщедушного существа» (и, одновременно, «выжившего» – ведь симфонию сочиняет именно он)[8].

В мизансцене «концерта» (очередное явление условно умершей души) именно «существо» находится в зале, и именно *оно* не выдерживает взгляда обернувшегося – ждавшего его – дирижёра.

Так не является ли протагонистом именно «бледное и тщедушное существо», не оно ли становится телом-транслятором, истинной сущностью, всё реже навещающей самоё себя? При взгляде с такого ракурса протагонист, явленный изначально, перевоплощается в одну из душ, проникающих в тело «существа», которое постепенно теряет связь с изначальным – собственным – духом. Этот смысловой поворот стал бы осью нового витка рассуждений, не будь у цикла второй части, сюжетно разделённой на сцены «существа» с дирижёром и «выжившего» с убийцей.

Таким образом, при линейном восприятии текста мы имеем дело с тремя фокальными персонажами и двумя их оппонентами: протагонистом, «существом» (оппонент – дирижёр) и выжившим (оппонент – убийца). При этом символика смерти позволяет говорить о разной природе гибели: скорее духовной («существо») и скорее физической («выживший»), в то время как объединяющий их протагонист (максимально сближенный с образом автора персонаж) гибнет *за* текстом – в стихотворении «Если это продолжится...», объединяя в своём уходе черты обеих душ.

Во второй части цикла внимание сосредоточено на его центральных сущностях. («Тело-транслятор» за ненадобностью выводится за рамки текста.) Композиционно Мария отделяет её от первой части введением рифмы, а между собой объединяет общим зачином: «Годы спустя возвращаться к тебе...», что не позволяет сыграть в анахроническую игру, перемешав временные обстоятельства цикла. Их следует воспринимать в отрыве от первой части, но лишь в той степени, в которой сон отрывается от яви, а душа от тела.

Слово «концерт» в анализе первой части цикла закавычено мною неслучайно, поскольку в продолжении говорится о его переносной сущности: «Я дирижировал мимикой в этот раз/ Был в наручниках». Наручники – это символ чего, (само)суда? Тогда явление «существа», которое признаётся, что появится на концерте «после смерти», принимает иное значение. Сущность-душа проникла в «тело-транслятор» и через него – на концерт; при взгляде дирижёра происходит развоплощение; гибель души. (Тогда логично предположить, что именно дирижёр провёл ночь с «существом» – с бургундским и Годаром.) Это новое видение уже произошедшего события – сцена концерта-суда, на котором встречаются «жертва» и «убийца». Дирижёр ещё жив, его не поразила мелодия «выжившего»[9]. Кольцо начинает затягиваться[10].

Заключительная часть цикла завершает сюжетную линию «выжившего». Если говорить об обязательности условной смерти, то её предположить не сложно: бросить «машину на отдалённом съезде» могла и душа-переселенец, оставив в автомобиле исковерканное тело хозяина. Вполне себе *стечение обстоятельств*. Как и последующие события – наступающий вечер, сочинение симфонии «на мотив/ твоего преступленья». И – явная симпатия/притяжение персонажей: «Просто побыть какое-то время вместе/ и в эти минуты не вспоминать ни о ком./ Молча смотреть сквозь тлеющие поленья,/ непроиз-

[8] Таким образом, стихотворение «Если это продолжится…» – не только объединяет персонажей «Капсулы времени», но и перемешивает их между собой, приближая к выводу: табор душ – он, конечно, имеет место быть, но каждая из них, проникая в протагониста, становится частью его сущности и приобретает его черты. Впрочем, это лишь одна из возможных трактовок стихотворения, и его следует рассматривать отдельно от цикла, имеющего свою амбивалентную стройность. Впрочем, не исключено, что именно в этом тексте кроется один из ключей к пониманию цикла.

[9] Мир этого диалога – посмертен, поскольку смерть ожидает и принявшего музыку дирижёра из стихотворения «Если это продолжится…»

[10] Есть соблазн перемешать всё ещё сильнее, объединив «существо» с «выжившим», а дирижёра с убийцей «выжившего», ведь в каждом случае гибели звучит мелодия. Тогда иное значение обретает симфония из первой части цикла, рождающаяся через слёзы и констатацию собственного бессилия перед обстоятельствами. Именно эта музыка убивает дирижёра из стороннего стихотворения; в то время как симфония «выжившего» ведёт к его собственной смерти.

вольно за плечи тебя обхватив». Преступление – постфактум, поскольку перед нами душа в состоянии «годы спустя...» Хотя сам его факт не должен ставиться под сомнение между околосексуальным подтекстом и общей двойственностью происходящего:

– Почему ты меня не убил, а в постель перенес?
– Ты запел в забытьи. Я не слышал таких мелодий.

Преступление теряется где-то между «постелью» (и тогда «выживший» вполне мог предстать «существом») и словами: «тебя же потом оправдали». Пересечение мотивов и подсмыслов очевидно: дирижёр из первой половины второй части цикла – «в наручниках» и он «всех потряс». Если следовать логике смешения реальностей и пространств, перед нами предстаёт (может предстать) единая сущность. Тогда «бледное и тщедушное существо» – мужчина; союз «или» из начала цикла исполняет декоративную функцию, связывая разные события из жизни *одной* души. Тогда и «забытьё» наступает после бургундского и Годара. И тогда мы вправе говорить о метасвязи[11] сюжетных линий.

При линейным же трактовании следует поместить персонажей в органичные им сюжетно-временные отрезки. Тогда, повторюсь, преступление происходит между постелью – намёк на мужеложство – и оправданием в суде. Преступление – не обязательно убийство (об этом в тексте явно не сказано), но ведь *как-то* «выживший» стал душой, то есть, пользуясь нашей терминологией, *условно умер*.

Дальнейшее следует трактовать двойственно. Физическое убийство нивелируется фразой: «я всё отрицал». Значит, «выживший» условно умер после суда (и попал в первой части цикла в «тело-транслятор») или на суде? Последнее, если выделить «концерт-суд» в отдельную парадигму, общую для персонажей, предстаёт локацией, в которой развоплощается/духовно гибнет «существо», что опять-таки сближает сущности цикла. В таком случае манеж в сюжетном слое «выжившего» предстаёт как место пытки, следующей за постелью или даже включающей её. (Собственно, тогда и был смысл что-то отрицать.)

Последняя дуальность содержится в стихах: «Не можешь простить. Но тебя же потом оправдали./ Я всё отрицал». Первое словосочетание о «прощении» (здесь оно максимально близко в лексическом аспекте подходит к «прощанию») имеет неочевидный подтекст: жертва меняется местами с хищником[12]. Иначе – за что «не можешь простить»?

Логичнее выглядит метафизическая невозможность прощения: когда жертва а) не приняла уготованные ей муки или в) не выдержала духовной пытки (сближаются смерть протагониста в стороннем стихотворении и намёк на мученичество в сцене с манежем), сумев выбраться из подвала/манежа. Куда потом неоднократно возвращается – убийца или жертва, влюблённая в убийцу, или душа жертвы. Ведь только два состояния тянут к местам памяти, где произошло: самое ужасное или самое прекрасное в жизни.

[11] Под метасвязью я понимаю формат сюжетных линий, в который включены несколько взаимозависящих друг от друга нарративов, выполненных с использованием различных словесных рядов (а значит, и ракурсов).

[12] Скорее ментально, чем физически.

Анна ГОЛУБКОВА

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ КАК ПЕРВЫЙ РУССКИЙ БЛОГЕР

Иногда кажется, что для XX века именно Василий Розанов – писатель, мыслитель – стал «нашим всем», то есть занял в русской культуре примерно то же место, которое в XIX веке занимал Пушкин. Нет практически ни одного явления в современной русской жизни, к которому нельзя было бы подобрать соответствующую цитату из Розанова. Более того, это будет очень актуальная цитата, потому что многие проблемы столетней давности (например, взаимоотношения церкви и общества, власти и общества, коррупция, проблема сохранения частной собственности и пр.) практически в своей первозданности перекочевали из начала XX в начало XXI века. Да и сам способ высказывания мыслей у Розанова вполне современен – не зря его частенько называют первым русским блогером[1].

И это вполне справедливо: хотя феномен общения в социальных сетях появился не так уж давно, все его основные черты были предугаданы и отработаны на практике именно Розановым.

Во-первых, это спонтанность записи. Как правило, тексты в соцсетях публикуются немедленно после их написания. Розанов также настаивает на непосредственности и непреднамеренности своего высказывания. Недаром «Уединенное» открывается следующей записью: «Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что “сошли” прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, – без всего постороннего... Просто, – “душа живет”... т. е. “жила”, “дохнула”... С давнего времени мне эти “нечаянные восклицания” почему-то нравились. Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, – и они умирают». Этот фрагмент, безусловно, мог бы послужить эпиграфом ко всему огромному корпусу записей в блогах. Философский по своей сути подход к словесной фиксации переживаний, сосредоточение на значимом, но трудно уловимом событии внутренней жизни выводят такую прозу на грань попытки иррационального постижения бытия как процесса. Конечно, это свойство произведений Розанова характерно отнюдь не для всех блогов, однако элемент нечаянности восклицания, то есть непосредственного выражения в записи продолжающейся в данный момент эмоции является главной особенностью поведения в социальных сетях.

Во-вторых, Розанов разработал жанр поста в соцсетях – короткой, емкой и очень эмоциональной заметки, обращающей на себя внимание и хорошо запоминающейся. Конечно, и до Розанова существовали развернутые афоризмы и небольшие эссеистические наброски, однако до крайней степени совершенства этот особый жанр довел именно он. Фактически все современные блогеры, пишущие по-русски, идут в русле розановской традиции, потому что после «Уединенного» и «Опавших листьев» что-то новое в этой сфере придумать крайне сложно. Кажется, что Розанову доступно абсолютно все – любое душевное движение, любой оттенок чувства, любую мысль он легко облекает в слова, для него нет ни запретных тем, ни слишком интимных подробностей: абсолютно все может стать и становится литературой. Надо сказать, что это размывание границы между жизнью и ее словесным описанием весьма беспокоило и самого Розанова. Он даже заметил в «Опавших листьях»: «...всякое переживание переливается в играющее, живое слово: но этим все и кончается, – само переживание умерло, нет его». Литература словно обладает способностью исчерпать жизнь, иссушить ее живую энергию. Именно поэтому неоднократно в своих произведениях Розанов говорил о том, что литература отняла у него жизнь, что если бы он мог прожить свою жизнь второй раз, то ничего бы не писал. И в современном мире, кстати, существует проблема взаимодействия мира реального и виртуального. Излишнее увле-

[1] См., напрмер, разговор на «Радио Свобода» от 17.05.2004: http://www.svoboda.org/a/24203665.html

чение блогами и в наше время способно почти полностью заменить человеку живую жизнь. То есть и здесь Розанов, жалующийся на засилье слов, на умаление вещей реального мира, вполне актуален.

В-третьих, интересно так же и то, что по своей форме эти заметки весьма современны: Розанов как бы предвидел технические устройства будущего. Например, под записями из «Уединенного» и «Опавших листьев» часто указываются не только место написания («на извозчике»), но и настроение, и даже то, чем автор занимался в момент появления этой мысли («за набивкой папирос», «за нумизматикой»). Соответственно возникает впечатление, что Розанов размещает свои записи в социальной сети со смартфона или другого мобильного устройства. В этом «блоге» не хватает только селфи, однако и тут Розанов предугадал будущий интерес к визуальному и разместил в «Уединенном» свой словесный портрет: «Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре, – и "сколько тайных слез украдкой" пролил. Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат кверху, но не благородным "ежом" (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого». Кроме того, Розанов в своих заметках часто публиковал письма к нему реальных людей, что с современной точки зрения вполне можно считать перепостами.

В-четвертых, именно Розанов в «Уединенном» и «Опавших листьях» обнаружил необыкновенную важность контекста высказывания. Он наглядно показал, что текст не существует сам по себе и что для его правильного восприятия важно знать множество дополнительных подробностей – место, время, настроение написания и др. И эта идея тоже опередила свое время и полностью реализовалась уже только в конце XX века. В самом деле, все мы сталкивались с тем, что один и тот же абзац читается совершенно по-разному в составе исходного текста и в перемещенном виде и что перепост с добавлением собственного комментария порой совершенно меняет смысл исходной публикации. Более того, значимым является сам акт размещения в своем блоге чужого текста. Таким образом, как видим, все основные формальные черты публикаций в блогах можно найти в эссеистической прозе Розанова. Конечно, называть «Уединенное» первым русским блогом было бы большой натяжкой, но тем не менее определенное сходство в форме выражения и принципах публикации здесь безусловно присутствует. Можно без преувеличения сказать, что почти каждый блогер пишет свое «Уединенное». Между тем прямые попытки многих писателей XX и начала XXI в. создать подобные же произведения практически во всех случаях оказываются неудачными. То есть индивидуальный стиль Розанова, как это и положено всякому талантливому писателю, в конечном итоге все-таки оказывается неповторимым.

Этот знаменитый стиль кажется абсолютно естественным, но для достижения этой естественности потребовались годы труда и огромный объем написанного. Вот, к примеру, фрагмент статьи 1892 года «Три момента в развитии русской критики», которая появилась в самом начале литературной деятельности Розанова: «Отделить в литературных произведениях прекрасное от посредственного и выяснить эстетическое достоинство первого – это составляло цель и смысл раннего периода нашей критики. Деятельность Белинского, многолетняя и плодотворная, была высшим выражением этого стремления; и так как в литературе наиболее существенным всегда останется именно прекрасное, – то, каковы бы ни были дальнейшие судьбы нашей критики, как бы ни углубилась она в своем содержании, эта деятельность никогда не будет затемнена и отстранена, но всегда и только – дополнена». А вот фрагмент одной из записей «Уединенного» (1912 год): «Что же потом и особенно теперь? Все эти трепетания Белинского и Герцена? Огарев и прочие? Бакунин? Глеб Успенский и мы? Михайловский? Исключая Толстого (который *в этом пункте исключения велик*), все это есть производное от студенческой "курилки" (комната, где накурено) и от тощей кровати проститутки. Все какой-то анекдот, приключение, бывающее и случающееся,– черт знает, почему и для чего. Рассуждения девицы и студента о Боге и социальной революции – суть и душа всего; все эти "социал-девицы" – милы, привлекательны, поэтичны, но "почему сие *важно*"?! *Важного* никак отсюда ничего не выходит».

Первый фрагмент как будто написан человеком, одетым в застегнутый на все пуговицы мундир, а второй – им же, но дома в распахнутом халате. Первый производит строгое и даже немного официальное впечатление, второй напоминает неформальное бормотание, обращенное, скорее всего, к самому себе. У первого текста есть четкий и понятный адресат, во втором вполне воплощена установка, заданная в самом начале «Уединенного»: «Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни

для кому»...». Риторические вопросы, повторы, подчеркивания и курсивы, постоянные замечания в скобках, разговорная интонация, сниженная лексика – все это признаки стиля «позднего» Розанова. Впрочем, существует достаточно четкая граница, отделяющая прежнюю манеру письма от новых стилистических поисков, – это посвященная Лермонтову статья 1898 года «Вечно печальная дуэль». Статья эта написана после сближения Розанова с кружком Мережковского и Гиппиус. Именно общение с декадентами и повлияло освобождающим образом на стиль самого Розанова. И несмотря на так и не изжитые консервативные пристрастия, Розанову удалось сделать очень много для раскрепощения стиля русской прозы, в силу чего он и остается для нас одним из самых важных писателей эпохи модернизма.

Что касается характерной для Розанова парадоксальности, то как часто бывает и в современных блогах, основной точкой организации этого большого текста является личность автора. Конечно, если читать и сравнивать разные тексты Розанова, то подчас возникает впечатление, что один и тот же человек ведет как бы два блога сразу – один с одними утверждениями, а другой – с прямо им противоположными. Потому что одного мнения и одновременно одной жизни такому автору мало и хочется прожить сразу несколько. Но в отношении Розанова это не совсем так. Конечно, когда мы читаем статьи и эссеистику второй половины 1900-х – начала 1910-х годов, то Розанов кажется виртуозным парадоксалистом и амбивалентным мыслителем. Чего только стоят статьи 1909 года, посвященные столетию со дня рождения Гоголя. Например, в одной статье цитатой из стихотворения Тютчева Розанов подкрепляет рассуждения о том, что Гоголь разрушил Россию и в частности «эти бедные селенья», а в другой статье говорится о том, что Гоголь своим творчеством, наоборот, «эти бедные селенья» спас и всячески поддержал. Однако это впечатление на самом деле ошибочное. При подобном рассмотрении оказывается, что все тексты Розанова выстроены по достаточно жестким принципам и всегда есть некие константы, которые не меняются никогда: это индивидуальность, религиозное начало, семья, теория пола, стихия/движение, жизнь/быт, слово/литература. И все эти сквозные темы так или иначе проявляются и в эссеистике Розанова.

Никаких вопросов по поводу литературного статуса «Уединенного» у современного читателя не возникает. Гораздо сложнее ситуация с блогами, которые пока что не рассматриваются как литературные произведения. Тем не менее блоги публикуются, и принципы их публикации можно разделить на две большие группы: в первом случае блог публикуется так, как он есть, иногда даже со всеми комментариями, во втором случае из блога извлекается определенная информация, которая затем специально обрабатывается для публикации. То есть блог при таком выборочном подходе оказывается чем-то вроде продвинутой записной книжки, сырым материалом, требующим последующей значительной обработки. Однако гораздо интереснее рассматривать блог целиком именно как своеобразное литературное произведение. Это произведение, во-первых, существует в постоянной динамике, во-вторых, оно включает в себя и мгновенную непосредственную реакцию читателей. Таким образом блог преодолевает и статичность, и монологичность обычной прозы. Это текучее и постоянно изменяющееся литературное произведение, неразрывно связанное со своим контекстом. Но самое главное – это произведение демократичное и многоголосое, потому что читатели принимают прямое и непосредственное участие в его создании. Кроме того, в социальных сетях роли писатель/читатель также находятся в процессе постоянного изменения. Автор текста, что самое интересное, может чуть ли не в тот же самый момент выступать и своим собственным читателем. Однако, как уже было отмечено выше, блоги пока не рассматриваются как литературные произведения, поэтому их причисление к литературе и дальнейшее изучение откладывается на неопределенное будущее.

В связи с этим возникает еще одна проблема, уже немного затронутая выше, – это соотношение жизни и литературы, прокладывание границы между ними или, наоборот, полное смешение до степени неразличения того и другого. Эта проблема также очень важна и для Розанова. Литература как таковая ему просто необходима. В одной из записей «Последних листьев» (1916) Розанов прямо признается: «Если бы я не писал, то сошел с ума. Какое же сомнение? И писательство – для меня по крайней мере – есть разрешение безумия в вереницы слов». Интересно, кстати, что в одной из заметок о Льве Толстом (1901) Розанов рассказывает, что когда-то сам пытался писать художественную прозу: «Мне под 50 лет, и хоть я пытался писать повести, но даже и малой повестушки не вышло». Видимо, это самое стремление так или иначе впоследствии выразилось в «Уединенном». Но и до того как заметки

Розанова сами по себе становятся русской литературой, интерес к художественному слову является стержнем его творческой деятельности. Связано это, конечно, с общим литературоцентризмом всего XIX века. Да, в своих поздних произведениях Розанов пытается как-то разделить жизнь и литературу, но изначально они для него – нечто вполне единое. Недаром в своих мемуарных заметках Розанов часто вспоминает о том, что всю юность провел в отвлеченных мечтаниях и что литературные герои всегда были для него реальнее живых людей. Может быть, именно здесь отчасти и кроется разгадка первого брака Розанова – вполне возможно, что это как раз и была своеобразная попытка соединить жизнь и литературу. И если рассматривать биографию Розанова именно с этой точки зрения, то становится понятно, что он просто не мог не жениться на Аполлинарии Сусловой – прототипе многих персонажей Достоевского.

В какой степени стоит допускать смешение жизни и литературы и какой степени откровенности придерживаться, каждый автор блога, конечно, решает самостоятельно. Для Розанова, несмотря на его исходную литературоцентричность, жизнь была безусловно ценнее ее словесного отображения. В письме Н. Н Страхову (июнь 1888 года), Розанов признается, что раньше стремился жить только отвлеченными предметами, но теперь его мнение изменилось: «... мною и овладело некоторое фаустовское чувство или, пожалуй, чувство банкира, потерпевшего крах: именно, страшная неудовлетворенность теоретизмом и жажда примкнуть сухими губами к радостям обычной, маленькой жизни». По мнению Розанова, совместить жизнь и литературу невозможно, и в этом противостоянии он решительно переходит на сторону жизни: «Нужна вовсе не “великая литература”, а великая и полезная жизнь». Однако осуществление этих намерений на практике, как это часто бывает, привело к совершенно обратному результату – после Розанова граница между словесностью и жизнью оказалась размытой, абсолютно все теперь может сделаться литературой. Интересно, однако, что до сих пор откровенность Розанова вызывает осуждение некоторых современных читателей, не говоря уже о том, что есть целый список тем, продолжающих оставаться табуированными даже в социальных сетях с их, казалось бы, подчеркнутой демократичностью. Отчасти еще и поэтому «Уединенное» и в начале XXI века продолжает сохранять свою актуальность. И дело даже не в том, что Розанов затрагивает какие-то интимные темы, очень часто разговор заходит о каких-то больших политических и общественных проблемах, но говорится о них особенной такой интимной интонацией, как будто автор высказывает свое мнение в непринужденной дружеской обстановке, обращаясь напрямую к своему читателю. И вот эта интимность обращения также очень напоминает современные блоги.

Одной из главных особенностей Розанова является умение четко и ясно обозначить проблему с дальнейшей ее концептуализацией и в некоторых случаях – переводом в художественный образ. И сам он хорошо понимал, что делает и что сделал в русской литературе, в том числе и с точки зрения принципиального новаторства. Например, в «Мимолетном» (1914) он так отзывается о своих произведениях: «С “Уедин[енного]” и “Опав[ших] л[истьев]” начался новый фазис русской литературы». Сам Розанов воспринимает «Уединенное» как нечто вроде личной Библии: «Собственно, есть одна книга, которую человек обязан внимательно прочитать, это книга его собственной жизни. И, собственно, есть одна книга, которая для него по-настоящему поучительна, – это книга его личной жизни. Она одна ему открыта вполне, и – ему одному. Собственно, это и есть то новое, совершенно новое в мире, ни на что чужое не похожее, что он может прочитать, узнать. Его личная жизнь – единственный новый факт, который он с собою приносит на землю. Он рождается для своей жизни, и его жизнь есть дар Божий земле. Каждого человека Бог дарит земле. <...> Поэтому “Уедин[енное]”, собственно, каждый человек обязан о себе написать. Это есть единственное наследие, какое он оставляет миру и какое миру от него можно получить, и мир вправе его получить. “Все прочее не существенно”, – и все прочее, что он мог написать или сказать, лишь частью верно; “верное” там не в его власти, не в его знаниях». Таким образом, «Уединенное» становится чем-то вроде прототипического текста, которым может (и даже должен) воспользоваться каждый человек. Отчасти это так и получилось, особенно после массового развития социальных сетей и появления феномена русскоязычных блогов. Вот почему действительно именно Василия Васильевича Розанова стоит считать первым русским блогером.

Наталия ЧЕРНЫХ

ЖЕСТ ОТСТРАНЕНИЯ

Поговорить о поэтических сборниках в пространстве и времени осени 2016. Это вводная строка. Смотрю, что дальше. Почему остановилась именно на названых книжках. Потому что для меня все три интересны и показательны. Здесь пытаюсь сделать жест отстранения: но не близки.

Геннадий Каневский. Сеанс (избранные стихотворения). – М.: ТГ Иван-Чай, 2016. – 228 с.

Первое солидное избранное Геннадия Каневского с точным и ёмким названием. Книга содержит эссенцию, даже квинтэссенцию, если учитывать добавленные тексты из книг «Провинциальная латынь» 2001 года и «Мир по Брайлю» 2004 года. Книги «Поражение Марса» и «Подземный флот» представлять особо не нужно. А вот книги «Как если бы» (2006) и «Небо для летчиков» (2008) любителям творчества Геннадия Каневского будут интересны.

«Иван-Чай» обещает быть таинственным и плодовитым. Говорят, издатели вместо своих фамилий будут ставить точки. Ход интригующий.

Формат издания не совсем обычный. Это прямоугольник, стремящийся к квадрату, в тёплых черных и сливочных, почти прозрачных тонах. Черная акварель и молоко. Рисунок Ольги Салтанович со светящимся столом внизу и нуарными пальчиками над ним предваряет чтение. По мнению автора стихов, эта обложка вполне отражает содержание книги: вызывание духов прошлого.

Когда читала, помимо воли фокусировалась именно на прошлом. На двух первых книгах и на постскриптуме. Монотонный неуют одиночества здесь почти в каждом стихотворении. Геннадий Каневский передает его вариациями, кажется, запиленного уже ритма, подсвистывающего умеренными неправильностями, как старый винил. Этот ритм деформируется то так, то иначе, то снова бодр. Спиритический сеанс превращается в спиритический кинематограф. Чудо возвращения и скандал здесь рядом, и потому не возникает чуда и не возникает скандала. Однако темное, настойчивое копошение внутри стихов, словно бы это были муравейнички, привлекает, затягивает, вовлекает, очаровывает. Книгу без сомнения нужно читать последовательно. Здесь автором восхищаюсь: составлена хронологически и с дополнениями. Также поздравления редакторам, над этой книгой работавшим.

Коллеги по перу любят обсуждать, насколько прекрасен их круг. Наш круг. Отзывы на последней странице обложки принадлежат Даниле Давылову, Алексею Цветкову, Аркадию Штыпелю и Елене Генерозовой. Говорят о культурности этих стихов, которая дает автору свободу. О кентаврической эстетике (двойственность, правда, присутствует, космически-кухонная, убедительная). Об уместности пафоса. О страхе, сквозящем в стихах. Все верно. Геннадию Каневскому удалось создать герметичный и одновременно проницаемый мир со множеством мембран. Культурные реалии в этих стихах оживают, порой они кажутся зримыми: это не галлюцинации ли? Страх в разных его видах действительно просвечивает – то в диалоге с визави, то в пейзаже. Возникает пафос обреченного смерти.

Геннадию Каневскому удалось взять новый и очень выгодный ракурс пассеизма – неявный, с помощью небольших деталей. В книге можно наблюдать, как пассеистические настроения от ранних стихов росли к поздним. Снова напомню об «эффекте Каневского», о котором некогда писала в одном журнале. Так что – небольшая цитата: «“Эффект Каневского” – в тонкой инфантильности, которая невесть каким образом позволяет поэту услышать и мгновенно воспроизвести тот язык, на котором говорят его дети. То есть авторы самого молодого поколения. И стать едва ли не преподавателем этого “языка непослушания”». Так что – пожалуйте на «Сеанс». Новая поэзия оказалась чуткой именно к мягкому, почти интимному проявлению пассеизма.

По сути – вся книга о поиске глаз Елены Прекрасной, нарисованных на носах галер. Книга о прошлом. И устремленности в него. Даже будущее выглядит прошлым. Пробелы-провалы между строчками выражают едва ли не больше, чем сами слова. Если составить статистику, получится что «Сеанс» – книга посвящений. Посвящение выражает любовь. К тем, кого нет. К тому, чего уже не будет.

Александр Петрушкин. Лазарет: стихотворения замкнутого пространства. – Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ». – Кыштым, 2016. – 56 с.

Южный Урал активизировался сравнительно давно. Уже отшумели дискуссии по поводу так называемой «Русской озёрной поэтической школы» – то шутливые, то возмущённые, то восторженные. Уже запущена и действует серия книг проекта «Только для своих». Уже написано энное количество рецензий на эти книги. По количеству книг и отзывам на них «Только для своих» – пожалуй, она из самых заметных книжных серий 2016 года.

Александр Петрушкин решил в очередной раз поставить эксперимент на себе. И показать, что поэзия и издательское дело – вещи параллельные. Известность книги и популярность автора не говорят о его стихотворениях. Точка зрения спорная, провокационная, но что делать. А делать всегда есть что – составлять книгу. Причём – такую, которая могла бы жить и виртуально, и на бумаге.

«Лазарет» – небольшой, очень характерный и искусный сборник. Я бы сравнила его с лазерной чеканкой. Современная технология для очень древнего ремесла. Сочетание необычное, не сразу доступное восприятию.

Подзаголовок книги – «стихотворения замкнутого пространства». Очень верное определение. Читателю льстит, когда поэт точен. Тогда исчезает странное ощущение, сопровождающее стихи. Сон это? Явь? Грёзы отдыха или видения, вызванные болевым шоком? Противоположности зарифмовались, и эта рифма тревожит. «Замкнутое пространство» в подзаголовке сразу же ориентирует читателя, он готов к разговору с поэтом. Какой предстоит разговор: приятный или же ссора?

Стихотворения в «Лазарете» небольшие, но чрезвычайно сложные. Строчка из трёх-четырёх стоящих рядом слов при беглом чтении кажется невесомой. Это лепет, петюканье, говорок. Не то ведьмака, не то младенца. Эта речь непонятна, странна и очень музыкальна. Она манит и пугает. Читатель очарован, погружается и начинает сопереживать, возмущаться, радоваться и плакать. Перед ним – ток поэзии, выносящий волной то жизнь, то смерть, то ангела, рана которого покажется кровоточащей головой сома, то рыжую осу, которую уже не забыть. Вещей в каждом тропе – в каждой капле стихотворения – очень много. При желании можно эвристически развернуть какую-нибудь строчку до целого трактата об оптимистическом отчаянии. Вот и договорилась до определения: оптимистическое отчаяние. Это, пожалуй, основное настроение книги.

Каждое слово в «Лазарете» – столкновение, интерференция нескольких смыслов. Оно обозначает культурную реалию, оно же может обозначать нечто бытовое – деталь или садовый инвентарь. Чаще всего это живое существо. Например, рыба. Где проплыла рыба – там ищи религиозный и философский смыслы.

В умении убористо писать символы один рядом с другим Петрушкину пока равных не вижу. Но всё это не метафора ради более изощрённой метафоры, это каллиграфия метафоры – путь не к усложнению, а к точности.

Есть поэты, которым дано писать прекрасные плохие стихи. Есть поэты, кому это не дано, но кто хочет писать прекрасные плохие стихи. Есть и много других поэтов. Плохие стихи – конечно, условное название. Поэзия Александра Петрушкина убедительна именно когда она порождает так называемые плохие стихи. А внутри них возникают щели, тремор, столкновения – и много других проявлений поэзии, отчего осенняя замшелость начинает пахнуть весной – будущим. Александр Петрушкин – поэт футуристического склада. В его стихах намного сильнее тяга к тому, что ещё не проявлено.

Лазарет – старое слово. Уже в названии мне мерещится хлебниковская мысль о том, чтобы взять старые слова и дать им возможность заговорить. Так возникнет новый язык. Лазарет – место покоя и вместе с тем очень напряжённого труда. Человек выздоравливает. Для того чтобы выздороветь, нужны великие силы. Порой намного большие, чтобы построить дом. Человек восстанавливает себя, как

дом после бомбёжки, находясь в лазарете. Это действие более высокого порядка, чем работа с деревом или камнем.

Принять такую иерархию могут далеко не все. Поэтому – «стихи замкнутого пространства». И всё же – лазарет для всех.

Дана Курская. Ничего личного. Стихотворения. – М.: Новое время, 2016. – 88 с.

Эта довольно большая для дебюта и абсолютно точно (в соответствии со стихотворениями внутри неё) оформленная книга сразу обращает на себя внимание. Этот сборник можно поругать, можно похвалить, можно поиздеваться над ним. Но пройти мимо очень сложно. Можно сказать всё, но это «всё» сводится к тому, что некое начало положено.

О книге Даны Курской хотелось бы поговорить, освободившись от двух моментов, но, возможно, не получится. Хотя бы назову, что мне мешает разговору собственно о стихотворениях.

Во-первых, момент так называемой женской поэзии. Гендерные дискуссии в последнее время и популярны, и шумны. Миновать тему взаимоотношения полов не получится. Для меня книга Даны Курской интересна не тем, сколько в ней женского и есть ли прочее. А тем, что в этих стихотворениях есть нежный и витальный субстрат женственности, присущий и многим стихотворениям лучших поэтов мужского пола. Из серебряного века – Мандельштам и Есенин. Из недавнего прошлого – Дмитрий Воденников.

Во-вторых, тема субкультур. Это, конечно, рок-среда, подарившая поэту множество новых слов и тропов. Так что не вижу, ради чего шифровать и расшифровывать то, что открыто заявлено. Для поколения Даны Курской так называемый русский рок – это дано. Для меня это было то, что не дано, а что добывается опытом. Субкультурой можно назвать так же сообщество московских поэтов со всеми его признаками – начиная от манеры одеваться и говорить, времени и состава пищи на фуршетах, и заканчивая распорядком дня в квартире после фуршета. В этом вопросе мне интересна новая валентность. Дана Курская рисует сообщество поэтов именно как субкультурную группу, как новых неформалов. Готы канонизированы. Поэтов как субкультуру ещё никто не описал. Так что – «Ничего личного» – читайте. Имена без фамилий, похожие на прозвища, вещи, привычки, словечки – всё здесь есть. Если визави поэта – не обязательно поэт, он всё же находится в пространстве субкультуры, и он упомянут в этом контексте.

Первый и второй пункт соединяет довольно любопытный сплав женской темы и темы субкультуры. Да это же Янка Дягилева! Это же Дженис Джоплин из Челябинска, в стихах. Никакой иронии, всё так и есть. «Я могла бы напоить тебя пивом, но твоя жена отключила телефон» – из песен хиппи.

Перехожу к коде. И наиболее интересующим меня вопросам. Во-первых, катастрофа. Дана Курская пишет на языке, который для себя условно называю – «после катастрофы». Русский язык очень динамичен. За двадцать последних лет эту динамику стимулировали различные перемены, которые привели к языковой катастрофе. В книге «Ничего личного» живёт именно такая речь – после катастрофы.

Далее. Вопрос о новой генерации поэтов. Вопрос спорный, решения в ближайшее время не предвидится. Вот что говорит по этому поводу (в тексте о книге «Ничего личного» – «Жив человек жив») поэт и критик Марина Кудимова: «Поколение 90-х посеяло во Всемирной компьютерной сети свои сочинения и 10 лет ждало всходов. Как Буратино на поле чудес. И урожая так же не дождалось. Урожаем в мире литературных амбиций следует считать не что иное, как славу – в идеале такую же всемирную, как интернет. Надежды не оправдались, несмотря на недюжинные усилия».

Однако если бы не было «девяностников», книга «Ничего личного» не была бы написана. А эта книга – и есть и плод, и оправданная надежда девяностых. Здесь условно-женская лексика несёт оттенок маскулинности – крупно, рельефно, а условно мужская – феминности, то есть – трепетности и заботы. Здесь поэзия такая, какой она могла стать только после катастрофической ситуации девяностых.

Как сложится судьба Даны Курской (так и хочется ввернуть субкультурное: как поэта), неизвестно. Но книга получилась достойная.

Денис ЛИПАТОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ МИФОЛОГИЯ ТОЛЬЯТТИ

Антология независимой литературы Тольятти (1990–2014) / Редактор-составитель Сергей Сумин. – Тольятти, 2015. – 370 с.

Не у каждого города в русской литературе есть свой устойчивый литературный образ, то, что ещё можно назвать литературным мифом или даже поэтикой.

Среди главных литературных городов, конечно же, столицы: Москва, Петербург, Киев. Разумеется, литературный образ города, миф складывается не в одночасье: здесь имеет значение и то, какие писатели жили в городе, и то, действия каких книг происходили. Человек, приезжая в такой город, уже что-то о нём знает на уровне образов, представлений, даже чувств, для него это уже не просто кружочек на карте, какой-то условный и безликий город N, а, скажем, Петербург Достоевского или Гоголя, Киев Булгакова, Москва Толстого или Грибоедова, или Москва кабацкая, или опять же Москва Булгакова и т.д.

Понятно, что городам провинциальным в этом смысле везёт меньше. Не так их много, провинциальных городов, с литературным образом, со своим неповторимым литературным мифом. Навскидку вспоминается Воронеж Мандельштама, возможно Тифлис (именно Тифлис, а не Тбилиси) и Пятигорск Лермонтова, Одесса и Кишинёв Пушкина. Из более близкого к нам по времени – Екатеринбург Бориса Рыжего. А вот, например, мой родной Нижний Новгород, несмотря на весь впечатляющий масштаб деятельности Горького, таким устойчивым литературным образом, на мой взгляд, похвастать не может. Всё это, разумеется, не исключает бытования различных внутригородских литературных мифов, но в представлении читателя не складывается какого-то пленительного образа, не улавливается своя неповторимая поэтика города, хотя она наверняка есть, но ещё не услышана. Вероятно, можно по аналогии с «Петербургом Достоевского» сказать «Нижний Новгород Горького», но каких-то устойчивых и общепринятых образов за этим словосочетанием не возникает. Ночлежки, где происходит действие пьесы «На дне», были не только в Нижнем, для Вассы Железновой тоже не слишком важно, в каком именно городе разворачивается трагедия её семьи, разве только рабочее Сормово Ниловны да домик Каширина?

«Антология независимой литературы Тольятти», безусловно, работает на создание литературного образа и мифа города Тольятти. И в этом одна из главных её заслуг и удач.

Открывается антология довольно обширным и подробным «Необходимым предисловием». Пленительная мифология начинается уже с первых страниц: после краткой исторической справки, «откуда есть пошла земля тольяттинская», всего-то 50 с небольшим лет тому назад, даётся весьма информативный обзор всех (по словам составителя) сколь-нибудь значительных тольяттинских литературных и художественных объединений, проектов, самиздатовских журналов и альманахов, с указанием времени их существования, составом участников, даже некоторой предысторией их возникновения и историей бытования и распада. Внимания составителей удостаиваются даже и не вполне осуществлённые проекты или объединения: например, литературный клуб «Орфей», о котором сказано, что в силу разных причин участники так и не создали полноценного творческого союза, но сохранили человеческие отношения. Отдельные главки посвящены рок-поэзии, драматургам, бардам, авторам вне групп и даже авторам, не вошедшим в антологию. Кстати, и рассказ о каждой литературной группе завершается краткими характеристиками творчества их участников, представляющими собой выдержки из различных рецензий, что очень удобно в плане работы с книгой: авторы, участвующие в антологии, выделены жирным шрифтом, и их сразу можно найти по содержанию и, прочитав, сравнить личные впечатления с мнением о них рецензентов. Завершается «Необходимое предисловие» обзором существующих и существовавших литературных площадок, студий, фестивалей, проектов, разовых акций или выступлений тех или иных поэтов, выставок, концертов, а также внушительным списком самиздатовских альманахов, журналов, книг различных авторов, выходивших в период с 1990 по 2014 год. Список этот подкреплён иллюстративным материалом: на протяжении всей книги читатель находит несколько блоков с воспроизведёнными обложками альманахов, книг, афиш различных мероприятий, наконец, фотографиями самих мероприятий и их участников. Всё вместе это очень удачно работает на создание, а скорее всего, сохранение той непо-

вторимой атмосферы литературного бытования, того, что мы и называем литературной мифологией, образом, поэтикой города, свидетелями и создателями которой и были авторы антологии. Вообще, ощущается, что стремление сохранить и удержать хоть в какой-то степени уходящую натуру литературного Тольятти 1990–2014 годов, а не только создать её каталог (но и это, разумеется, тоже), и было основной движущей силой, мотивом составителей и издателей антологии. Чтобы помочь читателю представить, о чём мы говорим, думаю, будет уместно перечислить некоторые литературные группы, журналы, самиздатовские книги, акции, упоминаемые в антологии, а также и некоторых авторов (посмотрите сами, насколько это самобытная поэтика, даже судя по названиям и псевдонимам): литературная группа «Олимпийские игры» (кстати, из краткой исторической справки об этой группе читатель узнает ещё один тольяттинский миф – именно в этой группе «в недрах коллективного творчества родилось название “Тройник”: так олимпийцы называли город Тольятти – спектр смысловых значений понятия весьма обширен – от трёх районов города до магического числа три и намёка на удлинитель с множеством одинаковых дырочек»); поэтическая группа «Комментаторы», литературный клуб «Орфей», союз художников «Солярис», издательство (вернее само-издательство) «Бульбовая мысля», альманах «Антология берестяных грамот», книга поэта Айвенго «Феноменология уха» (кстати, издательство – «Бульбовая мысля»), книга поэта Дмитрия Ермолаева «Летайте ледоколами», альманах «Дя», альманах «Графит» и его предшественник – рукописный альманах «Граффит», книга Прометея Стеценко (он же Айвенго) «Летаргический слон», книги поэта-минималиста Ладо Мирания «Инобытие» и «ПЕРЕВОДЫСДРЕВНЕГЕРМАНСКОГО», или, скажем, книга (не указано поэзия это, или проза, или что-то ещё) Жозе Марабда «Что шепнул Фидель Раулю» (1994); поэтические акции «Осенний позыв», «День рождения у Сумина», праздник поэтического самиздата «Ручная сборка» и многие другие. Вообще следует отметить, что антология получилось преимущественно поэтической, хотя есть здесь и авторы прозы и драматурги, и опыты визуальной поэзии.

И здесь самое время процитировать составителя «Антологии» Сергея Сумина. Вот что он пишет в «Необходимом предисловии» о целях и принципах её составления. «Данная книга – попытка представить независимую литературу Тольятти за четверть века, начиная с 90-х годов прошлого столетия. В ней собраны тексты сорока авторов... Термин “независимая литература” также стоит пояснить. В сборнике представлены авторы, старательно избегавшие в своём творчестве всяческого официоза и мейнстрима (сначала советского, а затем постсоветского), делавшие всё на свой страх и риск, на свой эстетический вкус... Основа “Антологии” – коллекции самиздата нескольких тольяттинских коллекционеров. Главный критерий отбора – творческая независимость, маргинальность, ориентация на эксперимент и поиск новых художественных средств, авангардность авторов. Редакционный совет попытался собрать тех, кто двигался в сторону эксперимента, поиска необычной формы... Почти все авторы, за некоторыми исключениями, малоизвестны, практически нигде не печатались. У 90 процентов из них нет официально изданных книг вовсе».

Сорок авторов – вполне достаточное количество, чтобы представить литературный образ города, создать городской миф, услышать и передать неповторимую поэтику Тольятти 1990–2014 годов, и с радостью признаём, что, на наш взгляд, им это удаётся. Во всяком случае, благодаря им Тольятти не выглядит литературным захолустьем. И ещё один замечательный эффект: читая блистательные миниатюры Айвенго, Ладо Мирания, Михаила Лёзина, прозу Андрея Князева, Киры Малининой и многих других авторов «Антологии», чувствуешь, как заражаешься их отвагой «делать всё на свой страх и риск, на свой эстетический вкус», чувствуешь, что тебе, читателю, передаётся их импульс «движения в сторону эксперимента», что вот-вот сам увидишь новые возможности, угадаешь новые художественные средства.

Тем более странной выглядит оговорка составителя в «Необходимом предисловии» о том, что «возможно... кого-то мы зря включили в сборник» (я таких не нашёл!), а вот сожаление, что, возможно, не все достойные авторы вошли в антологию, кажется нам вполне оправданным. И можно только позавидовать тольяттинским авторам, что у них в городе нашёлся такой кропотливый и дотошный хроникёр, как Сергей Сумин, который, собрав «Антологию», всё-таки сделал очень важное усилие, чтобы их литературные и иные художественные практики не пропали зря, и город Тольятти, благодаря им, обретая свой образ, свой миф, не был просто заурядным кружочком на географической карте.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ВИТОК

Игорь Бобырев. Все знают, что во время войны в мою квартиру попал снаряд. – Санкт-Петербург: Транслит, 2016. – 36 с. – (kraft) (Альманах «Транслит» и Свободное марксистское издательство).

С дебютной книгой Игорь Бобырев не торопился. В общем случае для довольно молодого поэта выбор правильный. Тем более для поэта вполне известного. Но был ли верным такой выбор именно для этого автора – сразу ответить не выйдет. Надо будет подумать. Тем и займёмся.

Бобырев появился в печати и вообще в литературной сфере лет десять назад. Вскоре был замечен. Наверное, после выдвижения на премию «ЛитературРентген» 2008-го года и публикации того же года в журнале «Волга». Публикация та сопровождалась (нечастый случай!) довольно комплиментарным послесловием Сергея Круглова, точно сформулировавшего главные свойства поэтики уверенно начавшего автора. В числе таковых свойств пребывала, например, «голая экзистенция на голой весенней земле»[1].

Это очень верно. Как верно и наблюдение о предельной концентрации поэзии в сверхкратких текстах. Конечно, направление поисков Игоря не было уникальным. Помимо совсем очевидных имён, средь предшественников, думаю, надо упомянуть Василия Розанова (впрочем, отмеченного Кругловым), Юрия Олешу, Владимира Гандельсмана – в его ипостаси автора «запасных книжек» «Чередования». Современников, пишущих в сходных манерах, ещё больше. Отчего-то первым вспомнил Андрея Черкасова. Но он вообще на слуху. Менее явно, однако вполне отчётливо в близком звуковом спектре можно угадать голоса Дмитрия Чернышева и Александра Корамыслова. Они постарше, однако, покуда не огласили мэтром – ты ровесник. Кстати, насчёт параллелей со стихами Корамыслова предвижу возражения, но тексты –

***

многие христиане хотели бы оказаться
во время распятия
подле креста

или

***

пыльца слов внутри ветра

– согласимся, заставляют вспомнить об авторе из Воткинска.

Впрочем, с самого начала поэзия Бобырева имела отчётливо собственные черты. Прежде всего, он никогда не искал намеренной спонтанности. Не «выхватывал звуки из голосов улицы». Разумеется, в таком приёме ничего плохого нет, просто Игорю он чужд. Не было в его текстах и однозначно читаемой иронии. Кажется, в явном виде её он оставлял для ехидных комментариев в популярном тогда Живом Журнале. Нет, ирония, конечно, существовала и в стихах. Но на уровне их совокупности. Тотальная и незаметная одновременно. Уж слишком серьёзным был объект той иронии.

А на поверхности текстов преобладали большей частью строгие античные мотивы. Для их обнаружения усилий не требовалось. Скорее, интересно было наблюдать метод применения этих самых мотивов. Для тогдашних стихов Бобырева античность казалась столь же органичной, сколь органичным был мир Поволжья для Геннадия Айги – автора, для Игоря крайне важного. Сопряжение же с современностью шло в каких-то очень высоких (или глубоких – в данном случае важно значение по модулю) слоях.

Был ещё один важный аспект поэтики «исходного» Бобырева, вновь заставляющий вспомнить об Айги. Я имею в виду своеобразную вариативность подхода, рассмотрение объекта с разных точек. Иногда объект мог казаться весьма странным. Даже отсутствующим. Вот финальный текст из одной подборки:

***

синтетика

И в следующем номере другого журнала:

***

синтетика
СПб

И в первой, и во второй публикациях краткое высказывание, оставаясь самостоятельным, было встроено в совокупность текстов. И минимальное, в сущности, изменение сильно влияло на суть более солидного высказывания.

Далее со стихами Бобырева произошла метаморфоза. В них вдруг появился автор. Или лирический герой – для этого типа текстов различие несущественное. Ранее строки парили навроде упомянутой уже пыльцы внутри ветра. А затем пыльца вдруг стала оседать. Оседать на конкретные вполне предметы, повторяя их форму. Полу-

[1] Игорь Бобырев. [женщина] и др. Послесловие Сергея Круглова. – Волга-XXI век. 2008. № 3-4.

чалось тоже интересно, но тяжелее. Появились нарративы, авто- или просто биографические аллюзии. Заметим: перемена стиля совпала с перерывом в публикациях. Года на три. Была ли тому причиной воля редакторов, или автор сам не предлагал своих стихов, но чувство, возникавшее при отслеживании текстов в социальных сетях, можно охарактеризовать как «тревожное, благожелательное любопытство». Интересно было – что из всего этого выйдет.

А вышла книга. Снаряд, помещённый в заголовок, возникает ещё всего лишь один раз. Да и то ни он, ни разрушенное им жилище не станут главными персонажами стихотворения. Не говоря уж обо всей книге. Мимолётность снаряда – каламбур дешёвый, но в данном случае, кажется, верный. Хотя речь идёт, увы, о снаряде, попавшем в цель:

***

все знают что во время войны
в мою квартиру попал снаряд
а так как это было зимой
мы перешли жить на другую квартиру
которая не пострадала
там было очень холодно
так как нигде не топили
я сидел дома и у меня изо рта шел пар

Пар изо рта здесь не в пример важнее взрыва. В текстах Бобырева так было всегда; тут у него лишь возник повод сказать это явным образом.

Заметим, с условно ранней манерой автора в этой книге прослеживается немало общего. Причём это общее немедленно тут же оказывается и различием. Скажем, тексты стали очевидно длиннее, а дыхание их вернулось к тому, жившему в стихах прежних. И опасно затихавшему в строках, заполнявших временной промежуток между дебютом и тем, как Бобырев пишет сейчас.

Образы тоже во многом сохранились, но вот метод их использования переменился. Часто – на противоположный. Например, тут мифологический сюжет служит не средством взглянуть на современность, но орудием обратной перспективы:

***

еще несколько минут и он проснется от боли
будет шарить по полу натыкаясь на овец
и перебив пару мужланов
от боли и ярости
вырвет кусок скалы
но все будет напрасно

Интересно, от чьего имени это сказано: Зевса? Одиссея? Или Энея, следующего за Одиссеем и откуда-то узнавшего свежую по тем временам историю? Или одна из мойр являет свою волю?

Остался приём вариативности взгляда. Тоже остался, переменившись. Вот три подряд стихотворения, где зеркала установлены с прецизионной точностью:

***

выпал снег а никто не знал что он выпадет
все были удивлены т.к. был сентябрь
а в сентябре снег бывает только в горах
и все были удивлены
и даже стали собирать этот снег
и где-то хранить

***

я смотрю за окно
выпал снег
а было еще очень тепло
и все стало таять
и люди стали месить эту грязь

***

выпал снег а окна у нас не было
и на окно налепили пакет
и мы стали чувствовать себя
чем-то вроде овощей

Тема хранения, необходимости сберечь имеющееся, повторно возникает в финале, закольцовывая три текста. Вообще, метод не очень хороший – в силу своей безопасности. Однако когда у нас на глазах случается переход от общего «никто» через частный взгляд к абсолютной физиологии холода, к переходу от человеческого существования, минуя многие ступеньки, к растительной неподвижности, обертона приём оправдывают. А уж аллюзии на манну небесную делают из классической триады «тезис-антитеза-синтез» не объект учебника логики, а, например, снежок. Или картофелину.

Что ещё принципиально изменилось в стихах, кроме увеличившегося числа строк? Пожалуй, в них появилось время. Прежде всего – личное, авторское время. На мой взгляд, это важнее присутствия того самого лирического героя:

***

мылся в ванной
а потом посмотрел на отбитый угол
и мне показалось что это раковина
странно подумал я ведь раньше
это был дельфин в лучшем случае
это была черепаха
что же с ней стало
я пристально посмотрел еще раз
но ничего не увидел

Наверное, это текст о взрослении. Кто-то подумает, что взрослеть-то в таком, пусть молодом, но вполне зрелом возрасте поздновато. Так ведь никто и не говорит, что наблюдение о том, как из дельфина получается ничего, сделано именно сейчас.

Однако, да. Время идёт, волшебства убывает. Волшебство это становится разовым:

***

ем банан
а андрей говорит я хочу яблоко
я делаю из банана яблоко
и протягиваю ему а он говорит
что уже передумал
тогда я говорю хорошо но если
ты опять передумаешь
я не смогу вернуть все обратно

Просто раньше нарочитое колдунство было совсем ненужным, а теперь вот пригодилось – ради шести строчек о любви и расставании.

Напомним, однако, что мы читаем книгу посткризисную. Вернее, так: для автора кризис, похоже, миновал, а вот для литературы и, в частности, для поэзии – не очевидно. Об этом Игорь Бобырев пишет нередко. Например, в статье, более похожей на манифест: «Глоссолалия, излом речи, трещина, заполняемая вечностью языка, – такой взгляд характерен для многих поэтов. Трансформируя быт в поэтический мир, мы идем по пути языка и его компонентов – вещей, вступая в особую звуковую ткань»[2].

Здесь приметно некоторое лукавство. У самого-то Бобырева никакой глоссолалии, никаких изломов нет! Скорее есть поиск единственных слов в единственном порядке. А смысл высказываний крайне ясен. И порой дублирует положения, излагаемые в теоретических работах. Только аккуратнее и верней:

***

написал стихи а потом зачеркнул
искусство особенно литература
должно обходиться без слов
такой визуальный проект
когда знаешь смысл но не надо читать

«Особенно» в данном случае, конечно, не слишком нужная красивость, но посыл внятен: слова должны стать неотличимы от дыхания, раствориться в нём. А пока нельзя так, пусть они к этому дыханию приблизятся, сколь возможно. Станут соприродны ему. И рисунку тоже – как соприродны разом дыханию и рисунку узоры на январском невыбитом стекле. Например, так:

***

недалеко от моего дома течет река
там есть такая дубовая роща
и на ее краю бьется родник
вода в нем теплая даже зимой
на дне видны разные жучки и пиявки

Поэзия здесь становится почти абсолютной. Или, может, время нынче такое, когда хорошо структурированная речь, состоящая из определительных, сама оказывается поэзией. Об этом Бобырев тоже пишет:

***

мне часто кажется что мы сидим в комнате
и нас сейчас позовут
разговорная речь происходит
по тому же принципу
как и стихи

Знает ведь, что не позовут. И мы знаем. А всё равно читать интересно.

И как всегда: подумаем на тему «что же будет дальше». Наверное, дальше воспоследует уход (хотя бы временный) от плохих стихов. Термин «плохие» тут заслуживает кавычек. Они скорее чужие. Я имею в виду те самые тексты, где автор слишком активно вмешивается в структуры этого мира. Где лирический герой явен. Когда-нибудь потом и такого рода стихи вернуться, но на ближайшее время самой вероятной траекторией стихов Бобырева мне кажется направление в сторону Мишеля Деза. Совсем раннего Деза, начала шестидесятых. Собственно, Игорь Бобырев в тех областях уже бывал. В очень старых своих стихах. В тех, что не вошли в эту книгу. Теперь они появятся разве что в избранном. Жаль, конечно, но зато книга оказалась более цельной.

Так вот: Деза и Бобырев начинали с очень близко расположенных областей поэзии. Начинали независимо друг от друга, в разное время. Обладая абсолютно различным типом таланта, разным культурным багажом, разными, в конце концов, личными обстоятельствами. Деза впоследствии надолго ушёл из поэзии и вообще из словесности. Переиначивая Пушкина, *вернулся афористом*. К себе исходному, на опять-таки совсем ином этапе возвратился через полвека, став, понятное дело, совершенно другим. У поэзии Игоря Бобырева шаг спирали, думаю, будет покороче. Главное это спираль, а не круг. И спираль, кажется, восходящая. Или пружина, возможно.

[2] Игорь Бобырев. Что такое говорение и как его понять. – Homo Legens. 2016. № 1.

ПОСЛЕДЫШИ ЭСТЕТСТВА И ИХ КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЕ УШИ

Протокол одного собрания[1]

Подготовка текста, вступительная статья, примечания Алексея Голицына

Главными событиями культурной жизни СССР в последние годы правления Сталина были бесконечные разоблачения внутренних врагов советского государства. Чередой шли кампании по выявлению формалистов, вейсманистов-морганистов и прочих безродных космополитов. Естественно, что запущенные сверху идеологические баталии не могли не затронуть первичные партийные организации, в том числе и Саратовское отделение Союза писателей. 1949 год начался для них борьбой с «распоясавшимися церковниками»[2] и продолжился противостоянием «космополитической идеологии».

Как и в первом случае, всё началось со статьи в газете «Правда». 28 января в ней был напечатан редакционный материал «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Изначальный конфликт между руководством Союза писателей и критиками из Всероссийского театрального общества немедленно перерос в войну на идеологическом фронте. Чтобы активные действия начались в Саратове, потребовалось около месяца, и повод для них был нешуточным. Одним из главных «диверсантов», по мнению властей, был Григорий Бояджиев[3], который «в содружестве с Ю. Чепуриным написал пошлейшую, бездарную пьеску “После грозы”, клеветнически изображавшую послевоенный быт советских людей»[4]. А Юлий Чепурин в то время был достаточно известным саратовским драматургом. В частности, именно он в 1942 г. первым прославил сталинградский «Дом Павлова».

Писательская карьера Чепурина (1914, Саратов – 2003, Москва) до и после 1948 г. была блестящей. В 1936 г. его первые публикации появляются в саратовских газетах. В 1939 году второй выпуск альманаха «Литературный Саратов» открывался рассказом Чепурина «Цирк». Во время войны он был корреспондентом газеты «Сталинское знамя» Юго-Западного фронта. Фронтовой очерк о сержанте Якове Павлове лег в основу пьесы «Сталинградцы», и осенью 1943 г. Чепурин был отозван в Москву для ее постановки на сцене театра ЦДКА. Пьеса имела успех, на следующий год автора приняли в члены СП СССР. После войны Чепурин вернулся в Саратов и стал профессиональным драматургом.

Городские власти предоставили ему дом – случай по тем временам неординарный, прочие саратовские писатели будут добиваться отдельного жилья годами. На столичной сцене и в местном театре драмы шли уже упомянутые «Сталинградцы», а затем и новые пьесы Чепурина, что приносило автору стабильный доход. Например, аванс за так и не написанную пьесу о ремесленниках, заказанную саратовским театром юного зрителя, составил 3000 рублей. Перспективного писателя коллеги даже выдвигали на Сталинскую премию.

Однако дружба с московскими театральными деятелями обернулась для Юлия Чепурина крупной неприятностью. 14 марта 1949 г. вопрос об антипатриотической группе театральных критиков обсуждался на городском собрании работников искусств. Разумеется, статью в «Литературной газете» с упоминанием столичных связей Чепурина читали и партийные товарищи, и члены писательской организации. В результате отдел пропаганды Саратовского обкома ВКП(б) поручил написать доклад с разоблачением Чепурина секретарю местного отделения ССП и секретарю парторганизации писателей Григорию Боровикову.

---

[1] Начало цикла документальных публикаций о работе саратовской писательской организации см.: Вредные шараханья и злобные выпады // Волга. 2016. №5-6.

[2] Хлесткая частушка и церковное мракобесие // Волга. 2016. №7-8.

[3] Григорий Бояджиев (1909–1974) – театровед, театральный критик и педагог. В 1941–1945 гг. – заведующий литературной частью в Центральном Театре Красной Армии. В 1945 г. возглавил кафедру зарубежного театра в ГИТИСе. В 1946–1960 гг. и 1967–1974 гг. – старший научный сотрудник Института истории искусств.

[4] «До конца разоблачить антипатриотическую группу театральных критиков». Редакционная статья «Литературной газеты» 29 января 1949 г.

Как видно из стенограммы обсуждения доклада, никто из писателей не встал на сторону Чепурина. Более того, это событие имело резонанс, вышедший за пределы области. Так, известный шолоховед Виктор Гура[5], живший в Вологде, спрашивал в письме от 20 сентября 1949 г. саратовца Александра Матвеенко[6]: «Моя антипатия Ю. Чепурин (он зажимает молодые таланты, то есть меня!) кажется двинул в Сталинград? Скатертью дорожка, там еще космополитов не хватало!»

Чепурину действительно пришлось покинуть Саратов, он перебрался в Сталинград, где завершил свою трилогию «Сталинградцы» пьесой «Совесть». Неизвестно, какие механизмы были приведены в действие, но уже в 1951 г. вчерашний изгой Юлий Чепурин получил за нее Сталинскую премию III степени! И более того: переехал в Москву, получил квартиру в Доме авиаторов на площади Восстания, а в 1955 г. стал секретарем московской писательской организации. Юлий Чепурин прожил долгую жизнь, писал и переводил сценарии, пьесы, у него выходили собрания сочинений. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Доклад Григория Боровикова после согласований с обкомом был зачитан на собрании писателей-коммунистов 23 апреля 1949 г. Приводим текст доклада, а также его обсуждение и соответствующее постановление с незначительными сокращениями. Курсивом даны рукописные вставки в машинопись.

Об одной антипатриотической группе театральных критиков

(Доклад на собрании писателей г. Саратова)[7]

Исторические постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства сыграли решающую роль в новом подъеме советской литературы. Благодаря направляющему руководству партии достигнуты успехи в различных жанрах советского искусства и литературы – в прозе, в поэзии, в драматургии.

Тов. Молотов в докладе о 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции так оценил достижения советского искусства и литературы:

«Мы имеем право гордиться успехами советского искусства и в последнее время, в особенности, успехами советской литературы, что является немалым достижением направляющего руководства партии. Наша литература, кино и другие виды искусства все больше обогащаются такими произведениями, которые в своих образах раскрывают идейный смысл событий и работы людей советской эпохи. Подлинное искусство доходчиво и оставляет глубокие следы в сознании людей, и поэтому так велико значение теперешнего подъема советском искусстве для развития успехов в коммунистическом воспитании советского народа... Советское искусство проникает далеко за рубежи страны, освещая дела и дни нашей Родины, которые капиталистическая печать стремится скрыть или извратить в глазах трудящихся»[8].

В прозе появились такие значительные произведения, как «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Первые радости» и «Необыкновенное лето» К. Федина, «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Ветер с юга» Э. Грина, трилогия А. Гончара, «Весна в Сакене» Г. Гулиа, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, романы и повести В. Пановой, Ауэзова, Саксе, Первенцева, Мальцева и других писателей. Поэзия порадовала значительными произведениями К. Симонова, К. Грибачева, Н. Тихонова, М. Луконина и других поэтов. Драматургия обогатилась такими пьесами, как «Великая сила» Б. Ромашова, «Русский вопрос» К. Симонова, «Победители» Б. Чирскова, «Хлеб наш насущный» и «В одной стране» Н. Вирты, «Жизнь в цитадели» и «Борьба без линии фронта» А. Якобсона, «В одном городе» и «Московский характер» А. Софронова, «Большая судьба» и «Зеленая улица» А. Сурова, «Макар Дубрава» А. Корнейчука, «Глина и фарфор» Григулиса, «Красный галстук» и «Я хочу домой» С. Михалкова, «Единая семья» Абишева и другие.

Несмотря на эти успехи драматургии, советские театры все еще не имеют достаточного количества пьес высокого идейного качества и художественного мастерства. XI-й пленум Правления Союза советских писателей в своем решении по этому вопросу записал: «Отставание советской драматургии становится тормозом для дальнейшего подъема советской театральной культуры».

---

[5] Виктор Гура (1925–1991) – лингвист, писатель. Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук.

[6] Александр Матвеенко (1894–1954) – саратовский писатель.

[7] Цит. по: Государственный архив новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО). Ф. 5340. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 23-57.

[8] В.М. Молотов. 31-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Госполитиздат, 1948. С. 19.

Драматургия – наиболее ослабленный участок работы Союза советских писателей, который неудовлетворительно выполнял постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению»[9]. В результате этого ослабления на сцене некоторых театров страны и в печати появились безыдейные, нехудожественные пьесы. Одни из них, как, например, «Бархатный сезон» Н. Погодина и «Совесть» В. Соловьева извращают советскую жизнь и искажают образы советских людей, другие – «Не ждали» Полякова, «Студенты» Финка, «О друзьях-товарищах» Масса и Червинского, «Вас вызывает Таймыр» Галича и Исаева, «Жили три друга» Успенского – настолько низки по своим идейно-художественным качествам, что никак не могут удовлетворить запросы советского зрителя.

Важнейшей причиной такого состояния явилось то обстоятельство, что в секции театральных критиков ВТО и в комиссии по драматургии при Союзе советских писателей группировались критики, стоящие на осужденных партией позициях аполитичности искусства, отстаиваемых ими в прямой открытой или в завуалированной форме. Эти «критики» с формалистических и эстетских позиций дискредитировали положительные явления в советской драматургии, культивировали низкопоклонство перед заграничной буржуазной культурой, игнорировали богатейшее наследство классической русской драматургии.

Партийная печать выступила в конце января 1949 г. с разоблачением этой группы театральных критиков – Юзовского[10], Гурвича[11], Альтмана[12], Борщаговского[13], Холодова (Меерович)[14], Бояджиева, Малюгина[15], Варшавского[16] и других.

«В театральной критике – писала "Правда" 28 января 1949 г., – сложилась антипатриотическая группа последышей эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала "Театр" и газеты "Советское искусство". Эти критики утратили свою ответственность перед народом, являются носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма, они мешают развитию советской литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство национальной советской гордости».

Безродный космополит Субоцкий[17] старался вытравить из советской литературы все национальное. Он обрушивался на тех советских писателей, которые так создавали образы, что можно определить их принадлежность к той или иной национальности.

Субоцкий стремился насаждать национальный нигилизм, чуждый марксизму-ленинизму, глубоко враждебный советскому народу.

Национальный нигилизм – это антипатриотическая идеология буржуазного космополитизма, пренебрежение к национальному достоинству народов.

«Национальный нигилизм только вредит делу социализма, играя на руку буржуазным националистам». (Сталин, т. 4, стр. 91).

---

[9] Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) вышло 26 августа 1946 г. Опубликовано: Большевик. 1946. № 16.

[10] Иосиф Юзовский (настоящая фамилия Бурштейн; 1902–1964) – театральный и литературный критик, литературовед. В 1946–1948 гг. был старшим научным сотрудником Института мировой литературы.

[11] Абрам Гурвич (1897–1962) – литературовед и театральный критик.

[12] Иоганн Альтман (1900–1955) – литературовед, литературный и театральный критик. Главный редактор газеты «Советское искусство» (1936–1938) и первый редактор журнала «Театр» (1937–1941). В 1947–1948 гг. – заместитель художественного руководителя по репертуару Московского государственного еврейского театра. В 1949 г. был исключен из партии и Союза писателей, арестован. Освобожден и реабилитирован в 1953 г.

[13] Александр Борщаговский (1913–2006) – писатель. С 1945 г. заведовал литературной частью театра Советской Армии. В 1949 г. был уволен и исключен из партии.

[14] Ефим Холодов (настоящая фамилия Мейерович; 1915–1981) – театровед и театральный критик. С 1939 г. работал в редакции, а с 1957 г. входил в редколлегию журнала «Театр».

[15] Леонид Малюгин (1909–1968) – драматург, киносценарист, публицист, литературный критик. Лауреат Сталинской премии (1944 г.). В 1949 г. – член редколлегии газеты «Советская культура», член комиссии по драматургии в Союзе писателей СССР, преподаватель в ГИТИСе.

[16] Яков Варшавский (1911–2000) – кинокритик, киновед, драматург и сценарист.

[17] Лев Субоцкий (1900–1959) – литературный критик и редактор. С 1945 по 14 апреля 1948 г. – рабочий секретарь Союза советских писателей.

Это определение т. Сталина проявилось в наших условиях, когда национальный нигилизм по отношению к великому русскому народу и другим народам нашей страны сплошь и рядом сочетался у безродных космополитов с буржуазным национализмом, который переплетается с космополитической идеологией империалистов. ~~Им чуждо чувство национальной советской гордости~~».

Так, Юзовский нападал на произведения основоположника пролетарской литературы М. Горького, говоря о том, что будто писатель в пьесе «Мещане» выступает «как публицист, не всегда заботясь о том, насколько в данном случае правильно это вмешательство публицистики в художественную ткань пьесы».

Юзовский всячески охаивал пьесы «Далеко от Сталинграда» Сурова, «Победители» Чирскова, он же автор теории о том, что де мол советский герой не отображает жизни. Вот как он сформулировал это «Раз герой советский, то он обязательно... должен одержать победу – этого рода философия ничего общего с диалектикой жизни не имеет».

Гурвич противопоставлял советской драматургии классику, опорочивал советскую драматургию. Он клеветал на советского русского человека, заявляя, что в благодушии выражается «национальный характер» советского человека.

Борщаговский оберегал от критики пьесы, извращающие советскую действительность и образы советских людей, зато горячо ополчался на такие пьесы, как «Московский характер» Софронова, «В степях Украины» Корнейчука, «Хлеб наш насущный» Вирты, «Большая судьба» Сурова и др.

Малюгин нападал на эти же и другие патриотические советские пьесы. Эти же пьесы атаковал с космополитических позиций Холодов (Меерович).

Эта группа критиков-антипатриотов свила гнездо под покровительством Бояджиева, возглавлявшего объединение театральных критиков при ВТО. Сам Бояджиев в своих книгах под флагом мнимой учености проповедовал преклонение перед буржуазной культурой Запада.

Указания ЦК ВКП(б) эта группа критиков встретила отрицательно. Боясь обнаружить свое идейное банкротство, они не разоружились и не прекратили свою деятельность, направив ее прямо против указаний партии, они повели деятельность групповую и антипатриотическую, антисоветскую. Некоторые критики с Бояджиевым во главе окопались в ВТО и, собирая вокруг себя приятелей, стали фальсифицировать «общественное мнение» против новых советских пьес, против советского репертуара вообще. Другие критики превратились в «молчальников», хотя на самом деле вели подрывную работу исподтишка, тихой сапой...

На пленуме Союза советских писателей было положено начало разоблачению и разгрому этой антипатриотической группы театральных критиков. Партийная печать, партийная критика идейно разгромила безродных космополитов, сорвав маски мнимого, дутого «авторитета» юзовских, гурвичей, борщаговских, бояджиевых, малюгиных.

Критики-космополиты объединились в группу, имея своей целью по заявлению Юзовского, поданному в президиум Союза советских писателей, «наносить удары советскому искусству с боковых позиций». Группа просачивалась в органы печати, на руководящие посты в театрах, ставя своих людей. Методом шантажа, угроз, запугивания и прямой клеветы космополиты пытались завладеть искусством. Обнаглевший Юзовский на собрании критиков ВТО заявил: «Организация критиков, как таковая, отвечает за положение дел в искусстве, за то, что в нем происходит». Юзовский претендовал на то, чтобы руководить советским искусством, направлять искусство.

Один из главарей этой группы Борщаговский так поучал молодых драматургов. Например, одному из них он писал: «В вашей пьесе советские люди слишком щедро излагают свои мысли и идеи; драмы не допускают словесного выражения идей... Лучше итти по пути ремесленничества. Только не загружайте головы действующих лиц всякими актуальными проблемами... Вы идеализируете советских людей, это переходит в сентиментальность».

Такие взгляды космополитов порождали драматургию самого низкого пошиба. Пьесы, написанные по рецептам космополитов, оказались идейно враждебными, пошлыми, фальшивыми, антихудожественными.

Космополиты «работали» против советского народа. Сейчас космополитизм особенно выгоден американскому капиталу, потому что космополитизм проповедует идею межгосударственного, международного человека вообще, лишенного национальной гордости и любви к Родине. Советский народ не потерпит этого, не даст ослабить патриотическое чувство независимости, чувство любви к Советской стране.

Космополитизм – это идеологическое оружие американской реакции, прикрывающее политику, направленную на захват чужих территорий, новых колоний и рынков. Космополитизм – это оборотная сторона буржуазного национализма. Маркс и Энгельс, разоблачая представителей немецкого «социа-

лизма», писали: «...Мы снова могли убедиться, какое узко-национальное мировоззрение лежит в основе мнимого универсализма и космополитизма немцев» (Маркс и Энгельс, соч. т. IV, стр. 464).

Эта органическая связь национализма с космополитизмом особенно наглядно появилась в эпоху империализма – высшей и последней стадии капитализма.

«Империализм – писал Ленин, – отличает перерастание капиталом рамок национальных государств, он означает расширение и обострение национального гнета на новой исторической основе» (Соч. т. 21, стр. 371–373).

В современных условиях империализм выступает в разной конкретной обстановке по-разному: и с неприкрытыми националистическими захватами и под прикрытием космополитических идей. Космополитизм – ширма, за которой скрывается стремление той или иной империалистической страны к закабалению других народов, к развязыванию новой мировой войны, к мировому господству.

Советский народ, стоящий на страже мира во всем мире и на страже интересов своей страны, не мог мириться с вредной «деятельностью» космополитов в любой отрасли науки, искусства, литературы.

Безродные космополиты идейно разгромлены. Задача состоит в том, чтобы выкорчевать корни космополитизма и причины, порождающие его, т.е. аполитичность, «беспартийность», преклонение перед иностранщиной.

Ленин говорил, что беспартийных писателей не должно быть, что литература должна стать частью общепролетарского дела.

вставка

В Саратове на идеологической работе подвизались люди, допускавшие серьезные политические ошибки. К ним относятся Лейтес[18], Жак[19], Оксман[20]. В консерватории преподавала некая Гарская, работавшая несколько лет у немцев. Она в своих лекциях превозносила иностранных теоретиков музыки. Жак вела подрывную деятельность, охаивая произведения советской литературы. (о Блоке)

Дотцауэр[21].

Обратимся к нашей, саратовской литературной жизни, к нашей писательской организации и посмотрим на творчество писателей с точки зрения сегодняшних идеологических задач.

Прежде всего и больше всего придется говорить о драматурге Чепурине. Не потому, что он талантливее или значительнее других писателей, живущих в Саратове. Отнюдь нет. О Чепурине необходимо говорить по двум причинам: во-первых, он долгое время был связан личной, интимной дружбой с главарями антипатриотической группы космополитов Бояджиевым и Борщаговским и, во-вторых, потому, что влияние космополитов сказалось на его творчестве.

Тревога за судьбу товарища писателя заставляет говорить со всей откровенностью и серьезностью.

Известно, что связь Чепурина с Бояджиевым и Борщаговским началась примерно с 1942-43 года, т.е. с подготовки к постановке сцен «Сталинградцы»[22]. Впоследствии Чепурин работал над своими пьесами

---

[18] Юлия Лейтес – саратовский театральный критик.

[19] Любовь Жак (19 мая [1 июня 1907], Харбин – 22 января 1982, Москва) – литературный критик. В 1939–1949 гг. – доцент Саратовского педагогического института, читала лекции по советской литературе. С сентября 1946 г. – доцент кафедры русской литературы Саратовского государственного университета. 15 апреля 1949 г. приказом ректора СГУ была уволена «в связи с серьезными ошибками, обнаруженными в результате проверки в научных работах». После этого была вынуждена покинуть Саратов и в дальнейшем работала в пединститутах Ростова, Иваново и Шуи. В 1952 г. переехала в Москву. Подробнее см.: Литературоведы Саратовского университета. 1917-2009: Материалы к биографическому словарю / Сост.: В.В. Прозоров, А.А. Гапоненков; Под ред. В.В. Прозорова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010.

[20] Юлиан Оксман (1894–1970) – литературовед, историк, пушкинист. Находясь на должности заместителя директора Пушкинского дома, был арестован в 1936 г. и провел 10 лет в лагерях. В апреле 1947 г. ему удалось устроиться преподавателем в Саратовский государственный университет, где он проработал до 3 октября 1958 г.

[21] Доцент Саратовского педагогического института М. Ф. Дотцауэр, автор брошюры «Образ И. В. Сталина в художественной литературе» (Саратов: тип. изд-ва газ. «Коммунист», 1946).

[22] В пьесах Юлия Чепурина «Сталинградцы» (1944) Григорий Бояджиев указан литературным консультантом, «После грозы» (1946) – соавтором. Автором пьесы «Последние рубежи» (1947) значится только Чепурин.

«После грозы» и «Последние рубежи» совместно с Бояджиевым и Борщаговским, т.е. под их руководством и с их помощью. Чепурин похвалялся этим вниманием к нему со стороны Бояджиева и Борщаговского, показывал от них телеграммы с приглашением приехать в Москву, книги с дарственными надписями, переводил им деньги, выдавал доверенности на получение ими денег с его, Чепурина, счета в Управлении по охране авторских прав.

За несколько дней до опубликования в печати статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», Чепурин говорил в Союзе писателей о том, что получил от ~~Бояджиева~~ Борщаговского телеграфное уведомление об этой статье. Из этого видно, что связь Чепурина с Бояджиевым и Борщаговским выходила далеко за рамки официальных отношений, неизбежных при прохождении пьесы в театре обычным путем. Это была дружба.

На чем же она покоилась? Известно, что эти космополиты по выражению А. Фадеева «подшибали ноги передовым драматургам, окружали их атмосферой недоброжелательства, враждебности. Иных они пытались тащить за собой». Известно также, что эти космополиты «насаждали групповщину, культивировали чуждые советской печати нравы, упорно противились выдвижению молодых талантливых драматургов...» («Культура и жизнь», 30 янв. 1949 г.) Известно также, что Бояджиев злобно клеветал, будто бы режиссеры росли и развивались не на постановках советских спектаклей, а на пьесах иностранных авторов, причем Бояджиев всячески расхваливал пошлое западноевропейское театральное искусство.

Как могло получиться, что молодой начинающий драматург Чепурин сдружился с антисоветскими проповедниками Бояджиевым и Борщаговским? Что это, простая случайность или влечение души? Очевидно, последнее, потому что Чепурин творчески сроднился с Бояджиевым и Борщаговским.

Недостаток опыта, а может быть и таланта, на первых порах драматургической деятельности Чепурина потребовал посторонней помощи. Сцены «Сталинградцы» литературно обрабатывались Борщаговским и Бояджиевым. Оказанная помощь очаровала Чепурина и, как он сам заявил на собрании работников искусства г. Саратова 14 марта, он «продал душу чорту» (т.е. Бояджиеву) и пошел, ведомый космополитами.

Вторая пьеса Чепурина «После грозы» написана в соавторстве с Бояджиевым и по рецептам безродных космополитов. «Литературная газета» в редакционной статье 29 января 1949 г. по этому поводу писала следующее:

«Поза “тонкого” эстета не помешала Г. Бояджиеву (в содружестве с Ю. Чепуриным) написать пошлейшую, безродную пьеску “После грозы”, клеветнически изображавшую послевоенный быт советских людей. Г. Бояджиев в своей пьесе оболгал и быт и чувства советских людей, создав эпигонское произведение в духе Арцыбашева и Вербицкой».

Это справедливая оценка, данная космополиту Бояджиеву, в полной мере относится к Чепурину, так как соавторы несут солидарную ответственность. Всем известно, что Бояджиев пьес не пишет, он «теоретик» драматургии. Пьесу «После грозы» писал Чепурин, пером которого водили взгляды и вкусы Бояджиева.

Теперь не бесполезно вспомнить эту во всех отношениях бездарную пьесу. Действие пьесы происходит «после грозы», т.е. после войны. Вся суть событий состоит в следующем. Жена подполковника Алексея Колесникова Елена, во время войны, когда муж находился на фронте, сошлась с директором леспромхоза Андреем Тихомировым. Они живут как будто счастливо. Их пугает только одно: а вдруг Колесников, первый муж Елены, от которого долго не было вестей, окажется живым и приедет. Тогда их счастью наступит конец. Муж оказался жив. Страх стал сильнее. Елена выражает его так: «Муж оказался жив, и вот теперь со дня на день может возвратиться. Какая заманчивая сцена для окружающих! Они считают себя вправе в глаза сказать мне, что я – падшая женщина». Ситуация, как видим, фальшивая. В самом деле: если Елена вышла замуж за Тихомирова по любви, то ей нечего стыдиться ни первого мужа, ни людей. Если же она вышла не по любви, а просто изменила мужу, то авторы должны осудить ее. Нет, авторы оправдывают ее, считая, что в войну всякое случалось, а вот после войны все должно стать на свое место. Устами одного из персонажей так и сказано: «Война-разлучница кончилась, ветер обратно в свою сторону подул – вот каждый свое прежнее место в жизни и ищет». Ищет ли Елена прежнее место? Ответ двоякий: если бы Колесников не приехал, то она жила бы с Тихомировым, которого, как ей кажется, любит. Но если бы исчез Тихомиров, она с удовольствием сошлась бы снова с Колесниковым. Она оправдывает такие изломы. Про развратницу Зину Елена говорит: «Зина не виновата в том, что ее жизнь ломалась дважды». Как видим, Елена не лучше развратницы Зины. Она говорит Колесникову: «А мне, Алексей, было бы лучше услышать от тебя, что я – гулящая баба, легкомысленная солдатка».

Кого же в конце концов любит Елена? Оказывается, сразу двоих: Колесникова и Тихомирова, только Колесникова «в тысячу раз больше». Елена и дочь свою Людочку приучила любить обоих пап. Людочка видела во сне «папу Андрюшу и папу Алешу».

«Сколько же у тебя пап?» – спрашивает мать. – «Не знаю», – отвечает Людочка.

Таков образ советской женщины, превращённой авторами в героиню спальных романов буржуазной литературы. Авторы оправдывают ее устами Ивана Федоровича: – «Женщину надо понять, женщина не всегда виновата».

Каковы же остальные участники этой любви втроем? Директор лесхоза Тихомиров, проведя всю войну в тылу, сошелся с женой своего друга Колесникова. Когда Колесников узнает об этом и восклицает: – «Живите, живите, воры! Я никому не нужен», – Тихомиров подленько радуется: – «Кажется, гроза миновала». Но Колесников вдруг великодушно благословляет связь Елены с Тихомировым: – «А хорошая она все-таки, Андрей. А? Ленка-то? Любишь ее? Люби».

Но авторы хотят, чтобы их теория «прежнего места» восторжествовала, и они не оставляют Елену с Тихомировым, как это было бы по жизненной правде (если, конечно, они любят друг друга), а все подводят к тому, чтобы Колесников простил жене измену. Пускается в ход другая пара – муж и жена, которые попадали в такую же ситуацию.

Вот разговор Колесникова и Ивана Федоровича:

«Иван Федорович. Девять месяцев тому назад от меня уехала жена...

Колесников. Вы приняли ее? Вы рады?

Иван Федорович. Очень. Я люблю ее, а любишь – значит прощаешь. Выпьем за любовь.

Колесников. Вы ангел, а не муж.

Иван Федорович. Женщину надо понять, женщина не всегда виновата».

Так пьеса «После грозы» проповедует мораль: изменяй мужу или жене, будь нечистоплотным, все должно прощаться во имя любви. Так в пьесе выражена чистейшей воды буржуазная идеология, идеология, враждебная советскому народу. И хотя в пьесе произносятся слова о Советском Союзе, о пятилетке, – это, однако, не может скрыть ее буржуазную сущность, то нее так и разит тленом.

Итак, мы знаем, что вредную, пошлейшую пьесу написал Чепурин (один или в соавторстве с Бояджиевым – это никакой роли не играет), мы помним, когда он читал ее на «Среде» в редакции газеты «Коммунист» и как он огрызался, когда выступавшие участники «среды» давали пьесе резко отрицательную оценку. Он повез ее в Москву. На сцене столичных театров пьеса не пошла, т.к. слишком уж от нее пахло арцыбашевщиной, а на периферийные театры маленьких городов она при помощи Бояджиева проникла и некоторое время отравляла зрителя.

Влияние безродных космополитов сказалось и в пьесе «Последние рубежи». Имея положительные стороны, пьеса содержит очень много вредного. Известно, что космополиты преклоняются перед заграницей.

Заглянем в пьесу «Последние рубежи».

«Ножкин (Фокину) Фокин, довези меня до американцев. Я у них твой шарабан на новый “виллис” обменяю.

Фокин. “Мечту” на “виллис”? Нет.

Ножкин. Постой! Погляди, ты своей полуторной весь заграничный асфальт испачкаешь. Международный скандал произойти может. Фу, от одного этого дыма яблони цвести не станут. Ты погляди какие яблони, какая дорога!

Фокин уходит.

Деньдобрый. Что там – дорога! Вы поглядите, Афанасий Павлович, вон на этот дом. Какая роскошь! Прямо не дом, а дворец культуры и отдыха.

Кудров. Интересно, кто в этом доме жил?

Деньдобрый. Как кто? Хозяин.

Кудров. Хозяин хозяину рознь. Помещик, наверное.

Деньдобрый. А кто ж его знает... может, и помещик (пауза). Да... приеду до дому, начну себе новую хату строить, обязательно все зроблю на заграничный манер. Писля такого европейского опыту, да щоб у мени у хате ванны не було або винного погреба? Ого! Такой винный погреб сделаю...

Ножкин. Дмитро, будешь пьянствовать, тебя в партию не примут.

Деньдобрый. Примут: требы знать, як пить.

Кудров. Гляжу на тебя, Дмитро, и прямо поражаюсь. Образованный ты человек, бухгалтер, а ничего в заграницe, кроме красивого фасада и винного погреба, не разглядел. А людей ты видел? Как люди живут? Вот мы с Ножкиным как-раз ночевали в одном доме, у помещика, жена у него, у паразита, белая, как лебедь, одними бисквитами питается, с утра до ночи мохнатые полотенца меняет да в ванных полощется. А батраки ихние... Ай, да не хочется говорить... До того я тогда расстроился».

Из этого отрывка видно, что устами героев пьесы заграница воспета сильнее, чем развенчана. Советские автомобили – «шарабаны», которые еле двигаются, а у американцев, видите ли, «новые виллисы». Советские автомобили в руках советских шоферов такие грязные, что могут заграничный асфальт испачкать. Об этом говорится серьезно и это не опровергается дальше. Жизнь людей заграницей показана так: вот роскошно живет помещица, описаны детали из ее жизни. А как живут батраки? В этом месте автор заставляет действующее лицо замолчать и махнуть рукой.

Издевательски звучит утверждение о том, что можно быть пьяницей и быть принятым в партию, надо только знать, как пить.

В пьесе Чепурина даже командир дивизии Климов проявляет преклонение перед иностранным. В третьем акте есть место, когда Климов и начальник штаба дивизии говорят о предстоящей встрече с американцами.

«Жилин. Если даже Моллер и принял наш ультиматум, Сергей Васильевич, нам теперь едва ли успеть подготовиться к встрече с союзниками.

Климов. Американцы любят точность. Надо успеть, Николай Иванович. Надо успеть».

Советскому драматургу, изображающему советского генерала, следовало написать «Мы любим точность» и т.д. А получается, что только американцы любят точность, а мы советские люди ее не любим. Автор призывает к уважению американской точности.

Любопытно сравнить речь американского генерала Вилларда или немецкого генерала Моллера и советского генерала Климова. Язык Вилларда и Моллера отточенный, точный, образный. Вот как разговаривают командующий американской армией Уорн и его подчиненный генерал Виллард?

Вот образец их служебного разговора.

«Уорн. У нас радость, генерал?

Виллард. О да, господин командующий.

Уорн. Теперь к этой радости надо прибавить радость полководца, завершившего большую и сложную военную операцию... Если я прибыл к вам лично, генерал, вам должно быть понятно, какая почетная и ответственная задача ложится на вас. Что вами сделано после получения моего приказа?

Виллард. Приняты все меры, господин командующий» и т.д. в таком роде.

А вот образец служебного разговора командира советской дивизии генерала Климова и его подчиненного полковника Жилина.

«Жилин. Так ты, Сергей Васильевич, хочешь обойтись совсем без жертв?

Климов. Почти без жертв.

Жилин. Гм... Это невозможно. Предстоит бой...

Климов. Ты подожди в бутылку лезть. Сначала предложи что-нибудь похитрее.

Жилин. Тьфу, чорт возьми! Это не кроссворд. Это... Это чорт знает что».

В драматическом произведении каждая деталь, каждое слово имеет смысл. Непонятно, зачем Чепурин заставил Климова говорить такие слова перед отправкой своих офицеров и солдат на встречу с американцами.

«Климов. Приказываю.

Жилин собирается записать.

Солдатам и офицерам воздушного десанта привести себя в образцовый вид, одеть ордена и медали, начистить сапоги, побриться, постричься, освежиться одеколоном...»

Зрителю сразу представляется, что советские офицеры и солдаты, если бы не встреча с американцами, так и ходили бы не остриженные и не бритые, в нечищенных сапогах, а командир дивизии не обращал бы внимания, т.к. это не само собой разумеющаяся армейская повседневность, а деталь торжественности.

В американской армии солдатам, а тем паче офицерам никто не приказывает чистить сапоги, стричься, бриться, там каждый помнит об этом сам.

Так получается по пьесе.

Чепурин решил клеветать на советских бойцов и дальше, в создании образов бойцов. Боец Деньдобрый в мирное время бухгалтер, записывает себе в блокнот «заграничный опыт», а советский солдат думает, что эти люди дорожат временем. Это оглупление положительного по замыслу автора героя. А как выглядит серьезный разговор старшины Кудрова, командира взвода, тоже положительного по замыслу автора героя.

«Деньдобрый (взял свой автомат). Мабуть, колысь це в музее буде висеть цей автомат...

Кудров. Пусть мне другую выдадут, а с музейного старшины я расписку потребую, что мою винтовку он собственноручно каждый день будет чистить, как по уставу положено.

Ножкин (смеется). Да разве в музее старшины бывают?

Кудров. Старшина везде должен быть...»

Это нельзя назвать иначе, как оглупление младшего советского командира. Какой нормальный человек, не говоря уже о командире, подумает, что старшина должен быть везде. Это автором пущено для смеха. Получается не смешно, а обидно.

Так, из пьесы «Последние рубежи» во многих местах торчат «космополитические» уши. При печатании пьесы в альманахе «Литературный Саратов» многие места были выправлены, а в книжке, вышедшей в издательстве «Искусство», все осталось.

(на обороте): В свое время Чепурину указывали на эти ошибки. В частности, на собрании, когда он читал пьесу «Последние рубежи», ему говорили, что в пьесе есть восхищение иностранщиной. Он заявил тогда, что он это смягчит. Но и после смягчения, как видите, восхищенья «Европой» осталось еще довольно. Эту часть из пьесы Чепурин давал в газету «Коммунист», но она была забракована редактором Логиновым по той причине, что она призывает к преклонению перед всем заграничным.

Все эти факты свидетельствуют о том, что Чепурин в своем творчестве неоднократно следовал рецептуре космополитов. Это дает право сделать вывод о том, что ошибки не случайные, а органичные, вжившиеся в творчество правила, установившееся творческое кредо.

Больше того. Чепурин унаследовал методы и другого порядка – метод вуалирования, замазывания этих ошибок, тщательной маскировкой их. Разоблаченные космополиты всячески изощрялись, чтобы умолчать о своей вредной деятельности и клеветали. *Делая сообщение о Пленуме ССП, он ни одним словом не обмолвился о связях с Бояджиевым и Борщ<аговским>.*

Чепурин не может не понимать собственной ответственности за свое творчество. Писатели, общественность ждали от него самокритичного выступления, анализа своих ошибок, объяснений того, на чем основывалась личная дружба и творческое содружество с космополитами и, наконец, чистосердечного вразумительного слова о том, как он будет исправлять свои ошибки.

На собрании работников искусств Саратова Чепурин создал видимость самокритики и то представил себя жертвой Бояджиева. При этом он не поскупился на похвалы по адресу Бояджиева, рассказав об «образованности в культуре» этого матерого антисоветского «деятеля». Чепурин нарисовал Бояджиева обаятельным человеком, против которого он, Чепурин, как невинный агнец, видите ли не мог устоять.

Признание собственных ошибок искренне тогда, когда оно сопровождается анализом существа ошибок и причин, породивших их. Чепурин пошел по иному пути: он слегка пожурил себя. Но это только внешняя сторона дела, существа же он не коснулся.

Чепурин должен пересмотреть свои пьесы, проанализировать ошибки и честно исправить их, создавая такие произведения, в которых вместо космополитического влияния билась бы советская идеология, которые были бы пропитаны партийностью, народностью. Осознание и исправление идейно-творческих ошибок Чепурин может доказать только своими произведениями.

Наша писательская организация несет ответственность за Чепурина и за его ошибки.

Ошибкой редколлегии альманаха и лично своей я считаю напечатание в 8-й книге альманаха[23] статьи Л. Петровой (Л. Жак) «Из литературного прошлого Саратова. Заметки о творчестве поэтессы А. В. Переводчиковой». Автор заметки Л. Жак путается в оценке творчества Переводчиковой: она то восхваляет мотив народничества в творчестве поэтессы, «бескорыстно отдавшей почетному делу просвещения народа» и верящей в возможность просвещением «пошатнуть устои вековые», то говорит, что

[23] Альманах «Литературный Саратов». 1947. №8.

этот взгляд поэтессы наивен. Так же неопределенно оценивает Жак стихи Переводчиковой о Белинском и Некрасове.

Давая общую оценку творчества Переводчиковой, Жак пишет:

«Тяжело переживая народную судьбу, она находила в природе, которой посвящены ею много поэтических строк, те гармонические и эстетические начала, которые были чужды современной ей реальной действительности. Красота и гармоническая величавость русской природы рождали в душе А. В. Переводчиковой оптимистическую веру в грядущий день русского человека».

Эти строки формалистического порядка.

Мы должны повысить требования к себе, к своим произведениям. В этой связи необходимо указать на то, что в творчестве некоторых товарищей в той или иной степени еще звучат «общечеловеческие» мотивы. Это прозрачнее всего проявляется у поэтов. У Веденеева[24], в большей части стихов, которые мы знаем, преобладает бездейственное любование природой. ~~Это объясняется, видимо, творческой молодостью автора.~~ *Безыдейность – каналы, по которым проникает в среду советских людей буржуазное мировоззрение.*

Поэта Озерного[25] долгое время упрекали в созерцательном отношении к окружающему. Это было справедливо, потому что наряду с хорошими, идейными стихами, Озерный писал сугубо интимные, не представляющие общественного интереса стихи. Он не особенно серьезно воспринимал критику и считал, что поэзия интимных чувств имеет право на жизнь наравне с идейной поэзией. Этот ошибочный взгляд привел поэта к неудаче с поэмой «Здравствуй, мир!».

Поэма Озерного «Здравствуй, мир!» обсуждалась 6 июля 1948 г. Еще тогда поэту указывалось, что он написал поэму с чужого голоса, с «Санкюлота» Антокольского[26]. Образ героя-современника *лишен национальных советских черт, а получился* абстрагированным, космополитическим. Это творческая ошибка – результат созерцательной поэзии.

Но критику Озерный воспринял. Последний цикл его стихов о Сталинграде свидетельствует об идейном росте его поэзии, о росте поэтического мастерства. Можно думать, что Озерный и впредь напишет еще лучшие стихи, если он будет держаться дороги, на которую теперь стал.

Я говорю об Озерном так остро не потому, что он ушел от задач советской поэзии, а потому, что он сейчас успешно преодолевает в своем творчестве так называемую «чистую» лирику, *и его надо поддержать именно на этом правильном пути*. Страстный патриот Белинский клеймил эстетство, «искусство для искусства», потому что *эстетство* всякого рода фальшиво, антинародно, реакционно по своему существу, антипатриотично, антинационально.

Газета «Правда» в статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» писала:

«Советское искусство питается богатейшими, небывалыми в истории культуры, источниками социалистического строительства. Но лишь тому открыты эти источники, кто сам участвует в творчестве новой жизни, в борьбе за коммунизм. Кто смотрит на эту жизнь со стороны, рыбьими глазами равнодушного наблюдения, тот неизбежно остается позади».

Это указание ЦО партии надо помнить.

Отделение Союза советских писателей допустило ряд ошибок в своей работе и я, как руководитель отделения, искренно признаю эти ошибки. Наиболее серьезная ошибка состоит в том, что критика творчества писателей бывает недостаточно принципиальной, недостаточно партийной. В отделении установилось порочное стремление во что бы то ни стало поднимать авторитет саратовских писателей. Это привело к тому, что в погоне за авторитетом мы упускали самое существенное – творчество. Так случилось с Чепуриным. Желая создать ему авторитет, мы выдвигали его на соискание Сталинской премии, хотя в душе были убеждены, что премию он не получит. Об этом говорили друг другу и все же выдвигали. И я в числе других товарищей поддерживал выдвижение Чепурина, хотя видел идейные срывы в его пьесах, о которых уже говорил. Лестно, знаете, иметь в своих рядах Лауреата Сталинской премии. Это поднимет авторитет отделения ССП. Так мы говорили и в соответствии с этим действовали, замазывая недостатки в творчестве и в моральном облике Чепурина.

---

[24] В документах Саратовского отделения Союза писателей тех лет П. Веденеев значится как молодой поэт.

[25] Борис Озерный (1911–1958) – саратовский поэт. Поэма «Здравствуй, мир!» и стихотворения из цикла «Утро Сталинграда» вошли в книгу «У крутых берегов», изданную в 1950 г. в Астрахани.

[26] Стихотворение «Санкюлот» было написано в 1925 г.

С таким беспринципным, обывательским подходом к оценке творчества писателей надо решительно покончить.

В альманахе «Литературный Саратов» все еще помещаются произведения не всегда высокого идейного и художественного уровня, или произведения, далекие от сегодняшних задач. Альманах надо сделать таким, чтобы он вторгался в жизнь, а не плелся в хвосте ее.

вставка

Редколлегией была принята к печати моя повесть «Сквозь огонь»[27], в которой некоторые места были написаны натуралистично, что вызвало возражения Обллито. На это же мне было указано в Обкоме и в ЦК партии. Я признал эти указания правильными и повесть считаю недоработанной.

Плохо идет рост писательской организации за счет молодых, свежих сил. Космополиты всячески ограждали искусство от молодых дарований и тем самым нанесли ущерб советскому искусству. Мы должны исключительно внимательно относиться к появлению новых, начинающих литераторов, бережливо холить ростки подлинного таланта, помогать росту и развитию. Однако, мы не можем особенно похвалиться этим.

Молодые, новые имена хотя и появляются в нашем альманахе, но они малочисленны. Рецензирование произведений начинающих авторов не всегда достаточно квалифицированно. Бывают случаи грубого одергивания начинающих авторов. Нам необходимо пересмотреть состав рецензентов, доверив рецензирование внимательным, чутким товарищам.

Необходимо смелее выносить наше творчество на широкое обсуждение читателей, развивать здоровую критику и самокритику.

Тов. Сталин учит:

«Нам нужна такая самокритика, которая подымает культурность рабочего класса, развивает его боевой дух, укрепляет его веру в победу, умножает его силы и помогает ему стать подлинным хозяином страны».

Эти указания тов. Сталина являются программными и для критики и самокритики в области литературы.

«Но пользоваться этим оружием критики имеют право только люди с чистыми руками и с чистой политической совестью. Злобствующих антипатриотов-космополитов, у которых высокая идейность заменена пронырливостью прожженных интриганов, не следует подпускать на пушечный выстрел к делу критики» («Культура и жизнь», 30 января 1949 г.).

Большие задачи стоят перед советской литературой. Посильную долю должны внести в выполнение этих задач писатели Саратова. Успех может быть только при условии понимания высокого партийного назначения литературы, являющейся важнейшей частью дела Ленина–Сталина, дела патриотов Советской страны.

Григорий Боровиков

В прениях выступали:

ПАДЕРИН[28]: Космополиты в критике, борясь против советской литературы, дошли до организационного оформления своей антипатриотической группы и разработки планов своей литературно-диверсионной работы. Партия коммунистов разоблачила эту группу и тем еще раз проявила отеч. заботу о развитии советской литературы.

Далее оратор подробно рассказывает о методах Юзовских и компании по разложению литературной молодежи.

[27] После вердикта цензуры Григорий Боровиков послал повесть в ЦК ВКП(б) с просьбой дать ей оценку. Однако рукопись была переслана обратно в Саратовский обком, который заключил, что «повесть страдает элементами грубого натурализма». Эта же формулировка в отношении неизданного произведения использовалась и на страницах газет. В результате автор отказался перерабатывать текст и больше к нему не возвращался. Интересно, что в 1954 г. повесть с названием «Сквозь огонь» опубликовал саратовский коллега Григория Боровикова Иван Падерин.

[28] Иван Падерин (1918–1998) – писатель. В 1949 г. – начальник Вечернего университета марксизма-ленинизма в Саратове.

Я лично знал о дружбе молодого драматурга Чепурина с Борщаговским и Бояджиевым, но ранее не придавал этому значения. Теперь я, как и другие товарищи, требую от Чепурина честно рассказать собранию, на чем держалась эта дружба, как *обрабатывали* его космополиты.

Пьеса «Последние рубежи» в первом варианте была идейно здоровой пьесой. Но после того, как Чепурин побывал в Москве, в пьесе появился ряд политически ущербных мест. Больше того – он пытается оправдать второй худший вариант законами сцены. Причина – влияние космополитов.

Доклад тов. Боровикова – хороший, но докладчик чрезмерно много уделил внимания Чепурину, который, как известно, львиную долю своего выступления на городском собрании работников искусств посвятил критике Боровикова. Это отдает тенденциозностью.

Далее тов. Падерин говорит об антипатриотической деятельности Жак: организация разносного диспута по роману Коновалова[29] «Университет»; нечто подобное произошло при обсуждении альманаха на фил. факе, где воспитанники Жак нагло издевались над местными писателями и советской литературой.

Очень путанную, фактически антипартийную лекцию о Горьком прочла Жак в Вечернем Университете, так что мне пришлось выступить с поправками, чем Жак осталась очень недовольной.

ЧЕПУРИН: Как явствует из доклада, наиболее оформившимся космополитом среди писателей Саратова оказываюсь я.

Прежде всего дам ряд справок.

Телеграмму от Борщаговского я не получал. С Бояджиевым я дружил и очень долго. Но пьесу «Последние рубежи» я писал в Москве один, Бояджиева в это время даже не было в столице. Бояджиев читал уже готовую вещь, причем тут же заявил, что может оказать мне помощь по доработке лишь при условии денежного вознаграждения. Тогда я отказался от его помощи вообще. Но позже я занял у него деньги, причем при расчете с ним у нас произошел скандал: он требовал, чтобы я рассчитался с ним по дореформенному курсу. Эти два случая разоблачили Бояджиева как мелкого человека, и я с ним порвал всякие связи.

Пьесу «После грозы», написанную с Бояджиевым, считаю своей грубой политической ошибкой. Критику ее партийной печатью и товарищами считаю совершенно правильной.

Пьеса «Последние рубежи», на мой взгляд, партийная пьеса. Тов. Боровиков просто вырывал отдельные фразы из нее и потому преподносил все в неверном свете. Думаю, что товарищи дадут объективную оценку моей работе. Полагаю, что Боровиков просто задним числом сводит со мной счеты за критику его творчества на городском собрании работников искусств.

Космополиты пытались меня свернуть с правильного пути, но ядовитое семя было брошено не на ту почву. Спасать меня для советской литературы нечего, ~~я в такой помощи не нуждаюсь.~~ т.к. не считаю себя погибающим, а от помощи не отказываюсь.

Категорически отклоняю обвинение в том, что я в своем выступлении на гор. собрании раб. искусств пользовался методами космополитов.

КОТОВ[30]: Один из недочетов городского собрания работников искусства заключается в том, что он не помог союзу писателей вскрыть имеющиеся ошибки. Выступившие писатели больше касались своей лично работы. Мы ответственны за антипатриотическую деятельность Жак и Лейтес, Жак даже выступала в роли учителя советской литературной молодежи, Лейтес бездушно равнодушным языком плохо пересказывала пьесы, а не анализировала их. Во главе отдела культуры в газете стоял писатель-коммунист В. Тимохин[31]. Он не сумел разгадать «писания» Жак и пропускал творения Лейтес. Я не помню случая, чтобы обсуждали какую-либо рецензию, напечатанную в газете «Коммунист». Союз писателей воспитанием критиков не занимался. В статье Покусаева[32] в «Коммунисте» с эстетских позиций трак-

[29] Григорий Коновалов (1908–1987) – писатель. Роман «Университет» вышел в 1947 г. в Ульяновске.

[30] Михаил Котов (1907–1972) – журналист и литературный критик. С 1957 по 1965 г. руководил Саратовским отделением Союза советских писателей.

[31] Виктор Тимохин (1909–1967) – саратовский поэт и журналист.

[32] Евграф Покусаев (1909–1977) – литературовед, в 1949–1951 гг. – декан филологического факультета СГУ им. Чернышевского.

туются вопросы литературной формы и содержания. Редколлегия альманаха забраковала эту статью. Тогда со статьей для альманаха выступила по предложению Жак тов. Дотцауэр. Говоря о творчестве Богатырева[33], она писала, что он в образе солдата дал обезличенный образ, *критик видит* в этом силу поэта. Фактически это доказывало, что коллектив не обогащает, а обедняет личность.

Ваше выступление, товарищ Чепурин, на городском собрании было завесой, за которой *вы* хотели спрятать свои связи с Бояджиевым. Вы даже пользовались передергиванием фактов, пытались опорочить еще не законченный роман Боровикова. Перед собранием вы выставили Облгиз и автора в неправильном свете. Причины *наших* ошибок и неполадок – в равнодушии к жанру критики, в либеральном отношении к Жак и др. А главное – у нас не поставлена по-настоящему идеологическая работа. Итоги августовской сессии ВАСХНИЛ не были даже обсуждены у нас. Мы не начали еще пересмотр всего того, что нами напечатано. Забвенье политических вопросов – одна из причин ослабления нашей деятельности.

ОЗЕРНЫЙ: Прошло много времени после разоблачения антипатриотической группы презренных космополитов. Большой промах в нашей работе в том, что мы своевременно не обсудили этот вопрос и поэтому на городском собрании работников искусств наши выступившие товарищи «ударились лицом в грязь». Чепурин не вскрыл существа его связи с космополитами, их влияния на его творчество. И прав Боровиков, говоря, что мы протягиваем руку помощи Чепурину, мы хотим ему помочь. Богатырев своим выступлением опозорил организацию тем, что он не в трезвом виде вышел на трибуну. Порывкин[34] также плохо выступил. Боровиков отделался справкой. Если бы мы этот вопрос обсудили раньше, то не было бы этих недостатков на собрании. Содружество Чепурина с Бояджиевым сказалось на пьесе «После грозы». И нам важно выяснить, как такое содружество возникло. Чепуриным был правильно поднят вопрос о пассивности писателей (имеется в виду тов. Лапинский[35], который не пишет). Я не склонен считать Боровикова формалистом, но у него бывают недостатки и ошибки, он обошел свою творческую среду и направил одну из своих повестей в ЦК ВКП(б)[36]. К нам поступают на консультацию рассказы, один из них *(Русецкого[37])* поступил на консультацию, и у Боровикова тоже оказался рассказ под таким же названием с некоторым заимствованием. Вспомнил я статью Дотцауэр на сборник «Товарищи»[38] в 1946 году. Она резко раскритиковала стихи Москвичева[39] совершенно безосновательно. В стихах он ставит вопросы строительства, а она путанно их охаяла. Мы пытались разоблачить Дотцауэр, но Степанидин[40], работавший тогда в Обкоме ВКП(б), взял ее под свою защиту.

Нет в нашей работе боеспособности. Важные политические вопросы проходят мимо нашего обсуждения. Обком ВКП(б) в свое время указывал на недостатки в нашей работе, и мы их должны учесть.

ГОРБУНОВА[41]: Я не удовлетворена выступлением тов. Чепурина. Он так и не раскрыл душу перед коммунистами. Ведь космополиты – это агентура американского империализма, пытавшаяся воздействовать на психологию советских людей. Прав тов. Боровиков, показавший, что в творчестве Чепурина проникло влияние космополитов, а для этого у него и раньше было много времени. Отрадно слышать, что Чепурин хочет делом доказать преданность Родине. Надо к сведению принять это заявление.

---

[33] Вениамин Богатырев (1908–1983) – саратовский поэт.

[34] В плане работы Саратовской областной конференции молодых авторов (20–25 марта 1953 г.) редактор газеты «Ворошиловец» А. Порывкин фигурирует в качестве автора неопубликованной пьесы «Богатые истоки».

[35] Виктор Лапинский (настоящая фамилия Кевенд, 1892–1977) – поэт, писатель, литературный критик, литконсультант Союза писателей. Автор единственной книги: Последний разъезд. Рассказы. Гослитиздат, Ленинградское отделение, 1934.

[36] Имеется в виду повесть Г. Боровикова «Сквозь огонь».

[37] Федор Русецкий (1905–1966) – саратовский художник и иллюстратор.

[38] Сборник стихов саратовских поэтов Бориса Озерного, Виктора Тимохина, Исая Тобольского и Ивана Москвичева вышел в Саратовском областном издательстве в 1947 г.

[39] Иван Москвичев (1913–2002) – саратовский поэт и журналист.

[40] Впоследствии директор саратовского Дома ученых.

[41] Сотрудница Саратовского областного государственного издательства.

Критиком у нас считалась Жак и ее мнения считались чуть ли непререкаемыми, и она очень влияла на оценку произведений. А вот к такому критику, как *отзывы читателей о произведениях* писателей, обращаются мало. Надо отметить и то обстоятельство, что наши писатели мало общаются с рабочими, служащими, студентами и т.д. Почему бы не поступить так: до издания книги побывать на том или другом заводе, почитать отрывки из своих произведений, и только тогда у нас будет широкий круг критиков. Писатели же обещали, что они будут иметь тесную связь с заводами и колхозами, что будут писать актуальные темы. Эти обязательства выполняются плохо. Вот в книге Падерина есть большие пробелы, но он о них не сказал ни слова.

ТОБОЛЬСКИЙ[42]: Речь должна идти об ошибках писателей и не говорить о них нельзя. Странно, что тов. Озерный тоже ничего не сказал о своих формалистических стихах, о своем периоде пассивно-созерцательных произведений. Сейчас он написал замечательный «Сталинградский цикл» стихов.

Я не знаю ошибок Падерина, если они есть, надо их вскрыть. Если у Боровикова есть ошибки, то о них надо также говорить. Правильна критика на творчество Чепурина, ему надо помочь. Он уже давно понял, что катился в гнилое болото космополитизма. Его новая пьеса, варианты которой я читал, поднимают очень большую и важную тему, и он ее правильно решает. На собрании он хотел отвести удар от себя на Боровикова. Мне кажется, что Чепурин осознал эту ошибку.

Справка ПАДЕРИНА:

Я видел своими глазами, как Борщаговский и Беркун помогали тов. Чепурину в его работе над пьесой «Последние рубежи». В своей книге я сделал ошибки цензурного порядка, есть и политические ошибки – я назвал политработников юридически безвластными; показывая работу с молдаванами, также допустил ошибку. На ряд ошибок мне указали в Москве на консультации. Для исправления их я ввел специальную главу о роли парторганизации в установлении порядка на переправе и др.

ЧЕПУРИН: (После настоятельного требования Воробьева[43] объяснить, как Бояджиев «проник к нему в душу»).

Узнав, что я написал пьесу «Сталинградцы», Бояджиев и другие товарищи попросили ознакомить их с нею. Позже Бояджиев свел меня с режиссером театра Красной Армии, причем очень хвалил мои работы. Он же, Бояджиев, помогал мне разрабатывать сценарный план, затем предложил соавторство *в пьесе «После грозы»*. Я, молодой автор, согласился, тем более, что он казался мне тогда очень высококвалифицированным критиком и литератором. План, предложенный Бояджиевым, мне не понравился. Однако, пьеса писалась под его руководством, он же помог продвижению ее через ГУРК[44].

Пьесу «Последние рубежи» я писал один, но Борщаговский консультировал меня и настаивал на переделке отдельных сцен, которые его не удовлетворяли. Но переделывал я пьесу главным образом по советам не Борщаговского, а театра.

Я осознаю свою политическую ошибку в пьесе «После грозы». Но об ошибках в пьесе «Последние рубежи» вопрос встал только сегодня и мне, естественно, надо еще подумать.

Вопрос Боровикова: Какие книги Бояджиева читали, как Вы к ним относитесь теперь?

Ответ: Бояджиев дал мне книгу «Театральная правда»[45]. Отношение к ней не определил. Я ее просто не понимаю, до того она закрученная.

Заключительное слово тов. БОРОВИКОВА:

Кроме основных положений доклада, никто, по сути, не выступал, поэтому я ограничусь лишь справками.

Никаких личных счетов с Чепуриным я не имел и не имею. Моя критика его пьес – желание помочь товарищу осознать свои ошибки.

---

[42] Исай Тобольский (1921–1995) – саратовский поэт.

[43] Собкор газеты «Правда» в Саратове.

[44] Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром при Наркомпросе РСФСР.

[45] Григорий Бояджиев. Театральность и правда. М., Искусство, 1945.

Жак мы доверяли, некритически относились к ее статьям и лекциям, и в этом наша ошибка. О том, что Жак училась в Харбине, что муж ее в тюрьме, я лично не знал. Мы здесь проявили политическую близорукость.

Правильно отмечали, что писательская организация прошла мимо таких политических событий, как разоблачение «школы» Веселовского[46], итоги августовской сессии Академии ВАСХНИЛ[47].

Рассказ Русецкого еще не зачитывался членами редколлегии. Мой рассказ написан раньше и не имеет с ним ничего общего. Подозрения Озерного в плагиате на основании заявления Русецкого, не имеют под собой почвы, что я докажу с помощью партийных организаций.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить президиуму собрания отработать проект резолюции.

2. Большинством голосов принять следующее **решение**:

а) Отметить в резолюции, что **Жак** вела подрывную деятельность в литературе, выступая с путанными статьями в альманахе «Литературный Саратов», охаивала произведения советской литературы.

б) Влияние космополитов сказалось в творчестве Чепурина не только на пьесе «После грозы», но частично и на хорошей в общем пьесе «Последние рубежи».

Председатель (Б. Озерный)
Секретари (М. Котов, Г. Евсеев)

Постановление

Заслушав и обсудив доклад «об одной антипатриотической группе театральных критиков», собрание писателей-коммунистов города Саратова совместно с руководящими работниками Облгиза единодушно и полностью присоединяется к политической оценке, которая дана ее вредоносной деятельности нашей партийной печатью. Одновременно с этим собрание признает, что бациллы космополитизма проникли и в саратовскую литературную организацию. Числившаяся долгое время в активе отделения ССП «критик» Л. Жак проводила в своих статьях, рецензиях и отдельных докладах для писателей антиленинские, эстетско-формалистические взгляды на советскую и классическую литературу. Ю. Лейтес печатала в газете «Коммунист» бездарные театральные рецензии, в которых охаивала лучшие произведения советских драматургов и превозносила порочные. М. Дотцауэр в ненапечатанной статье для альманаха «Литературный Саратов», говоря об особенностях «Повести о рядовом» Богатырева, объективно доказывала, что слияние личного и общественного якобы нивелирует личность, тем самым пыталась дезорганизовать молодых поэтов.

Серьезные политические ошибки допустили в своей работе и творчестве некоторые писатели-коммунисты. Ю. Чепурин в содружестве с отъявленным космополитом Бояджиевым написал пошлейшую бездарную пьеску «После грозы», в которой открыто проповедуется буржуазная мораль. Элементы космополитизма имеются и в другой, в основном здоровой и ценной советской пьесе «Последние рубежи». (Преклонение отдельных героев перед заграницей, разговоры об умении выпивать, грубость в диалоге советских полководцев). Б. Озерный в отдельных стихотворениях о Волге больше любуется мирными пейзажами, нежели показывает вдохновенный труд волжан в годы послевоенной пятилетки. Элементы пассивно-созерцательного отношения к жизни имеются также в стихах поэта П. Веденеева, М. Толмачева и других молодых поэтов, группирующихся вокруг отделения ССП. Крупные идейно-художественные недочеты обнаружены в книге И. Падерина «На главном направлении»[48]. Имеются идейно-художественные срывы в неизданной повести Г. Боровикова «Сквозь огонь». Писатель-коммунист В. Тимохин, будучи заведующим отделом культуры газеты «Коммунист», проявил либеральное отношение к космополитическим

[46] Имеется в виду Алексей Веселовский (1843–1918) – литературовед, профессор Московского университета и Высших женских курсов, почетный академик по Разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности Академии Наук. 5 октября 1949 г. в покаянном письме в ССП СССР театральный критик И. Юзовский писал: «Важнейшим этапом идейной борьбы партии с космополитизмом является разоблачение так называемой “школы Веселовского”».

[47] Речь идет о расширенном заседании (31 июля – 7 августа 1948 г.) Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, на котором директор Института генетики АН СССР Трофим Лысенко и его сторонники разгромили «формальную генетику».

[48] Книга вышла в Саратовском областном издательстве в 1948 г.

рецензиям Жак и Лейтес. Не был достаточно бдителен и редактор Облгиза тов. Котов, готовя и подписывая к печати книгу Падерина, имеющую идейно-художественные изъяны.

Все это произошло потому, что в писательской организации плохо поставлена идейно-воспитательная работа, слабо развернута критика и самокритика, нет крепкой постоянной связи писателей с читателями. Теоретические доклады и лекции в отделении очень редки и обычно проходят вяло; дискуссия по «школе» Веселовского и разоблачение менделистов-морганистов на августовской сессии ВАСХНИЛ прошли мимо писательской организации. Не были как следует обсуждены и решения Пленума ССП по вопросам драматургии. Партийная организация отделения ССП проявила нетерпимую медлительность и благодушие в обсуждении вопроса об антипатриотической группе театральных критиков, не разобралась вовремя в космополитических ошибках своих членов, не дала своевременно правильной оценки подрывной деятельности Жак и др. космополитов, связанных работой с отделением ССП. Именно этим, между прочим, следует объяснить, что выступления отдельных писателей-коммунистов на городском собрании работников искусств были на очень низком идейном уровне, а выступление беспартийного поэта Богатырева носило явно демагогический характер.

Совершенно неудовлетворительно поставлена в отделении работа с молодыми критиками и рецензентами. За все время была обсуждена лишь одна, довольно путанная и во многом эстетско-формалистическая статья М. Дотцауэр о сборнике «Товарищи».

В целях ликвидации допущенных ошибок и недочетов, собрание рекомендует партийной организации отделения ССП:

1. Потребовать от коммунистов-писателей повысить чувство личной ответственности за судьбу советской литературы, решительно и повседневно бороться со всеми проявлениями вражеской идеологии, как в литературной теории, так и в творческой практике.

2. Усилить работу по повышению идейно-политического уровня писателей, писателей-коммунистов в первую очередь. Систематически проводить теоретические доклады по вопросам теории и истории марксизма, а также лекции по вопросам литературы и искусства.

3. Провести общегородское собрание писателей и литактива, на котором обсудить вопрос об одной антипатриотической группе театральных критиков.

4. Регулярно проводить читательские конференции по книгам местных писателей, а также широкое обсуждение их рукописей, готовящихся к изданию.

5. Считать невозможным дальнейшее пребывание космополита Л. Жак в составе редколлегии альманаха «Литературный Саратов» и редсовета Облгиза.

Просить Обком партии вывести из состава редколлегии альманаха тов. Чепурина, допустившего в своем творчестве ~~космо~~политические ошибки.

6. Ходатайствовать перед Обкомом ВКП(б) и Обкомом ВЛКСМ о проведении в этом году областного совещания молодых писателей.

7. Поставить вопрос перед редакцией газеты «Коммунист» и Облгизом о проведении конкурса на лучший рассказ и очерк о людях послевоенной пятилетки.

Принять к сведению заявление тов. Чепурина о том, что он осознал свою грубейшую политическую ошибку, выразившуюся в написании вместе с космополитом Бояджиевым клеветнической пьесы «После грозы» и своим дальнейшим творчеством оправдать высокое звание советского драматурга.

Собрание выражает уверенность, что писательская организация, руководствуясь историческими постановлениями ЦК ВКП(б), справится с возложенными на нее задачами в деле идейно-политического воспитания литературной молодежи и поможет своим членам создать произведения, достойные нашей великой эпохи.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 24 октября 2016 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/
Персональный сайт:
http://volga-magazine.ru

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.